Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Тебе в дорогу, романтик

Владимир Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ТРИЛОГИЯ

Книга третья

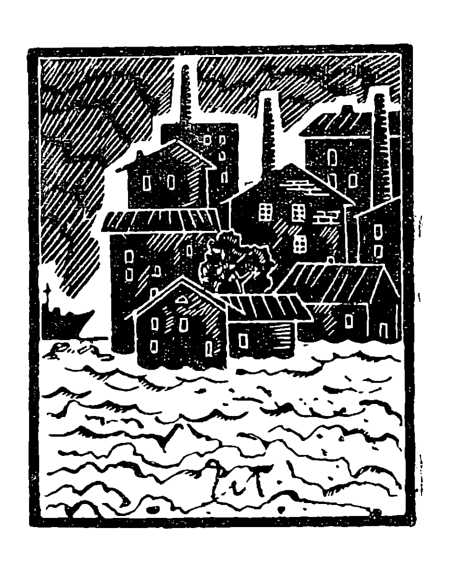
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1971

Бел
Б 44

Памяти погибшего на боевом посту
писателя-большевика
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ПЕТРОВА
посвящает эту книгу автор

книга третья





НА КИШИНЕВСКУЮ

Был свободный от занятий вечер, и мы вышли погулять в город. Петька Маремуха важно шагал в своем коротком кожушке, от которого пахло овчиной. Сашка Бобырь поверх старых, порванных ботинок надел блестящие калоши и плотно застегнул на все пуговицы длинное пальто желтоватого цвета, переделанное из английской шинели, а я напялил уже немного тесную в плечах серую чумарку, похожую на казакин. Она была коротка в рукавах, и крючки ее сходились кое-как: еще в позапрошлом году мне перешили чумарку из отцовского пальто, но я очень гордился ею, потому что в таких же чумарках ходили в нашем городе работники окружкома комсомола и многие активисты.

По случаю субботы в Старом городе было людно. Хотя не все магазины были открыты, но их ярко освещенные витрины бросали полосы света на узенькие, замощенные плитками тротуары. По этим узеньким тротуарам главной улицы нашего города — Почтовки — прохаживались гуляющие.

Какой-то подвыпивший, хорошо одетый тип с перебитым носом, никого не стесняясь, открыто напевал песенку контрабандистов:

На границе дождь обмоет,
А солнце — обсушит,

Лес от пули нас укроет,
Шаги ветер заглушит...

Спи, солдат, курка не трогай,
Мы шуметь не будем.
Мы идем своей дорогой,
Тихие мы люди.

Мы идем по краю смерти,
По узкой тропинке,
Чтобы барышни носили
Чулки-паутинки.

Эх ты, жизнь моя хмельная!
А судьба — насмешка.
Нынче жив, а там не знаю,
Орел или решка?..

Можно было, конечно, и нам присоединиться к этому шумному потоку, но не хотелось. Кроме молодежи с Карвасар, Выдровки и других предместий города, тут сейчас, как всегда по субботним вечерам, прогуливались молодые нэпманы-спекулянты. За два года нашей учебы в фабзавуче ненависть к ним не утихла, а разгорелась еще больше. У комсомольцев и рабочей молодежи было другое место для гуляний — аллея возле комсомольского клуба.

Мы шли прямо по мостовой. Еще днем таяло, совсем по-весеннему грело солнце, а к вечеру снова подморозило. Лужи затянулись льдинками, на проржавевших водосточных трубах повисли прозрачные сосульки.

— Зря ты надел калоши, Бобырь! Видишь, как сухо, — сказал я Сашке и стукнул каблуком по замерзшей лужице, с треском проламывая лед.

— Не балуй ты! — взвизгнул, отпрыгивая, Сашка. — Хорошее дело — «сухо»!

Струйка грязи брызнула Сашке на блестящую калошу. Он стоял посреди мостовой, и у него был такой удрученный вид что мы с Маремухой не выдержали и рассмеялись.

— Чего смеешься! — еще больше рассердился Бобырь. — А еще член бюро... Пример показывает! — И, вытащив из кармана обрывок старой газеты, он принялся стирать грязь.

Сердито посапывая, Саша то и дело поглядывал вниз. Я знал, что Бобырь обидчив и часто сердится из-за пу-

стяков. Чтобы не дразнить его, я сказал тихо и миролюбиво:

— Не обижайся, Сашка, я же не нарочно. Я не думал, что там грязь

— Да, не думал... — протянул Сашка, но Маремуха, прерывая нас, крикнул:

— Тише, хлопцы!.. Слышите?

Из-под высокой ратуши-каланчи, что стояла посреди центральной площади, донесся звон разбитого стекла.

— На помощь! — прокричал чей-то сдавленный голос.

— А ну побежали! — скомандовал я.

Мы помчались напрямик через площадь по обмерзшим, скользким булыжникам. Высокая черная ратуша-каланча ясно выделялась на фоне вечернего голубоватого неба.

— То в пивной бьются. У Менделя! — обгоняя меня, на ходу крикнул Маремуха.

Пробежав палисадничек, окружавший ратушу, мы увидели, что Маремуха прав.

Дрались в частной пивной Менделя Баренбойма, что помещалась под ратушей, по соседству со скобяными и керосиновыми лавочками. Под ржавой длинной вывеской, на которой было написано «Пивная под ратушей — фирма Мендель Баренбойм и сыновья», виднелась освещенная витрина. Кто-то изнутри запустил в широкое бемское стекло железным стулом. Стул этот, пробив витрину, валялся теперь на замерзшей грязи. Сквозь разбитую звездообразную дыру просачивался на улицу табачный дым и доносились крики дерущихся забулдыг.

Нам в пивную заходить не полагалось: все трое мы были уже комсомольцами. Мы остановились в палисаднике, наблюдая за дракой издали.

— А что, если заскочить, а, Василь? — обращаясь ко мне, сказал Бобырь. — Может, помощь требуется?

— Кому ты будешь помогать? Спекулянту? Наверное, снова нэпачи передрались! — сказал я.

Худая молва шла по городу об этой пивной. Нередко в ней собирались торговцы, контрабандисты, карманные воришки. Такого добра еще много осталось в нашем маленьком пограничном городе со времен царского режима, со времен гражданской войны. В годы нэпа они чувствовали себя очень привольно. Эти люди заходили

в пивную к Менделю устраивать свои дела. Говорили к тому же, что Мендель, кроме пива, подторговывает слегка и чистым контрабандным спиртом — ректификатом, который приносят ему из Румынии. Не раз в «Пивной под ратушей» агенты уголовного розыска делали летучие облавы, не раз они выводили оттуда под взведенными наганами хмурых арестованных королей границы — «машинистов», как называли вожаков партий контрабандистов, ходящих за кордон; не раз после таких облав Мендель опускал металлические шторы и шел на допросы в милицию, но пока все сходило ему удачно, он как-то выкручивался, и его пивная продолжала существовать.

Крики в пивной стали глуше, и наконец один за другим несколько человек выкатились на улицу. Мы бросились к ним навстречу. Но только мы выбежали на освещенные огнями плитки тротуара, Сашка остановился и, обернувшись к нам, растерянно прошептал:

— Хлопцы, ведь это...

Два нарядных молодых пижона в костюмах из контрабандного бостона держали под руки нашего фабзайца Яшку Тиктора.

Ноги Яшки подкашивались, воротник гимнастерки был разорван, пуговицы вырваны с «мясом», а от левого уха до рта тянулся кровавый след царапины.

Яшка потерял кепку, пышные его волосы раздувало ветром, но что показалось нам самым страшным, обидным и оскорбительным во всем его теперешнем облике, — был кимовский значок, поблескивавший на разорванной гимнастерке.

Около Яшки суетился худой черноволосый человек в белом фартуке. Это был хозяин пивной Мендель Баренбойм. Подбежав к Тиктору и размахивая кулаками, он завопил на всю площадь:

— А кто мне заплатит за витрину, ты, разбойник?

С трудом шевеля языком, Яшка пробормотал:

— Вот с этой... спекулянтской морды возьми деньги, а я тебе дулю дам!

И, сказав это, Яшка вяло ткнул пальцем прямо в подбежавшего к нему толстячка в черном костюме.

Из носу у толстячка сочилась кровь, и он маленькой пухлой рукой размазывал ее по щекам, становясь от этого все страшнее и страшнее.

— Это я — спекулянтская морда? — завопил толстячок. — Люди добрые, вы слышите это или нет? Это я, честный кустарь, есть спекулянтская морда? Ах ты, байстрюк неблагодарный! — грозя Тиктору кулаками, но побаиваясь его ударить, кричал толстячок. — Запомни свои слова! Не дам я тебе больше заказов. Не дам! Пил на мои деньги, кушал пирожные на мои деньги, а теперь я спекулянтская морда? Теперь меня по лицу ударил, шибеник, искалечил меня. Где милиция, почему нет милиции?

Но милиции, как назло, вблизи не было. Собирались на крик зеваки, но никто не знал, что делать с Яшкой.

Заметив нас, Тиктор сперва смутился, но потом радостно закричал:

— Хлопцы, сюда! На помощь, хлопцы! Эта спекулянтская шпана меня побила! А ну, дадим им.

Но мы не двигались с места. А Маремуха прошептал мне:

— Ты же член бюро, Василь. Скажи ему...

— Вы из фабзавуча, ребята? — послышался в ту же минуту рядом с нами очень знакомый голос.

Мы обернулись и увидели инструктора окружкома Панченко. Он был в такой же серой чумарке, как и у меня, в серой каракулевой папахе с красным верхом, высокий, стройный.

— А, Манджура! Здорово! — узнав меня, сказал Панченко и протянул руку. — Это ведь, кажется, ваш сокол?

— Наш, — тихо, так, чтобы никто не слышал, ответил я.

— И комсомолец? — спросил Панченко.

— Комсомолец, — еще тише подтвердил Бобырь.

— Тогда вот что, — строго сказал Панченко, — немедленно уведите его домой. Будет буянить — сдайте в милицию.

— Не надо в милицию, товарищ начальник, — появляясь возле нас, вкрадчиво пробормотал Мендель, — зачем в милицию? Я его прощаю. Хлопец молодой, выпил на злотый, а опьянел на десятку, ну и пошумел. С кем это не бывает?

— Уйдите, гражданин, — прикрикнул на Менделя

Панченко, — это не ваше дело! — И, обращаясь к нам, спросил: — Как его зовут?

— Тиктор! — насупившись, сказал Бобырь.

— Тиктор! Иди сюда! — позвал Панченко.

Пошатываясь и потирая щеку, Тиктор неохотно подошел к нам. От него сильно пахло водкой, но он старался твердо стоять на ногах.

— Во-первых, немедленно сними кимовский значок, — жестким, суровым голосом приказал Панченко, — во-вторых, сейчас же уходи отсюда. Ребята тебя проводят... Ну! Значок!

Повинуясь голосу Панченко, Тиктор медленно, стараясь не подать виду, что испугался, засунул руку за пазуху и принялся отвинчивать маленький, покрытый эмалью комсомольский значок.

— А вы чего собрались? Что здесь, цирк? — поворачиваясь к зевакам, крикнул Панченко.

Тиктор наконец отвинтил значок и дрожащей рукой подал его окружкомовцу.

— Подлец! — тихо, сквозь зубы, бросил Панченко и быстро спрятал значок в карман. — Разве о такой смене мечтал Ленин?

Яшка вздрогнул и опустил голову.

Пока мы вели его темными узенькими переулочками, он шел смирно и, казалось, совсем протрезвел. Но только мы вышли на освещенный Тернопольский спуск, ведущий к Новому мосту, Тиктора снова развезло. Он как-то сразу обмяк и стал опускаться, норовя сесть на тротуар. Пришлось взять его под руки. Тиктор рассердился и попытался вырваться.

— Тише, Яшка! Не делай шуму! — сказал Маремуха, хватая его.

— А тебе какое дело, ты, сопляк! — прикрикнул на Петьку Тиктор. — Да отвяжитесь вы от меня, я свободы хочу, слышите? — сказав это, Яшка неожиданно запел:

Черная карета,
Два солдата йдуть.
Мою ципу-маму
В каторгу ведуть!

Вдоль Тернопольского спуска ярко горели фонари, на панели было много прохожих, все они оборачивались на хриплый голос Тиктора. Мне казалось, что каждый

из них знает Яшку, понимает, что мы ведем пьяного комсомольца. Давно уж мне не было так стыдно, как в эти минуты. А Яшка, как бы чувствуя это, нарочно не унимался и куражился как только мог. Ему, видимо, нравилось, что на него смотрят.

— А ну, живее! — скомандовал я хлопцам. — Ты, Петька, толкай его сзади! — Сильным движением я потащил Тиктора вперед.

«Поскорей бы протащить его через мост, а там, в темной аллее бульвара, где нет прохожих, будет уже другой разговор», — думал я, волоча за собой Тиктора. С другой стороны тащил его Сашка Бобырь. Доски Нового моста обледенели, и Яшка не шел, а ехал по ним, вытянув вперед ноги и повиснув у нас на руках. Ему удалось-таки зацепиться за бортик деревянной панели, и он, сразу задержав нас, повалился на доски. Бобырь предложил осторожно:

— Давай понесем его, а, Василь?

— Попробуй тронь, — пригрозил Тиктор, — я тебе так приварю, что последних зубов не соберешь!

— Послушай, Яшка, мы же только хотим довести тебя домой. По-товарищески! — сказал я твердо и спокойно. — Какого же ты черта...

Совсем неподалеку, за бульваром, застучал пулемет. Первую очередь сменила вторая, затем третья, и, наконец, после небольшого промежутка мы услышали пять винтовочных выстрелов, гулко прозвучавших один за другим.

Хорошо знакомый каждому коммунисту и комсомольцу сигнал чоновской тревоги прозвучал над городом. В те годы коммунисты и комсомольцы старших возрастов были объединены в части особого назначения и созывались в случае надобности такими вот тревожными сигналами. Где бы мы ни находились — в общежитии ли, в литейной фабзавуча, на комсомольском собрании или на прогулке, — в любую минуту ночи и дня этот условный сигнал должен был найти нас. Мы обязаны были, услышав его, бросить все и что есть силы мчаться на Кишиневскую, к знакомому двухэтажному дому, в котором помещался городской штаб ЧОНа.

Мы хорошо знали, что живем всего лишь в пятнадцати верстах от границы с панской Польшей и боярской Румынией и что вслед за такой тревогой в тихом и маленьком нашем городе может быть объявлено военное положение. Тогда все мы, чоновцы, пока подойдут регулярные воинские части, обязаны будем вместе с пограничниками принять на себя первый удар.

— Тревога... да, Василь?.. — нарушив молчание, прошептал Бобырь.

— Тревога! — подтвердил я. — Бегом, товарищи! Быстрее!

...У дверей штаба, выходящих на бульвар и Прорезную, нас встретил начальник ЧОНа Полагутин.

Длинная деревянная кобура его маузера была расстегнута, по встревоженному виду Полагутина мы сразу поняли, что положение серьезно.

— Какой ячейки? — спросил Полагутин.

— Фабзавуча! — поспешно доложил Саша.

Полагутин проверил наши чоновские листки и приказал:

— Получайте оружие!

Мы пробегаем по длинному освещенному коридору в оружейный склад. Получаем закрепленные за нами еще с прошлого года винтовки и по пять пачек патронов на брата.

— Здесь заряжать или на улице? — засовывая патроны в карманы штанов, спросил бледный и немного взволнованный Маремуха.

— Подождем приказа, — посоветовал я.

— А я уже зарядил, — швыряя на пол обойму, сказал Бобырь.

— Возьми на предохранитель! — шепнул с опаской Петро.

Бобырь поднял винтовку кверху и, держа ее на весу, принялся оттягивать предохранитель. Но предохранитель был скользкий от масла, а пальцы Бобыря окоченели. Винтовка ходила в его руках.

Казалось, вот-вот палец нечаянно зацепит спусковой крючок и Саша пальнет в подвешенную к потолку тусклую угольную лампочку.

— Дай сюда, калека! — крикнул Петро, отнимая у Бобыря винтовку. — Смотри!

Но боевая пружина в затворе Сашкиной винтовки

была тугая, видно, совсем новая, и Маремухе тоже не сразу удалось оттянуть пуговку предохранителя...

В большом, просторном зале, где обычно по воскресеньям каждая ячейка в порядке очереди чистила оружие, собралось уже много коммунаров-чоновцев.

— Как вы успели так быстро? — спросил нас директор фабзавуча Полевой. Он был без винтовки, но при револьвере, который висел у него сбоку, поверх ватной стеганки.

Шмыгая носом, Маремуха объяснил:

— Мы втроем гуляли по городу, Нестор Варнаевич, и тут слышим...

— Остальные фабзайцы еще бегут, наверное! — не без удовольствия ввернул Саша Бобырь.

В зале стали появляться наши комсомольцы-фабзавучники — «гвардия Полевого», как нас называли в городе ребята из других ячеек. Они вспотели, раскраснелись, пальто и куртки у них были расстегнуты, на лицах блестели капельки пота.

— Отлично! — сказал Полевой, проверяя глазами явившихся. — Успели вовремя... А где же Тиктор?

Прибежавшие, переглядываясь, отыскивали глазами Яшку.

— Тиктора, товарищ Полевой, видели пьяным... — начал было фабзаяц Фурман, но в эту минуту в дверях появился Полагутин и отрывисто скомандовал:

— Внимание, товарищи коммунары!

Все сразу притихли.

— Обстановка такая. Петлюровские шайки, которых приютили за кордоном пилсудчики и румынские бояре, снова зашевелились. Есть сведения, что еще сегодня днем они двинулись к нашей границе... Сами они никогда не решились бы на такой шаг. Ясно — за их спиной стоят английские и французские капиталисты. Вполне вероятно, товарищи, что еще сегодня ночью эти петлюровские банды будут переброшены на нашу сторону. Вместе с погранотрядом вам, чоновцам, поручено встретить их как полагается... — И, сразу меняя тон, Полагутин четко и громко скомандовал: — Всем, кроме коммунаров из фабзавуча, строиться! Старшина взвода фабзавучников — ко мне!

Мы потеснились, освобождая проход. Один за другим, высоко поднимая винтовки, пробегали мимо нас

коммунары городских ячеек. Чем меньше оставалось их в зале, тем неспокойнее становилось у меня на душе. «А мы? Что же будет с нами? Они уйдут за город, в пограничные леса, в боевые дозоры и секреты, а нас, помоложе, как и в прежние тревоги, пошлют в караулы к провиантским складам — сено охранять — или поставят в самом городе стеречь крепостной мост, чтобы не подорвал его какой-нибудь шпион. Разве интересно стеречь забитые доверху фуражом деревянные амбары или на виду у всех сидеть в засаде у людного, освещенного электричеством крепостного моста!»

В зал вбежал пожилой коммунар-железнодорожник в форменной фуражке и крикнул:

— Все люди построены, товарищ начальник! Приехал секретарь окружкома.

— Картамышев уже здесь? — радостно спросил Полагутин и, крепко пожимая руку Полевому, добавил: — Счастливо оставаться, Нестор Варнаевич! Желаю успеха. Не зевайте: вам доверено многое... До свидания, товарищи! — И он скрылся в дверях.

— Мы останемся в наряде. Будем охранять штаб и склады ЧОНа, — торжественно объявил Полевой. — Построиться!

ОПАСНЫЙ ПОСТ

Прямо передо мной на деревянных столбах туго натянута колючая проволока. Дальше, за проволокой, теряются в темноте огороды — несколько десятин перерытой заступами мерзлой земли. Где-то далеко, уже около проселочной дороги, есть вторая изгородь из колючей проволоки, но ее отсюда не видать. Все время чудится, что та, дальняя, проволока уже перерезана и диверсанты подползают ко мне по черной и мерзлой земле. Ушам холодно, очень холодно, но я нарочно, чтобы лучше слышать, не поднимаю воротника и цепко сжимаю окоченевшими пальцами холодную винтовку.

Так вот каков он, этот пост «номер три», о котором я столько слышал от дежуривших здесь раньше комсомольцев!

Позади высится холодная каменная стена сарая, от-

деляющего меня от внутреннего двора. Прямо над головой чернеет выступ крыши. Узкий проход для часового тянется шагов на тридцать в темноте между этой каменной стеной и проволочной изгородью и упирается в глухую стену соседнего дома. Две высокие каменные стены сарая и жилого дома сходятся вместе, образуя прямой угол.

«Собачий куток» — так называют пост «номер три» чоновцы. Коммунар, попадающий сюда в наряд, чувствует себя как бы отрезанным от товарищей и всего мира.

С самого начала моего дежурства я не мог оторвать глаз от черного бугорка, застывшего в огороде шагах в десяти от меня. Он был похож на голову человека, лежащего на земле. Я очень жалел, что не спросил стоявшего здесь до меня студента-комсомольца сельскохозяйственного института, не заметил ли он этого бугорка. Вдруг мне показалось, что бугорок зашевелился и начал медленно приближаться. Вздрогнув, я просунул дуло винтовки между проволокой и чуть было не выстрелил, но удержался. «А вдруг это не человек, а перекати-поле, пригнанное издалека ветром? Или кучка картофельной ботвы? Или просто холмик земли около ямки, оставшейся после вырытого картофеля? Что тогда?.. Вот скандал будет! Засмеют меня ребята. Первый раз на таком опасном месте — и проштрафился! Скажут: струсил».

...Пронесся ветер, и вслед за его колючим, холодным свистом вверху загрохотало кровельное железо. Никак кто-то ходит по крыше? Задрав голову, я гляжу под стреху сарая, ожидая, что вот-вот оттуда высунется черная голова диверсанта. Он может при желании без особого труда перемахнуть с крыши жилого дома на сарай.

Подозрительные гулкие удары слышатся над головой. Неужели это шаги?.. Я приподнимаюсь на цыпочки. Слух улавливает какой-то стук на Кишиневской улице, шорохи на огороде, поскрипывание флюгера за темным брандмауэром. В глазах уже рябит от множества звезд, переливающихся в студеном небе, в тусклой дымке морозного воздуха.

Гулкий шум на крыше усиливается. Я крепко держу влажное ложе винтовки, направляя ее вверх, навстре-

чу шуму. Где-то в небе около высокой трубы поблескивает, переливаясь, далекая звезда.

— Держите ушки топориком, — сказал Полевой, разводя нас на посты. — Вы охраняете запасы оружия для коммунистов и комсомольцев всего округа! Склады ЧОНа — очень заманчивая цель для агентов мировой буржуазии.

Да и без этих слов директора школы мы все отлично знали, какое доверие оказано в эту ночь нашей ячейке, впервые охраняющей ЧОН: в подвалах дома спрятано множество динамита, тола и патронов.

«Ушки топориком! Ушки топориком!» — повторяю я про себя излюбленные слова Полевого, и мне начинает казаться, что мои озябшие уши растут, удлиняются и становятся тонкими и острыми, как лезвие топора.

На крыше совсем тихо.

Наверное, то просто ветер прогремел оторванным листом железа. А где черный бугорок? Я уже и позабыл о нем.... Глаза привыкли к темноте. Я быстро отыскиваю смутившую было меня грудку земли. Она преспокойно лежит в поле.

...Медленно прохаживаюсь вдоль сарая, подсмеиваясь внутренне над своими минутными страхами. Думаю, что близок рассвет и скоро все мои опасения как рукой снимет. Совсем ведь не обязательно, чтобы как раз именно на моем дежурстве случилось что-нибудь особенное. Сколько дежурств проходит решительно без всяких приключений. И мое пройдет незаметно. Зато уж никто потом из хлопцев не посмеет подтрунить надо мной, что я, мол, юнец, самый молодой из членов ячейки. А если бы они еще знали, что я прибавил нарочно себе годик, лишь бы быть коммунаром ЧОНа, тогда бы совсем житья не было... А так возвращусь с дежурства полноценным бойцом и долго потом буду гордиться, что стоял на посту «номер три». Сюда раззяву не поставят, как бы ни просился!

Приведя меня на пост, Полевой коротко и просто приказал:

— Увидишь кого на огороде — бей без всяких! Случайный прохожий или пьяный сюда забрести никак не может.

«Бей без всяких!» Страшно и сурово звучит этот приказ.

...Снова запел в голых и обледенелых ветвях деревьев ветер, зашелестел сухой прошлогодний бурьян, репейник, скрюченная ботва около проволоки, загромыхало, заухало железо на крыше, скрипнул флюгер на стене дома.

И неожиданно с этим новым порывом ветра донесся отдаленный выкрик Саши Бобыря:

— Что вам нужно?.. Стой!.. Стой!.. Руки... Хлопцы, сюда!

На минуту все стихло, и сразу же я услышал дребезжащий свисток. Захлопали двери в караульном помещении. Там, за сараем, пробежали по двору люди... и затем опять Сашкин крик:

— Там!.. Там!.. Ловите!..

— Лестницу!.. Живо! — услышал я голос Полевого.

Как мне хотелось броситься туда, к хлопцам, подсобить им, увидеть, что там такое! Но покинуть пост я не мог. Пусть бы даже все горело и валилось вокруг, я не имею право уйти отсюда.

Прислушиваясь к тому, что происходило во внутреннем дворе, около четвертого и пятого постов, я продолжал изо всей силы вглядываться в темноту. А чтобы сзади никто меня не схватил, я прижался к стене сарая спиной и застыл на месте.

Сердце билось, винтовка в руках колыхалась, я ждал чего-то необычайного...

Совсем близко, на чердаке сарая, грохнул выстрел. За ним другой. И тотчас же далеко, уже за брандмауэром, кто-то простонал. Затем опять все стихло.

Прошло каких-нибудь пять минут. В узком проходе, ведущем с внутреннего двора к моему посту, послышались быстрые шаги. Под ногами идущего похрустывали льдинки. Я отскочил в угол и приготовился стрелять... Как только тень человека показалась из-за стены, я срывающимся голосом крикнул:

— Стой!

— Жив, Манджура? — с тревогой в голосе спросил Полевой. — У тебя все в порядке?

— В порядке! — хрипло ответил я и тут же сообразил, что допустил ошибку, не спросив у Полевого пароль.

Полевой вплотную подошел ко мне. Он тяжело дышал и был без шапки.

— Никто не пробегал здесь?

— Никто. Вот за сараем стонал кто-то, и стреляли на чердаке...

— Это я и сам знаю. А вот здесь, — Полевой показал наганом в сторону огородов, — ничего не замечал?

— Ничего.

— Очень странно! Как же он пробрался?

— А кто там стрелял? — спросил я.

— Смотри, Манджура, очень внимательно наблюдай за всем. Сейчас особенно. В случае чего — пали без разговоров. Понял? Уже немного до света осталось. Я к тебе скоро опять наведаюсь. — И Полевой быстро ушел обратно, во внутренний двор.

Через два часа, когда уже совсем рассвело, я узнал от хлопцев, собравшихся в теплом караульном помещении, о том, что произошло этой тревожной ночью.

В то время как продуваемые холодным ветром, который несся с полей и с отрогов Карпатских гор, часовые наружных постов коченели от холода, Саша чувствовал себя куда лучше. Огражденный от ветра стенами дворовых сараев и главного здания, он важно прогуливался в блестящих калошах по внутреннему двору. Электрические лампочки, подвешенные на углах штаба, освещали сухой и гладко вымощенный квадрат двора.

Но вскоре у Бобыря заболели ноги. Он взобрался на деревянное крылечко и присел там в тени, скрытый от света балкончиком.

Бобырь клялся и божился Полевому и нам, что сидел он недолго, каких-нибудь пять минут, но, конечно, ему никто не поверил. Должно быть, Саша вздремнул малость на крыльце.

Спускаясь обратно, на каменные плиты двора, Саша уловил позади себя едва различимый шорох. Он обернулся... и замер.

Вверху перелезал через перила чердачного балкончика, по-видимому, желая соскользнуть по столбу во двор, неизвестный человек. Как он попал туда, на крышу, оставалось тайной.

Надо было, не дожидаясь, с ходу палить в этого непрошеного гостя. Надо было повалить его пулей там же, на балкóнчике. Но Саша сплоховал и дрогнувшим голосом крикнул:

— Что вам нужно?.. Стой!.. Стой!..

Неизвестный сразу нырнул обратно в узенькие дверцы, ведущие в глубь чердака. Его еще можно было достать пулей. Тут Саша вспомнил о винтовке. Он приложился к прикладу и хотел выстрелить, но спусковой крючок подался до отказа, а выстрела не последовало: встав на пост, Бобырь позабыл снять предохранитель с затвора винтовки... Услышав крик Бобыря, заколотил прикладом в дверь караулки Маремуха, охранявший погреб с боеприпасами, засвистел на Кишиневской Коломеец.

— Там... там... там стоял бандит! — захлебываясь, без устали бубнил Саша выскочившим во двор коммунарам и Полевому.

Комсомольцы мигом подставили лестницу, и первым вскарабкался на крышу Полевой. Спеша перехватить бандита и опасаясь засады, Полевой промчался по крыше до крайнего слухового окна и прыгнул через него внутрь.

Очутившись под стропилами крыши, Полевой заметил, что где-то вдали, в густой темноте, виднеется едва различимый свет. Там был пролом. В него протискивался человек. Полевой дважды выстрелил. Неизвестный застонал, но вырвался наружу и загромыхал по соседней крыше жилого дома.

Полевой приказал двум подоспевшим коммунарам догонять неизвестного по крышам, а сам, спрыгнув обратно во двор, проверил мой пост и послал еще трех комсомольцев осмотреть все прилегающие к штабу дворы и оцепить выходящий на Кишиневскую Тринитарский переулок. Но бандиту удалось выскользнуть, прежде чем наш патруль добежал до Тринитарского переулка. Выскочив из пролома на крышу соседнего с ЧОНом дома, в котором жили студенты химического техникума, неизвестный, не раздумывая, спрыгнул сверху на большую кучу навоза в саду общежития и через дыру в заборе убежал в переулок.

Должно быть, перерезав Тринитарский переулок, он махнул через дворы к Рыночной площади. Путь этот был труден, особенно для раненого: ему пришлось бы перелезать несколько раз через заборы, пробираться сквозь разделяющую дворы колючую проволоку и, наконец, выбежать на освещенную Рыночную площадь.

Там же, около главного бакалейного магазина Церабкоопа, сидел с дробовиком в руках закутанный в овчинный тулуп сторож. Может, он спал, этот сторож? Вряд ли! Сторож клялся и божился, что не спал. За каких-нибудь десять минут до случившегося жена сторожа принесла ему на ужин горячую гречневую кашу с гуляшом.

Эта недоеденная сторожем каша в глиняном горшочке была еще горяча, когда его стали спрашивать подбежавшие коммунары.

Трудно было предположить, что раненый так ловко сумел пересечь Рыночную площадь, что сторож — старый, бывалый солдат — его не заметил.

И все-таки путь неизвестного вел как раз к Рыночной площади!

Колючая проволока, оплетавшая двор красного кирпичного дома уже по другую сторону Тринитарского переулка, была раздвинута. На одной ее колючке остался клок желтоватого английского сукна, вырванный из одежды пролезавшего здесь впопыхах человека. Это защитное военное сукно не было редкостью в нашем пограничном городе: в такие шинели английского сукна были одеты все петлюровцы, снабжавшиеся в годы гражданской войны Англией и Францией, а когда петлюровцы убежали за границу, их склады частично разобрало местное население. Кроме этого клочка защитного английского сукна на проволоке, никаких больше следов неизвестного не было.

Чуть подальше, уже на крыльце кирпичного дома, в котором жили работники окружного отдела народного образования, было обнаружено пятно запекшейся крови.

Один из немногих счастливцев, кому было разрешено покинуть караульное помещение и участвовать в преследовании бандита, бывший беспризорник, а теперь фабзавучник Фурман, увидев на крыльце кровяное пятно, очень обрадовался. Фурман решил было, что это кровь бандита, но одна из жилиц кирпичного дома, жена заведующего окружным наробразом, сказала, что это она в пятницу резала здесь, на крыльце, курицу. Неудачливый следопыт Фурман сразу скис и поплелся дальше.

Оставалось предположить, что бандит вырвался на

освещенную Рыночную площадь, незаметно проскочил под самым носом у зазевавшегося сторожа в тулупе, подался через мост в Старый город, а оттуда — либо к польской, либо к румынской границе.

На чердаке сарая в ЧОНе диверсант обронил связку бикфордова шнура с запалом. По-видимому, он хотел сперва снять часового, а затем подобраться к погребу со взрывчаткой и подорвать его со всем штабом. Выйдя на балкончик сарая и не обнаружив внутри двора часового, бандит решил, что тот заснул. Худо бы пришлось Бобырю, если бы он не вышел из укрытия и не обернулся! Ведь получилось так, что Саша стоял на своем посту как бы безоружный.

ЧИСТИМ КАРТОШКУ

Смененный с поста, Саша Бобырь лег на топчан, притворившись спящим. Никто не спал в караульном помещении после событий тревожной ночи. Комсомольцы наперебой рассказывали друг другу, что произошло, строили всяческие предположения. Маленький сухощавый Фурман уже в который раз доказывал, что, несомненно, бандит успел где-то в саду переодеться в женское платье и так, под видом женщины, прошмыгнуть через Рыночную площадь на Подзамче. Один только Бобырь не принимал участия в разговорах.

Хлопцы рассказали, что Никита Коломеец, прибежав во двор, начал «прорабатывать» Бобыря. Сашка, слушая упреки секретаря, попробовал было оправдаться, и тогда Коломеец прямо отрезал ему:

— Эх ты, трус! Вот кто ты! Растерялся? Не ожидал? Не думал?.. А если на тебя все эти чемберлены, керзоны да пилсудчики бомбы начнут швырять с аэроплана? Ты тоже растеряешься, будешь кричать: «Господа! Что вам нужно? Стой! Стой!..» Разиня ты, а не комсомолец!

Внушение Коломейца подействовало, должно быть, очень здорово. Сашка не придумал ничего лучшего, как сказаться больным. Он лежал на топчане, укрывшись с головой желтоватым пальто фасона реглан. Ему было очень стыдно за сегодняшнюю ночь. А кому не было бы стыдно на его месте?.. «Болеть» Сашка начал так: войдя в караулку, он пожаловался на слабость в ногах

и сказал, что у него страшно болит голова. Потом перед глазами у него будто начали проплывать какие-то желтые круги.

Вот и сейчас, прислушиваясь к нашему возбужденному разговору, Сашка время от времени делал вид, что его пробирает лихорадка. Он постукивал зубами, дрыгал ногой и при этом жалобно стонал. Вернее, даже не стонал, а скулил, как щенок, выброшенный ночью на мороз из теплой хаты. Видно было, ему ужасно хотелось заболеть и на самом деле. Много бы дал Саша, чтобы прицепилась к нему хоть какая-нибудь скарлатина или, скажем, испанка. Тогда бы все его жалели, не смеялись над ним и считали бы, что Бобырь растерялся по болезни. Но Сашка был здоров как конь, мы это знали и прекрасно понимали его настроение.

Со двора в караулку вошел Коломеец. В руке он держал задымленный чугунок.

— Молодые люди, — сказал секретарь шутливо, — несмотря на серьезные события нынешней ночи, природа требует своего. Я не ошибусь, если скажу, что всем нам хочется есть. Короче говоря, за печкой лежит картошка. Мы начистим ее побольше в данный чугунок, представим себе мысленно запах поджариваемых шкварок, и вскоре у нас будет скромная, но сытная еда. Кто против?

Против не оказалось никого.

— Кто за? — спросил Коломеец.

Все, кроме Бобыря, единодушно подняли руки.

— Большинство! Сеньорен-конвент окончен! — весело сказал Коломеец и, подходя к Сашке, решительно сорвал с него пальто. — Довольно спать, Сашок, давно малиновки звенят! А ну, картошку чистить!

— Я не могу... Мне очень нездоровится, — заныл Бобырь.

— Сашенька, дорогой ты наш и единственный товарищ Бобырь! — нараспев, очень нежно и подмигивая нам, сказал Коломеец. — Все мы знаем, что ты болен, тяжело и серьезно болен, все мы отлично знаем, какова причина твоей болезни, но тем не менее все мы просим не изображать здесь мировую скорбь и желаем твоего скорейшего выздоровления. Ты не имеешь права попадать в плен чуждой нам меланхолии. Дорогой Сашенька, — вставая в позу оратора, продолжал Ники-

та, — мы искренне и убедительно просим тебя выздороветь от уныния и чистить картошку, ибо рано или поздно ты сам проголодаешься, а кто не работает — тот не ест... Что же касается истинной причины твоего недуга, то не горюй, Сашок, и не особенно сердись на меня за те резкие слова, что были брошены тебе сгоряча за пределами данного особняка. И на старушку бывает прорушка! Все мы еще молоды, все мы делаем ошибки и все, кроме заядлых, безнадежных идиотов, становимся от этого мудрее. Зачем же, спрашивается, грустить и скорбью портить самому себе такие драгоценные нервы?

Все мы едва удерживались от смеха, слушая речь Никиты Коломейца, и старались понять, где он шутит, где говорит серьезно.

Бобырь попытался было еще притворяться, схватился за голову, потер красное веснушчатое лицо, но потом, поеживаясь, сел на лавку.

Коломеец вытащил из-за печки мешок с картофелем и, швырнув его на середину караулки, сказал:

— Хозяин просит дорогих гостей пожаловать к обеду!

Мы принялись хватать шершавые картофелины.

Замелькали в руках перочинные ножики, сапожные лезвия с обмотанными шпагатом ручками, а Фурман вытащил настоящую «финку», насаженную на рог молодого оленя: она сохранилась у него еще с беспризорных времен. Эту главную свою драгоценность Фурман в будни хранил в зеленом сундучке под кроватью и брал с собой только в караулы. Он хвастал, что с этой «финкой» ему не страшен никакой бандит.

На пол возле печурки Коломеец подстелил старый номер газеты. Скоро витые стружки картофеля, соскальзывая с ножей, с легким шелестом посыпались на газетный лист.

— Кто же все-таки это был? — посапывая, спросил Маремуха, все еще потрясенный появлением неизвестного на крыше сарая.

— Наивный вопрос! — сказал, ухмыльнувшись, Коломеец. — Будто ты из женского епархиального училища вышел. Ясно, кто... Помните, осенью было в газетах напечатано, что где-то там, возле финской границы, наши пограничники хлопнули какого-то бывалого

шпиона? А здесь тоже граница, и нужно быть начеку...

Петро снова спросил:

— И чего им надо, всем этим шпионам? Что они здесь оставили?

— О брат, оставили они здесь много! Тебе даже и не снилось, что они здесь оставили! — уже серьезно сказал Никита. — Почти весь Донбасс при царе был в их руках. А Криворожье, а железная руда? Быть может, вам придется после окончания школы побывать в тех краях. Прислушайтесь к старым названиям заводов: Провиданс, Дюмо, Бальфур... Это все английские да французские названия. Миллиарды рубликов там буржуи заграничные потеряли. Что говорить, Советская власть им крепко на мозоли наступила! Вы думаете, зря они Деникина, да Врангеля, да Петлюру снаряжали? Думали, вернут им эти бандиты все потерянное. Денег не жалели. И все в трубу вылетело...

Открылась дверь, и в караулку вошел Полевой.

— Какие новости?

— Пока никаких. Ушел, как под землю... Пищу готовите? — спросил Полевой, поглядывая на мешок с картошкой. — К вам просьба, ребята, — сказал он, стаскивая ватную куртку, — когда поспеет картошка, оставьте и на мою долю. А я немного посплю... Будешь за меня караульным начальником, Коломеец.

— Есть остаться караульным начальником, товарищ Полевой! — отрапортовал Никита, вставая.

Наш директор кивнул головой и лег на топчан. Но не успел он вытянуться, как на дворе засвистали, вызывая караульного начальника. Полевой вскочил, но Коломеец, хватая винтовку, сказал:

— Лежите, отдыхайте. Новый караульный начальник уже приступил к исполнению своих обязанностей! — и с этими словами выбежал во двор.

Мы бросили чистить картошку и стали прислушиваться к разговору там, за дверью.

Прислушивался и Полевой. Его загорелое сухощавое лицо с пробивающейся редкой щетиной было серьезным и напряженным.

Всего несколько минут назад Полевой проводил со двора уполномоченного погранотряда ГПУ Вуковича. От комсомольцев окружного отдела ГПУ мы знали, что

Вуковичу обычно поручались самые сложные и запутанные дела. Наш директор показал Вуковичу, где впервые заметил бандита Бобырь и как бандит подбирался к штабу ЧОНа. По тому, как внимательно слушал нашего директора этот высокий светловолосый чекист в пограничной зеленой фуражке с лакированным козырьком, мы поняли, что он, Вукович, очень считается с мнением Полевого. Он расспрашивал Полевого тихо, спокойно. Много бы дал любой из нас, издали следивших за его движениями, если бы Вукович поделился с нами своими предположениями.

Вдвоем с Полевым они долго сидели на чердаке сарая и, надо полагать, осмотрели каждый вершок пыльного и глинистого чердачного настила. Потом, следуя по пути бежавшего, они вылезли в пролом, спустились по лестнице, которую перетащил туда Фурман, с крыши общежития химического техникума в садик и так, шаг за шагом, прошли по следам бандита до самой Рыночной площади.

Вукович долго расспрашивал там о чем-то закутанного в овчину сторожа Церабкоопа и потом вернулся к штабу ЧОНа, где они с Полевым расстались.

— Крепко ему придется теперь мозгами шевелить! — сказал после ухода Вуковича Коломеец. — На бюро окружкома партии будут обсуждать этот вопрос. Будут ответ держать чекисты, как они допустили, что диверсант к штабу ЧОНа подобрался да и пропал бесследно. Сам Картамышев выясняет, что и как...

Сейчас, слушая голоса во дворе, мы было подумали, что Вукович возвратился снова. Полевой не выдержал, набросил на плечи куртку и шагнул к двери. Но не успел он дотронуться до дверной ручки, как дверь раскрылась: со двора возвратился Никита Коломеец.

Он был взволнован, и по тому, как шумно поставил в пирамиду винтовку, мы поняли, что там, у ворот, произошел какой-то разговор, рассердивший нашего секретаря.

— Что там? — спросил Полевой.

Усаживаясь чистить картошку, Коломеец нехотя проронил:

— Явление паршивой овцы, притом не имеющей отношения к несению караульной службы!

— А все-таки! Говори яснее! — строго сказал Полевой.

— Приходил Тиктор. Видите ли, ему захотелось совместно со всеми комсомольцами нести охрану ЧОНа. Говорит: только сейчас узнал, что ячейка в наряде. Прикидывается христосиком, а от самого перегаром несет, как от самогонного куба! — сказал раздраженно Никита, толстым слоем срезая кожуру с большой картофелины.

— Ну, а дальше? — не отставал Полевой.

— Дальше я сказал Тиктору, что мы обойдемся без его услуг, а разговор о его поведении продолжим позже.

— Как у него хватило наглости смотреть тебе в глаза? — сказал, укладываясь, Полевой. — Вы окажетесь гнилыми либералами, хлопцы, если простите Тиктору эту ночь!

Но и без этого замечания Полевого каждый из нас, кто находился в карауле, прекрасно понимал: Коломеец не забудет, что Яшка Тиктор из-за пьянства не явился на чоновскую тревогу.

НЕПРОШЕНЫЙ ГОСТЬ

Сколько раз на комсомольских собраниях, в общежитиях, на работе в цехах фабзавуча Никита говорил нам:

— Ведите себя, хлопцы, хорошо! Помните: на вас смотрит весь город, вы — рабочие подростки, авангард здешней молодежи, верная смена партии.

Коломеец говорил это неспроста. В те годы в маленьком нашем городке рабочей молодежи было мало: несколько подростков в местной типографии, два ученика на электростанции, пять молодых железнодорожников на вокзале да восемь учеников на соседнем с нашей школой заводе «Мотор», где рабочих-то всего было сто десять человек, хотя этот завод считался самым крупным в округе. Те из молодых рабочих, которые были комсомольцами, зачастую состояли на учете в ячейках учреждений. Мы же, фабзавучники, работали вместе, в одном коллективе, и ячейка наша считалась сильной, крепкой. Мы задавали тон всей городской мо-

лодежи. На всех конференциях молодежи наши делегаты сидели в президиуме, выступали в прениях, и их мнение — мнение представителей большого коллектива рабочей молодежи — было всегда весомым.

Помню, осенью прошлого года на городской конференции комсомола попытался выступить один из троцкистских подпевал, сын лавочника из Подзамче. Наши ребята стащили его со сцены и вытолкали из зала на улицу. Он попытался ворваться обратно, да не тут-то было: наши хлопцы не пустили на конференцию этого прохвоста-клеветника.

Страстные и смелые хлопцы входили в нашу комсомольскую ячейку; читали много, мечтали о будущем и превыше всего ставили честность в отношении к труду и к своим товарищам по работе.

Многими из этих качеств были мы обязаны Никите Коломейцу, нашему секретарю и преподавателю политграмоты. Он был для нас и старшим товарищем и добрым другом. Бывало, с нами песни поет, а в деле — строгий и требовательный, спуску не даст.

Очень часто на комсомольских собраниях, когда сплошь и рядом повестка дня состояла из одного вопроса: «Текущий момент и задачи комсомола», — любил Коломеец, показывая на нас, повторять ленинские слова:

— «Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка».

Коломеец лично видел Владимира Ильича осенью 1920 года, будучи делегатом Третьего съезда РКСМ. В нашем общежитии Коломеец собственноручно написал на стене под потолком другие слова Ленина из этой речи:

«Мы должны всякий труд, как бы он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я — часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок».

И всякий раз поутру, когда очень хотелось спать, мы, натягивая на себя грязные, пропахшие гарью наши спецовки, невольно читали эти слова, написанные

размашистым почерком Коломейца, вдумывались в них, запоминали их и шли с ними на работу, в наш любимый фабзавуч.

В то время один за другим задымили у нас в стране заводы. Стали открываться фабрично-заводские училища, чтобы готовить смену старым мастерам. Тысячи молодых ребят из рабочих семей пошли в эти школы, желая со временем стать токарями, слесарями, литейщиками, кузнецами и фрезеровщиками.

Но хорошо было молодежи, живущей в больших промышленных центрах. Значительно труднее было в маленьких городах. Взять, к примеру, нас: слух о новых школах — фабзавучах — прошел еще в двадцать третьем году, и, конечно, первыми захотели учиться ремеслу воспитанники городского детского дома, родители которых погибли в гражданскую войну; но ни одной школы ФЗУ не то что в нашем пограничном городке, но даже в целом округе долгое время не появлялось. Многие хлопцы собирались уже переезжать в другие города...

Можно ли было надеяться, что школа ФЗУ будет основана при маленьком заводе «Мотор», который изготовлял соломорезки для крестьян и вовсе не собирался расширяться! Новые рабочие ему пока не были нужны — своих ста десяти человек вполне хватало.

Но вот Никита Коломеец, Дмитрий Панченко и другие члены бюро окружкома комсомола задумали открыть у нас фабзавуч. Больше всех хлопотал об этом Коломеец. В свободное от занятий в совпартшколе время он бегал в окружной комитет партии, в окрпрофобр, наробраз, вел переговоры со старыми мастеровыми завода «Мотор», заранее прикидывая, кто из них сможет быть инструктором будущего ФЗУ.

В окружкоме партии комсомольцев поддержали. Никита Коломеец и другие активисты сумели доказать, что школа-мастерская быстро возместит расходы, понесенные на ее организацию. На Больничной площади, рядом с заводом «Мотор», пустовал большой полуразрушенный дом; до революции в нем помещалась еврейская религиозная школа — «талмуд-тора». Дом этот и прилегающие пустые постройки закрепили за фабзавучем. В полное распоряжение новой школы передали бесхозные токарные станки: в одном только бывшем

винокуренном заводе Коломеец обнаружил их свыше десятка. То-то ликовали ребята, когда узнали, что смогут получить производственную квалификацию, не уезжая из родного города.

В горячем цехе учил нас формовке и заливке опытный инструктор, самый лучший из литейщиков «Мотора» — Козакевич. Довольно быстро под его руководством я уже мог самостоятельно формовать буксы для телег, шестереночки к сепараторам и даже один раз, практики ради, заформовал и отлил бюст австрийского императора Франца-Иосифа по модели, найденной мною после половодья на берегу реки Смотрич, под крепостным мостом. Правда, бакенбарды и усы у императора не вышли, медь не доползла до кончика носа, но все-таки бюстик наделал мне хлопот! Яшка Тиктор воспользовался случаем и назвал меня «монархистом» за то, что я-де «фабрикую изображения тиранов». Обвинение было настолько вздорным, что Коломеец на ячейке этого вопроса поставить не захотел, но все же, избегая лишних разговоров, я пустил курносого монарха на переплавку.

Успевали в своих цехах и мои приятели. Маремуха точил рукоятки для соломорезок и серпов. Из-под его рук на маленьком токарном станочке выходили и прекрасные шашки: прямо развинчивай суппорт, разделяй их и клади на доску играть. Саша Бобырь целыми днями копошился около моторов и прибегал к нам только в часы отливок — наблюдать, как рождаются болванки для поршневых колец.

Так мы учились и мечтали, окончив через полгода школу, поехать на заводы в большие промышленные города.

Все было бы отлично, если бы в наш город из Харькова вдруг не прибыл новый заведующий окружным отделом народного образования Печерица.

Не прошло и месяца со дня его приезда, как по фабзавучу загуляла новая поговорка: «Не было печали, так Печерицу прислали!»

Осматривая школы города, Печерица появился и у нас в фабзавуче.

Накануне была отливка. Мы загружали залитые опоки, выстукивали из них набойками сухой песок, пересеивали его на решетках, сбивали зубилами и молот-

ками окалину с теплых еще, только что отлитых маховиков. В цехе было пыльно и жарко.

В шуме и грохоте мы не заметили, как в литейной появился низенький усатый человек в брюках галифе, высоких желтых сапогах и простенькой полотняной сорочке с вышивкой во всю грудь. Удивительные усы были у этого человека — рыжие, пушистые, свисающие вниз.

Окинув нас небрежным взглядом, но не поздоровавшись, усач прошел в шишельную и потрогал пальцем блестящую крашеную модель букс. Он поглядел, прищурившись, на дыру от снаряда в потолке и мимоходом ударил ногой по чугунному маховику, как бы проверяя его прочность. Вороненый маховик загудел и покачнулся. Человек с усами придержал его и, так и не сказав никому ни слова, зажимая под мышкой ярко-желтый портфель, хозяйской походкой вышел из литейной на Больничную площадь.

— В следующий раз никого не пускать сюда без моего разрешения. Шатаются здесь всякие посторонние, а потом, глядишь, и модели сопрут, — узнав об этом посещении, распорядился наш инструктор Козакевич.

Больше всего в жизни Козакевич боялся, как бы у него не утащили модели шестеренок, выточенные из столетнего ясеня. Он одолжил их на своей старой работе, на заводе «Мотор».

...Двумя часами позже у нас в классе шли занятия по обществоведению. Коломеец рассказывал о государственном устройстве страны и, по ходу занятий, читал вслух статью на эту тему из газеты «Молодой ленинец».

Открылась дверь, и в класс вошел тот самый человек, что сегодня утром побывал в литейном. Думая, что он хочет через класс пройти в канцелярию школы, Коломеец, не обращая на него внимания, продолжал громко читать статью.

Тогда усач подошел к доске и, широко раздвинув ноги, сказал Коломейцу:

— Когда в класс входит ваш руководитель, вы обязаны доложить ему, чем занимаетесь.

Никита не растерялся.

— Если в класс входит руководитель, то он прежде

всего здоровается... Что же касается вашего посещения, то я вас не знаю.

Уклоняясь от прямого ответа, усач сказал:

— Почему вы преподаете по-русски?

— Я не преподаю, а читаю статью из русской газеты, и меня все отлично понимают.

— А разве вы не знаете, что преподавание на Украине должно вестись исключительно на украинском языке?

— Повторяю вам: я не преподаю, а читаю газетную статью.

— На Украине живут украинцы...

— Однако известно, что в городах Украины есть еще и русские. И я не вижу особого греха, если сейчас читаю по-русски: меня все понимают. Приходите к нам завтра — вы услышите, как мы будем читать статьи из газеты «Вісті» на украинском языке. Милости прошу!

— Бросьте философствовать! Молоды еще! Прежде чем преподавать, вам надо выучить государственный язык...

— А вам прежде всего надо назвать себя, а потом делать замечания и отрывать меня и товарищей от занятий! — уже волнуясь, на чистейшем украинском языке сказал Никита, словно бы желая доказать наглядно, что он им отлично владеет.

— Может, вы еще, молодой человек, попросите меня удалиться из класса? — ехидно улыбаясь, спросил усач.

— Да, попрошу! — неожиданно закричал Никита. — Вы прицепились ко мне, как репьях до кожуха, только потому, что я разговаривал с ребятами на языке, которым писал Владимир Ильич Ленин. Вот в чем вся загвоздка... Слушайте, вы! Либо вы скажете, кто вы такой, либо мы все вместе покажем вам самую короткую дорогу отсюда! — И покрасневший Коломеец кивнул на окно.

— Боюсь, что вам очень скоро придется просить у меня прощения! — зловеще сказал усач и, гордо встряхнув рыжей шевелюрой, вышел из класса.

— Так будет вернее! — крикнул ему вдогонку Никита и уже совсем другим, спокойным тоном стал читать статью.

Оказалось, это и был знаменитый Печерица.

За несколько дней до него у нас в фабзавуче побывал Картамышев. Секретарь окружного комитета партии обошел цехи, все осмотрел хозяйским глазом: он долго разговаривал с фабзавучниками, поругал мастера за то, что в горячем цехе нет бачков с кипяченой водой и рукавицы у хлопцев рваные, а потом появился в литейной.

Тут он распорядился, чтобы до осенних дождей заделали дыру от снаряда в потолке.

Монька Гузарчик в тот день болел и оставался в общежитии. Он рассказывал нам, что после осмотра фабзавуча Картамышев пошел и туда, видно, желая собственными глазами убедиться не только в том, как мы получаем квалификацию, но и в каких условиях живем. Он потребовал у повара раскладку продуктов, отпускаемых для нашего питания, и основательно распек директора общежития за то, что мы укрываемся довольно худыми, потрепанными одеялами без второй простыни.

Мы уважали его и произносили его фамилию — Картамышев — как-то особенно, с любовью. А вот Печерица сразу пришелся нам не по душе...

На следующий день Нестора Варнаевича вызвали срочно в наробраз.

Печерица категорически потребовал, чтобы Полевой уволил Никиту Коломейца из школы. Усач кричал, что Коломеец «подорвал его авторитет». Что там было между ними, подробно мы не знали, но в окружкоме комсомола Фурман проведал, что якобы в ответ на эти слова Полевой отрезал: «Авторитет настоящего большевика подорвать никто не может. Авторитет большевик завоевывает своим собственным поведением». А на упрек Печерицы: «Как жаль, что вы забываете свою национальность» — наш директор ответил: «Я прежде всего коммунист, советский человек, а уж потом — украинец!» И хотя сражение было выиграно, все понимали, что Печерица затаит злобу на фабзавучников.

Сразу же после приезда Печерица стал очень заметен в нашем маленьком и тихом городе. Часто, направляясь в районы, он проезжал по крутым городским улицам в своем высоком желтом кабриолете, запряженном парой сытых вороных коней. Закутанный в серый

брезентовый пыльник со свисающим за спину капюшоном, Печерица сверху разглядывал прохожих и небрежно кивал головой в ответ на поклоны знакомых учителей.

Скоро в городе стало известно, что новый заведующий наробразом — большой любитель пения. Несколько вечеров подряд Печерица собирал в большом гимнастическом зале все хоровые студенческие и школьные кружки и разучивал с ними песни. Немного погодя он выступил со своим хором в городском театре на торжественном заседании. Парубки стояли полукругом в смушковых, барашковых шапках, в сорочках с вышитыми воротниками, в синих шароварах, вобранных в сапоги с высокими голенищами. Девчата заплели в косы разноцветные ленты. Их блузки тоже были расшиты узорами, на юбках надеты пестрые плахты.

Освещенные рефлекторами хористы и хористки занимали всю глубокую сцену театра.

Мы, фабзавучники, во время заседания сидели на галерке. Когда после перерыва подняли занавес и мы увидели в настороженной тишине зрительного зала нарядных хористов, никто из нас не подумал бы, что огромным этим хором отважится дирижировать Печерица. Как-то это не вязалось с его замашками.

Но он, продержав несколько секунд застывших на месте хористов перед публикой, уверенными, размашистыми шагами прошел к рампе, резко тряхнул рыжей шевелюрой и объявил:

— «Вічний революціонер» — песня Ивана Франка!

Кто-то из публики кашлянул в последний раз, чтобы потом не мешать, и в зале сделалось совсем тихо.

Печерица, повернувшись спиной к публике, стал на цыпочках и, выдернув из-за голенища хлыстик, отрывисто взмахнул им над головой. Тишина как бы разорвалась: молодые, сильные, звонкие голоса начали песню так уверенно, что мы сразу заслушались. Хористы то затихали по знаку хлыстика, и тогда только один запевала продолжал песню; то вдруг вступали басы — как на подбор, высокие, рослые парубки, поставленные отдельно, и тогда глухой, но приятный рокот прокатывался по залу; то вдруг звеняще вступали дисканты — сотня девичьих голосов подхватывала мелодию. В зале стано-

вилось будто светлее, хотелось вскочить и петь вместе с хором.

А перед хористами, то подымаясь на цыпочки, то приседая, то раскачиваясь в такт мелодии, уверенно возвышался на каком-то ящике тот самый Печерица, которого так смело выгнал из класса Никита Коломеец.

Печерица ловко дирижировал! Он крепко держал в руках весь этот многоголосый, так недавно собранный хор. И, слушая, как поют студенты, наблюдая, как ловко управляет ими этот усач, я чувствовал, что он мне начинает нравиться.

Потом хористы запели «Зажурились галичанки». Мелодия шла быстро. Печерица здесь особенно усердствовал, размахивая хлыстиком, как хороший конник саблей на рубке лозы. Зал слушал быструю походную песню о галичанках, которые опечалены отходом «сичовых стрельцов» на Украину и тем, что некому уж будет целовать их «в малиновые уста, в карие оченята да в черные брови», а я мучительно припоминал, где я мог слышать раньше эту мелодию и эти слова.

Песня была новой, чужой и неожиданной для наших советских времен. В те годы рабочая молодежь пела «Карманьолу», «Паровоз», «Мы сами копали могилу себе», «Все пушки, пушки грохотали», «Ой, на горі та женці жнуть», «Туман яром котится», а тут — здравствуйте! — Печерица откопал где-то игривую песенку о малиновых устах опечаленных галичанок. И только когда хор затянул последний куплет, я вспомнил, что с этой песней в 1918 году шагали вместе с австрияками по крепостному мосту одетые во все серое «украинские сичовые стрельцы», или «усусусы», как они себя называли. Их не отличить было по форме от австрийских офицеров, да и бесчинствовали они так же, как и их хозяева: мельницу Орловского под скалой распотрошили, разграбили крестьянское зерно и вывезли его в Австрию, в то время как население нашего города голодало. И, слушая эту песенку «сичовых стрельцов», я, признаться, тогда еще не понимал, зачем было хору петь ее в наши советские времена.

Но, словно подслушав мои сомнения и желая развеять их, хор, руководимый Печерицей, пропел «Заповіт» Тараса Шевченко, а потом такой знакомый и дорогой всем нам «Интернационал». Пением «Интернационала»

и «Молодой гвардии» мы кончали решительно все наши собрания. Но одно дело было, когда мы пели гимн мирового пролетариата у себя в ячейке или в комсомольском клубе дрожащими, неокрепшими голосами, и совсем иначе, мощно прозвучал «Интернационал» в исполнении огромного хора. Мне уже показалось в тот вечер, что Коломеец поступил неправильно, выгнав Печерицу из класса. Неважно, что тот держался грубо, заносчиво и не хотел назвать себя. Зато какой талант!

Однако на следующий день после концерта мне пришлось снова разочароваться в Печерице.

Был у нас преподаватель черчения Максим Яковлевич Назаров. Седенький старичок, техник по профессии, он приехал в наш город из Сормова, что на Волге. Много интересного и нового было для нас в том, что рассказывал Максим Яковлевич о своем родном заводе «Красное Сормово». Немало повидал на своем веку этот старик, работая в таких цехах, где народу больше, чем на сорока заводах, подобных нашему «Мотору». Люди с большим производственным опытом, вроде Назарова, были очень нужны нашему фабзавучу.

На следующий день после концерта Печерица вызвал к себе всех преподавателей и инструкторов фабзавуча для проверки того, как они знают украинский язык. Ясное дело, что приехавший недавно из России к своей дочке — жене пограничника — преподаватель черчения Назаров ни писать, ни говорить по-украински не умел.

Тут же, при всех, Печерица предложил Полевому уволить старика из школы. Всеми силами отстаивал наш директор Назарова, но ничего сделать не смог.

Позже, рассказывая нам о своем визите к Печерице, Полевой говорил:

— «Вы хотите русского рабочего человека, — толкую я Печерице, — заставить насильно отказаться от русского языка и сразу перейти на украинский? А ведь он без году неделя у нас на Украине живет. Дайте ему срок, не принуждайте его ломать свой родной язык и в угоду вам говорить бог знает как. Такими принудительными мерами вы только заставите его возненавидеть украинизацию...»

Но как ни уговаривали Печерицу, он был неумолим.

Он подсовывал всем какой-то строгий циркуляр, в котором безоговорочно было написано, что все педагоги на Украине обязаны учить детей только по-украински.

— Позвольте, но какие у нас дети? Вполне взрослая молодежь. И потом у нас техническая школа! — все еще доказывал, волнуясь, Полевой. — Мы ремесло изучаем.

— Ничего не знаю и знать не хочу, — холодно отвечал Печерица. — Живете на Украине, вот инструкция, прошу подчиняться! Что же касается профиля вашей школы, то это вообще казус. И фабзавуч ваш — это ублюдок, мертворожденный сын дурного отца.

— Придет время, и здесь тоже, как и в Донбассе, вырастут новые заводы, и люди нам спасибо скажут, что мы первыми начали готовить для них кадры! — сказал Полевой.

— Чепуха! — отрезал Печерица. — Никто вам не даст закоптить голубое небо Подолии дымом заводов.

— Посмотрим! — сказал Полевой упрямо и, как рассказал нам Коломеец, даже зубами заскрипел, чтобы не выругаться.

— Смотреть будут другие, а не вы! — оборвал нашего директора усач. — А вам приказываю быть дисциплинированным работником моей системы образования и выполнять без всяких пререканий мои распоряжения.

Пришлось Нестору Варнаевичу уволить Назарова из фабзавуча. На последние гроши из маленькой нашей стипендии мы сообща купили старику на память хорошую готовальню. Фурман прикрепил к ней медную планку и ловко нацарапал надпись: «Горячо любимому нашему преподавателю Максиму Яковлевичу в часы расставания, но не прощания. *Ученики школы ФЗУ*».

Признаться, Максим Яковлевич ничего особенного не потерял от приказа Печерицы. Хороших техников в городе было мало. Назарова немедленно приняли на работу в дорожную контору. Он стал чертить планы дорог, ведущих к границе.

Паровые катки для этих дорог ремонтировали у нас в фабзавуче, и потому Назаров иногда заходил к нам.

Однажды Козакевич, здороваясь с Назаровым, сказал:

— А-а-а! Максим Яковлевич, жертва режима Печерицы? Ну как, он еще до вашей конторы не добрался?

— К нам ему дорога заказана, — сказал Назаров. —

Мы сейчас на военное ведомство работаем. Нашими делами Михаил Васильевич Фрунзе из Москвы интересуется, а ему все равно, на каком языке человек говорит, лишь бы душа у того человека советская была!

Когда вечером, после дежурства в ЧОНе, мы возвращались вместе с Маремухой в общежитие, Петро сказал мне:

— Досадно-таки, Василь, что мы того бандита живым выпустили. Такая промашка! Я боюсь, как бы об этом не проведал Печерица. Узнает — и станет яму рыть под Нестора Варнаевича. Вот, скажет, каких балбесов он воспитал! И пакостить будет Полевому.

— Не бойся, Петрусь! Картамышев Полевого в обиду не даст. Он Полевого еще по совпартшколе знает. Ведь Полевой там секретарем партийной ячейки был. Он старый большевик, рабочий в прошлом... А Бобырь — шляпа, это факт. Представляешь, как здорово было бы, если бы Сашка того диверсанта хлопнул!

— Еще бы! — сказал Маремуха уныло.

УГРОЗЫ ТИКТОРА

После той ночи, когда мы дежурили в ЧОНе, погода изменилась. Третий день падал густой снег, сугробы достигали окон, и каждое утро, прежде чем начать формовку, мы деревянными лопатами расчищали снег с тропинки, ведущей от дороги к литейной.

Сегодня с утра Козакевич поручил мне подготовить шишки для завтрашней формовки.

Я уже принялся за второй лист с шишками, как ко мне подошел Яшка Тиктор. Светлый чуб его развевался в двух шагах от меня. Тиктор присел на корточки и закурил, пуская в дверцы печки синеватый дым. Наблюдая за ним одним глазом, я молчал, понимая, что Яшка хочет заговорить со мной. После того вечера, когда Тиктор не явился на тревогу, он сторонился нас, ни с кем не разговаривал и сразу же после занятий уходил к себе домой, на Цыгановку. Он жил в этом предместье города, недалеко от вокзала, вместе с отцом.

Потянув последний раз цигарку, Яшка швырнул окурок на раскаленные глыбы кокса и, проходя мимо, как бы невзначай бросил:

— Ну-с, товарищ член бюро, когда вы меня судить будете?

— Ты хочешь спросить, когда будет на бюро разбираться твой вопрос?

— Ну, не все ли равно! — промямлил небрежно Яшка и, пододвинув к себе вместо стула жестяную банку с графитом, уселся против меня.

— Если тебя интересует, когда назначено заседание бюро ячейки, могу сказать: в четверг.

— Конечно, вам выгоднее держать в комсомоле сопляков вроде Бобыря, которые даже с винтовкой обращаться не умеют, только за то, что они приятели некоторых членов бюро, и выгонять из организации рабочих-подростков за какую-то случайную ошибку...

Я понял, в чей огород бросает камешки Тиктор.

— Случайная ошибка здесь ни при чем.

— Именно случайная ошибка. Ну, выпил, потом дал по зубам какому-то спекулянту, а вы шум подымаете...

— Не какому-то спекулянту, а твоему заказчику Бортаевскому.

— Почему он мой заказчик? Удивляюсь! — Яшка сделал наивное лицо.

— А чей же он заказчик, мой? Не придуривайся лучше, бюро все известно.

— Что может быть известно, не понимаю! Наябедничал кто-то ради склоки, а вы...

Дальше я сдержаться не мог. Мало того что Яшка не хотел откровенно, как подобает комсомольцу, признать свою вину, он вдобавок еще прикидывался дурачком!

Я сказал строго:

— Бюро известно, Тиктор, что ты в рабочее время формовал детали для частной мастерской Бортаевского, ты продавал их ему, ты...

— Ну и что ж такого? — оправдывался Тиктор. — Я все это своими руками делал, из собственного алюминия и совсем не в рабочее время.

— Неправда! В рабочее время. Ну зачем ты врешь?

— Сам ты врешь! Я оставался после работы, когда ты уходил, и формовал.

— Да? А песок, а инструменты, а модели чьи — разве не государственные? А скажи-ка, что ты делал в тот день, когда Козакевич унес к слесарям переделывать

модель маховика? Помнится мне, ты формовал шестеренку для мотоциклетки.

Припертый к стенке, Тиктор смущенно буркнул:

— Я же тогда в простое был. Это другое дело. Нечего мне было делать, ну и взял ту шестерню. А тебе того императора-кровопийцу можно было формовать? Я тоже учился на этой шестеренке.

— Учился, чтобы потом получать от спекулянта деньги на водку...

— Слушай, ты, — грозно прикрикнул Тиктор, — не пугай меня спекулянтом! Я спекулянтов больше тебя ненавижу. А потом нужно еще доказать, что Бортаевский спекулянт. Он кустарь — это верно, но он мастер и сам работает. А в прошлом в Одессе на заводе имени Октябрьской революции работал. Таких мастеров еще поискать нужно! Кто перебрал мотоцикл для Печерицы? Бортаевский! А ты — «спекулянт»!

— Погоди, Тиктор, — заметил я очень спокойно, — ведь минуту назад ты сам назвал Бортаевского спекулянтом.

— Я?.. Ничего подобного! — возмутился Яшка.

— Как же! Сам ведь сказал, что «дал по зубам какому-то спекулянту». У меня память хорошая. Заврался ты...

— Ты, Манджура, брось, меня не пугай! И на кукан не лови, — окончательно запутавшись и от этого свирепея, закричал Яшка. — Ты, брат, еще зелен со мной так разговаривать. Я чистокровный рабочий. Мне понятно, почему вы все на меня напали, вам завидно, что я лучше вас зарабатываю! Вы бы сами взяли у Бортаевского заказы, но он их вам не даст, и даже без денег, — испортите! Перебиваются кое-как с хлеба на квас на свою стипендию, а если я не хочу нищенствовать, травить меня начинают. Исключайте меня из комсомола! Наплевать мне на вас. Я не карьерист, а рабочий парень!

— Вот теперь я вижу, что тебя обязательно надо исключить из комсомола! — сказал я Тиктору, глядя ему прямо в глаза. — Если ты можешь бросаться такими словами.

— Молодые люди, это что за митинг в рабочее время? — заходя в шишельную, строго спросил Козакевич. — Начистил шишек, Манджура? Вот эти? Пожа-

луй, довольно на сегодня. Теперь так: оденься да лети в фабзавуч. Получишь в кузнице для нас плоские трамбовки.

Разгоряченный спором с Тиктором, не запахивая чумарки, я вышел на улицу.

Было удивительно тихо и снежно. Глаза защемило, как только я взглянул на засыпанные белым глубоким снегом огороды и дворик литейной.

На ветках деревьев лежал пушистый снег. Передо мной пронеслась юркая синица-московка с черным хохолком на голове, задела крылышками веточку клена, и целая груда снега неслышно осыпалась с дерева.

Посредине Больничной площади уже протоптали узенькую тропиночку. Я шел медленно, словно по тесному коридору, и полы моей чумарки сметали снег. Пласты снега лежали на крышах маленьких домиков, окружавших площадь: кустики сирени и жасмина в палисадниках торчали из-под снега, как перевернутые метлы; даже узенькая высокая железная труба над заводом «Мотор» с одного бока была облеплена хлопьями снега.

Хорошо я отрезал Тиктору: «Такого хулигана, как ты, нам не нужно!» Да нет, в самом деле, — нашкодил, замарал звание комсомольца, а сейчас еще протестует, будто все вокруг него виноваты, а он один прав. Будет хорошим, честным парнем — кто ему плохое слово скажет! Ведь мне лично он решительно ничего не сделал: я за организацию болею. Как он понять этого не может! Если он смолоду к жульничеству привыкает, государство обманывает, от масс отрывается, то что же из него позже станет? Ведь советовали ему в прошлом году перестать водиться с Котькой Григоренко. Говорили мы ему с Петром: «Смотри, Яшка, не промахнись! Мы того Котьку еще с детства знаем: его батька ярым петлюровцем был, людей наших выдавал, а у этого сыночка тоже нутро чуждое. Разве он тебе компания?» Послушал нас Тиктор? Где там! Сами, мол, с усами. Что, мол, вы, зеленые, меня учите! В обнимку с Котькой по Почтовке шатались, на свадьбы да на вечеринки к кулацким девкам в соседнее село ходили, а потом этот Котька сбежал за кордон. Видно, большие грехи за ним водились, раз на такое решился. А Тиктор обмишурился: дважды его, комсомольца, вызывали для

серьезного разговора как близкого приятеля Григоренко. Ходил нос повесив, а сейчас опять наново все начинает...

Размышляя так наедине с самим собой посреди огромного снежного простора, я пересек площадь и спустился в кузницу.

Трамбовки еще не были готовы, и в ожидании, пока их откуют, я поднялся в слесарную. Уже начался перерыв, и все разбрелись. Удивительно тихо было в слесарной. У тисков, обсыпанных опилками, никто не стоял. Я направился в красный уголок и там, около витрины со свежей газетой, увидел наших ребят. Прижимая друг друга к деревянной витрине, они с особенным вниманием читали газету «Червоный кордон».

Я протиснулся поближе.

«Мертворожденная школа», — прочел я заглавие статьи и сразу понял, о чем идет речь. В этой статье, подписанной «Д-р Зенон Печерица», говорилось, что директор фабзавуча Полевой саботировал проведение украинизации, долгое время держал у себя в школе педагога, не умевшего разговаривать на украинском языке; когда же педагог был уволен, Полевой организовал сбор денег для приобретения ему ценного подарка. В конце статьи Печерица, между прочим, писал, что само существование школы фабзавуча в нашем маленьком городе, где нет промышленности, является курьезом.

В коридоре послышались гулкие шаги. Это шел из канцелярии Нестор Варнаевич. Был он в своей защитного цвета стеганке, в кепке, сдвинутой на затылок и открывавшей его высокий загорелый лоб. Мы посторонились, давая проход Полевому к щиту с газетой, но он улыбнулся и сказал:

— Читайте, читайте! Я уже отлично знаю, что там написано.

Подбежав к Полевому, Сашка Бобырь неожиданно спросил:

— Нестор Варнаевич, а что значит «де-эр»?

Хлопцы засмеялись. Немного помедлив и скрывая улыбку, Полевой серьезно сказал Бобырю:

— «Де-эр» — это, вероятнее всего, доктор.

— Какой же он доктор, Печерица? —не унимался Бобырь. — Доктора по больницам народ лечат, а этот

хором дирижирует и учителями заведует. Разве такие доктора бывают?

— Разные доктора есть, — сказал Полевой. — Не обязательно только по медицинской части. Печерица — галичанин. А надо вам сказать, в Галиции очень любят щеголять такой степенью: «доктор». Вот в том легионе «галицких сичовых стрельцов», что вместе с австрийцами против русской армии сражался в мировую войну, почти все офицеры себя докторами называли. Среди них всякие доктора бывали: юридических наук, философии, филологии, ветеринарных наук... Может, и Печерица тоже такой доктор, скажем — музыкальных наук.

— Раз галичане вместе с австрияками против нас шли, зачем их сюда пускают? Мало тут здешних подпевал петлюровских осталось! — не унимался Бобырь.

— Не смей говорить так, Бобырь! — воскликнул Полевой. — Никогда не суди о целом народе по его отщепенцам... Галичане — хороший, трудолюбивый, честный народ, родные братья наши. Говорят на том же языке, что и мы, живут на исконной украинской земле.

И Нестор Варнаевич напомнил нам, как совсем недавно, на XIV съезде партии, говорилось, что Версальский договор искромсал ряд государств и только в результате этого наша Украина потеряла Галицию и западную Волынь.

— Уж кто-кто, а я хорошо знаю галичан, — продолжал Полевой. — После захвата Перемышля меня там, в Галиции, тяжело ранило... Армия ушла, а я остался без сознания, один, в поле. Так что же ты думаешь, эти люди меня выдали австрийцам? Ничего подобного! Больше года я пролежал в хате у одного крестьянина, в селе Копысне. До́ктора ко мне тайком из Перемышля привозили, дважды операцию он в простой светлице делал, заботились галичане обо мне, как о родном... Эх, свидеться бы когда-нибудь с этими людьми! Подумать только: маленький Збруч нас от них отделяет. И не вина тех простых тружеников-галичан, что они в чужой неволе очутились и томятся там который уже год.

...Когда мы вышли из фабзавуча и направились в общежитие обедать, очень впечатлительный и души не чаявший в Полевом Маремуха напустился на Сашку:

— Не мог другое время выбрать для расспросов? Видит, человек расстроен, обругали его в газете, обругали ни за что, а он к нему со своими расспросами: «Что такое «де-эр»? Хочешь знать, что такое «де-эр?» «Де-эр» — это такой дурак, как ты!

— Тише ты, не кричи! — оправдываясь, буркнул Саша. — А может, я нарочно, чтобы он не так печалился, хотел его отвлечь! Что? — И, довольно ухмыляясь, Сашка чихнул.

Я помнил, как любили и уважали Полевого курсанты совпартшколы, когда он был у них секретарем партийной ячейки.

Однажды, еще в совпартшкольские времена, Полевой зашел к нам домой. Мы жили во флигеле, возле главного здания. Отца дома не оказалось — он печатал в маленькой типографии школьную газету «Голос курсанта». Полевой увидел на моем столе альбомчик со стихами. Привычка заводить себе такие альбомы к нам, ученикам трудшколы, перешла от гимназистов. Девочки-одноклассницы наклеивали в альбом картинки, рисовали от руки всякие цветочки — нарциссы да тюльпаны, а рядом царапали сердцещипательные стишки о прекрасных розах, белокрылых ангелах, арфах, незабудках и прочих пережитках старого мира.

Совестно теперь признаться, но такой альбомчик был и у меня.

Приятели писали в нем стишки с разными пожеланиями. Я обмер, когда Нестор Варнаевич полистал мой альбом, усмехнулся, а потом, присев к столу, взял ручку и написал на чистом листочке.

...Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья! Бурей полный,
Прям и крепок парус мой...

Написал без спросу, встал и, ни слова не сказав, ушел.

Все это меня, помню, очень удивило. Сперва я подумал, что это акростих. Прочел все заглавные буквы сверху вниз — ничего не получилось. Мне понравился

поступок Полевого. Было приятно, что он не гнушается поддерживать отношения с таким пацаном, как я.

Здесь же, в фабзавуче, всякий понимал, что Полевой с виду строгий и грубоватый, но очень доброй души человек. Целые дни он проводил в школе и старался изо всех сил, чтобы из нас вышли опытные рабочие и хорошие люди.

Мы все любили директора. Статья Печерицы ошарашила нас. Хотя Полевой и не показывал виду, что эта статья его хоть сколько-нибудь задела, но мы догадывались, что это только перед нами он держится так спокойно, на самом же деле ему было очень горько.

После обеда, с двумя трамбовками под мышкой, я шел из кузницы к воротам школы. У ворот меня окликнул Никита Коломеец:

— Сегодня после занятий внеочередное бюро.

— Вот хорошо! А меня уже Тиктор спрашивал...

— О Тикторе вряд ли сумеем сегодня поговорить. Есть дело поважнее, — сказал Коломеец.

— Что-нибудь случилось?

— Ты ничего не знаешь?

— Нет... А что?

— Печерица хочет закрыть наш фабзавуч.

— В самом деле?

— Ну, правду говорю!

— А нас куда?

— Кого в кустари, кого на биржу труда, а кого до папы с мамой на семейное иждивение, — криво улыбаясь, сказал Коломеец, и мне даже показалось, что он разыгрывает меня.

— Не может этого быть! Ты шутишь, Никита?

— Да какие могут быть шутки! Приходи, словом, на бюро, — коротко отрезал Коломеец.

ЧТО ЖЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

За все время нашего обучения в школе еще не было у нас такого горячего и бурного заседания бюро, как в тот вечер. Давно погасли огни в окнах соседних домов, давно с грохотом закрылись гофрированные шторы в магазинах Старого города, а мы все еще спорили до

хрипоты, доказывая друг другу, как надо поступить...

А на столе президиума лежал приказ Печерицы о закрытии школы.

Никто не мог примириться с мыслью, что пройдет две недели, и мы, не доучившись полутора месяцев, уйдем отсюда кто куда.

Пока мы спорили, горячились, придумывали, как упросить Печерицу сменить гнев на милость и отменить свой приказ, наш директор и единственный на весь фабзавуч член партии Полевой тихо сидел в темном углу и ничего не говорил. Видно, он хотел нас выслушать, а потом, как партприкрепленный, сказать и свое слово. Наконец, когда все выговорились, Коломеец вопросительно посмотрел на директора.

— Гляжу я на вас, вижу молодые, горячие ваши головы — и не представляю себе, как мы сможем расстаться, — вставая, сказал Полевой дрогнувшим голосом, и мы все притихли так, что сразу стало слышно, как за окном на тротуаре скрипит снег под ногами запоздалого прохожего. — Сдружились мы за это время крепко, и я верю, что из всех вас будет толк. Как член партии, здесь, на бюро комсомольской организации, я могу вам откровенно сказать: все это неверно от начала и до конца. Несправедливо, что вам не дают доучиться каких-нибудь полтора месяца. Неверно, что закрывают фабзавуч. Такое решение противоречит линии партии. Оно противоречит указаниям четырнадцатого съезда партии. Ну хорошо, допустим: пока у нас в округе и в самом деле нет подходящих заводов, куда бы вас смогли направить после окончания учебы. Но ведь такие заводы есть в других городах Украины. Так почему же Печерица не хочет договориться с центром? Он не верит в будущее нашей промышленности — вот в чем дело. Он, видите ли, не хочет, чтобы голубое небо Подолии было закопчено дымом заводов!.. Но ведь без этого мы не сохраним Советскую власть. Если мы не выстроим повсюду новые заводы, мы не только сами погибнем, но и никому из народов, ждущих нашей помощи, не сможем помочь. Это ясно, как дважды два — четыре. Только этот дирижер не хочет понять таких очевидных истин... И чую я определенно, что только националистам на руку тактика Печерицы.

Мы видели таких говорунов в банде Волынца, когда они в конце восемнадцатого нашу советскую Летичевскую республику разгоняли. Тоже все кричали: «Украина—отчизна хлеборобов, и никаких привилегий рабочие тут не должны иметь». Будь в городе Картамышев, я бы сегодня же добился отмены этого приказа. Но Картамышев простудился во время тревоги, у него обострился процесс в легких, и он уехал лечиться в Ялту. За него остался Чучекало, тупой, трусливый человек. Он услышал, что Печерицу прислали сюда из Харькова, и боится его одернуть. Придется мне повоевать с Чучекало. Но мне кажется, что и вам не следовало бы стоять в стороне, пока я буду протестовать здесь, на месте. Почему бы вам не похлопотать в Харькове? Надо бороться нам не только за сохранение нашей школы, надо уже сейчас добывать в Харькове путевки на заводы для нашего первого выпуска. Для каждого из вас. Вы имеете на это полное право.

И мы решили бороться.

Постановили, не теряя времени, тотчас после комсомольского собрания направить делегацию учеников в окружком партии. А меня бюро задумало послать в Харьков, чтобы я обратился в ЦК комсомола.

Чего-чего, а уж этого я не мог предполагать! Когда все хлопцы наперебой стали кричать: «Манджуру надо послать, Манджуру!» — я сидел, слушал и не мог поверить, что называют мою фамилию.

Я стал отказываться, но Никита Коломеец уверенно сказал:

— Ничего, Василь, ничего! Все это пустяки, что ты ни разу еще не ездил поездом, что заблудишься и все такое прочее, несущественное. Язык до Киева доведет. Ну, а Харьков чуть-чуть подальше. Нам ли бояться таких расстояний? Кто знает, может, еще в Берлине или Париже доведется побывать. А ты в Харьков, в наш советский город, боишься ехать! Парень ты в общем смелый, обстрелянный, и мы не сомневаемся — найдешь ходы и выходы. Словом, айда в дальний путь, защищай наши фабзавучные интересы! Умри, а добейся правды! Все.

Заседание бюро было объявлено закрытым.

...Всю дорогу, когда, усталые и разгоряченные после заседания, мы шли из школы к общежитию по тихим и

заснеженным улицам нашего городка, я никак не мог опомниться. Решение о поездке в Харьков обрушилось на меня так внезапно, будто лавина снега, свалившаяся с горы. Радостно и приятно было сознавать доверие друзей, и я в душе поклялся сделать все, чтобы спасти наш фабзавуч.

ВАГОННЫЙ ПОПУТЧИК

Никто не пришел провожать меня на вокзал, даже Маремуха. В этот вечер в школе назначили собрание учащихся. Ждали Печерицу. Приглашали его дважды, он смилостивился и обещал «заглянуть». Каждому хотелось послушать, что скажет усатый бюрократ. Добрая половина фабзавучников готовилась выступать, думали дать ему настоящий бой, потребовать отмены приказа. А поезд уходил в семь часов пятнадцать минут вечера. И я сам сказал хлопцам, чтобы не провожали меня, а лучше сообща наступали на этого бюрократа.

Я простился с Галей и пришел на вокзал за полчаса до отхода поезда. На перрон еще никого не пускали. Ощупывая одной рукой твердый билет в кармане, купленный мне в складчину, а другой сжимая портфель, я шагал по вокзалу и поглядывал на стрелки часов.

Во внутреннем кармане моего пиджака двумя английскими булавками были прочно заколоты сорок три рубля шестьдесят копеек. В обеденный перерыв выдавали стипендию, и большинство из фабзавучников отчислило на поездку по одному рублю — вот откуда набралась такая крупная сумма.

В жизни у меня не было столько денег сразу! Документы были сложены в портфель — его мне почти насильно всучил Никита Коломеец. Он нарочно пошел в окружком комсомола и одолжил портфель у заведующего оргинструкторским отделом Дмитрия Панченко. Я не хотел брать его, опасаясь насмешек, но Никита сказал очень веско:

— Пойми, милый: когда портфель необходимость, ничего страшного в нем нет. Совсем не обязательно, чтобы он был признаком твоего бюрократического перерождения. А где ты будешь без портфеля держать удостоверение, школьную смету, списки учеников?

В карманах? Изомнешь все. Наконец, куда ты спрячешь полотенце, мыло, зубную щетку? Некуда, правда? А все это чудесно укладывается в портфель. Зашел, скажем, к самому заведующему школьным отделом Цека. Будешь из карманов вытаскивать мятые бумажки?.. А с портфелем оно удобнее.

Я отбивался от портфеля изо всех сил, потому что прекрасно знал: тех комсомольцев, которые носят портфели, называют бюрократами и чиновниками. А если еще такой владелец портфеля галстук подвяжет себе на шейку, так и знай — окрестят его чиновником, мещанином, перерожденцем, оторвавшимся от масс. Выходя из общежития, я предварительно обернул портфель старыми газетами и понес его под мышкой, словно картину. Лишь у вокзального палисадника оглянулся и швырнул газеты в канаву.

На вокзале знакомых не было. В буфете дымил самовар, и пожилой буфетчик в белом халате, наброшенном поверх полушубка, разливал кипяток в граненые стаканы. В багажном отделении работники таможни проверяли чемоданы пассажиров — не везут ли те в глубь страны контрабанду.

Я разгуливал по коридорам, несколько раз пересек холодный вестибюль и, разглядывая пассажиров, силился угадать, кто же из них будет моим попутчиком.

Потом вышел на перрон.

Вскоре перрон опустел: пассажиры расселись по вагонам. Лишь дежурный по станции медленно прохаживался по обледенелому асфальту, поглядывая на часы. Но вот он выпрямился, приосанился, сунул часы в карман и звонко ударил три раза в медный колокол.

Я предъявил проводнику билет и с трудом взобрался по крутым ступенькам в теплый, пахнущий курным углем вагон. Пройдя через пустой вагон в самое дальнее купе, устроился у окна.

Показалось, что за деревянной стенкой, в туалетной, кто-то завозился и глухо кашлянул, но я, не придав этому значения, принялся разглядывать уютное, пропахшее табачным дымом купе.

С какой радостью несколько лет назад мы, мальчишки, залезали вот в такие же зеленые вагоны, стоявшие на запасных путях!

Да если бы еще несколько дней назад мне сказали,

что я войду в такой вагон самым заправским пассажиром, я бы этому не поверил.

В предотъезжающей тишине было слышно, как переговариваются два смазчика у багажного пакгауза, потом снова кто-то, на этот раз более явственно, закашлялся в туалетной за стенкой, и наконец в голове состава весело аукнул паровоз.

Так же залихватски кричал он, когда несколько лет назад мы с Петькой Маремухой провожали с этого же вокзала уезжавшего в Киев нашего друга детства Юзика Стародомского, по прозвищу Куница. Как мы завидовали тогда Юзику, что он едет так далеко в поезде! А вот сегодня в дальние края еду я, Василь Манджура!..

...Толчок.

Не отрываясь гляжу в окно, узнаю знакомые места, проселочные дороги — сколько раз приходилось бегать по ним босиком! Окруженный ивами, промелькнул перед глазами пруд свечного завода. Какой он скучный под снегом! И как славно здесь летом! Какие здоровенные раки ловятся у его обрывистых берегов на тухлое мясо да на ободранных лягушек! Половина пруда поросла высоким камышом с коричневыми султанчиками на стройных стеблях...

За спиной громко щелкнула дверь.

Я обернулся.

В двух шагах от меня, с маленьким чемоданчиком в руках, стоял... Печерица.

«Ну, капут! — мигом подумал я. — Печерица все пронюхал, узнал, что я еду жаловаться на него в центр, и решил перебежать дорогу. Ясное дело — он будет сейчас меня запугивать и, пожалуй, прикажет немедленно вернуться в город».

От неожиданности я сперва не заметил, что Печерица сбрил усы. От этого он сразу помолодел и стал с виду не таким задиристым, как раньше. Меня очень удивило, что одет был Печерица не так, как обычно: на нем была старая буденовка со споротой звездой и длинная, до пят, кавалерийская шинель.

У меня не хватало мужества долго глядеть на Печерицу прямо, я сделал вид, что очень внимательно смотрю в окно, и только искоса посматривал в его сторону.

Печерица, оглядевшись, ласково и, самое главное, порусски спросил:

— Далеко едешь, хлопче?

— В Киев, — соврал я, решив ни под каким видом не сознаваться, а про себя подумал: «Вот двурушник! Других увольняет за то, что по-русски разговаривают, а сам не успел в поезд сесть — на русский перешел! Ему можно, а другим нельзя?»

— Значит, мы с тобой попутчики, — спокойно сказал Печерица. Он ловко поднял верхнюю полку и закинул на нее маленький чемоданчик. Попробовав пальцем, не пыльно ли там, наверху, Печерица спросил: — А кто же послал тебя одного в такую дальнюю дорогу?

Заметив, что он больно уж внимательно смотрит на мой портфель, в котором лежало коллективное письмо нашей ячейки, я навалился на портфель и как бы нечаянно прикрыл его локтем:

— Я к тетке еду. У меня тетка в Киеве заболела!

— Теперь все болеют, — охотно согласился Печерица. — Время дрянное — весна близко, а с весенней водой многие люди уходят. Мне вот тоже нездоровится, знобит всего, кашель мучает и ко сну ужасно клонит. — И Печерица закашлялся.

Я понял, что это он кашлял и возился там, за стенкой, до отхода поезда.

Покашляв еще немного, Печерица наклонился ко мне и еще ласковее спросил:

— Ты, юноша, не собираешься еще ложиться?

— Нет, я еще почитаю.

— Слушай, друже, тогда у меня к тебе просьба. На вот тебе мой билет и литер, и если будет ревизия — покажи его. А я лягу сейчас на полку и задам храповицкого. Только пускай меня не будят. В случае чего скажи просто: «Это мой друг, он болен, а его билет у меня». Добре?

— Добре! — согласился я и, приняв от Печерицы обернутый литером твердый билет, запрятал его в карман пиджачка.

Печерица вскарабкался на полку, повернулся лицом к стене и, подложив под голову чемоданчик, быстро заснул, не вынимая руки из кармана длинной шинели...

Так мы и поехали — я и мой «новый друг».

Что говорить, я был даже рад такому обороту дела. Мне было приятно, что я так ловко перехитрил Печерицу. Я думал, что Печерица будет приставать ко мне,

допытываться, не я ли тот самый делегат фабзавучников, которому поручили жаловаться на него в Харькове, а все получилось совсем иначе: тихо, по-семейному. «Куда же он в таком случае, холера, едет?» — думал я, поглядывая на полку, откуда свисал хлястик печерицыной шинели.

Из портфеля я вытащил взятый мною в дорогу интереснейший роман — «Овод» Войнич. Я пообещал самому себе прочесть эту книжку в поезде и даже законспектировать ее, чтобы по приезде выступить на очередном школьном вечере на тему «Что мы нового прочли?».

Такие вечера часто устраивались в нашей комсомольской ячейке. Еще в большей моде были суды. Кого мы не судили только в те времена: и палочку Коха, и соглашателя Вандервельде, и Дон-Кихота, совершенно бесцельно воевавшего с ветряными мельницами, и английского лорда Керзона, который посылал всякие дерзкие ноты и ультиматумы молодой Советской стране!..

...Не читалось.

Мешал стук вагонных колес. Карандаш, которым я делал заметки в блокноте, подпрыгивал. Да и на душе от близкого соседства с Печерицей было не спокойно. Мне очень хотелось взглянуть на литер, но я боялся, что Печерица еще не заснул как следует.

Контролер пришел, когда уже совсем стемнело, за станцией Дунаевцы, и, словно давая знак, чтобы его не будили, Печерица так захрапел в эту минуту, что его храп заглушил голос железнодорожника, требовавшего билет.

Свечей еще не зажигали, и лишь колеблющееся пламя маленького огарка в фонаре бросало тусклый отсвет в мой угол. Контролер вытащил ключ и хотел постучать им о верхнюю полку, чтобы разбудить Печерицу, но я поспешно сказал:

— Не будите его, он больной, а билет его у меня. Вот.

— Больной-больной, а храпит лучше любого здорового, — буркнул контролер, проверяя билеты.

Стоявший сзади проводник, глядя на сапоги Печерицы, удивленно сказал:

— А где же он садился? Не припомню. Мне сдавалось, что в купе один пассажир, вот ты, молодой, а откуда этот взялся?

— Да мы едем от самого начала, — пробормотал я.

— Пересадка в Киеве, — сухо предупредил контролер и отдал мне билеты.

Думая, что наверху прячутся зайцы, он поднял фонарь до самой багажной полки.

Наверху никого не было. Успокоившись, контролер с проводником прошли дальше.

Прислушиваясь к однообразному стуку вагонных колес, я задремал...

— Уже была ревизия? — разбудил меня хриплый голос.

Поезд стоял.

Совсем близко от вагона на столбе зеленоватым светом горел фонарь.

На фоне светлого квадрата окна я видел склоненную ко мне голову Печерицы.

— Была.

— Ну, тогда я еще посплю, а ты, милый, в случае чего покажи им еще раз билеты.

Я молча кивнул головой, глянул на минутку в окно и закрыл глаза.

Было тепло и уютно. Приятно покачивало. Не снимая чумарки, я лег на лавку и, подложив вместо подушки под голову портфель, довольно быстро заснул. Сколько спал — не знаю, но проснулся оттого, что на меня направили луч карманного фонарика.

— Билеты!

— Тут два, мой и соседа... — роясь в карманах, буркнул я. — Вон лежит на верхней полке. Ему нездоровится.

Контролер отвел в сторону луч фонарика и взял билеты. За ним стоял какой-то человек в стеганке и тоже заглядывал в билеты.

— Будить? — тихо спросил контролер и провел лучом фонарика по спине Печерицы, который спал калачиком, поджав под себя ноги.

— Придется, — сказал человек в стеганке, но тут же спохватился: — Хотя постойте, вот же литер! — И, отделив белую длинную бумажку от билетов, он стал пристально разглядывать ее.

Сонный, жмуря глаза, я не понимал, что к чему, и мечтал лишь об одном: чтобы контролеры поскорее ушли.

— Можно не будить, — тихо сказал человек в стеганке, складывая литер и отдавая его контролеру. — Не тот... Пошли дальше.

Контролер вручил мне оба билета, завернутые в литер. Они ушли, и я сразу же заснул, да так крепко, что проснулся уже на какой-то большой станции. По ярко освещенному перрону с грохотом катили тележки; бегали люди с бутылками и чайниками.

Свет вокзальных огней проникал в глубь вагона. Тут я увидел, что верхняя полка пуста: Печерицы на ней не было.

Прижавшись к окну вагона, я прочитал надпись на фасаде станции, под крышей:

ЖМЕРИНКА

Порядком отъехали!

Задевая спросонья ноги спящих пассажиров, я прошел к выходу.

Народу у нас в вагоне прибавилось. Пахло овчинными кожухами и махоркой.

Куда же запропастился Печерица? Может, он в буфет пошел?.. Хорош попутчик! Даже не разбудил меня. И чемоданчик оставить побоялся! Подумал, наверно, что я жулик.

Уже в тамбуре повеяло свежестью морозной ночи. Лужицы на перроне затянуло льдинками. Сбоку, где кончалась перронная крыша, мигали звезды.

У вагона, держа в руке свернутый флажок, расхаживал новый, молодой проводник в кожаной фуражке с путейским значком.

— Долго будем еще стоять, товарищ проводник?

— Ого-го! — сказал проводник весело. — Настоимся еще. Скорый на Одессу должны пропустить.

— На вокзал успею сходить?

— Вполне. Раньше как через час не тронемся.

— А место мое не займут там?

— Займут — освободить попросим. У тебя же плацкарт есть...

Я обошел весь огромный и очень чистый жмеринский вокзал, о котором шла в те годы молва, что это лучший вокзал Советской Украины, и даже спустился

на минутку в знаменитый тоннель, облицованный белыми кафельными плитками.

Проходя вдоль буфета первого класса, я поглядел на розовые окорока, на белого молочного поросенка, который лежал, распластавшись, на пуховике из гречневой каши, на жареных куриц с зеленым горошком, на блестящие и пухлые коричневые пирожки с начинкой из вареного мяса и риса, на ломти багрового копченого языка, на фаршированного судака, который как бы плавал в дрожащем прозрачном желе. Мне так захотелось отведать хоть капельку этих лакомств, что я потерял всякое самообладание: съел кусочек буженины с огурцом, выпил три стакана холодного молока с пенкой и со свежими пирожками и затем съел еще два начиненных желтым заварным кремом пирожных и запил все это стаканом компота из сушеных фруктов.

Но уже выйдя с вокзала на свежий воздух, я почувствовал раскаяние. «Вот транжира! — ругал я себя. — С таким аппетитом и до Киева не доехать». И еще стыдно мне было очень оттого, что я позволил себе такое буржуйство в то самое время, когда наши хлопцы питались не ахти как. Щи из кислой капусты да чечевица на второе — вот обычное меню обедов в общежитии. И бобы, бобы, бобы! На ужин бобы, на завтрак, перед работой, бобы и даже на сладкое по воскресеньям бобы с какой-то приторной подливкой из патоки. Правда, Никита Коломеец утешал нас, что в бобовых культурах много фосфора и от этого мы, несомненно, будем умнее, но всякий из нас, конечно, предпочел бы променять проклятые бобы на порцию хороших котлет или на гуляш с перцем и горячей картошкой.

Огорченный и мучимый раскаянием, я влез в вагон и отыскал свою скамейку.

Печерицы не было.

Меня разморило после еды в теплом вагоне и не хотелось больше выходить на улицу. Хотелось сидеть так, прислонившись к твердой стенке, и дремать.

Громыхая колесами, в облаках пара подкатил на первый путь скорый из Москвы. На станции сделалось шумно. Удерживаясь от сна, я смотрел в освещенные окна вагона, остановившегося как раз перед нами. Покрытые простынями и одеялами, лежали там на

спальных местах пассажиры. «Развалились, точно дома!» — позавидовал я им.

Поезд на Одессу постоял недолго, затем бесшумно двинулся, и, когда последний его вагон с красным фонариком промелькнул в окне, снова обнажились желтые стены вокзала.

Вскоре двинулись и мы.

Печерицы по-прежнему не было. Его билет и литер остались у меня.

Уже при дневном свете я разглядел литер, и сразу бросилось в глаза, что он был написан не на фамилию Печерицы, а на имя студента второго курса сельскохозяйственного института Прокопия Трофимовича Шевчука. Внизу на литере стояла кудрявая подпись заведующего окрнаробразом Печерицы, и мне сразу стало ясно, что дело нечисто. Правом выдавать литеры на бесплатный проезд по железной дороге пользовался в городе один Печерица. Помню, еще до того, как он издал приказ о закрытии фабзавуча, мы просили Печерицу послать во время отпуска несколько самых лучших учеников на экскурсию на заводы Донбасса. Печерица уперся: «Ни одного литера для фабзавучников не дам. Они выданы только для студентов». А сам, мерзавец, поехал по такому литеру! И я твердо решил, как вернусь, хотя бы по этому вопросу вывести Печерицу на чистую воду.

Но куда он девался? — вот вопрос. На литере была обозначена станция назначения — Миллерово. Мне казалось, что путь туда тоже лежал через Харьков. Опоздать на поезд он не мог — мы стояли в Жмеринке слишком долго. За это время можно было и пообедать и поужинать. Оставалось думать, что Печерица купил новый билет, пересел на скорый поезд и что он будет в Харькове раньше меня.

НА УЛИЦАХ ХАРЬКОВА

В пути были заносы, и поезд пришел в Харьков вечером, опоздав на десять часов.

Осторожно переходя улицы, я пошел по Екатеринославской. Мимо пролетали освещенные трамваи, то и дело роняя из-под дуг зеленоватые искры.

— Вечернее радио! Вечернее радио! Радиовечерняя газета! Последние телеграммы из Рима! Собака Муссолини остался жив! — орал во все горло маленький газетчик.

Огни магазинов слепили меня. Жареные орешки, имбирь, пряники, груды пастилы, корзины с кавказской шепталой, изюмом, финиками, антоновка, лимоны и апельсины в папиросной бумаге — все это лежало за витринами. На дверях облезлого двухэтажного домика я заметил фанерную вывеску: «Домашние обеды на чистом коровьем масле. Ева Капульская. Сплошное обьедение. Вкусно. Скромно. Недорого. Обеды, как у мамы!!!»

Из открытой форточки домашней столовой вырывался на улицу вкусный запах жареной баранины и чеснока.

«Пообедать бы!» — подумал я и облизнулся. Уже больше двух суток, как я не ел ничего горячего. Всю дорогу питался то колбасными обрезками, то холодным молоком. Вот только, правда, в Жмеринке перекусил немного. А сегодня с утра еще почти ничего не ел... И я уже было двинулся к Еве Капульской, но у порога ее царства передумал. Еще неизвестно, что такое «недорого». Для нее, частницы, быть может, недорого, а для меня даже очень дорого. Нельзя разбрасываться общественными деньгами. Кто знает, сколько придется пробыть здесь!

Видимо, от недоедания ноги у меня были легкие-легкие, и я ощущал головокружение, будто только вышел из больницы. Я шагал, не зная дороги, но догадываясь, что Екатеринославская приведет меня к центру. Из-под ног разлетались брызги — тротуар был покрыт тающей снежной жижей.

Как хорошо все-таки, что я занял у Бобыря на дорогу его новенькие калоши!

По узенькому переулочку я вышел на просторную площадь и увидел желтое, в колоннах здание ВУЦИКа. Маленькие, засыпанные снегом елочки как бы охраняли его. Изредка, гудя сигналами, проезжали автобусы: позванивая бубенцами, неслись через площадь извозчичьи санки, закрытые медвежьими полостями; вдали, на Сумской, горела, переливаясь огнями, надпись

«ВІСТІ» — так называлась главная правительственная газета на Украине.

В эту минуту я вспомнил далекий наш пограничный городок и общежитие фабзавуча на тихой его окраине. Может быть, вот в эту минуту хлопцы толкуют обо мне, надеясь, что я привезу им добрые вести? А возможно, они еще сидят на длинных скамейках комсомольского клуба на Кишиневской? Ну конечно же, они в эту пору еще там! Ведь сегодня в клубе вечер самодеятельности. К нему уже давно готовились. И самое-то главное, что на этом вечере в музыкальной картине «Тройка» должны выступать наши ребята: Петька Маремуха, Галя Кушнир, «философ» Фурман и даже Сашка Бобырь!

И мне снова взгрустнулось при мысли, что я не увижу выступления клубного драмкружка, не смогу посмеяться вместе с хлопцами над игрой конопатого Бобыря. Но, стоя один на площади этого незнакомого города, я знал, что, даже развлекаясь там, в клубе, хлопцы обязательно вспоминают обо мне...

Заглядывая в освещенные окна, я медленно брел на соседнюю площадь Розы Люксембург.

Свежий номер харьковской газеты был вывешен на фанерном щите около Дома всеукраинских профсоюзов.

Я обратил внимание на коротенькую заметку:

«Покушение на Муссолини. Сегодня в 11 утра неизвестная пожилая женщина выстрелила почти в упор из револьвера в Муссолини, вышедшего на площадь Капитолия из здания, где заседает международный хирургический конгресс. Пуля легко ранила Муссолини, пробив ему ноздри. Стрелявшая арестована».

«Стрелок тоже! — подумал я. — Не лучше Бобыря. Быть так близко от этого изверга-фашиста — и не уничтожить его! Уж не бралась бы, если стрелять не умеешь. Смешно даже: «пробила ноздри»!.. Так вот почему мальчишка на Екатеринославской выкрикивал: «Последние телеграммы из Рима!» Надо посмотреть, может, еще что-нибудь интересное в газете есть?

Рядом была помещена заметка об издевательствах болгарских фашистских властей над коммунистом Кабакчиевым. Немного дальше — сообщение о том, что скоро из Италии в Ленинград вылетает дирижабль «Норвегия». А перебросив взгляд на другую страницу, я увидел в центре ее портрет гололобого, коренастого секретаря ЦК КП (б) У, заверстанный в тексте доклада о текущем моменте.

Я внимательно разглядывал портрет секретаря, его добрые, смеющиеся глаза, и мне показалось, что я его где-то видел.

«Ну, ясно где — на обложке журнала «Всесвіт», в нашем общежитии».

Размахивая портфелем, я брел по тротуару. «Я в Харькове! Я в Харькове!» — стучала в висках одна и та же мысль. Спешили мимо прохожие, и я старался ничем не отличаться от них, шел твердо, уверенно, ничему не удивляясь, и мне начинало казаться, что я давний житель этого большого столичного города.

С той минуты, как я вышел из вагона в Харькове, мне все чудилось, что вот-вот из-за какого-либо угла навстречу вынырнет Печерица так же внезапно, как неожиданно появился в поезде.

За углом Старо-Московской на стене кирпичного дома то вспыхивала, то гасла заманчивая надпись: «Потрясающий захватывающий американский боевик «Акулы Нью-Йорка». Две серии в один сеанс. Нервным и детям вход воспрещен!»

Увидев эту надпись, я второй раз за время моего путешествия потерял голову. Вмиг позабыв голод, я что было сил пустился туда. Когда еще такая интересная картина доползет до маленького нашего городка!

Касса помещалась в темной и сырой арке. По тому, как пробивались к ней, отпихивая один другого локтями, человек восемь ребят, я сообразил, что продаются последние билеты и на последний сеанс.

Раз, два — и я в очереди.

Зажав под мышкой портфель, дрожащими руками отстегиваю английские булавки. Моя очередь приближается.

— Следующий! Какой ряд! — покрикивает из своей будочки кассирша.

Наконец, отстегнув вторую булавку и поминутно оглядываясь, вытаскиваю из внутреннего кармана пиджака деньги. Выдергиваю из пачки на ощупь две рублевые бумажки и чувствую, что на меня смотрят.

Около кассы, заложив руки в карманы, стоят два подозрительных верзилы в клетчатых кепках, надвинутых на лоб, и широких брюках клеш.

«Раклы!» — подумал я и поглубже засунул в карман пиджака пачечку денег. Наскоро пихнув в карман чумарки сдачу, я схватил синенький билетик и, размахивая портфелем, пустился догонять мальчишку, получившего билет передо мной.

— Скорей, золотко! Начинается, — подогнала меня билетерша, одной рукой отрывая контроль, а другой поворачивая деревянный крест в проходе.

Только я влетел в шумный, гудящий зал — погас свет, и из стены, рассекая темноту, вырвался голубой лучик. Я наступил по дороге кому-то на ногу. На меня цыкнули: «Вот медведь, прости господи!» Я плюхнулся в первое попавшееся кресло, стараясь не смотреть в сторону ворчавшего на меня человека... Прошло минут десять... Я позабыл, что я в Харькове, что на дворе ночь и еще неизвестно, где мне придется ночевать.

...Громилы Нью-Йорка — страшные, волосатые, с какими-то зверскими лицами, с перебитыми носами и квадратными, выдающимися вперед подбородками — бродили по экрану с огромными «кольтами» и «парабеллумами». Они распиливали стальные решетки, просверливали и взламывали несгораемые кассы, догоняли друг друга на курьерских поездах, аэропланах, моторных лодках и автомобилях и ловко, с каким-то непонятным наслаждением в упор убивали своих соперников.

Мне казалось, что я уже десять раз прострелен насквозь, и было даже удивительно, как я остался цел после этого ужасного зрелища. И только на улице, разгоряченный, взволнованный и довольный тем, что еще живу, я вспомнил, что ночевать мне негде.

И все из-за поезда, который пришел в Харьков с таким опозданием! Приехал бы раньше, засветло —

зашел в комсомол, дали бы мне талончик в общежитие! А сейчас куда?

Под аркой ворот уже погасили свет, и зрители выходили на ощупь, едва не наступая один другому на пятки.

— Не толкайтесь, ради бога, мистер Дуглас! — сказал кто-то позади, и в ту же минуту меня сильно ударили в спину.

— Зачем толкаешься? — сказал я, оборачиваясь к долговязому парню в надвинутой на глаза кепке.

— Пардон, это не я, это он. — И верзила, нагло ухмыляясь, кивнул на соседа.

Тут меня опять пихнули. Да как! Чуть-чуть я не выпустил портфеля. И вдруг кто-то резко, каблуком наступил мне на ногу. Я подпрыгнул от боли.

«Лучше не связываться, лучше потерпеть», — подумал я и, крепко сжимая портфель, вырвался из полумрака арки на освещенную улицу.

«Вот жулики чертовы! Научились хамству у этих американцев! Видно, во время сеанса все способы драки заучили наизусть!.. Чужие калоши потоптали»!

На вокзале, в главном буфете, еще торговали, и я решил перекусить, а потом прилечь где-нибудь на лавке и подремать до рассвета.

Расходы предстояли крупные, харьковский воздух нагнал аппетит, вот почему, подойдя к застекленному буфету, я медленно полез в боковой карман, где хранились мои деньги, и вдруг вспомнил, что, покупая билет, не застегнул карман булавками.

«Ой! Что такое!»

Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. Замигала, заискрилась хрустальная люстра под высоким лепным потолком...

Денег в боковом кармане не было!

«Спокойно, спокойно, — говорил я себе. — Главное, не паниковать. Больше выдержки!»

Пустыми и печальными глазами я смотрел на оскаленную пасть щуки, на уплывающие блюда с холодцом и тихонько в отчаянии пятился подальше от буфета.

«Ничего, ничего, только не волноваться! — утешал я себя. — Просто спутал карманы».

Подойдя к подоконнику, я швырнул на него порт-

фель и торопливо дрожащими руками начал ощупывать каждую складку в карманах. Все напрасно: денег нигде не было, они исчезли на «Акулах Нью-Йорка».

Лишь в кармане чумарки я нащупал смятый рубль и мелочь, выданную мне кассиршей кинотеатра. Но что могли значить эти гроши по сравнению с теми деньгами, которые были у меня украдены! Не иначе, как эти мошенники «дугласы» их стянули!

Как же я домой поеду?

...Даешь, даешь по шпалам,
по шпалам... —

припомнились вдруг слова давно забытой песенки.

Да, по шпалам... Ничего не поделаешь! Буду по дороге наниматься к кулакам на поденную работу. Батрачить буду — и дойду!

А может, чумарку продать?.. Да кто ее купит, такую старую, перешитую?

В самых тяжелых случаях жизни Коломеец советовал нам вспоминать старинную морскую поговорку: «Три к носу — все пройдет». Я так потер глаз, что, наверное, кожу с века содрал. Облегчения никакого!..

Отбить разве телеграмму Коломейцу, чтобы выручал меня? Послать депешу с одним только словом «обокрали» и адрес дать «вокзал, востребования»?.. Но какой тогда переполох подымется в школе! «Вот, — скажут, — послали растяпу, а он, вместо того чтобы наши кровные интересы защищать, баклуши бил, ворон ловил, шляпа!» И пуще всех станет злорадствовать Тиктор.

Нет, телеграмму посылать нельзя!

Надо выпутаться самому. Сам виноват, сам и расхлебывай кашу! Теперь я понял, как прав был Никита Коломеец, все время неустанно предупреждая нас: «Глядите, хлопцы, не увлекайтесь Дугласами Фербенксами да Рудольфами Валентино — это яд, который производит американская буржуазия. Эти фильмы — школа бандитизма. До добра они не доведут!»

Как он был бесконечно прав, какими справедливыми оказались его слова! И зачем я пошел на этих «Акул»! И ничего бы не случилось, если бы я даже не знал о существовании такой картины!..

«Что же делать? Как спастись? Где выход из этого капкана? — спрашивал я себя. — Такие деньги украли! Такие деньги!»

Тут же я принялся пересчитывать оставленную мне ворами сдачу. Рубль сорок две копейки. Небогато! Однако на хлеб и на сельтерскую воду хватит. Как-нибудь протяну два дня, сделаю все что надо, а потом зайцем махну домой. Залезу под вагонную полку и буду лежать тихонько, чтобы контролер не заметил. А может, на товарняке устроюсь.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Рассветало. Началась уборка вокзала, и я вышел на улицу. Сонный, голодный, я почувствовал, что едва ли сумею даже денек продержаться на сельтерской воде и хлебе. Шел по улице, и меня пошатывало.

Трамваи еще не ходили, но уже появились прохожие. Дворники открывали ворота. Домашние хозяйки с кошелками в руках спешили за провизией. Все они шли в одном направлении, и я, чтобы скоротать время, поплелся за ними.

Первым в городе проснулся знаменитый харьковский рынок — «Благбаз».

Один за другим открывались рундуки. Я бродил по Благовещенскому базару, пока мне в нос не ударил очень вкусный и острый запах. Он забивал запахи квашеной капусты, сельдерея, стынувшего в бочках и похожего на расплавленный сургуч густого томата. Словно охотничий пес, почуявший перепелку, раздувая ноздри, я пошел на этот запах.

Худая торговка в стеганом ватнике, раскачиваясь, голосила у двух дымящих жаровен, заставленных огромными чугунками:

— Флячки, горячие флячки! Ох, хватайте, люди добрые! Ой, дешево беру! Ой, нигде и никогда, ни в каком царстве, ни в каком государстве вы не найдете таких замечательных флячков! Это ж прелесть, это небо на языке, это ж лучшее и самое дешевое снидание! Та покушайте мои флячки!..

...Если кто-нибудь из вас ел прямо на базаре, стоя рядом с пылающей жаровней, из глиняной миски и

обязательно шершавой деревянной ложкой горячие, обжигающие рот, наперченные, залитые сметаной, пересыпанные колендрой, резаным луком, зубками чеснока, оранжевой паприкой, душистые от лаврового листа и петрушки, засыпанные мелко натертым сыром, приготовленные из рубленого коровьего желудка свежие и пахучие флячки, или, по-русски, рубцы, тот поймет, как трудно было удержаться, чтобы не сломать голову последнему моему рублю!

И еще в девять часов утра, когда открылись учреждения и я подходил к высокому дому на углу улицы Карла Либкнехта и Ветеринарной, во рту горело от красного перца, которым крикливая торговка без зазрения совести наперчила сытные, но совсем уж не такие дешевые флячки.

Полтинник отдать за пустяковое блюдо! А дальше что? А вдруг заведующий школьным отделом ЦК комсомола уехал и придется его ждать?

Нет, баста! На сегодня хватит роскоши! До завтрашнего полдня я не имею права тратить ни одной копейки. Никакой сельтерской воды! Будешь пить сырую, из-под крана — бесплатно, а польза такая же. Надо беречь деньги, чтобы хоть кусок хлеба купить на обратную дорогу, когда поеду зайцем в свой родной город.

Пропуск в комендатуре выдали быстро. Посмотрели мой комсомольский билет, командировку и возвратили все документы обратно с маленьким пропуском.

Я вошел в просторный вестибюль и подал пропуск часовому. Тот сверил пропуск с моим удостоверением и показал мне дорогу. Уже в большом вестибюле я снова почувствовал, что робею. Еще хуже стало, когда пришлось раздеваться: здесь, у вешалки, вместе с шапкой, калошами и чумаркой у меня будто сразу отняли половину смелости.

— Вам куда, товарищ? — окликнула меня лифтерша.

Мне и раньше приходилось слышать, что в столице есть такие машины, которые поднимают людей на самый чердак, но я лично увидел лифт впервые в жизни.

— Мне в комнату двести сорок шесть, — ответил я лифтерше, разглядывая пропуск.

— Садитесь, подвезу.

— Да нет, спасибо, — сказал я и быстро шагнул по ковровой дорожке на лестницу. «Пройду так, спокойнее будет. Может, она думала, что я здесь работаю?»

Не спеша поднимался я по мягкой ковровой дорожке.

Я свернул с лестницы в коридор, удивляясь чистоте и тишине вокруг. На дверях все мелькали какие-то маленькие номера, и я никак не мог отыскать школьный отдел.

Из дальнего конца коридора навстречу, поскрипывая сапогами, твердой, уверенной походкой шел коренастый, среднего роста человек. Лица я его не видел — свет из окна бил мне в глаза.

— Скажите, пожалуйста, товарищ... — сказал я и метнулся к этому человеку.

— Скажу, пожалуйста, — ответил идущий и сразу остановился.

Но уже ничего больше я спросить не мог... Прямо передо мною на мягкой ковровой дорожке стоял тот самый человек, портрет которого я разглядывал вчера ночью в газете около ВУЦИКа.

От неожиданности я позабыл, какую комнату мне нужно.

Поняв, что я смутился, и помогая мне, он весело спросил:

— Заблудился? Ты откуда, хлопчик?

— Я с границы приехал...

— С границы? Дальний, значит, гость. А по какому делу?

И тут шальная мысль примчалась в голову: а что, если самому секретарю Центрального Комитета партии рассказать о нашем горе?

И я спросил:

— Мне можно с вами поговорить?

Как только мы вошли в просторный, светлый кабинет с большими квадратными окнами, выходящими в сад, он предложил мне сесть, и я вдруг почувствовал себя очень смело. Мне показалось, что передо мной сидит мой старый знакомый Картамышев. По порядку, но все еще немного волнуясь, поглядывая на телефоны, кучкой собравшиеся на краю большого стола, я стал

выкладывать, зачем меня послали в Харьков наши фабзавучники.

Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины слушал меня очень внимательно, два раза брал большой зеленый карандаш и что-то записывал у себя в блокноте, и тогда я задерживался, но он кивал мне головой, чтобы я продолжал.

Когда я начал рассказывать, как Печерица обидел Полевого, напечатав о нем целую статью в газете, секретарь спросил:

— Значит, Печерица настаивал на увольнении инструктора лишь потому, что тот не научился еще говорить по-украински?

— Ну да! И еще как настаивал! Великодержавным шовинистом Полевого обозвал. А какой тот, спрашивается, шовинист, если он большевик с первых дней революции?

Еще осенью восемнадцатого года они в Летичеве советскую республику провозгласили. Вот как! Первую на Подолии. Ему Советская Украина дорога, и нам, фабзайцам, Полевой все время говорит, чтобы мы изучали и любили язык украинского народа, среди которого живем. А одного хлопца, который плохо отозвался об украинском языке, Полевой так отругал, что держись. «Какое ты, — говорит, — имеешь право, пацан несознательный, с таким пренебрежением отзываться о языке народа, чей хлеб ешь? Ведь это украинский селянин своим трудом и потом для тебя хлеб вырастил, а ты над мовой его смеешься?» Но, с другой стороны, если разобраться, зачем, скажите, заставлять Назарова насильно с бухты-барахты учить украинский язык, когда он еще и года на Украине не прожил? — спросил я горячо.

Секретарь улыбнулся, и я, ободренный его улыбкой, продолжал:

— ...Теперь получается вот какая история. Закроют фабзавуч. Ну хорошо, у кого батька или мама в городе живут, они ему, факт, помогут, пока он устроится. Ну, а что делать тем хлопцам, кто из детских домов к нам пришел? — вот вопрос. Ведь их отцов поубивали петлюровцы, и у них в городе никого нет, и самое-то главное — жить им будет негде. Так они спали в фабзавучном общежитии, а сейчас, как закроют шко-

лу, Печерица хочет в этом доме поселить учеников музыкального техникума. Они ему дороже всего, они в его хоре поют. А куда же фабзайцы денутся? А ведь наше обучение государству ничего не стоило: на полной самоокупаемости школа была. Сделаем сами соломорезки — продадим крестьянам и на это существуем. И нам хорошо, и крестьяне машины имеют. Смычка происходит между городом и деревней. Мы думали, окончим школу, станем рабочими, пошлют нас на заводы, в Донбасс, а вместо нас других хлопцев наберут. А тут вдруг такое получается... А все через Печерицу...

Секретарь снова улыбнулся и сказал:

— Ты погоди, не горюй особенно. Положение не столь уж безнадежное, как тебе кажется.

— Да нет, в самом деле, вы подумайте только, — ободренный его словами и распалившись еще больше, сказал я, — у нас на городской бирже труда своих безработных хватает, а еще нас им подбросят. Учились, учились — и на биржу... Даже, допустим, биржа разошлет нас по кустарям учениками. Что мы будем делать, вы подумайте — кастрюлю лудить или корыта хозяйкам запаивать? Да разве об этом мы мечтали, когда шли в фабзавуч? И разве мы виноваты, что больших заводов в округе пока нет?

Секретарь перебил меня, возвращаясь к рассказанному мною раньше:

— Он действительно так сказал: «Никто не даст закоптить голубое небо Подолии дымом заводов», или ты это выдумал для красного словца?

— Вы что думаете, обманываю? — обиделся я. — Так и сказал!

— Любопытно. Очень любопытно. Я не знал, что он так откровенно действовал. Какой пейзажист нашелся! К счастью нашему, народ Украины не спросит его, где надо строить заводы. Там, где надо, там и построим. Кое-где небо подкоптим, и воздух от этого в целом мире свежее станет.

— Нам и Полевой все время толковал, что без индустриализации нашей страны жить нельзя. Заедят нас тогда иностранные капиталисты, — согласился я со словами секретаря.

— Правда? Это хорошо! Вас можно поздравить с

умным директором. Настоящий руководитель даже самого маленького дела должен всегда чувствовать революционную перспективу. Скажи, сколько вас, таких молодцов, в фабзавуче?

— Пятьдесят два... И все мы уже в профсоюзе металлистов состоим.

— Комсомольцев много?

— Больше половины.

— А когда, по плану, у вас должен быть выпуск?

— В мае. Скоро. В том-то и дело!

— Все ваши хлопцы захотят поехать в другие города?

— Еще как захотят! Пешком пойдут! А для чего же мы учились? Когда поступали в школу, то нам так и обещали, что станем работать на больших заводах...

— Ты сегодня приехал? — неожиданно спросил меня секретарь, снова записывая себе что-то в блокнот.

— Вчера вечером. Я бы еще вчера сюда зашел, да поезд опоздал.

— А где же ты остановился?

— На вокзале. Выспался немного на лавке...

— На вокзале? Почему же в гостиницу не пошел? Или в Дом крестьянина? Знаешь, на площади Розы Люксембург большой такой дом?

— Да я... На вокзале... тоже ничего...

— Ты чего-то мнешься. Такой говорливый был, а сейчас стоп машина. Сознавайся: денег, наверное, мало?

— Были деньги, но вот...

И я потихоньку-помаленьку рассказал секретарю о своем горе.

Сочувственно покачивая головой, секретарь улыбнулся, а потом, рассмеявшись, сказал:

— Подвели, брат, тебя «Акулы Нью-Йорка»! Небось голодный сейчас?

— Нет... Нет, спасибо, я уже завтракал... Флячки ел на базаре.

— Тогда вот что, хлопче, — сказал секретарь Центрального Комитета, вставая, — вне всякого сомнения, это решение будет отменено. Я сегодня узнаю все и думаю, что ваши мечты исполнятся. Ни один из вас не пропадет — это безусловно. Такие молодые грамотные рабочие нам очень скоро понадобятся повсюду. И в

Донбассе, и в Екатеринославе. Еще в прошлом году, на московском активе, так прямо и говорилось, что нам нужно миллионов пятнадцать-двадцать индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство и высокоразвитая металлургическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности. И тогда мы победим в международном масштабе. А разве молодежь не призвана помогать партии решить эту задачу? Конечно! И будь спокоен — партия не даст вам пропасть... Что же касается твоих личных неприятностей, то это дело тоже поправимо. Иди в комнату тридцать два, к товарищу Кириллову. Он тебе обеспечит жилье и все такое. Возьми вот записочку.

Написав несколько слов, он протянул мне листок из блокнота.

— Сегодня ты отдохни, вечерком сходи в театр. Посмотри, как играет Саксаганский. Это, брат, великий украинский артист! Со временем, когда вырастешь, люди завидовать тебе будут, что ты лично видел его игру. Это будет полезнее и куда интереснее «Акул Нью-Йорка». Переночуешь, а завтра уедешь... А Картамышеву привет передай. Пусть границу получше бережет! Ну, до свидания, хлопче! — И секретарь протянул мне руку.

Я попрощался с ним и, обрадованный, окрыленный, быстро пошел из комнаты, чуть не упав, споткнувшись о край ковра.

Уже открывая дверь, я услышал, как секретарь у меня за спиной сказал в телефонную трубку:

— Сейчас к вам зайдет один приезжий товарищ... Его обворовали. Надо будет помочь... Да-да, из фонда помощи нуждающимся коммунистам.

Не знаю, сколько я пробыл в Центральном Комитете. Может, час, а возможно, и больше. Время пролетело незаметно. Когда я вышел из подъезда, мне в глаза ударило солнце. Утренний туман рассеялся, и на голых деревьях в университетском скверике напротив, чуя близкую весну, громко каркали вороны. С крыш капало, снег таял на глазах, потемневший, пористый, точно сахар, облитый чаем.

Вот удача-то! Я все еще не мог опомниться от счастья. Думал, дня три придется ходить, бегать, доказывать, а здесь один разговор — и все улажено. А главное — быстро! Но как быстро! Прямо-таки удивительно. Может, все это приснилось? Да нет же! Я пощупал в кармане новенькие, хрустящие деньги. Их я получил у Кириллова, которому на всякий случай оставил список учеников и наше жалобное письмо в ЦК комсомола. Я вовсе не думал, что мне дадут деньги, когда шел к товарищу Кириллову. Прихожу, показываю записочку пожилому человеку в синем френче, а он, порасспросив меня еще немного и от души посмеявшись, выдал целых пятьдесят рублей да потом еще выписал ордер в общежитие для приезжающих партработников на улицу Артема, как будто я уже стал членом партии.

Веселый, чувствуя, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч, довольный за наших фабзавучников, я перешел улицу и без всякой цели направился в пустой, покрытый талым снегом парк.

Сероватый и жидкий, как кисель, последний снег этой зимы разъезжался под ногами. Уж кое-где на бугорках чернели проталины мокрой земли, покрытой увядшими прошлогодними листьями и мерзлой травой. Хорошо было в это солнечное утро в пустынном парке, куда еще никто не ходил, только я один, чудак, забрел на радостях!

Обернулся. Увидел сквозь голые деревья знакомый силуэт высокого дома. Почудилось, что за широким окном стоит, жмурясь от солнца, один из секретарей Центрального Комитета Коммунистической партии Украины и, приветливо улыбаясь, машет мне рукой.

От радости я топнул ногой так, что проломил крепкий, затверделый наст на тропинке, и нога по щиколотку ушла в снег. Стоя так, я прислушался.

Далеко звенели трамваи, каркая, суетились на березах вороны, крякнул клаксоном, словно утка, грузовик на соседней улице, но все эти звуки заглушал стук моего сердца.

Шла весна, теплее грело раннее солнце, и в это весеннее утро я совсем позабыл, что нахожусь в большом и незнакомом еще городе...

ПРИ СВЕТЕ ФАКЕЛОВ

Весенний ветер раздувает факелы. Они горят, раскачиваясь на деревянных палках.

Хвостатые языки копоти завиваются над головами комсомольцев, шагающих строем по дороге.

Эта каменистая дорога ведет от вокзала в город. По бокам, за канавами, наполненными талой водой, тянутся черные, голые огороды.

Удивительно, как быстро сошел снег, пока я ездил в Харьков! Должно быть, лишь далеко за городом, в глубоких приднестровских оврагах, у самой границы, сохранились еще его грязные, последние сугробы.

Впереди колонны мелькает надуваемое ветром тугое полотнище.

Комсомольцы четко отбивают шаг на булыжниках. Из первых рядов доносится звонкий голос запевалы:

В вихре Октября
Родилася рать
Юных, смелых, дерзких комсомольцев.
Ринулись в бой
С верой святой,
Запевая под октябрьским солнцем...

Чистый весенний воздух помогает петь. Пою и я, зажимая под мышкой портфель, снова завернутый в газету.

...Ячейка железнодорожников уже выстраивалась с зажженными факелами на станционной площади, когда поезд подошел к перрону и я, соскочив со ступенек вагона, выбежал на вокзальное крыльцо. Перед строем вместе с секретарем ячейки прохаживался окружкомец Панченко.

— Здорово, Манджура! — сказал он мимоходом. — Приехал? Давай-ка пристраивайся. Идем демонстрировать, чтобы выпустили болгарского коммуниста Кабакчиева. Скорее, скорее, опаздываем!

Я быстро пристроился, и мы сразу же двинулись, неся на древках кумачовый плакат:

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БОЛГАРСКИХ ФАШИСТОВ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЛАМЕННОГО
БОРЦА-РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ХРИСТО КАБАКЧИЕВА!

«Дойду с ними до Советской площади, а там и своих разыщу», — думал я, подтягивая песне.

Из темноты приближались белые домики — первые городские постройки.

Родной город! Я уже чувствовал его вечернюю тишину, разрываемую голосистыми песнями демонстрантов. Всякий раз песни эти пугали пропахших нафталином обывателей — бывших чиновников, священников, частных торговцев и всех, кто еще надеялся, что опять когда-нибудь вернется царский режим.

Римский папа плачет в лапу.
Кто обидел папочку?
Церабкооп открыл с нахрапу
В Ватикане лавочку... —

запели демонстранты новую шутливую песню.

Как мне захотелось рассказать соседям по шеренге, что я только что вернулся из Харькова, говорил с самим секретарем Центрального Комитета партии, передать всем, как секретарь обозвал Печерицу «пейзажистом», а потом рассказать и о том, что я видел в пьесе «Суета» игру самого Саксаганского! Но соседи пели, не обращая на меня внимания.

Даже Панченко не расспросил меня о поездке. Он встретился со мной так, будто я уезжал в соседнее село, а не в столицу... Панченко шагал сбоку, не останавливаясь. Его мягкий, грудной, немного глуховатый голос отчетливо слышался среди других голосов.

По другой стороне Больничной площади, около темного здания фабзавуча, освещаемая факелами, двигалась к центру другая молодежная колонна.

«Фабзайцы? Ну, конечно, они! Такие яркие факелы есть только у нашей ячейки».

— Пока, хлопцы! Спасибо за компанию. Бегу к своим! — кричу я железнодорожникам и, покинув строй, мчусь напрямик через площадь, чтобы догнать далекую колонну.

Ноги вязнут в грязи. Глинистое поле стадиона раскисло. Как бы не оставить в липкой грязи Сашкины калоши!

Брызги талой холодной воды разлетаются в стороны, штанины брюк уже намокли. Все ближе и ближе огоньки знакомых факелов. Я дышу похрипывая. Только бы не напороться на колючую проволоку! Где-то

здесь она была разорвана. Ну да, вот здесь!.. Раз, два — и я, догоняя последнюю шеренгу, бегу уже по твердой мостовой.

— Хлопцы, здоро́во! Ура! — кричу я и от радости размахиваю тяжелым портфелем. Газета слетела. Пустяки. Теперь не страшно. — Пугу! — кричу я по-запорожски, увидев конопатого Сашку. — Бобырь, возьми свои калоши!

— Василь приехал!.. Манджура приехал!.. — зашумели хлопцы.

— Давай пристраивайся сюда, Василь, — послышался из первых рядов голос Никиты Коломейца.

Втискиваюсь в ряды. Крепко жму руку нашему секретарю. Вокруг знакомые лица — Саша Бобырь, Маремуха, всезнайка Фурман. Оглядываюсь — и вижу позади насупленного Яшку Тиктора.

— Ну как, на щите или под щитом? — заглядывая мне в глаза, говорит Коломеец.

Не знаю, что это такое, «на щите», и отвечаю просто:

— Все хорошо, Никита! Поедем в Донбасс. Вот послушай... — И, захлебываясь от волнения, стараясь не сбиваться с ноги, я поспешно рассказываю Коломейцу о встрече в Центральном Комитете.

На нос мне упала с факела липкая капля мазута. Быстро стираю ее кулаком и говорю, перескакивая с пятого на десятое. Хлопцы сомкнули ряды так, что трудно идти. Стараясь расслышать мои слова, они наступают мне на ноги, напирают сзади.

— Так и сказал: «Ваши мечты исполнятся»? — перебил Никита.

— Ну да! И потом еще говорит: «Молодые грамотные рабочие скоро будут нужны всюду. И в Екатеринославе, и в Донбассе».

— Ну прекрасно! Есть, значит, правда на свете! Видите, как прав был Полевой? Понимаете теперь, какая умница Нестор Варнаевич? — торжествующе говорит Никита и, оборачиваясь к идущим позади, кричит: — Поедем скоро в Донбасс, ребята! А что я говорил? Давайте-ка песню по этому поводу, нашу, фабзавучную!

Все разом мы поем школьную песенку, сочиненную

для нашего фабзавуча молодым украинским поэтом-рабфаковцем Теренем Масенко:

Мы верим в нашу индустрию,
В наш вдохновенный труд.
Фабзайцы — ребята шустрые,
Как ледоход, идут!

— Мы бы тебя покачали, Василь, да грязно еще, — на минуту прерывая песню, шутит Коломеец. — Упустит какой благодарный — полетишь вниз, измажешься.

Довольный и гордый, я подпеваю хлопцам:

С завода, бодрые, шустрые,
Идут они, как всегда,
Мы верим в нашу индустрию:
Как мы, она молода...

— А Печерица еще не вернулся? — спрашиваю я Никиту.

— Ищи ветра в поле! — хмуро бросает Коломеец.

— Его что, разве уже сняли? По телеграфу, наверное?

— Он сам снялся.

— Когда я с ним ехал...

— Куда ты с ним ехал, интересно? — пристально глядя мне в глаза, спрашивает Коломеец.

— Куда, куда! До Жмеринки ехали разом, а потом...

— Что, что? — настораживаясь, выкрикивает Никита. — Ты ехал с Печерицей до Жмеринки?!

И не успеваю я рассказать историю встречи с Печерицей в поезде, как Никита вдруг круто останавливается и кричит мне прямо в лицо:

— Чудак! Да пойми ты: это все чертовски важно! Чего ж ты раньше не рассказал? А ну, давай со мной!.. Фурман, веди за меня колонну.

Мы выскакиваем из рядов.

Ячейка, освещенная светом факелов, идет дальше, на Советскую площадь, к трибунам, неся большой портрет Христо Кабакчиева, а мы с Никитой что есть духу мчимся на Семинарскую, к большому двухэтажному дому.

Еще и раньше я знал одну черту Коломейца: он любил быть таинственным.

Спрашиваешь его о чем-нибудь интересном, — кажется, проще всего: ответь, не береди загадками душу человека. Так нет! Никита будет тебя мытарить, водить вокруг да около и как бы нарочно, когда ты сгораешь от нетерпения, начнет рассказывать совсем другое, чего ты и не ждешь.

Примерно так случилось и сейчас.

Увлекая меня из колонны демонстрантов к дому окружного отдела Государственного Политического Управления, Коломеец всю дорогу молчал. На все мои вопросы он отвечал одной фразой: «Потерпи малость!»

Зажимая в руках синенькие листочки пропусков, мы взбегаем наверх. Видно по всему, что Коломеец бывал здесь раньше: он взбирается по лестнице смело и решительно. Я следую за ним.

Вот и площадка верхнего этажа.

Никита уверенно входит в полутемный коридор и останавливается у дубовой двери. Он громко стучится в нее.

— Войдите! — доносится из-за двери.

Плотные, тяжелые шторы на окнах. Два застекленных шкафа. Третий — большой несгораемый шкаф — притаился в углу. Полузадернутая занавесочкой карта с флажками прибита в простенке. Под этой картой, по-видимому, изображающей линию границы, в тени настольной лампы сидит уполномоченный погранотряда Вукович — тот самый высокий блондин-пограничник, который долго бродил возле штаба ЧОНа вместе с Полевым после тревожной ночи, когда Бобырь упустил бандита, пробравшегося на крышу.

— Вот только что парень вернулся из Харькова. Говорит, что видел Печерицу в Жмеринке, — с места в карьер рассказывает Никита уполномоченному.

— Около Жмеринки, — поправляю я.

— Интересно! — говорит Вукович и приглашает: — Садитесь, пожалуйста, товарищи. Я вас слушаю.

...Почти все уже рассказано.

— Так как же все-таки называлась станция, где вы

последний раз видели Печерицу? — спрашивает Вукович.

— Я спал, когда он слез.

— Это я понимаю, но когда последний раз вы видели Печерицу? — спрашивает Вукович.

— После Дунаевец... Нет, нет... Там была первая проверка билетов.

— А где была вторая? Ну вот, когда этот, в стеганке, читал литер?

— Не знаю... Поезд шел, и меня разбудили.

— Минуточку! — И Вукович заглядывает в блокнот. — Вы сказали, что Печерица спрашивал, была ли уже ревизия?

— Спрашивал.

— Где это было — в поле или на станции?

— Поезд остановился... По-моему, на станции.

— Ну вот, какая это была станция? Что было написано на стене вокзала?

— Ей-богу, не помню.. Если б знал... Я ведь первый раз ехал по железной дороге...

— Может, Деражня?

— Нет... Кажется, нет...

— Черный Остров?

— Нет... нет...

— Котюжаны?

— Нет.

— На перроне светло было?

— Ага.

— А свет какой?

— Обычный. Ну, так себе, не очень ясный.

— Погодите, — Вукович морщится, — не то спрашиваю. Электричество или керосиновое освещение? А может, свечи?

— Зеленоватый такой свет из фонаря — с круглым стеклом фонарь, горелка внутри, и на шнурке на столб подымается. Ну, помните, у нас на Почтовке были в кофейне Шипулинского вот такие же самые лампы...

— Газово-калильные?

— Вот-вот! Они самые.

— А вокзал не на бугре, случайно? Лестница каменная, а перрон весь в выбоинах, да? Если, скажем, дождь сильный — лужи будут? Правда?

— Кажется, что этот самый. Бежать от вагона далеко нужно.

— И ты помнишь, наверное, что Печерица здесь не слез, а поехал дальше? — неожиданно переходя на «ты», с большим интересом спрашивает Вукович.

— Ну как же! Когда контролер проверку делал и литер его читал, это было позже, после этой станции, и он на полке еще спал.

— Наверное спал?

— Факт, спал. Хотя... может, прикидывался, кто его знает. Одно помню: видел его ясно.

— Ну, а потом ты сам заснул и видишь — Жмеринка?

— Ага.

— А Печерицы нет?

— Ага.

— Это точно?

— Точно.

— Счастливый ты, парень! Легко отделался. С такими попутчиками да еще в пустом вагоне можно заснуть навсегда! — как-то загадочно сказал Вукович и, опять заглядывая в блокнот, где он делал заметки, спросил: — А что тебе бросилось в глаза во внешности Печерицы?

— Ну, шинель какая-то ободранная... Раньше я его никогда в этой шинели не видел.

— А еще?

— Ах да! Усов не было.

— Совсем не было?

— Ни капельки. Все сбрито...

— Ну, товарищ Коломеец, — сказал торжествующе Вукович, — значит, это его усы мы нашли в бумажнике у выхода из окрнаробраза. Я говорил, что эти волосы принадлежат Печерице, а уполномоченный Дженджуристый возражал. «Никогда, — говорит, — этот гусь не расстанется со своими усами. Это, мол, традиция националистов — пышные казацкие усы. Он скорее бороду себе отрежет!» Что значит человек привык к штампам! Да любой враг на месте Печерицы, если бы ему на ноги стали так наступать, со всеми традициями бы распрощался. Своя шкура дороже! — И, обращаясь уже ко мне, Вукович продолжал: — Значит, ты правду говоришь, Манджура?

— А для чего мне говорить неправду? — сказал я обиженно. — Неправду говорит только тот, у кого на душе нечисто и кто боится. А я же сам хочу помочь вам этого гада поймать...

— Правильно, Манджура! — похвалил меня Вукович, улыбаясь. — Долг всей рабочей молодежи — помогать нам. Помогать в любую минуту, от всего сердца, не щадя сил и здоровья, сознавая, что помогаешь не просто чекисту вот с такими малиновыми квадратиками на петлицах, а всему народу и нашему общему счастливому будущему. Мы опасны только для врагов революции, и чем лучше работать будем, тем скорее сметем их с нашей дороги!

— Большая работенка предстоит! — ввернул Коломеец.

— Пока от паразитов весь мир не очистим, — согласился Вукович. — Минуточку. — И он снял трубку телефонного аппарата. — Шеметова. Вукович говорит... Начальник у себя?.. Мы зайдем сейчас, предупреди, пожалуйста.

Молочные лампы мягко горят у самого потолка в кабинете начальника пограничного отряда и окружного отдела ГПУ. Так странно, непривычно застать здесь людей в это позднее время, когда все учреждения города давным-давно закрыты!

Кресла мягкие, удобные; стакан крепкого чая дымится на краю широкого орехового стола. Начальник кивает нам головой, чтобы мы садились, а сам, прижав к уху телефонную трубку, внимательно слушает.

Видно, ответили.

Начальник крикнул в трубку:

— Комендатура Витовтов Брод?.. Куда же вы пропали!.. Так что же произошло?.. Слушаю... Слушаю... Погодите, Богданов, не так быстро, дайте запишу. — Начальник берет остро отточенный карандаш и, прижимая еще сильнее левой рукой телефонную трубку к уху, правой делает заметки в раскрытом блокноте. — ...Кто вел группу?.. Что?! Опять этот «машинист»? Ну, туда ему и дорога! Меньше работы будет ревтребуналу... А кто задержал?.. Так. Так. Так. Отлично! Объявите ему мою благодарность... Что?.. Ну конечно... Немедленно в управление!.. Что?..

Невольно прислушиваясь к этому разговору, я по-

тихоньку оглядываю большую комнату и, признаться, немного робею. Я впервые вижу так близко начальника окружного отдела ГПУ Иосифа Киборта.

Раньше я видел его только издали, когда он объезжал на белом коне шеренги пограничников и бойцов конвойной роты. Стройный, сухощавый, затянутый в ремни, словно родившийся в седле, лицом немного похожий на погибшего недавно Котовского, он приподымался на стременах, прикладывая руку к лакированному козырьку зеленой пограничной фуражки, и здоровался со всеми звонким, веселым голосом, а войска гарнизона перекатами дружно отвечали ему, заглушая бой часов на старой ратуше.

А вот сейчас он сидит перед нами без фуражки, одетый в ладно сшитый френч из плотного сукна. На его зеленых петлицах по два рубиновых ромба. Светлые волосы зачесаны назад. Он литовец и говорит с акцентом.

...Кончив говорить, начальник кладет трубку, быстрым взглядом осматривает нас с Никитой и весело обращается к Вуковичу:

— Возле Жабинец опять попытка прорыва. Девять контрабандистов. И ни один не ушел с участка. Молодец начальник заставы Гусев. Справился сам, собственными силами, без вызова «тревожной группы». А самого главаря — «машиниста» Куцурубу — Гусев уложил гранатой.

— А что несли? — спрашивает Вукович. — Опять сахарин?

Начальник смотрит в блокнот и медленно говорит:

— Сахарина маловато. Всего одна «носка» — тридцать фунтов. А остальное — всякая дребедень: кашне, чулки, перчатки, бритвы, галстуки и даже полная «носка» шкурок венгерского кота.

— Кому же нужен венгерский кот, если зима кончилась? — улыбаясь, говорит Вукович.

— Ну, может, какая-нибудь запасливая нэпманчиха заказ дала заранее? — говорит начальник. — Но другая находка более важная: в палке, которую бросил Куцуруба, как только завязалась перестрелка, Гусев обнаружил семьдесят банкнотов, по сто долларов каждый.

— Семь тысяч долларов? — мигом подсчитав в уме,

замечает Вукович. — Приличное жалованье кому-то несли...

— Разберемся, — говорит начальник и, обрывая разговор, вопросительно смотрит в нашу сторону.

— Товарищи из фабзавуча, — докладывает Вукович, — сообщают важные новости по делу Печерицы... Говори, Манджура!

Начальник переводит рычажки телефонов и кивает мне головой.

Я рассказываю тихо, не спеша. Начальник очень внимательно смотрит мне в лицо светлыми проницательными глазами. Внезапно он подымает руку, останавливает меня.

— И все время с тобой Печерица по-русски говорил?

— Все время. В том-то и штука! А нашего преподавателя Назарова только за русский язык из школы выгнал!

— И хорошо говорил, складно, без акцента? — интересуется Киборт.

— Ну да! Совсем как русский человек. Если бы я не знал, что он украинец, никогда бы и не подумал этого по разговору.

— Это особенно надо будет иметь в виду, — обращается начальник к Вуковичу. — Значит, районом его действий может быть и весь Советский Союз. Дальний посыльный! Может осесть где-нибудь в центре Союза и «законсервироваться» на много лет для будущей работы. Продолжай, молодой человек!

Я досказываю, как я обнаружил исчезновение Печерицы, и начальник говорит Вуковичу:

— Ну, видите? Предположения Дженджуристого, что он метнулся к границе, не оправдались. Не такой это враг, чтобы сразу на штыки лезть. И, возможно, ему поставлены вторая, третья, четвертая задачи. Думает отсидеться где-нибудь в тиши, авось позабудут.

За дверью начальника послышался резкий и продолжительный звонок. Вошла Шеметова:

— Москва, товарищ начальник!

— А ну-ка, быстренько последние сводки по борьбе с контрабандой! — приказывает начальник и берет трубку.

Минутная тишина.

— Начальник окружного отдела ГПУ и погранотряда у телефона, — громко отчеканивает начальник. — Я слушаю вас, Феликс Эдмундович, — делает знак Вуковичу, чтобы мы ушли.

...Давно уже разошлись по домам комсомольцы. Давно, наверное, остывают в ячейках погашенные факелы. Тихо на белых крутых улицах нашего городка. Поют вдали, за рекой, петухи.

— Ты знаешь, кто начальнику звонил? — останавливаясь посреди мостовой, торжественно говорит Никита Коломеец. — Феликс Эдмундович Дзержинский! Ты понимаешь, Василь, это или нет? Сам Дзержинский! Первый чекист революции!.. В такую ночь и спать-то совсем не хочется... Ты не очень устал с дороги, Василь? Если не устал, давай побродим по городу.

...Никогда не забудется эта весенняя тихая ночь над обрывом, вблизи кафедрального костела!

Усталые, исколесив весь город, мы присаживаемся отдохнуть на дубовых перилах старинной лестницы. Она круто спускается по скалам вниз, к реке. Ее ступеньки выщерблены, и кое-где в маленьких лужицах на ступеньках купается, переливаясь, отражение луны.

Темные силуэты каменных католических святых на порталах костела подымаются у нас за спиной. Эти пляшущие святые как бы застыли навсегда в странном, непонятном для нас исступлении. Значительно позже, много лет спустя, узнаю я, что этот стиль, которому подражал скульптор, высекавший из камня святых, называется «пламенное барокко». Каркают сонные вороны на ветвях голых, уже набухших весенним соком деревьев. Попыхивает двигатель электростанции. Поблескивает где-то далеко внизу, под самыми скалами, протекающая на дне скалистого оврага речка Смотрич. Ее пересекает дрожащая лунная дорожка. Чуть заметная, брезжит за хутором Должок полоска близкого рассвета.

— Такие-то дела, Василь, — как бы размышляя вслух, говорит Никита. — Во всем мире идет страшная, отчаянная борьба между угнетенными и паразитами. И мы с тобой тоже участники этой борьбы. Наша Родина первая в мире показала угнетенным путь к лучшей жизни. Всегда гордись этим! Нам приходится сражаться с хитрыми и ловкими врагами. Их защищает

церковь, ибо не будет паразитов — погибнет и церковь, все эти ксендзы, что вот такие храмы выстроили. Ты даже себе не представляешь, на какие подлости они способны... Помнишь из истории? Они сожгли Джордано Бруно, как только он стал уличать их во лжи. Или Галилей... что они сделали с Галилеем! А иезуиты? Такие изуверы-оборотни, что держись!.. Сейчас церковники поддерживают всю мировую буржуазию. И все-таки в этой борьбе победим мы, победит пролетариат. Я в это твердо верю.

Из-за старинных домов, из-за типографии доносятся сюда с высокой ратуши такие знакомые удары городских часов.

— Три, — говорит Никита Коломеец. — Три часа утра... Да, Василь, в интересные годы мы живем, ой в какие интересные! Поверь мне, никто из наших потомков не увидит столько в своей молодости, как мы с тобой, потому что это не только наша, личная молодость, но и молодость целой Советской страны. И вот мы когда-нибудь расскажем им хотя бы про эту ночь. Ну вот ты, к примеру, расскажешь: «Жил я в юности в одном маленьком пограничном городке. Недавно закончилась гражданская война. Вокруг еще гуляли бандиты — последние недобитки старого строя, шедшие с оружием в руках против нас. Немало было людей, которые ненавидели Советскую власть, потому что она им крепко на мозоли наступила. Сказала: «Хватит! Нажились вдоволь на своем веку, поизмывались над честными тружениками, а сейчас давайте-ка за труд сами принимайтесь». А они ни в какую! Все норовили бочком-петушком ускользнуть от прямой дороги труда и равенства, шипели по-змеиному, ждали смерти для Советской власти со дня на день... И вот однажды, — расскажешь ты, — зашли мы с товарищем по важному делу в управление ГПУ (будь уверен: наверняка тебе уж придется растолковывать, что такое ГПУ), и как раз в это время звонил туда, в кабинет начальника, из Москвы Феликс Эдмундович Дзержинский. Тот самый Феликс Эдмундович Дзержинский, который был грозой всех врагов революции и спасал от тифа и голода, от вшей и коросты десятки тысяч беспризорных малышей, чтобы сделать их здоровыми и счастливыми людьми...»

Воспользовавшись тем, что Никита Коломеец, за-

куривая папиросу, на минуту замолчал, я перебил его и попросил рассказать мне толком, почему же все-таки убежал из нашего города Печерица. Признаться, я хотел порасспросить об этом самого Вуковича, но не решился.

Никита объяснил мне, что всякая излишняя болтовня может лишь повредить розыскам Печерицы. Я твердо пообещал нашему секретарю ничего никому не рассказывать: если кто и узнает от меня о том, что он поведает мне, то лишь через двадцать лет после этой ночи.

— Не раньше чем через двадцать лет? Слово? — спросил Коломеец.

— Слово! — дрогнувшим голосом сказал я. — Честное комсомольское. Можешь быть уверен!

— Ну гляди! — сказал Никита и начал рассказ, каждую подробность которого я старался запомнить как можно лучше.

ПОПОВИЧ ИЗ РОВНО

Оказывается, жена Печерицы, сказав Фурману, что это она резала на крыльце кирпичного дома курицу, нагло обманула всех фабзавучников, отправленных Полевым по следам неизвестного бандита. Но обмануть Вуковича она не смогла.

Когда Полевой сказал Вуковичу: «Глядите, а мы уж тут чуть было куриную кровь за человечью не приняли!» — уполномоченный сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Больше того, для отвода глаз он сказал громко, так, чтобы слышали жильцы дома, вышедшие на крыльцо:

— Не такой дурак этот бандит, чтобы тут поблизости задерживаться!

Выйдя на площадь, Вукович крепко разругал цербкооповского сторожа за то, что тот пропустил такого опасного налетчика и не сумел задержать его, когда диверсант выбегал из ворот. Сторож клялся и божился, что никакого бандита и в глаза не видел, но Вукович не поверил ему и пошел к себе в управление. Там он узнал, что крупная петлюровская банда, пытавшаяся переправиться в ту же ночь на советскую сторону, раз-

бита пограничниками в районе комендатуры Витовтов Брод. «Значит, — решил Вукович, — прав был перебежчик — польский бедняк, батрак из села Окопы, предупредивший советских пограничников о скоплении бандитов возле Збруча!»

Звоня по телефону на пограничные заставы, Вукович не позабыл о женщине, которая выбрала такое неудобное место для того, чтобы резать курицу. Ну где это было видано, чтобы кур резали на каменном крыльце, у главного входа в здание, да еще в доме, где жили такие интеллигентные, образованные люди! Обычно хозяйки режут кур, гусей, индюков и другую живность в дровяных сараях, в закоулочках, подальше от людского глаза, а не на самом виду, перед окнами соседей.

Вечером в тот же день Вукович уже знал многое о женщине, якобы зарезавшей на своем крыльце курицу. Ему стало известно, что это дочь сахарозаводчика из Гнивани, расстрелянного еще в 1922 году за содействие банде атамана Ангела.

Было известно, что доктор Печерица вместе со своей женой занимает в красном кирпичном доме на Рыночной площади квартиру из трех комнат. Квартира это была хорошая, светлая, теплая, но с одним недостатком — в ней не было кухни. Дело в том, что до революции весь второй этаж этого большого дома занимал богатый адвокат Великошапко. Вместе с пилсудчиками адвокат удрал в двадцатом году в Польшу, и вскоре его квартиру из семи комнат городской коммунхоз разделил на две самостоятельные квартиры. Кухня осталась в большей из них. В квартире из трех комнат, которую по приезде из Житомира получил Печерица, коммунхоз еще не успел оборудовать кухню.

Да Печерица и не настаивал особенно на этом. «Мы люди перелетные, — говорил он техникам, приходившим измерять его квартиру, — сегодня здесь, а завтра там. Пошлют в Могилев — поеду в Могилев, пошлют в Корсунь — поеду в Корсунь. Наркомпрос играет человеком. Обрастать хозяйством не собираюсь. Стоит ли на бивуаке кухней обзаводиться, голову людям морочить! Проживем и так, по-холостяцки, по-коммунистически, без кухни!»

Два раза в день — в полдень и вечером — жена Печерицы, Ксения Антоновна, высокая черноволосая

женщина, ходила с блестящими алюминиевыми судочками в ресторан «Венеция», что у крепостных ворот. На кухне этого ресторана сам главный повар Марцынкевич отпускал жене Печерицы обеды и ужины.

Еду жена Печерицы приносила в судочках домой, разогревала на маленькой спиртовке, и так они вдвоем с мужем обедали и ужинали.

Жили они уединенно, гостей к себе никогда не звали; даже сослуживцы Печерицы по окрнаробразу никогда не бывали у него в квартире.

Ни примуса, ни керосинки у них не было — одна лишь маленькая, горящая синим пламенем спиртовка, на которой по утрам Ксения Антоновна варила для своего мужа натуральный черный кофе. Печерица любил этот крепкий напиток.

Вот почему Вукович еще больше удивился тому, что жена Печерицы резала курицу. Где она ее зажарила? На маленькой спиртовке? Да и зачем все эти ненужные хлопоты людям, которые берут обеды из ресторана?..

Вукович узнал, что на следующий же день после ночной тревоги в ЧОНе, начиная с воскресенья, жена Печерицы стала брать в ресторане «Венеция» уже по три обеда и по три ужина. Судков не хватало. Она приносила в плетеной корзинке глиняные горшки.

— Гости небось приехали? — участливо спросил у нее очень вежливый главный повар «Венеции» Марцынкевич.

— Да так... сестра моя из Житомира... — несколько смутившись, ответила Ксения Антоновна.

Однако было очень странно, что никто из соседей не видал этой сестры. Кроме того, выяснив прошлое Ксении Антоновны, Вукович твердо знал, что она была *единственной* дочерью расстрелянного сахарозаводчика из Гнивани.

Вукович знал также, что прислуги у Печерицы не было, но что каждый понедельник к нему приходила мыть полы курьерша наробраза тетя Паша.

В понедельник утром, придя на работу, Печерица сказал тете Паше:

— Вы, бабуся, сегодня до нас не приходьте, бо жинка заболела что-то. Придете в следующий понедельник.

Выслушав это распоряжение строгого начальника,

тетя Паша была очень удивлена, когда вечером на Новом мосту встретила «больную» Ксению Антоновну. Жена Печерицы быстро шла со своими судками по другой стороне моста.

Ксения Антоновна так торопилась домой, что не заметила тетю Пашу и не ответила ей, когда курьерша, кланяясь, сказала:

— Здравствуйте, пани!

...Ровно в шесть часов тридцать минут вечера в тот день, когда я должен был уехать в Харьков, в дежурную комнату окружного управления ГПУ пришел взволнованный врач-хирург Евгений Карлович Гутентаг.

Евгений Карлович сказал, что он срочно должен видеть уполномоченного по особо важным делам. Дежурный направил доктора Гутентага к Вуковичу, и хирург рассказал чекисту следующее.

Утром, когда доктор Гутентаг еще спал, к нему прибежала жена заведующего окрнаробразом Печерицы и сказала, что ее мужу плохо. Она говорила, что, наверное, у Печерицы приступ аппендицита и он очень просит, чтобы доктор посетил его на дому.

Гутентаг знал Печерицу: незадолго перед этим он вырезал у него на шее жировик. Кроме того, Гутентаг очень любил пение и музыку и с удовольствием слушал концерты хора, которым руководил Печерица. Поэтому, несмотря на ранний час, Гутентаг быстро собрался и пошел на Рыночную площадь.

Каково же было его удивление, когда дверь ему открыл сам больной! Пригласив доктора в пустую столовую, Печерица сказал:

— Вот что, коллега! Я бы мог, конечно, играть с вами в кошки-мышки, я бы мог выдумать вам наспех какую-нибудь историю о моем бедном родственнике, которого нечаянно подстрелили, скажем, на охоте, но этого я делать не хочу и не буду. Мы с вами люди взрослые, и сказочки нам не к лицу. Кроме того, я знаю, что вы человек старого закала, окончили медицинский факультет в Варшаве, и не думаю, чтобы вы в глубине своего сознания очень симпатизировали Советской власти. Ведь должно наступить время, когда ваша частная

практика вызовет недовольство вами со стороны органов власти... Короче говоря, вот за этой дверью лежит раненый человек. Пуля попала ему в ногу. Состояние его ухудшается, нога опухла; возможно, уже началось заражение крови. Человека этого ищут. Никто не должен знать, что вы окажете ему помощь. Если вы исполните свой долг, как и полагается врачу, и спасете моего друга, то и вам будет хорошо, и вашему родному брату-аптекарю, который живет в Польше на улице Пилсудского, в городе Ровно, тоже будет неплохо...

Еще не дослушав до конца рассказ доктора Гутентага, Вукович понял, что не зря он выписал сегодня ордер на производство обыска в квартире Печерицы.

Спустя каких-нибудь пять минут после того, как доктор закончил свой рассказ, из ворот помещения погранотряда выехали верхами две группы оперативных сотрудников.

Одна группа, которой командовал сам Вукович, направилась к большому кирпичному дому на Рыночной площади.

Тетя Паша, которую чекисты из второй группы еще застали в канцелярии окрнаробраза, сказала им, что каких-нибудь пять минут назад Печерица забегал в свой кабинет. Он взял чемоданчик, сложил в него какие-то бумаги из несгораемого шкафа, попросил у тети Паши полотенце и, сказав, что его срочно вызывают в пограничное местечко Чемировцы, прежде чем выйти из здания, забежал в умывальную комнату, где задержался на две-три минуты.

Немедленно по телефону из окрнаробраза уполномоченный Дженджуристый распорядился послать верховых пограничников в погоню за Печерицей в Чемировцы.

В это время часовая стрелка уже перевалила за семь часов. Когда сотрудники ГПУ приехали на вокзал, поезд, в котором я отправился в Харьков, уже прошел первую маленькую станцию Балин.

В это же самое время оперативные сотрудники под командой Вуковича окружили со всех сторон большой кирпичный дом на Рыночной площади.

Вукович знал, что квартира Печерицы черного хода не имеет, но ему уже было известно, что возле самого крайнего окна спальни поднимается на крышу с зем-

ли пожарная железная лестница. И в ту самую минуту, когда один из чекистов, подошедший к дверям с табличкой «Д-р Зенон Печерица», потянул на себя медную грушу звонка, Вукович уже осторожно взбирался по этой скользкой узенькой лестнице.

Как и предполагал он, дверь не открывали. Чекисты стали стучать настойчивее. По-прежнему все было тихо. Лишь чуть заметно кто-то, подошедший на цыпочках к двери, шевельнул изнутри медный щиток глазка и, убедившись, кто именно стучит, отошел в глубь квартиры. Тогда чекисты решили взломать дверь.

Поднимаясь по шаткой лестнице, Вукович услышал из открытого окна злой мужской голос:

— Ксения Антоновна, я вам говорю: будем защищаться!

— Все пропало! — ответила женщина.

— Пани Ксеня, верьте мне! — крикнул мужчина.

— Поздно! — ответила жена Печерицы.

В комнате хлопнул револьверный выстрел.

Это выстрелил в спину жене Печерицы их гость и пополз к окну, но здесь ему навстречу, как вихрь, соскочил с подоконника Вукович.

Оторопев от неожиданности, гость не сумел прицелиться и промазал: пуля прошла сторонкой. Ударом ноги Вукович выбил из рук ползущего по линолеуму бандита тяжелый маузер «девятку», и в эту минуту с треском распахнулась единственная дверь в квартиру Печерицы.

Бандит сначала отрицал, что это именно он замышлял взорвать штаб ЧОНа с его оружейными складами, но, когда доктор Гутентаг в тюремной больнице вынул у него из ноги пулю, выяснилось, что она была выпущена из револьвера довольно редкой системы «воблей-скотт».

Из револьвера системы «воблей-скотт» в ту памятную ночь, когда оскандалился Бобырь, стрелял по бандиту наш чоновский старшина и директор фабзавуча Полевой.

На втором допросе атаман стал помаленьку сознаваться, и скоро выяснилось, что он и знаменитый своей жестокостью атаман полка петлюровских погромщиков Козырь-Зирка одно и то же лицо.

Это по его приказанию в тот год, когда пилсудчики

и петлюровцы навсегда убегали с Украины, молодчики из полка «Гуляй душа» перерезали в местечке Овруч добрую половину мирного, ни в чем не повинного населения и родителей нашего фабзайца Монуса Гузарчика... Это про него, Козыря-Зирку, перепуганные жители пограничных украинских местечек пустили слух, что он не то граф из Белой Церкви, не то беглый галицийский каторжник... Это он, Козырь-Зирка, окруженный в селе Приворотье партизанским отрядом, увидев, что приходится худо, убил своего денщика, такого же смуглого высокого парня, как он сам, сунул ему в карман свои документы, подписанные Симоном Петлюрой, и, обманув партизан, решивших, что убит настоящий Козырь-Зирка, сумел скрыться.

Следствие по его делу проводил Вукович.

На следствии выяснилось, что Козырь-Зирка никакой не граф и не каторжник, а самый обыкновенный попович, сын священника из города Ровно.

Убежав после неудачного союза Петлюры с Пилсудским в Польшу от Красной Армии, Козырь-Зирка посидел немного в польском концентрационном лагере в Калише. Туда, в лагерь, из Варшавы дважды приезжал хорошо одетый человек в штатском, в черной шляпе с поднятыми кверху твердыми полями, с тяжелой палкой в руках. Был он худощав, смугл и отлично говорил по-русски. Козырь-Зирка, как и многие жители той части Волыни, что некогда принадлежала Российской империи, тоже говорил по-русски. Они долго беседовали с приезжим на русском языке, и Козырь-Зирка был в полной уверенности, что это какой-нибудь крупный русский белогвардеец из тех, что объединились в Польше вокруг известного террориста и врага Советской власти Бориса Савинкова.

Велико было удивление Козыря-Зирки, когда вскоре после этих визитов его вызвал к себе начальник концентрационного лагеря пилсудчик Заремба и сказал:

— Могу вас поздравить, атаман! Вы понравились представителю английской разведки господину Сиднею-Джорджу Рейли. Это старый враг большевиков. Он знает Россию так, как я Калиш. Он вполне удовлетворен беседой с вами. Капитан Рейли объезжает сейчас, по разрешению маршала Пилсудского, все ла-

геря, где содержатся интернированные части петлюровских войск. Он выбирает из них самых испытанных и самых отважных сторонников самостийной Украины. По личной просьбе капитана Рейли я вас отпускаю домой, в Ровно, на каникулы. Поезжайте, отдохните, поправьтесь. Вас найдут, когда будет нужно. А о нашем разговоре пока забудьте.

Козырь-Зирка не только поправился на бесплатных церковных харчах в приходском доме у своего папаши: выйдя благодаря заступничеству англичанина из-за колючей проволоки на волю, Козырь-Зирка начал разыскивать своих приятелей, служивших вместе с ним у Петлюры.

В ту пору, после того как Красная Армия разгромила петлюровщину, много бывших вожаков и рядовых участников различных петлюровских банд очутилось в эмиграции. Одни бежали в Чехословакию, другие — в Канаду, третьи — в Австрию и Германию, но больше всего их болталось без всякого дела в Польше, и особенно в главном городе Западной Украины — Львове. Их-то и стал потихоньку прибирать к рукам и записывать в свои тайные реестры бывший австрийский офицер и полковник «сичовых стрельцов» Евген Коновалец. Он был известен и на Советской Украине как жестокий мучитель трудящихся Киева, подавлявший вместе со своими «стрельцами» революционное восстание рабочих завода «Арсенал», не пожелавших служить «самостийникам».

Трудно было Козырю-Зирке с помощью одной только переписки разыскать своих старых дружков — атаманчиков. Решил он сам махнуть во Львов.

В те годы Коновалец сколачивал из этих предателей украинского народа свою преступную «Украинскую военную организацию» — УВО.

Когда вожаки тайной контрреволюционной организации принимали в ее члены Козыря-Зирку, он утаил, почему именно ему удалось так быстро вырваться из-за колючей проволоки концентрационного лагеря в Калише. Совет Зарембы забыть разговор с ним и повторный визит англичанина Козырь-Зирка запомнил хорошо. Правда, он слабо верил, что его могут еще найти и предложить услугой за услугу оплатить быстрое освобождение из лагеря. Однако английский ка-

питан Сидней-Джордж Рейли хорошо помнил громилу и бандита с волосами цвета вороньего крыла и щегольскими бачками и через своих людей отыскал его даже вдали от Ровно.

Случилось это летом 1925 года во Львове. Приехав однажды во Львов, Козырь-Зирка остановился в «Народной гостинице». Не успел он принять ванну и просушить свои жесткие, с синеватым отливом волосы, как в дверь номера постучался портье и сказал, что «пана из Ровно» просят к телефону. Женский голос просил его прийти сейчас же, немедля, по важному интимному делу в соседнюю гостиницу «Империал», на улицу Третьего мая. Мучаясь в догадках, как его смогли разыскать так быстро во Львове, Козырь-Зирка оделся, причесался и пошел по приглашению незнакомки в гостиницу «Империал», где обычно останавливались приезжавшие во Львов купцы из захолустных местечек Галиции.

Он очень удивился, когда после стука в дверь названного незнакомкой номера его пригласил войти туда громкий мужской голос. Как только Козырь-Зирка перешагнул порог, ему навстречу поднялся щеголеватый офицер-пилсудчик.

Это был один из старых сотрудников польской военной разведки, так называемой «двуйки», майор Зигмунд Фльорек, работавший во Львове одновременно не только на маршала Пилсудского, но и на английскую разведывательную службу Интеллидженс сервис.

— Вот мы вас и отыскали, пане атамане! — сказал майор Фльорек. — Простите, что я потревожил вас и пригласил зайти сюда. Меня в городе знают многие, и если бы я нанес вам визит, это стало бы известно достаточно широкому кругу лиц. А вашу организацию и без того обвиняют в том, что вы находитесь в тайном контакте с польской разведкой.

Ошарашенный уже первыми словами майора, Козырь-Зирка удивился еще больше, когда Фльорек передал ему личный привет от капитана Рейли и пожелание успеха в первом, довольно опасном задании.

Начальник представительства второго отдела польского генерального штаба во Львове майор Фльорек сказал Козырю-Зирке, что буржуазия всего мира готовится к войне с Советским Союзом. Желая уверить по-

повича из Ровно, что это именно так, майор Фльорек достал из своей сумки свежий номер английской газеты и перевел ему выдержку из статьи на эту тему: «С большевизмом в России будет покончено еще в текущем году, а как только это случится, Россия вернется к старой жизни и откроет свои границы для тех, кто пожелает в ней работать».

— И для вас откроет, мой дорогой атаман! — сказал Фльорек поповичу. — Вы знаете, кто это пишет? Генри Детердинг, крупнейший нефтепромышленник мира. Он уже бросил миллионы золотых рублей на то, чтобы удушить большевизм, и не пожалеет еще столько же, лишь бы его планы осуществились. Его слову можно верить!

Посулив Козырю-Зирке хорошую должность на Украине, если Советская власть будет разбита, Фльорек попросил его выполнить важное поручение английского капитана — близкого друга английского министра Черчилля.

Майор Фльорек поручил Козырю-Зирке перейти на советскую сторону и взорвать штаб ЧОНа в нашем городе со всеми его складами. Майор Фльорек не врал, говоря Козырю-Зирке, что война с Советским Союзом близка. Подстрекаемые Черчиллем и Чемберленом, генералы Пилсудского первыми готовились воевать в тот год с Советским Союзом. Вскоре их наемник убил на перроне варшавского вокзала советского полпреда, коммуниста Петра Войкова, а польский генеральный штаб подтянул к советской границе свои отмобилизованные корпуса. Почти одновременно с этими событиями английские шпионы бросили бомбы в партийный клуб Ленинграда.

Майор Зигмунд Фльорек посулил Козырю-Зирке от себя и от Сиднея Рейли хорошую денежную награду, если дом на Кишиневской улице будет взорван.

— Весь мир услышит грохот этого взрыва, и ваше имя будет записано на страницах истории, мой атаман! — сказал Фльорек поповичу на прощанье, давая ему адреса и явки на советской стороне.

Во время беседы Фльорека с Козырем-Зиркой в номере гостиницы «Империал» на удобном плюшевом диване молчаливо сидел, потягивая пахучую сигару, худощавый, средних лет мужчина в черном костюме и дым-

чатых очках в золотой оправе. По словам Козыря-Зирки, этот человек, которого Фльорек назвал своим лучшим другом, был «корреспондентом» английской газеты «Манчестер гардиан». Фамилию «корреспондента» — очень мудреную — Козырь-Зирка не запомнил. Но кто-кто, а Вукович отлично знал, какой именно «корреспондент» решил лично повидать нового петлюровского бандита, завербованного Сиднеем-Джорджем Рейли на английскую разведывательную службу.

По допросам диверсантов-националистов, задерживаемых на советской территории, Вукович хорошо знал: обычно на явочных квартирах во Львове их всегда вместе с Фльореком молча осматривал этот же тип в черном сюртуке, называемый для отвода глаз «корреспондентом». Довольно скоро Вукович установил его настоящую фамилию. Это был один из девятнадцати иностранных представителей, обосновавшихся в те годы во Львове, — консул Великобритании полковник Джордж Уайтхед. Он хотел лично убедиться, кому именно идут сотни фунтов стерлингов, передаваемые им Фльореку для ведения подрывной диверсионной работы на советской земле. И конечно же, ему было очень «неудобно», опасаясь возможных провалов, называть при таких встречах свое звание и подлинную фамилию. «Пусть, — думал он, — в случае неуспеха вся вина падает на представителя польской разведки Фльорека».

Даже провалы диверсантов были выгодны для полковника Уайтхеда: они еще больше обостряли и без того плохие отношения между Польшей и Советским Союзом. А в этом прежде всего была очень заинтересована Великобритания....

Границу Козырь-Зирка переходил в знакомых местах. Начальник ровенской комендатуры «Корпуса охраны пограничья» поручик Липинский сам проводил его глубокой ночью до Збруча и пожелал ему успеха на прощанье...

— Пишите, пишите, — говорил Козырь-Зирка на следствии уполномоченному Вуковичу. — Игра сделана, ставок больше нет!

Он охотно рассказывал Вуковичу свою жизнь, подшучивал цинично над многими своими промахами, с усмешечкой вспоминал свои преступления, длинными

пальцами разминал одну за другой папироски «Сальве», затягивался глубоко, жадно, видно, предчувствуя, что вот-вот придется ему выкурить последнюю папироску, и, не глядя, швырял в белую пепельницу изгрызенные острыми зубами окурки.

— Какой смысл мне теперь скрывать от вас что-нибудь, подумайте, гражданин следователь, — повторял на допросах Козырь-Зирка. — Душа моя лежит перед вами как на подносе. Неужели вы думаете, мне интересно утаить от вас еще какое-нибудь одно паршивое убийство, или налет, или явку. Ведь ни одного доллара и ни фунта стерлингов я уже больше не получу — сами понимаете. Если ваши пограничники застрелили возле Финляндии моего шефа, этого англичанина Сиднея-Джорджа Рейли, то где уж мне с вами хитрить! После меня хоть потоп. Исповедуюсь, как перед богом, как на страшном суде, поверьте мне!

Вукович был твердо уверен, что, направляя Козыря-Зирку по поручению английской разведки на советскую сторону, майор Фльорек не мог не дать бандиту хотя бы несколько явок. Без этих дополнительных явок Козырь-Зирка был бы слеп и не смог бы выполнить поручения англичан.

Бандит на следствии категорически отрицал, что именно Печерица помог ему пробраться через общежитие химического техникума на крышу чоновского сарая.

— Сам всего достиг, — говорил Козырь-Зирка. — Кирпичную стенку потихоньку разобрал, пронюхал, где и что там находится во дворе. Мы, волки-одинцы самого высшего разбора, только в одиночку ходим, и наша шкура поэтому дороже всего ценится! Получилось бы у меня все, как задумано было, — гулял бы сейчас на английские денежки где-нибудь в Париже, и даже папашенька родной не узнал бы, откуда я такие средства приобрел...

Вина Печерицы перед Советской властью, по мнению Козыря-Зирки, заключалась только в том, что он сжалился над истекающим кровью человеком, спрятал его у себя, позвал к нему доктора.

— До этого я Печерицы в глаза не видывал, — говорил Козырь-Зирка, — и он, по-моему, совершенно лояльный советский работник, только мягкосердечный

немного, это да. Очень жаль, что я его «под монастырь» подвел.

По словам Никиты Коломейца, рассказывавшего мне всю эту историю, Козырь-Зирка ужасно огорчился, когда во время следствия Вукович показал ему Полевого и сказал, что это именно наш директор подстрелил его там, в чердачном проломе, из своего «воблей-скотта».

— Вот никогда бы не поверил! — сознался бандит. — А я думал, что это заранее чекисты мне ловушку подстроили. Чтобы меня подстрелил штатский человек! Чепуха какая-то! Позор до конца дней моих!

— А деньков-то немного осталось! — заметил Полевой, задетый словами бандита. — Побаловался — отвечай!

Козырь-Зирка заскрипел зубами, но тут же, спохватившись, снова заулыбался и продолжал давать показания в своей прежней циничной манере, так, словно не было рядом ни Полевого, ни Коломейца.

...На следующий же день после ареста Козыря-Зирки кто-то стрелял в доктора Гутентага.

Возвратившись со своей дочерью из городского театра, доктор включил свет и подошел к окну, чтобы закрыть ставни. В кустах палисадника хлопнул выстрел, и револьверная пуля, пробив фрамугу на расстоянии двух сантиметров от головы Евгения Карловича, со звоном врезалась в стоявшую на полочке старинную китайскую вазу.

Стрелявший успел скрыться, но его выстрел подсказал Вуковичу, что в городе есть кто-то еще, кто связан с людьми, приславшими на эту сторону Козыря-Зирку.

Несколько позже Вукович узнал от крестьян — перебежчиков из Западной Украины, перебравшихся на советскую сторону от притеснений панов, что примерно в тот же день в городе Ровно неизвестными грабителями был убит аптекарь Томаш Гутентаг. Убийцы застрелили его в аптеке и забрали оттуда часть лекарств.

В ночь же неудачного покушения на доктора Евгения Карловича Гутентага в двадцати верстах от нашего родного города, в районе самой отдаленной заставы села Медвежье Ушко, советские пограничники задержали старого придурковатого нищего: он пытался проскочить в Польшу. В узеньком воротнике его грязной

обовшивевшей сорочки была найдена маленькая, свернутая в трубку записочка — «грипс». Тайнописью сообщалось:

«Дорогая мамо!

Бычка доктор продал чужим людям, отберу задаток. Гогусь, трясця его матери, переехал на другую квартиру. Ищите его уже сами и поговорите по-хозяйски с аптекарем Г.

Ваш сын *Юрко*».

Лежа в тюремной больнице, пока не затянулась его рана, Козырь-Зирка не знал о поимке этого нищего — связного шпионской группы, действовавшей на советской территории. Козырь-Зирка был также твердо убежден в том, что жена Печерицы сожгла все секретные документы, которые могли бы изобличить ее мужа.

Действительно, когда чекисты схватили бандита, Вукович, сразу же открыв медную дверцу печки в кабинете Печерицы, обнаружил на задымленной решетке теплую еще кучку пепла Но перед своим неожиданным бегством из города Печерица, видимо, забыл предупредить жену о том, что хранилось в левом бельевом ящике их семейного шкафа. А быть может, Ксения Антоновна в панике забыла об этом ящике?..

На самом дне ящика, набитого чистым бельем с монограммами «К. П.» и «З. П.», Вукович нашел чистый, сложенный ромбиком носовой платочек.

Это был хорошо отутюженный платочек, подрубленный светло-голубой ниткой. Рядом, на дне ящика, лежало еще несколько таких платочков. Но Вуковичу показалось, что этот платочек чуточку отличается от всех остальных. Материя была одна и та же, а платочек казался чуточку потолще.

И когда Вукович развернул его, он увидел, что в платочек вложено отпечатанное на тонком батисте удостоверение:

«Предъявитель сего сотник Украинских сичовых стрельцов Зенон Печерица во время отхода наших войск в Галицию оставлен в городе для работы на Подолии в пользу самостийной, суверенной Украины. Я лично дал ему задания, как вести себя и что делать для осуществления целей украинского национализма. Просим все военные и гражданские учреждения, когда

снова возвратится наше войско на большую Украину, ни при каких обстоятельствах не обвинять предъявителя сего, Зенона Печерицу, в большевизме.

Комендант Корпуса Сичовых Стрельцов.

Полковник *Евген Коновалец*».

Вот и все. Больше никаких следов Печерицы не было.

Правда, благодаря «грипсу», отнятому у придурковатого нищего, Вукович догадывался, что «Гогусь», переменивший квартиру, и Печерица — одно и то же лицо.

Моя встреча с Печерицей в поезде могла помочь Вуковичу решить и остальные загадки.

По анкетам Печерицы, оставшимся в делах окрнаробраза, выяснилось, что сам он родом из Коломыи, служил сперва в легионе «сичовых стрельцов», а затем в одном из отрядов так называемой «Украинской галицкой армии» и, после того как группа ее офицеров вместе со «стрельцами» отказалась вернуться к себе в Галицию, под власть пилсудчиков, остался в Проскурове, а затем переехал в Житомир.

Именно об этом говорили анкеты, сведения сослуживцев, хорошие отзывы тех организаций, в которых до приезда в наш город работал доктор Зенон Печерица.

Но позабытый лоскуток батиста с мелкими буквами штабной машинки, а самое главное — личная подпись Евгена Коновальца, сделанная несмываемой тушью, убеждали Вуковича в другом.

Вукович отлично знал, что полковник Евген Коновалец еще со времени первой мировой войны тайно работал в германской военной разведке, снабжался немецкими марками и, уводя «сичовиков» с Украины, оставил на пути своего отхода немало тайных агентов, поручив им в целях маскировки прикинуться сторонниками Советской власти.

Не всякому «сичовику» выдавал Евген Коновалец такие охранные удостоверения. Надо было не один раз сопровождать «пана коменданта» в его кровавых походах по Украине, чтобы заслужить его доверие и получить на память такой батистовый лоскуток.

Люди, прятавшие годами, до поры до времени, батистовые лоскутки, имели приятелей и помощников.

Несомненно, имел их и бежавший из города в неизвестном направлении Зенон Печерица. Иначе не мог бы он так быстро выяснить, куда именно, закончив срочные операции в городской больнице, пошел доктор Евгений Карлович Гутентаг. Это именно они, помощники и приятели Печерицы, послали в Польшу, к майору Зигмунду Фльореку, в качестве «ходока»-связного старого придурковатого нищего. Этот нищий без устали бормотал на допросах всякую ерунду. Оставаясь один в тюремной камере, он вдруг глубокой ночью запевал казацкие думы, танцевал гопак и делал все, чтобы его сочли сумасшедшим.

Однако Вукович терпеливо ждал, пока нищий бросит игру и заговорит настоящим голосом. Вукович догадывался, что, кроме этого нищего, друзья Печерицы послали в Польшу еще и второго «ходока», который и стал причиной загадочной смерти аптекаря Томаша Гутентага в городе Ровно.

Совершенно ясно было: сообщники Печерицы оставались в городе. Удобнее всего, конечно, было напасть на их следы с помощью самого Печерицы. Но Печерица «переменил квартиру»...

Обо всем этом рассказал мне Никита Коломеец в ту самую ночь, когда мы с ним вышли из дома окружного управления ГПУ. Не все, конечно, в рассказе Коломейца выглядело так, как излагаю я эту запутанную историю сегодня. О многом в ту весеннюю ночь Никита еще только догадывался, немало подробностей додумывал он сам, да и я, признаться, помогал ему все эти двадцать лет, выясняя немало «темных пятен» биографии поповича из Ровно и Зенона Печерицы, проверяя уже и в советском Львове, так ли все было на самом деле, как оно представлялось нам в те далекие годы нашей юности.

В одном могу признаться: страшным и очень опасным показался мне мир тайной войны с врагами, в который ввел меня неожиданно Никита Коломеец в ту памятную ночь, когда сидели мы с ним до рассвета на широких перилах лестницы над скалистым обрывом.

До этого рассказа я был очень простодушен. Я не мог раньше и подумать, что среди нас есть подлецы,

которые, подобно Печерице, живут двойной, изворотливой жизнью шпионов. Я и представить себе не мог, что почти рядом с нами гуляют оборотни, которые прикидываются, что они искренне любят Советскую власть, а в то же самое время только и ждут ее падения и все норовят, как бы исподтишка, из темноты нанести ей удар побольней да поковарней... «Как велик, благороден и опасен труд пограничников-чекистов, — подумал я, — которые, подобно Вуковичу, рискуя жизнью, отважно входят в этот страшный и темный мир готовящихся преступлений и умеют вовремя схватить врага за руку, когда он совсем не ждет этого!»

...И еще из рассказа Никиты представилось мне ясно, как ненавидит нас, советских людей, мировая буржуазия со своими агентами, и я понял, как мы должны быть настороже до той поры, пока хоть один капиталист еще бродит живым по белу свету.

КАВЕРЗА

Через три дня, незадолго до обеденного перерыва, в литейной появился инструктор Козакевич. Он уже прогулялся через Больничную площадь в контору школы без кепки, оставив в литейной свою прожженную брызгами чугуна тяжелую куртку. Рукава его синей выцветшей блузы засучены; видны могучие мускулы.

— Манджурец! «Донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея!» — шутит он, протягивая сколотый гвоздиком листок бумаги.

По его голосу мне окончательно становится ясно, что Козакевич в отличном настроении.

Беру. Читаю.

Пишет Маремуха:

«Василь, непременно зайди ко мне в обед, есть важное дело.

С комприветом *Петро*».

Быстрее заплясала в моих руках скользкая трамбовка. Надо во что бы то ни стало заформовать до обеда этот маховик к соломорезке. Туго вгоняю набойку под шпоны деревянной опоки. Заколачиваю туда влаж-

ный песок. Вот и последняя клетка. Где-то под затрамбованным пластом песка лежит отсыревший, холодный маховик. Швыряю в сторону трамбовку, одним махом сгребаю с опоки лишний песок. Где душник? Ах, вот он. Эта острая проволочка перелетает ко мне в руку. Накалываю каждую клетку в опоке. Душник с шипением уходит в тугой песок, иногда он натыкается на чугунную модель маховика и гнется.

Все! Можно открывать.

Поблизости нет никого из хлопцев. Один Козакевич бережно раскладывает на полках новенькие, свежевыкрашенные модельки.

— Георгий Павлович, поднимем?

Увязая в песке, Козакевич подходит к моему рабочему месту.

— Клинья забил, воздух дал?

— Все, все, не бойтесь.

— Да я не боюсь, а случается — забудешь. Особенно ты. После поездки в Харьков все какой-то рассеянный бродишь. Ну, взяли! — И Козакевич, наклонившись, берется за ручки опоки.

Натужась, поднимаем ее вверх. Поворот — и верхняя половина опоки ставится на ребро под окном. Козакевич, оправляя отвернувшийся рукав блузы, смотрит вниз, на серую от присыпки нижнюю половину формы. Круглый, вороненый, подымается над плацем обод маховика. Вот зальем потом эту пустоту чугуном, и будет новый маховик крутиться под рукой у крестьянина, на его соломорезке, давая силу барабану с ножами, режущими сечку.

В одном месте форма, как говорят литейщики, чуть-чуть «подорвала»: холмик песка с верхней половины формы приклеился к ободу модели.

— Заделаешь, — показывает пальцем Козакевич.

Далекий гудок на заводе «Мотор». Перерыв.

— Можно, я заделаю потом, товарищ Козакевич? Хочу в школу сбегать.

— А я тебя и не заставляю в обед работать. Беги куда надо!

Тропинка, вчера еще мокрая и пересеченная лужами, высохла под солнцем. Хорошо бежать по ней через площадь в одном костюме первый раз после долгой зимы! А еще лучше гонять на этой площади, когда за-

растает она подорожником, легкий футбольный мяч, слыша, как ветер свистит в ушах!..

Вот и школа! Перескакиваю через две ступеньки, мчусь на третий этаж. Сверху спускается Фурман. В руке у него завтрак. Должно быть, во двор идет. Каждую весну, как только потеплеет, фабзавучники, точно жуки, выползают в обеденные перерывы на школьный двор и завтракают там под лучами весеннего солнца, сидя на ржавых котлах и поломанных походных кухнях.

— Маремуха еще наверху? — спрашиваю я у Фурмана.

— Шашки для подшефного клуба точит, — отвечает Фурман, стуча по лестнице подковками каблуков.

Петькин станок стоит как раз против двери. Вбежав в столярную, я сразу вижу широкую спину Маремухи. Погоняя станок одной рукой, он обтачивает полукруглой стамеской-реером длинную березовую болванку. Тоненькая желтоватая стружка выскакивает из-под острия стамески и падает вниз. Никого больше в столярной нет; лишь в другом конце цеха, сидя на деревянном скрипучем верстаке и задумчиво глядя в окно, завтракает инструктор столяров Кушнир — отец Гали. В цехе приятно пахнет свежими сосновыми опилками.

— Бери, ешь, — говорит Петро, усердно погоняя станок. — То твоя булочка на окне лежит и колбаса в бумаге.

— А ты?

— Я уже поел, это все твое.

— Эх, Петрусь, транжира ты! Растратишь стипендию за два дня, а потом снова куковать будешь, как в прошлый месяц.

— Подумаешь, беда! Скоро и так стипендия кончится, зарплату получать будем, — бросает уверенно Петро, разделяя болванку острием прямолинейной стамески.

Все-таки молодец Петрусь — запасся для меня завтраком. Компанейский хлопец! Этот не будет, как Тиктор, жевать в самом дальнем углу колбасу да озираться, как бы другие у него не попросили. Маремуха всегда поделится с другом.

Свежая румяная булочка с поджаристой коркой хрустит у меня на зубах.

Такие булки приносит к воротам фабзавуча в первые дни после выдачи стипендии вдова податного инспектора мадам Поднебесная.

А обрезки «собачья радость» мы покупаем в бакалейной лавочке.

Замечательная эта штука — обрезки, или, как их называют по-ученому в Церабкоопе, «колбаса прима-ассорти!»

Она очень дешевая и, пожалуй, самая вкусная. Купил четверть фунта, и чего там только нет: ломтики багровой полендвицы, горбушки ливерной, жирные кружочки краковской, охотничьи сосиски, остатки салями с веревочными хвостиками, обрезки кровяной, а Сашке Бобырю попался однажды целый кусище дорогого пахучего окорока.

Заедая хрустящей булкой колбасные обрезки, я слежу за Петькой. Как он наловчился так быстро работать?.. Вдруг Петька останавливает станок и говорит торжественно:

— Мы с тобой старые побратимы, Василь, правда? Помнишь нашу клятву в Старой крепости над могилой Сергушина? Секретов у нас между собою быть не может, правда? Ну, так вот знай, что Яшка Тиктор копает под тобой яму.

— Новости! Какую яму?

— Да-да, не смейся. Это тебе не хиханьки. Он вчера подал на тебя заявление в бюро ячейки.

— Не пугай меня, Петрусь. Какое может быть заявление?

— Я тебя не пугаю, Василь, а правду говорю: Тиктор написал в том заявлении, чтобы тебя исключили из комсомола.

— Меня? Из комсомола?.. Петька, да ты что?.. Ты думаешь, что я Буня Хох и меня можно легко разыграть? Да?.. (Буня Хох из предместья Русские фольварки — это наш знаменитый городской сумасшедший.)

— Василь, — говорит Петро дрожащим голосом, — такими вещами не шутят. Я тебя по-дружески предупреждаю, как старый побратим, а ты думаешь, что я занимаюсь мальчишеством!

— Постой! Петрусь, а что же он пишет в том заявлении?

— Ты думаешь, я знаю? Я не знаю! Я сам того за-

явления не читал, но видел, как Тиктор отдавал его Коломейцу.

— Коломейцу? Никите? Но с чего ты взял, что это именно на меня заявление?

— А вот послушай! Я вчера прибежал к Никите за журналом, а возле него Тиктор. Слышу, он говорит Коломейцу: «Ты понимаешь, Никита, я не хотел впутываться в эту грязную историю, но совесть рабочего парня не позволяет мне стоять в стороне. Дело это важное. Словом, я здесь все изложил. Ты прочти. Не знаю, — говорит, — какое твое мнение, но мне кажется, что Манджуру за это надо обязательно выгнать из комсомола. Такие люди только марают нашу славную организацию».

— И ты сам слышал, что Тиктор мою фамилию назвал!

— Я не глухой, Василь... И вот, понимаешь, дает Никите бумагу. Я что? Хотел заглянуть, а Тиктор заметил, рукой ее закрыл и говорит: «А вам что, молодой человек, нужно? Ваш номер восемь, когда надо, тогда и спросим!» Я туда-сюда, взял журнал и ушел.

— И не прочитал?

— А как же я мог... Слушай, Василь, — торопливо, заглядывая мне в глаза, сказал Петька, — а ты такого, знаешь, подозрительного ничего не сделал за последнее время?

— Что я мог сделать? Ты смешной, Петя!

— Ну, мало ли... Вдруг рекомендацию написал какому-нибудь чужаку?

— Да я как поручился в прошлом году за Бобыря, так с той поры никому больше и не давал.

— А в Харькове?

— Что в Харькове? Да я же рассказывал тебе, как там все было.

— Но, может, ты там что-нибудь такое сделал?

— Что я мог сделать плохого? Странно!

— Ну, такое... может, набузил где-нибудь... или напился, не дай боже... или подзатыльник кому дал... А может, витрину разбил в магазине?

— Да ты что, Петрусь! Я не Тиктор... Флячки на базаре у спекулянтки ел — это да, обокрали меня, ну «Акулы Нью-Йорка» — картину американскую — поглядел, дернула нелегкая, а больше так ничего.

— Ни-ни?

— Ни-ни.

— Интересно, чего же этот чубатый к тебе привязался?

— Не знаю.

— Слушай, Василь, — сказал Маремуха торжественно, — подойди к Никите и так прямо спроси у него: «В чем меня обвиняют?»

— К Никите?.. Зачем мне ходить к Никите? Нарочно не пойду. Если я первый буду выспрашивать, получится — я виноват и боюсь чего-то. А чего мне бояться? Смешно!

— Да, пожалуй, ты прав... — протянул Маремуха.

— Ты, если хочешь, можешь спросить, Петрусь.

— Думаешь, не спрашивал? — быстро отозвался Петро. — Спрашивал... Яшка ушел, а я — к Никите. «Что это, — говорю, — за кляузу тебе Тиктор вручил?» — «Да так, — отвечает Коломеец, — обвиненьице одно крупного калибра». Я говорю: «Какое же такое обвинение, скажи, Никита?» — «Да заявление одно политического свойства на Манджуру подано, — говорит Никита. — Но пока, — говорит, — Маремуха, давай помолчим об этом. Без лишней болтовни. До заседания бюро держи язык за зубами!» Ну, я тут, понимаешь, и привязался к Никите. «Значит, — говорю, — что-нибудь очень важное, да?» — «Да как тебе сказать, — говорит мне Коломеец, — подвох у нас невиданный. А в общем все это образец человеческой подлости!»

— Что, что? — переспросил я Маремуху.

— Образец человеческой подлости!

— Это он про кого? — спросил я дрогнувшим голосом.

— А я, думаешь, понял? Ты же знаешь нашего философа! Он любит такие слова, непонятные... И я тебе все-таки советую: поговори с ним лично.

— Ну, знаешь, не смогу!..

В столярную очень некстати вбежала Галя Кушнир. Она была в синем, до коленей, спецхалате, а волосы повязала голубенькой косынкой.

Последнее время на нее все чаще стали заглядываться другие хлопцы, и я переживал очень. Кто-то заметил это и написал мелом над колпаком кузнечного горна: «Василий Миронович Манджура страдает по Гале

Кушнир — ужас как!» Под этой надписью было нарисовано сердце, скорее похожее на почку. Оно было проколото стрелой, и из него вытекала струя крови, густая, сильная, словно струя чугуна, бегущая по желобу из вагранки. Надпись эта, вне всякого сомнения, подрывала мой авторитет члена бюро ячейки среди остальных ребят. Это ведь очень плохо, когда твои личные переживания выносятся на общее обсуждение. «Любовь должна быть... величайшей тайной в мире!» — вызубрил я наизусть и даже записал у себя в блокноте рядом с конспектом по политграмоте фразу из одного прочитанного романа. Коломеец, проверяя наши конспекты, наткнулся на эту запись и спросил: «Это откуда ты выдрал, Василь, такое мещанство?» Не отважился я сразу сказать, что эту фразу говорил какой-то царский генерал, и стал оправдываться. «Все равно предрассудок!» — отрезал Никита, и пришлось мне выдрать страницу из блокнота. Однако эту надпись над кузнечным горном я бы пережил и продолжал бы любить Галю Кушнир, как прежде, если бы не ее собственное поведение.

Она взяла сторону Тиктора в истории с Францем-Иосифом! Сказал я ей, что Тиктор обозвал меня «монархистом», а Галя ответила хладнокровно:

— А ты думаешь, удобно комсомольцу воспроизводить изображения тиранов и деспотов?

— Так я же для практики. Эх, Галя! — сказал я голосом, полным укоризны, думая, что она согласится со мной.

А Галя Кушнир вместо этого сухо так, будто бы я был для нее чужой человек, сказала:

— Для практики ты мог бы какую-нибудь птичку заформовать. Вот у папы есть письменный прибор с медным ястребом. Сказал бы мне — отвинтила бы и принесла тебе для модели.

— Спасибо тебе большое... Другому будешь приносить, — ответил я грубо, и на этом наши личные отношения закончились.

Правда, кое-что в глубине души осталось и у меня и у нее. Мы не могли разговаривать спокойно и при встречах смущались.

Вот и сейчас, увидев меня возле Петькиного станка, Галя замялась, но потом, пересиливая смущение, все-

таки подошла. Чуть заметный румянец появился на ее щеках.

— А тебя, Василь, хлопцы на дворе вспоминают, — сказала Галя. — Говорят, Тиктор на тебя заявление какое-то подал и хвастается всем, что тебе будет худо. Что ты натворил, а, Василь?

— Я? Натворил?.. Я ничего не натворил!

— А почему же заявление?

— Пойди его спроси.

— Да он не признается. Говорит, до бюро этого нельзя разглашать. Но все-таки раз в церкви звонят, значит...

— Мне плевать на его заявление! И твоя церковь здесь ни при чем! — выпалил я Гале. — Пусть хоть десять кляуз напишет, я ничего такого не делал!

— А ты с Коломейцем говорил? — спросила сочувственно Галя.

— Зачем?

— Как зачем? — удивилась Галя. — Ну, все-таки... Он наш секретарь, член окружкома, давно тебя знает...

Тут меня уже разозлила Галина забота. Да что это такое, в самом деле?..

Со двора друг за дружкой стали вбегать фабзавучники. Обед кончался. Чтобы меня не заподозрили в трусости, я сказал как можно спокойнее:

— Ну, я пошел к себе в литейную, а то у меня там форма открыта.

НИКИТА МОЛЧИТ

Сегодня что-то уж слишком часто вертится у меня перед глазами Тиктор. То лопату в углу возьмет, то зубило из-под самого моего носа выхватит, постучит, позвенит им маленько в соседней комнате, сбивая окалину с готовых маховиков, — глядишь, и снова мелькнули, увязая в сыром песке, рыжие и задубелые Яшкины сапоги. Проволочная щетка, видите ли, ему понадобилась! В глазах его играет хитрая усмешка, пушистый чуб развевается, как у донского казака. Веселый, довольный, Яшка выглядит победителем. Целый день он напевает одну и ту же модную песенку:

Есть в Батавии маленький дом
На окраине, в поле пустом...,

Когда Яшка появляется около меня, я делаю вид, что увлечен работой. Пусть не думает, что я струсил, кляузник чубатый!

...Вот, наконец, и шабаш. Быстро мою руки и первым выбегаю на улицу...

Обычно после работы мой путь лежит по Семинарской улице в общежитие. Но сегодня я иду налево, к Тринитарскому переулку.

Шагаю мимо плетней и садиков с оголенными еще деревьями. На площади шумит городской базар. Иду мимо, к Прорезной, и сам не знаю, зачем меня туда понесло. Долго болтаюсь по сухим и пустынным аллеям бульвара. Желтая река, недавно вскрывшаяся ото льда, течет вниз, кое-где подходя вплотную к скалам, заливая огороды, огибая Старый город. На бульваре жгут прошлогодние листья. То там, то здесь, будто вершины маленьких вулканов, дымятся кучи листьев мелкого валежника, дым стелется низко по склонам аллей над скалистым обрывом, и его горьковатый запах, знакомый запах весны, догоняет меня и на самой окраине бульвара. Там, за маленькой калиткой, чернеет вдали одинокая скамейка. Иду туда и сажусь. Пальцы нащупывают знакомые буквы «В» и «Г». Еще до фабзавуча, когда я был без памяти влюблен в Галю Кушнир, а она ходила с моим соперником Котькой Григоренко, сбежавшим теперь за границу, в тихое летнее утро пришел я сюда и, скрипя от злости зубами, натирая мозоли на руках, вырезал на твердом дубовом бруске перочинным ножиком эти буквы.

Какими мелкими показались огорчения тех лет по сравнению с тем, что могло теперь меня ожидать!

Загадочное заявление Тиктора преследовало меня повсюду. Слова предостережения, которые я услышал от Маремухи и Гали, еще больше разволновали меня. Уже весь фабзавуч знал о таинственном заявлении. Когда сегодня выходил из школы, мне повстречался у ворот Монька Гузарчик. Это был добрый, слегка неуклюжий парень с красными, слезящимися глазами.

Еще в первый год занятий Монька Гузарчик неожиданно получил наследство от своей бабушки. Никогда лично он ее не видел, но бабушка, уехавшая еще при царе в Нью-Йорк, завещала после своей смерти все сбережения внуку Моньке. Его разыскали через нота-

риуса какие-то дальние родственники, и вот в один прекрасный день Монька Гузарчик получил наличными триста двадцать пять рублей советскими деньгами. Конечно, лучше всего было пожертвовать их обществу «Друг детей» — на ликвидацию беспризорности или, скажем, передать Сашке Бобырю на постройку аэропланов для Красной Армии. Но Гузарчик ошалел от такой большой суммы денег и, прибежав в субботу из банка, повел часть ребят в ресторан «Венеция». Он показал хозяину ресторана деньги и сказал: «Я гуляю! Посторонних не пускать!»

Что они там делали, как гуляли — неизвестно: мы с хлопцами в тот вечер были в клубе на лекции «Что раньше появилось — мысль или слово?» Знаю только, что на следующий день гуляки вместе с внуком американской бабушки ходили как потерянные. Их тошнило. Они объелись тортами, пирожными, ели по очереди все, что было указано в меню: селедку, печенье, паюсную икру, поросят, суфле, бифштексы, осетрину... и запивали все это какими-то винами с мудреными названиями. Все наследство прокутили в один вечер.

В свое время история эта прошумела на весь город, и когда Монька Гузарчик подал заявление в комсомол, мы его не приняли. «Ты хотя и рабочий подросток, но ухарь. Душа у тебя, брат, мелкобуржуазная, — отрезал Моньке на бюро Коломеец. — Так сынки торгашей раньше кутили, а ты у них учишься. Погоди, посмотрим!»

Сейчас Монька Гузарчик жил на свои трудовые деньги, на стипендию, и любил говорить про себя иронически: «Я как беспартийная прослойка»...

Повстречав меня сегодня возле ворот, Монька тоже шепнул:

— Ай-ай-ай, Васька! Я слышал, Тиктор на тебя дело завел. Да? Из комсомола требует тебя исключить. Да? Бедный ты, бедный! В нашей, значит, общине будешь.

Докатился я, если уж Гузарчик меня жалеет!

Печально смотрел я на другой берег реки, на крепостной мост, соединявший обе скалы, и на Старую крепость. В этой крепости, когда город захватили петлюровцы, мы с хлопцами клялись над могилой большевика Сергушина стоять один за одного, как за брата, и ото-

мстить проклятым петлюровцам за его смерть. Пока я честно выполнял эту клятву и верно служил революционному делу. Так почему же появилось это заявление и даже близкие друзья раньше времени жалеют меня?..

Из-под крепостного моста сквозь полукруглый тоннель с шумом и грохотом вырывался водопад. Тугая вода падала желтыми каскадами; лишь там, где она ударялась о камни, сверкала белая пена.

Вспомнилась давняя легенда, что много лет назад, покидая навсегда наш город, турки сбросили с крепостного моста железный сундук, набитый доверху награбленными на Украине золотыми цехинами, алмазами, рубинами, золотыми браслетами и огромными, величиной с куриное яйцо, ослепительными брильянтами.

Прежде чем упасть на глубокое дно реки, движимый страшной силой водопада, тяжелый сундук несколько раз перекувыркнулся на острых камнях. Крышка его отлетела. И говорят люди, что каждый год после ледохода вешняя буйная вода вымывает со дна золотые монетки, драгоценные камни. А один раз, еще при царе, дед Сашки Бобыря, говорят, нашел в прибрежных камнях обломок обсыпанной рубинами золотой короны какого-то турецкого визиря, убегавшего впопыхах с Украины от запорожского и русского войска. На радостях Сашкин дед пошел в корчму, выколупнул из обломка короны один рубин и получил за него у старого шинкаря столько горилки, что когда выпил ее, то потерял память. Сашкин дед проснулся лишь в другом конце города, под Ветряными воротами, и без короны, ее утащили бродяги-конокрады. Сашкин дед от огорчения рехнулся и попал в сумасшедший дом. Там и провел остаток дней своих, бродя в длинной холщовой сорочке по тенистым аллеям больничного сада и таская на голове сделанную из репейника корону.

Когда Сашка Бобырь во время приема его в комсомол рассказал и эту печальную историю своего деда, Никита не преминул ввернуть: «Вот что, хлопцы, делает богатство! Поэтому мы, новое поколение, должны быть полностью свободны от власти денег и вещей».

Однако старые люди нашего города говорят об этой

истории с короной несколько иначе. Будто бы на крепостном мосту турки удавили веревкой молодого Юрка Хмельницкого, сына гетмана Богдана, и бросили его с моста в кипящий водопад, привязав к ногам камень. Вот и проклял-де юный Юрко перед смертью турок, а заодно и все их сокровища.

Сколько раз в половодье мы, зареченские хлопцы, пренебрегая гетманским заговором, шатались вдоль реки, не отрывая глаз от илистого ее берега и надеясь, что вот-вот среди щепок, мокрого сена и тающих льдин вдруг блеснет хоть какая-нибудь захудалая монетка, чтобы можно было на нее купить резины для рогаток в аптеке Модеста Тарпани!..

Не Яшкино заявление пугало меня. Совсем нет! Обдумав это, я решил твердо, что заявление ни при чем. Пусть бы даже Тиктор написал в нем что угодно: что я петлюровец или что я склад ЧОНа замышлял взорвать, — все это было бы пустяком. Всякую напраслину рано или поздно можно опровергнуть.

Я унывал сейчас не потому, что боялся. Огорчали меня сочувственные разговоры хлопцев и больше всего — непонятное молчание Никиты Коломейца.

«Если на члена бюро ячейки подают заявление, а ты — секретарь, то приди и скажи человеку толком, честно, открыто, в чем его обвиняют; проверь, так это или нет, а не играй в молчанку, не заставляй человека мучиться понапрасну! — размышлял я про себя, прохаживаясь над обрывом. — Разве я не прав? Конечно, прав!»

Молчание Коломейца — вот что меня удивляло, возмущало и тревожило.

Вчера целый вечер мы были вместе в общежитии, и он хоть бы слово сказал, а ведь у него уже лежало заявление Тиктора.

Посылая меня в Харьков, Никита сказал: «Поезжай, ты парень боевой!»

Сказал: «Ты парень боевой». Значит, доверял мне?.. Доверял!

Теперь Никита молчит.

И какими-то туманными фразами швыряется: «Образец человеческой подлости...»

Вечерело. Холодом потянуло с реки, словно к морозу. Снова подошел я к низенькой скамеечке со зна-

комыми буквами «В» и «Г», присел на нее. Скамеечка стояла на юру, меня продувало со всех сторон. Зябко стало. Поежился я от студеного ветра, удирающего скалистыми урочищами от наступающей с юга весны, и припомнился мне самый холодный в жизни вечер, пережитый два с лишним года назад.

Строем по четыре, вместе с комсомольцами электростанции, шли мы через Новый мост в Центральный рабочий клуб на вечер, посвященный памяти жертв Девятого января.

Шли молча, без песен, и оттого было хорошо слышно, как звонко скрипит под ногами тугой снег, крепко схвативший промороженные доски Нового моста, который повис на мохнатых от инея каменных быках над глубокой пропастью. На всю жизнь сохранится в памяти это согласное поскрипывание снега под ногами у ребят и тепло узкого вестибюля, где мы стали поспешно, наперегонки раздеваться, чтобы занять самые близкие места.

Слушаем доклад о том, как по приказу Николая Кровавого жандармы убивали рабочих Питера у Зимнего дворца. Вдруг выскакивает на сцену старый большевик Кушелев. У него растерянный вид.

«Что случилось? Пожар? Война?»

Кушелев останавливает докладчика и бросает в настороженный зал:

— Товарищи!.. Несчастье... Умер Ленин!

Мы видим, как, полуотвернувшись, он вытирает рукавом кожанки слезы. Не будь этих слез на глазах старого производственника, никто бы не поверил ужасной вести, отогнал бы ее от себя. Но и так вскочил какой-то инвалид со значком за взятие «Арсенала» на защитной толстовке и, потрясая костылем, закричал Кушелеву:

— Неправда! Ты брешешь, негодяй!

И тут же, взятый падучей, грохнулся затылком в проход, на кафельный жесткий пол зрительного зала.

Провожаемые бессвязными выкриками инвалида, которому оказывали помощь доктор Юлий Манасевич и другие люди, мы выскочили на улицу.

В морозном чистом воздухе тоскливо гудели па-

ровозные гудки на станции, на заводе «Мотор» и где-то далеко-далеко, должно быть, за горой Кармелюка, на Маковском сахарном заводе.

Сгрудились мы вместе, молодые хлопцы и девчата с кимовскими значками на кожанках, пытливо заглядывали под заунывную песню гудков в глаза один другому и, пожалуй, впервые за эту суровую зиму совсем не чувствовали острого мороза.

— Что же делать, а, Василь? — тронула меня за локоть Галя Кушнир. — Как будем жить мы теперь, без Ильича? — Она даже не застегнула свой полушубочек. Мохнатые углы ее цветастого цыганского платка свисали на грудь.

— Что делать? — глухо повторил вопрос Гали стоящий рядом Коломеец. — Жить так, как учил Ильич. И держаться вместе. Один за одного. Гуртом держаться. Слышите? Вокруг партии. И тогда нам никакой черт не будет страшен.

...В ту ночь я не мог заснуть до самого утра. И все ребята в общежитии не спали. У кого было оружие, тот чистил его и протирал в сенях.

Казалось, вот-вот прозвучит сигнал чоновской тревоги, позовет всех в штаб на Кишиневскую. Мы думали, что именно в эту ночь мировая буржуазия, воспользовавшись смертью нашего дорогого вождя, нападет на Советскую страну. Мы думали, что уже первые ее банды прорывают границу на Збруче, и были готовы выступить на помощь пограничникам.

А когда морозным утром забелели на дощатых заборах Старого города и Русских фольварков окаймленные черными обводами сообщения о смерти Ильича и началась печальная траурная неделя, всякий раз, стоило снова услышать «Нет Ленина», опять щемило сердце, и мы понимали, что еще долго будет заживать в сознании каждого из нас рана, нанесенная такой неожиданной и страшной вестью...

Не знаю, зачем я полез в карман и вытащил оттуда свой револьвер «зауэр». Что там говорить — крепко любил я эту свою «машину». Даже уходя на работу в фабзавуч, я забирал револьвер с собой, и Никита Коломеец посмеивался надо мной:

— Для чего тебе в цехе револьвер, Василь?

— А куда я его дену?

— Оставляй в общежитии.

— Тебе хорошо — у тебя тумбочка запирается, а моя нараспашку.

— Попроси слесарей, пусть сделают замочек.

— А что он, поможет, замочек-то? Замочек можно легко сломать.

— Ох, Василь, Василь, неисправимый ты человек! Привык к оружию. Тебе бы все время в эпоху военного коммунизма жить. Тяжело Василию Мироновичу Манджуре переходить на мирное положение.

Я знал, что Никита шутит, но меня немного задевали его шутки. Ничего себе мирное положение, если такое вокруг!

Еще и года не прошло, как диверсанты напали на советскую пограничную заставу возле Ямполя и убили начальника заставы. Совсем недавно в Латвии враги нашей республики застрелили советского дипкурьера Теодора Нетте. А убийство Котовского?.. «Не один я, вся рабочая молодежь на границе должна быть вооружена и готова ко всему», — думал я. И продолжал таскать револьвер на работу...

Наведя мушку на одну из зубчатых башен Старой крепости, я прицелился. Но уже было темновато, и в сумерках мушка расплывалась.

«Что же за таинственное заявление Тиктора?..»

Я поспешно засунул револьвер в карман и, окончательно расстроенный, поплелся в общежитие.

В нашем общежитии было на редкость тихо. Сразу вспомнилось, что сегодня в городском комсомольском клубе показывают кинокартину «Красные дьяволята». Конечно, хлопцы пошли туда.

Жаль, что я опоздал.

В комнате горел свет и на потолке и возле кровати Никиты.

Наш секретарь жил с нами вместе. Груда книг высилась на его тумбочке. Как всегда, Никита остался дома. «Развлекаться я буду на старости лет, — говаривал он обычно, — а сейчас, пока здоровые глаза, лучше книжки почитать». «Полюбить книги — это значит сменить часы скуки на часы наслаждения». «Книга — это друг человека, который никогда не изме-

нит!» — часто повторял нам Коломеец изречения каких-то одному ему известных философов. И читал запоем: дома до поздней ночи, по дороге в интернат, как слепой, шагая по тротуару и держа перед глазами раскрытую книжку; читал в обеденные перерывы, сидя на ржавом котле во дворе школы.

Видно, Никита сегодня уже не собирался никуда выходить. Он лежал на койке раздетый, а рядом, на стуле, чернела его аккуратно сложенная одежда.

Я молча подошел к своей постели и снял кепку. Никита повернул голову и сказал:

— У тебя под подушкой анкета, Манджура. Заполни ее и утром сдай мне.

У меня дрогнуло сердце. Начинается.

«Наверно, это какая-нибудь особая, каверзная анкета!»

Чуть слышно я спросил:

— Что за анкета?

— На оружие, — не отрываясь от книжки, сказал Никита. — Чоновские листки теперь недействительны, и мы должны подавать индивидуальные заявления на право ношения оружия.

...Тихо шелестят страницы книги. Коломеец взял на ощупь карандаш с тумбочки, что-то отметил, словно давая понять мне, что разговор окончен.

Ну что ж, ладно! Напрашиваться не будем...

Тихо. В открытую форточку проникает шум весенней улицы.

Особый, неповторимый шум весны!

Заметили ли вы, что весною все звуки человек слышит так ясно, как бы впервые? Вот на соседнем дворе прокричал петух, и мне кажется, что я раньше никогда не слыхал такого звонкого петушиного крика...

В этой тишине я разглядывал отпечатанную в типографии анкету на право ношения оружия и ждал, что вот-вот Никита заговорит наконец со мной о заявлении Тиктора.

— Да, Василь, чуть не забыл, — оборачиваясь ко мне, проронил Никита, — у тебя в тумбочке посылка лежит. Я расписался в ее получении. — И снова уткнулся в книгу.

Прошитая накрест бечевкой, квадратная и тяжеловатая посылка пахла рогожей и яблоками. Внизу химиче-

ским карандашом было выведено: «Отправитель — Мирон Манджура, гор. Черкассы, Окружная государственная типография».

Переехав на работу из нашего города в Черкассы, отец и тетка иногда присылали мне оттуда посылки. Все, что было в них, шло вразлет по общежитию: кому яблоко, кому кусок свиного сала, посыпанного блестящими крупинками соли. Точно так же делились посылки и других хлопцев.

И вот сейчас в ящике под фанерной крышечкой лежат разные вкусные вещи. К тому же я голоден. Но я не мог вскрыть посылку. Если я стану именно сейчас, не дожидаясь прихода хлопцев, угощать Никиту, он может подумать, что я, прослышав о заявлении, подлизываюсь к нему, хочу его подкупить домашними коржиками с маком.

И как это ни было грустно, я оставил отцовскую посылку до возвращения хлопцев из кино на старом месте — в тумбочке у кровати.

Разделся и лег спать, слыша, как шелестят страницы книги, которую читал Никита.

НЕ ВЕЗЕТ БОБЫРЮ!

Забыл сказать, почему перестали быть действительными чоновские листки на право ношения оружия.

Сразу же после моего отъезда в Харьков в наш город пришел на постой из Проскурова кавалерийский полк, воспитанный еще славным комбригом Григорием Котовским. Конники разместились за вокзалом, в казармах, где при царе стоял 12-й Стародубовский драгунский полк. Отовсюду подводы повезли туда сено и овес. Много надо было фуража свезти, чтобы прокормить такую уйму коней.

А вечером, как только котовцы расположились на новом месте, над улицами города послышался знакомый сигнал чоновской тревоги: три пулеметные очереди и пять одиночных выстрелов. И, как обычно по такому сигналу, к штабу частей особого назначения на Кишиневскую улицу отовсюду помчались коммунары — коммунисты и комсомольцы нашего городка.

Наших фабзайцев сигнал тревоги застал в зале ком-

сомольского клуба, где они, собравшись на вечер самодеятельности, смотрели музыкальную инсценировку «Тройка» в исполнении артистов фабзавуча.

После того как раздвинулся занавес, на сцену из-за кулис, размахивая тяжелыми прицепными хвостами, выскочило в одной запряжке трое артистов-«лошадей».

Загримированы они были неважно, и все сразу узнали, что толстая приземистая «лошадь» в ярком мундире румынского королевского офицера с золотыми галунами на красных штанах не кто иной, как Маремуха. Надо сказать, что у моего друга Петьки был приличный бас, и это свойство высоко ценили драмкружковцы.

Бывший беспризорник и всезнайка Фурман изображал петлюровца.

Широкие, с напуском шаровары, синяя чумарка, подпоясанная красным извозчичьим кушаком, черная, с белыми подпалинами папаха из собачьего меха с голубым атласным шлыком на боку и, наконец, длинные — куда длиннее бывших печерициных — усищи — вот как выглядел Фурман. Для пущей важности Фурман засунул еще за голенище бутылку. Тех мальчишек, что заглядывали в зал с улицы через окна, больше всего, разумеется, интересовало — настоящая ли то водка или самая обыкновенная вода из-под крана?

Но краше всех, по рассказам хлопцев, выглядел маршалек Пилсудский — Саша Бобырь. Он был в голубой, отороченной кроличьим мехом высокой конфедератке с дрожащим султаном из белого конского волоса. Костюмер клуба выкопал где-то для Сашки самый настоящий френч офицера-пилсудчика с витыми блестящими позументами на высоком стоячем воротнике, с орденами, аксельбантами и орлеными пуговицами. Френч был Сашке немного великоват. Из плотных манжет его рукавов высовывались лишь кончики пальцев Бобыря; должно быть, офицер, позабывший в городе при бегстве пилсудчиков в двадцатом году свой парадный френч английского покроя, был здоровенный детина. Одного недоставало для полноты наряда — хороших офицерских сапог. На ноги Бобырю костюмер напялил желтые краги свиной кожи, но ботинки из-под краг выглядывали черные, наши обычные рабочие ботинки из юфти. Ну где видано, чтобы офицеры-легио-

неры носили разномастные краги и ботинки? Однако Бобырь не огорчался.

Веселый и гордый оттого, что его рассматривает так много молодежи, и желая хорошей игрой загладить свою промашку на дежурстве в штабе ЧОНа, Бобырь старался вовсю: он топал ногами, как заправский жеребец, ржал лихо, звонко, ну, совсем по-жеребячьи, скрипел зубами еще громче, чем ночью, делая вид, что перегрызает удила, — словом, выкаблучивал как только мог. Он доигрался до того, что на втором круге у него отлетел хвост.

— Смотри, смотри, Пилсудский без хвоста! — завизжали мальчишки у окон.

Но Бобырь, нисколько не смутившись, зафутболил с ходу по упавшему хвосту, да так сильно, что хвост залетел во второй ряд и, схваченный зрителями, пошел гулять по рукам, будто таинственная палочка фокусника.

Сложнее всего оказалось подобрать костюм для Антанты — хозяйки всей этой контрреволюционной «тройки». Поручили это дело Фурману, как самому лучшему из всех артистов, знатоку истории. Он стал припоминать, какие именно крупные капиталистические государства натравливали пилсудчиков, петлюровцев и румынских бояр на молодую Советскую страну, кто снабжал и вооружал армии интервентов.

Будучи сам родом из-под Шепетовки, Фурман хорошо запомнил, как по жалобе польского графа Потоцкого команда американских солдат и офицеров из американской миссии, что располагалась в Яссах, приехав в местечко Антонины, под командой американского лейтенанта Риджуэя, сожгла дотла соседнее село лишь за то, что в годы революции крестьяне этого села разделили между собой графскую землю.

Фурман знал, что в войсках Пилсудского, с которыми тот шел на Киев, особенно в корпусе генерала Галлера, было много американских инструкторов, а еще того больше американских винтовок, пулеметов и другого заокеанского вооружения. Зная это, Фурман распорядился, чтобы половину платья для Антанты костюмер сшил из звездно-полосатого американского флага. Вторую половину сшили из британского флага. Таким

образом, Антанта — Галя словно простыней была обернута в американо-британские флаги. К тому же к материи спереди были нашиты из золоченой елочной бумаги два хвостатых коронованных льва. Чтобы дать понять зрителям причастность к интервенции и французской буржуазии, на белый, посыпанный мукою парик Гали костюмер насунул картонный изогнутый колпак, немного напоминающий те рога изобилия, что висели еще со времен старого режима у булочных города. В таких колпаках на карикатурах обычно изображали прекрасную Марианну — Францию.

Стоя в центре сцены и натягивая вожжи, Галя — Антанта похлестывала кнутом Пилсудского, боярскую Румынию и Петлюру.

В конце третьего круга им полагалось по плану инсценировки обратиться мордами к своей госпоже — Антанте. Кони должны были взметнуться на дыбы, иначе говоря — поднять руки, заржать очень жалобно, а потом, выбежав на авансцену, с грустью пропеть в публику:

Москвы не видать, не видать,
как своих нам ушей...

...Если не считать того, что Бобырь потерял хвост, все, как передавали мне хлопцы, шло прекрасно. Артисты резвились на сцене, поеживаясь от щелкания бича, Галя была строгая и надменная, как заправская английская леди, режиссер — культпроп комсомольской ячейки профсоюза «Нарпит» Коля Дракокруст — потирал руки на радостях, что номер, придуманный им, удался на славу, но как только Маремуха затянул густым баском: «Москвы...» — в зале крикнули:

— Тревога!

Шум поднялся в клубе. Опрокидывая скамейки, зрители-комсомольцы стали выбегать на улицу. Каждому хотелось поскорее примчаться в ЧОН, получить свою винтовку и ждать приказа. Режиссер Коля Дракокруст, не раздумывая, завернул занавес и спрыгнул в зал, чтобы и самому поскорее вырваться на волю.

Домашняя одежда Петлюры — Фурмана лежала на подоконнике за сценой. Там же, как на купанье, положил свои манатки и Маремуха. Оба они быстро переоделись и, расшвыряв по сцене театральные костю-

мы, срывая на ходу усы и вытирая грим, повыскакивали на улицу через окно.

А что было делать Бобырю, чья одежда лежала в пустом шкафу в клубной библиотеке за сценой? В дни спектаклей эта библиотека временно превращалась в гримировочную. Там же хранились обычно парики, грим, старинные курковые пистолеты, и Коля Дракокруст, опасаясь баловства несознательных посетителей клуба, обычно на время представления закрывал библиотеку на ключ.

— Где Дракокруст?.. Где Дракокруст? Хлопцы, вы не видели Колю Дракокруста? — вопил теперь во все горло бедный Саша, бегая по пустеющему залу и задевая никелированными ножнами сабли деревянные скамейки.

Но комсомольцы-чоновцы даже не отвечали Бобырю. Очень им интересно было выяснять, где Дракокруст, когда после неудачного нападения на штаб ЧОНа каждый был встревожен всерьез новым тревожным сигналом и мечтал лишь об одном: поскорее добежать к штабу. Подросткам, не состоящим в комсомоле, некуда было спешить, но даже и они, охваченные общим волнением, протискивались на улицу. Только самые спокойные из них с удовольствием разглядывали вблизи артиста Сашу, а фабзаец Моня Гузарчик, хлопнув Бобыря по плечу, крикнул:

— Проше пана! Не волнуйтесь! Проше пана, як пан хце, то я, как беспартийная прослойка, одолжу пану свои штаны?..

Прекрасно понимая, что Гузарчик только шутит и никогда не решится на такое самопожертвование, Саша бросился к выходу. Выскочив на улицу, Бобырь остановился, потянул носом свежий весенний воздух, оглянулся и, крикнув в полном отчаянии: «Ну где же этот Дракокруст, холера ему в бок, где ключи?» — долго не раздумывая, придерживая саблю, помчался в узенькую и темную Ямпольскую улицу.

Все думали, что «панская Польша» побежала в общежитие переодеваться. Но Саша был не такой дурак, чтобы мчаться на край города, а потом обратно лишь для того, чтобы сменить мундир пилсудчика на свою старую рабочую робу.

Саша решил бежать в штаб ЧОНа в театральном одеянии.

«Ничего, надо полагать, — думал он, раздираемый безвыходностью положения, — первые минуты все будут оборачиваться, а потом, как объясню, в чем дело, перестанут. Самое главное — не опоздать по тревоге. Опоздаю после того, что случилось на прошлом дежурстве, скажут: окончательный трус Бобырь».

Вдобавок Саша решил перехитрить всех чоновцев, что были в клубе, и примчаться в штаб первым. Мало кто знал, что в конце Ямпольского есть грязный проходной двор, который выходит прямехонько на Рыночную площадь. И Сашка пустился темной и петлистой улочкой к заветному двору, желая выгадать кусок дороги.

Надо же было случиться так, чтобы, влетев с разбегу в этот покрытый лужами воды постоялый двор, Саша напоролся на стаю бездомных собак.

Услышав звон шпор, а затем завидя бегущего Бобыря, собаки сперва опешили, и несколько мелких шавок, решив, что главный их враг, гицель — собаколов, — мчится на них с арканом, пустились от него наутек. Но в ту же минуту псы почуяли обман и с лаем бросились на Сашку.

Сперва Бобырь решил обороняться. Он рассказывал потом хлопцам, что хотел выдернуть из ножен саблю и рубить бродячих собак саблей. Но едва его рука схватила эфес, старый барбос вдовы податного инспектора и торговки франзольками мадам Поднебесной вцепился с разгону Сашке в правую ляжку. Барбос уже не раз вырывался из клетки собаколовов и знал, что самый лучший способ не попадаться снова — это первому нападать на обидчика.

Оставался один выход у бедного Сашки — удирать без боя. На свет! Туда, где бродячие псы не посмеют кусать человека.

Пиная собак ногами, отбиваясь от них ножнами сабли, преследуемый громким лаем, Бобырь вырвался на Рыночную площадь в мундире офицера-пилсудчика и нарядной конфедератке с белым пушистым султаном.

А в этот вечер у бакалейного магазина Церабкоопа на Рыночной площади снова дежурил сторож, которого в свое время допрашивал уполномоченный ГПУ Вуко-

вич. Сторож запомнил хорошо, как его пробирал Вукович и как, обращаясь к Полевому, уполномоченный ГПУ высказал предположение, что бандит, пытавшийся подорвать ЧОН, по-видимому, метнулся к польской границе.

Теперь, взволнованный новой чоновской тревогой, сторож уже был начеку. Заслышав лай собак, он обернулся и увидел Бобыря, бегущего в странном наряде.

Старик мигом воскресил в памяти годы гражданской войны и таких вот точно пилсудчиков, шагавших по улицам нашего города под командой приехавших из-за океана американских инструкторов. Сейчас у сторожа была полная возможность отличиться.

Дрожащими пальцами сторож оттянул курки дробовика и, сбегая с крыльца магазина, крикнул грозно:

— Стой, пся крев!

За звоном сабли, за лаем собак Бобырь не услышал окрика.

— Ах ты, панская морда! — заорал сторож и пальнул Сашке под ноги дуплетом из обоих стволов старинного охотничьего ружья.

Бобырь подпрыгнул и взял круто вправо. Глубокая, разрытая водопроводчиками еще с осени, наполненная талой водой и ржавыми листьями канава пересекала Рыночную площадь. Саша думал с ходу перепрыгнуть канаву, но ботинок его скользнул по глинистому скату, и Бобырь с разгону шлепнулся лицом в ледяную воду.

Самое-то обидное, что на этот раз тревога оказалась не настоящей. Просто начальник штаба ЧОНа Полагутин, для того чтобы в последний раз собрать всех коммунаров, воспользовался старым, испытанным сигналом.

Каждому, кто, подбегая к штабу, хотел получить винтовку, Полагутин показывал рукою на мостовую и говорил:

— Давайте строиться, товарищи. Без оружия...

Когда все коммунары построились перед зданием, как-то непривычно себя чувствуя без винтовок, Полагутин, позванивая шпорами, сбежал с холмика на мостовую и сказал:

— Хочу вам сообщить, товарищи коммунары, новость, быть может, для кого-нибудь и неожиданную: части особого назначения и в пограничных округах

Украины распускаются. Все оружие поступает в распоряжение окружного военкомата. Там же, на общих основаниях, будет проводиться военная подготовка призывников и запасных. Сильнее мы стали, товарищи, оттого и такое решение приняло руководство нашей партии. Красная Армия одна сможет в случае чего защитить страну и наши границы. Вот котовцы к нам прибыли на укрепление границы, слышали, надеюсь?..

...В то самое время, как Полагутин, не повышая голоса, запросто беседовал с коммунарами, за домами, на Рыночной площади, прокатились два выстрела, отчаянный визг Бобыря прозвенел в ночной тишине, потом в ответ раздались отдаленные свистки сторожей у Старой крепости, и снова все стихло. Будь то винтовочная пальба, тогда, разумеется, все коммунары двинулись бы сразу туда, но многих успокоило, что звуки выстрелов были глухие, как из простого охотничьего ружья.

Полагутин прислушался и, как бы невзначай заметив: «Что-то случилось у лесопильных складов», — громко и спокойно объявил:

— Все, товарищи. Можно с песнями и по домам!

В разные стороны надо было идти коммунарам: одним — на Подзамче, другим — на Русские фольварки, третьим — на Выдровку, а ячейке мукомолов еще дальше — к хутору Должок, но все старшины, как бы сговорившись, повели свои взводы по Кишиневской, к Рыночной площади, чтобы узнать: а что же все-таки случилось у лесопильных складов?

В последний раз шагая в чоновском строю по Кишиневской, коммунары запели любимую песню:

Прочь с дороги, мир отживший,
Сверху донизу прогнивший,
Молодая Русь идет
И, сплоченными рядами
Выступая в бой с врагами,
Песни новые поет.
Прочь с дороги все, что давит,
Что свободе сети ставит...
Зла, насилия жрецы,
Вам пора сойти со сцены.
Выступаем вам на смену
Мы, отважные борцы,
Мы, рожденные рабами,
Мы, вспоенные слезами,
Мы, вскормленные нуждой.

Из тюрьмы, из злой неволи
Рвемся все мы к лучшей доле.
Рвемся мы с неправдой в бой.

...И не успели чоновцы, по словам ребят, приближаясь к магазину Церабкоопа, пропеть всю эту песню, как им открылось незабываемое зрелище.

Арестованный сторожем мокрый и разозленный Сашка Бобырь, то и дело хватаясь за искусанные ляжки, орал:

— Кто тебе дал право стрелять, дубина стоеросовая? Ты же убить меня мог, психопат несчастный! Я же артист!..

Сторожу было досадно не меньше, чем жертве его ошибки — Бобырю. Ведь патроны казенные расстрелял зря! Но разве мог сторож, старый царский фельдфебель, так сразу, да еще при всех коммунарах признать свою вину и отпустить Бобыря?

Озадаченный, держа наперевес ружье и оглядываясь, он бурчал:

— Артист... Знаем мы таких артистов. Вот пойдем в ГПУ, там разберутся, кто ты есть такой и какое право имеешь в панской форме по советскому городу гонять...

ТИКТОР НАСТУПАЕТ

Бюро собрали вечером в слесарном цехе фабзавуча. Длинная эта комната казалась слишком большой для такого маленького заседания, особенно в вечернее время, когда в школе стало тихо.

Мы расселись на верстаках. Яшка Тиктор, тихонечко посвистывая, сидел напротив меня. Вернее — не сидел, а полулежал, опираясь локтем о цинковую обивку верстака. Нижняя губа Тиктора была выпячена, светлый чуб лохматился над широким лбом, козырек клетчатой серой кепки был приподнят. Он чувствовал себя хорошо.

— Начали, товарищи! — тряхнул головой Никита и вышел в проход между верстаками. — Повестка у нас сегодня маленькая, останется еще время и зачеты готовить. Два вопроса обсуждаем: первый — о поведении члена комсомола Якова Тиктора, а второй — разбор

заявления Тиктора о поступке комсомольца и члена бюро Василия Манджуры. Ну, если будет у кого что в разном — само собою понятно, обсудим. Возражения есть?

— Прошу мое заявление поставить первым, — буркнул Тиктор.

— Это почему?

— А потому, что я его подал тебе два дня назад.

— Ну и что из того?

— Заявление написал, а ты о моем поведении хочешь говорить! А какое такое мое поведение, не понимаю. И где у тебя основания?

— Основания? — Никита нахмурился, и его мохнатые черные брови сдвинулись над переносицей. — Ну что ж, Яков, пройдем с тобой на Центральную площадь, и я покажу разбитое окошечко в одной пивной — еще сегодня оно бумагой заклеено, — а ребята нас тут подождут... Как, товарищи, согласны? Подождете?

Хлопцы засмеялись, и Тиктор сразу изменился в лице.

— Ты свои штучки брось! — со злостью сказал он Никите . — Давай лучше голосуй!

— Проголосовать всегда можно, — сказал удивительно спокойно Коломеец. — Надо прежде условиться, что именно голосовать. И я думаю, что мы обсудим данные вопросы в порядке, так сказать, исторической последовательности.

— Как это? — не понял Тиктор.

— А так: вечером двадцать первого февраля комсомолец Яков Тиктор пошел в пивную нэпмана Баренбойма, напился там до положения риз, затеял в пьяном виде драку, разбил витрину, опоздал на чоновскую тревогу...

— ЧОНа уже нет, это неважно! — перебил Тиктор.

— Очень важно! — сказал Коломеец резко. — Нет частей особого назначения, они слились со всевобучем — это верно, но у нас была и остается строгая военная дисциплина, обязательная для коммуниста и комсомольца. Повторяю: вечером двадцать первого февраля комсомолец Яков Тиктор вел себя иначе, чем должен вести себя член Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это первое. Второй вопрос: в ночь с пятого

на шестое марта комсомолец Василий Манджура ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его. В таком порядке давайте и будет разбирать оба эти вопроса...

Неожиданно и страшно прозвучали в тишине полутемной слесарной жесткие слова Никиты: «...ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его».

Так вот какую яму вырыл мне Тиктор! «Ах ты, негодяй!» — чуть не выкрикнул я.

— Голосую, — предложил Никита. — Кто за предложение Тиктора, чтобы его заявление разбиралось первым?

Молча сидели члены бюро. Лица у всех были строгие и задумчивые.

— А кто за названный порядок обсуждения?

— Зачем голосовать, товарищ Коломеец? — крикнула Галя. — Ясно же...

— А вдруг есть воздержавшиеся? — сказал Никита и принялся считать голоса.

Маремуха тоже хотел было поднять руку «за», но, вспомнив, что он только кандидат бюро и ему не дано право голосовать, словно обжегшись, сунул пухлую ладошку за спину.

— По-моему, большинство... Приступаем?..

— Конечно, сговорились!.. Своя ведь шайка-лейка... — исподлобья глядя на Коломейца, буркнул Тиктор.

— Ты, кажется, хотел что-то сказать, Яша? — бледнея, спросил Никита.

— Он... он хочет сказать... что его надо призвать к порядку! Этот известный мочеморда, — вдруг очень писклявым, сорвавшимся от волнения голосом выпалил Петро.

— Тише, Маремуха, тебе я слова не давал, — остановил Петьку Коломеец и, обращаясь к Тиктору, сказал тихо и очень спокойно: — Говори, Тиктор, говори смело, не бойся, все, что на душе есть, говори, чтобы не мог потом пожаловаться: «Коломеец мне зажим самокритики устроил». Ты ведь, как я погляжу, и на такие провокации способен...

— Да чего уж говорить — разыграно как по нотам! Давай валяй, прорабатывай... — бросил Тиктор лениво и, болтая ногами, залез подальше на верстак.

Коломеец, сдерживая себя, пропустил мимо ушей последние слова Тиктора и тихо начал:

— Когда комсомолец пьет и хулиганит, то этим самым...

— Я пил на свои, и вам нет до этого никакого дела! — грубо выкрикнул Тиктор.

И вот здесь произошло такое, что заставило вздрогнуть каждого из нас. Никогда за все годы школьной жизни мы не видели Никиту Коломейца таким взволнованным, разгоряченным, как в этот тихий вечер в слесарной мастерской фабзавуча.

— Негодяй, — крикнул Никита так резко, что эхо прокатилось в соседнем, токарном отделении. — Ты еще хвастаешь, что пил на свои? Кто тебе дал эти «свои»? Кто научил тебя ремеслу? Кто из тебя человека делает? Кто стремится, чтобы ты жизнь свою прожил честно, с пользой для общества? Да разве для того наши отцы свободу тебе завоевали, чтобы ты, пьяный как свинья, марал в первом попавшемся кабаке почетное звание комсомольца, чтобы ты якшался с гнилью всякой, с нэпманами-спекулянтами, которые спят и видят нашу смерть? А по ним давно тюрьма плачет! Они тебя опутывают, а ты с ними чокался, лобызался. Где Бортаевский сейчас, заказчик твой, «честный кустарь», как ты его называл? Посажен за контрабанду. Пойди в ячейку милиции, поговори с уполномоченным угрозыска Гранатом о своем дружке. Он его дело ведет. Разве для того гибли на каторге, умирали в царских тюрьмах, на виселицах лучшие люди России, чтобы рабочий-подросток Яков Тиктор спал в грязной луже на Прорезной, когда его товарищи с винтовками в руках охраняют город от всякой петлюровской нечисти, от агентов мирового капитала?.. Да еще мало того: сам нашкодил, а другого захотел обвинить. «Дай, — думает, — попробую водичку замутить. Авось шум подымется, и я тем временем вынырну сухим!» Эх, ты! Думаешь, нам не ясно, для чего ты подал заявление на Манджуру? Что мы — дети, думаешь? Не понимаем, что ли, почему это ты вдруг не поленился на трех листиках заявление накатать? Да еще один-

надцать грамматических ошибок в нем! Ой, Яша, Яша, грубая это работа, прямо скажем... Мы не наказывать тебя сюда собрались — ты наш товарищ, и мы хотим тебе сказать: послушай, Тиктор, подумай о своем поведении! Ты можешь прожить свою жизнь красиво, со смыслом. Сотри пену прошлого! Не обливай себя грязью! — Передохнув, уже тише, заметно успокаиваясь, Никита сказал: — Другой бы на твоем месте сказал просто: «Ну, ошибся, было такое дело, прикоснулся к этой проклятой паутине. Постараюсь, чтобы больше этого не случилось». И все. А ты бузишь, и выходит — ты один прав, ты один на верной дороге, а все другие комсомольцы сбить тебя хотят...

— Ладно уж, не агитируй! Слышали! — огрызнулся Тиктор.

— Как ты сказал? — спросил Никита. — Я не расслышал. Повтори еще раз, пожалуйста.

— Кукушку попроси на Прорезной повторить, летает там часто, а я тебе куковать не буду! — И Тиктор вызывающе тряхнул чубом.

Бледный, сжав губы, Никита в упор глядел на Тиктора.

Яшка ухмылялся.

— Дай-ка, Никита, мне слово, — попросила дрогнувшим голосом Галя Кушнир.

Я думал, Галя уговаривать Тиктора будет. И все так думали.

— Говори, Галя, — сказал Никита.

— Я думаю, товарищи, что будет лучше всего, если Тиктор сразу положит на стол комсомольский билет. Мне очень стыдно, что билет еще у него в кармане, — сказала Галя звонко и посмотрела на Яшку с таким презрением, что тот, не выдержав ее взгляда, опустил глаза, деланно засуетился и, вытаскивая из верхнего кармана толстовки желтенький, с картонной коркой комсомольский билет, сказал:

— Милости просим, барышня, — и протянул Гале билет.

— Подожди, Кушнир, — сказал Никита и задал вопрос: — Кто за то, чтобы освободить Тиктора от этого документа?

Все подняли руки. И тут Яшка Тиктор, кажется, увидел, что зашел слишком далеко.

— Посмотрим еще, что собрание скажет, — сказал он с чуть заметной надеждой в голосе.

— Конечно! Посмотрим, что еще собрание скажет, Тиктор, — повторил Коломеец слова Яшки и объявил: — Переходим к следующему вопросу.

Яшка шумно спрыгнул с верстака и, оправляя кожанку, стряхивая стружки, пошел к выходу.

— Куда же ты, Тиктор? Обсуждаем твое заявление, — остановил Яшку Коломеец.

— Без меня обойдетесь. Чего уж тут заявлять. Все равно не поверите. — И Тиктор пожал плечами.

— Ты можешь остаться на бюро во время разбора твоего заявления, — сказал Никита.

— Спасибочки! Пойду лучше погуляю: весна на дворе! — сказал Тиктор, желая показаться веселым, и вышел из слесарной.

Видимо, для того чтобы мы не подумали, что он испугался, Яшка, проходя в темноте мимо токарных станков и громыхая сапогами, запел:

Шумит ночной Марсель
В притоне «Трех бродяг»...

Мы подождали, пока за ним гулко захлопнулась входная дверь, и тогда, вздохнув, Никита посмотрел на всех нас и с горечью сказал:

— Да... Приступаем к следующему вопросу.

А «вопроса»-то и не оказалось с уходом Яшки! Никто не захотел поддержать его обвинение против меня.

После заседания я отозвал в сторону Коломейца и спросил:

— Скажи, Никита, зачем ты скрывал от меня это заявление? Я ведь так мучился...

— Я скрывал от тебя? Ты глубоко ошибаешься.

— Ну да! Ведь ты ничего мне не говорил.

— А зачем прежде времени всякие глупости говорить! Я не хотел понапрасну трепать тебе нервы. Пойми ты: этим заявлением Тиктор показал свое лицо. И я приберегал его для того, чтобы все хлопцы поняли, до чего докатился этот Тиктор. Бывает же так: отец — пролетарий, железнодорожник, а вот парня засосало мелкобуржуазное окружение...

Красив наш город, особенно весной, когда зацветают ивы на Старом бульваре и древние, обомшелые стены Старой крепости, каменные городские ворота, сторожевые башни, прислоненные к скалам вдоль берегов реки, покрываются зеленью и цветами! Из любой щели пробивается к солнцу молодая поросль, на каждом башенном карнизе, куда ветер понамел за многие сотни лет немало земляной пыли, расцветает сурепка, нежные мохнатые одуванчики раскачиваются на тонких пустотелых трубочках, вьется кое-где по отвесным стенам, впиваясь корнями в каждую щелочку, дымчатый, с листьями твердыми и как будто неживыми, цепкий, злой плющ, даже поверх зубчатых башенных коронок растет мягкая, сочная трава, и никто не рвет ее там, разве бродячая коза заберется на карниз башни по крепостной стене, прогуливается там, над пропастью, пощипывая зелень, и тяжело наливающееся пахучим молоком вымя бьет ее по ногам.

Пройдешь через каменные ворота Старого города; хоть день и солнечный, но холодный ветер продувает насквозь. Оглянешься — и видишь, как высоко к небу подымаются отвесные стены семиэтажной башни Стефана Батория, построенной по приказу польского короля, — мрачными они кажутся особенно с теневой стороны. Ничего уж, думается, не вырастет здесь: да нет — вон где-то на высоте четвертого этажа зеленеет чудом выросший кустик не то колючего терновника, не то боярышника, и, покачиваясь на ветвях его, звонко поют над городом две малиновки.

Весной над берегами реки, еще влажными от весеннего половодья, первыми цветут ивы-бредины. Их золотистые пахучие сережки появляются на ветвях куда раньше, чем липкие почки выбросят первые блестящие листики. И когда уже ива отцветает, хорошо бывает днем пойти на Старый бульвар и послушать там, как потрескивают шишки на полуголых ветвях иглистых сосен.

Бродишь по аллеям Старого бульвара и только слышишь то там, то здесь нежный, едва уловимый треск, словно белка хвостатая скребется где-то на самой макушке по стволу, и вдруг мелькнет перед глаза-

ми коричневая шишка, упадет с ветки, подпрыгнет раз-другой на гравиевой дорожке и закатится в молодую еще траву. То и дело теплым ветром сносит с иглистых сосен целые тучи желтой пыльцы.

А надоело тебе бродить под соснами — сядешь на скамеечку и видишь: желтые лужайки цветов на бастионах крепости, яркие пятна пахучей сурепки покрывают израненные турецкими ядрами стены круглых боевых башен, выдержавших осаду «наездников» из Константинополя, а около въезда на мост будто кто-то расстелил сушить на барьерчике пестрые флаги. Но это не флаги: это селянки из Приворотья вышли продавать цветы горожанам. Корзины у них полны букетами красных, белых, желтых, бледно-розовых тюльпанов; перевязанные бечевочками, мокнут в тряпках пучки белых ландышей. Давно уже протянулись по могильным плитам старинных кладбищ молодые стебли блестящего барвинка — «могильницы», зазеленели уже огороды перед мазанками на предместье Подзамче, и первые, нежные еще усики фасоли, душистого горошка, лиловой повилики зацепились за плетни, чтобы к июню выглянуть уже на улицу.

Грустно думать, что в такую весеннюю пору нам придется покинуть родной город.

Из Харькова не было никакого ответа.

Иногда по ночам я просыпался и, видя, как в общежитие сквозь открытые окна пробирается лунный свет, прислушиваясь к ровному храпу соседей, со страхом думал о дне выпуска.

Харьков молчал.

Порой мне казалось, что я вовсе там и не был, что я не видел секретаря Центрального Комитета в его кабинете на улице Карла Либкнехта, а только рассматривал его портрет в журнале «Всесвіт».

Одно мое горе развеялось уже в тот вечер, когда Никита проводил заседание бюро. Как я был не прав, полагая, что Коломеец может думать обо мне плохо и замышляет что-то недоброе против меня! Прочитав тогда, на бюро, заявление Тиктора, Никита сказал во всеуслышание:

— Вот здесь Тиктор пишет: «Ввиду того, что Василий Манджура помог дать ходу контрреволюционеру Печерице, я, как сознательный рабочий-подросток, счи-

таю, что Манджуру за это надо обязательно исключить из Коммунистического союза молодежи». Думается мне, хлопцы, что вы понимаете, какая цена этим обвинениям? Манджура упустил Печерицу не потому, что умышленно хотел его упустить. Манджура допустил промашку потому, что не знал, что за фрукт Печерица и по какой причине уезжает он из города. Не знаю, как вы, но лично я вполне доверяю Манджуре.

А через два дня на открытом комсомольском собрании Никита говорил:

— Манджура выполнил свой долг: он поехал в Харьков и добился того, что вы, окончив фабзавуч, поедете на заводы...

Тиктор хмуро выкрикнул с места:

— Это еще большой вопрос — добился ли! Он треплется, как белье на ветру, а вы ему верите...

— Да, мы верим ему, — заглушая ворчанье Тиктора, крикнул Никита, — а вот ты не заслужил пока нашего доверия! И тебе мы не верим. И так будем жить дальше: людям хорошим будем верить, а плохим, пока они не перестанут быть плохими, верить не будем...

И хотя Никита при всех сказал, что верит мне, верит в то, что мы поедем на большие заводы Украины, я очень побаивался, как бы ему не пришлось сказать другое.

— Поедем, как же! — сказал однажды Фурман Петьке Маремухе, не видя, что я стою у него за спиной. — Поедем.. навозные кучи перекапывать!

До окончания школы оставалась неделя...

Был свободный от занятий субботний вечер, и мы с хлопцами после работы двинулись через Старый город к водопаду. Река, разлившаяся в дни половодья, давно вошла в свои берега, очистилась от мусора и уже манила к себе купальщиков.

Хотелось поглядеть, как отцветают на Старом бульваре каштаны, да к тому же Бобырь похвастался сегодня в обед, что он мог бы, пожалуй, выкупаться. Мы хотели поглядеть, как первые купальщики прыгают в холодную воду с деревянного мостика, повисшего внизу, над самым водопадом. Конечно, мы знали: Сашка

не станет прыгать с мостика в кипящий водопад — он не такой шальной, чтобы ломать себе голову на скалах; где-нибудь с бережка он потихоньку войдет в спокойное течение разлива.

Мы с Петром поймали Сашку на слове, он попытался отвертеться, но не тут-то было. Так и порешили: Саша вечером выкупается при нас!

В этот субботний вечер в Старом городе было людно. Гуляющие так забили Почтовку, что по тротуару нельзя было идти.

Маремухе недавно сшили новую синенькую рубашку с кармашком на груди.

Сегодня он надел ее в первый раз. Сатин плотно облегал его широкую грудь.

Мне в последней посылке отец прислал светло-кофейного цвета сатиновую косоворотку с голубыми цветочками, вышитыми на воротнике, и полосатые брюки. Я тоже решил сегодня обновить отцовские подарки.

Саша Бобырь, который давно копил деньги и за два месяца не съел ни одной булочки, наконец, размахнулся: в магазине Текстильторга купил себе серенький костюмчик-тройку из шевиота «елочка». Увидев его в первый раз в этом костюме, Никита сказал:

— Знаешь, Сашок, чего тебе теперь не хватает? Во-первых, золотой цепочки для солидности, а потом галстука. На золотую цепочку у тебя, конечно, денег не хватит, а вот галстук, я думаю, ты и даром не возьмешь, ибо знаешь, что такое настоящая культура и что такое мелкобуржуазное мещанство, и не захочешь, чтобы тебя на очередном вечере самокритики проработали. Верно ведь, Сашенька, дорогой ты наш товарищ Бобырь?..

У торговки возле моста мы купили «кокошков» — жареной, растрескавшейся на горячей сковородке кукурузы — и шли, веселые, посредине мостовой. Отгоняя от себя грустные мысли, я тоже улыбался, заранее представляя, как-то наш дружок полезет в холодную воду.

Мы дошли уже до городской ратуши. Под ней сияла новая, ярко освещенная изнутри витрина первого в городе образцового комсомольского кафе. Это кафе открыли совсем недавно комсомольцы ячейки «Нарпит» в помещении бывшей баренбоймовской пивной. Финот-

дел прижал частника высоким налогом, нэпман не выдержал и сдался, и все его помещение, уходящее со своими службами далеко под ратушу, передали в руки молодежи. Комсомольцы городской электростанции обновили здесь проводку, ячейки коммунальников покрасили стены и привели в порядок полы, столяры из нашего фабзавуча на комсомольском субботнике, под руководством Кушнира, сделали для нового кафе отличные столики; даже мы, литейщики, у себя в цехе отлили для него новую плиту с конфорками.

Первое комсомольское кафе было гордостью каждого комсомольца нашего города, и не только потому, что в нем была частица и нашего труда: мы видели и понимали, что именно так надо наступать на частника и выгонять его навсегда из советской торговой системы.

Сейчас, сквозь новое стекло, мы с удовольствием увидели, как ходят между нашими фабзавучными столиками молоденькие официантки в белых фартучках, разнося посетителям пахучий китайский чай в граненых стаканах, кофе со взбитыми сливками и сельтерскую воду в синих сифонах с оловянными краниками и с сиропом «Свежее сено». Чистота и порядок, а самое главное — сознание того, что здесь тебя никто не обманет, привлекали в кафе много публики. Почти все места за столиками были заняты.

Когда мы задержались около кафе, оттуда, пропуская вперед жену и приоткрывая перед нею дверь, вышел Вукович.

Я снял кепку и поклонился.

Вукович улыбнулся мне и очень хорошо козырнул: по-настоящему, не как-нибудь, а прикоснувшись к лакированному козырьку пограничной фуражки кончиками пальцев вытянутой руки.

— Кто это, а, Василь? — спросил с любопытством Саша Бобырь.

— Это... товарищ Вукович, — сказал я небрежно.

— Это и есть Вукович? Тот самый Вукович? — глядя вслед уходящему пограничнику, протянул Бобырь, явно завидуя моему знакомству. — Смотри ты... Я и не знал. — И добавил: — Он с тобой поздоровался...

— А что ж такого? Он мой хороший знакомый.

— Да разве, Сашка, ты его не видел, когда мы в ЧОНе дежурили? — спросил Маремуха.

— Не... видел, — промямлил Бобырь, смущаясь.

И я вспомнил вдруг, как Саша прикидывался больным в то самое время, когда Вукович и Полевой бродили по двору штаба, выясняя, куда же мог скрыться неизвестный диверсант.

Все хлопцы выглядывали тогда из караулки и видели Вуковича; один лишь Бобырь лежал на топчане и выстукивал зубами, изображая лихорадку...

— Знаете, хлопцы, а может, мы завтра утречком пойдем на речку? — сказал вдруг Бобырь. — С утра вода ведь еще холоднее...

— Ну, знаешь! — накинулся на Бобыря Маремуха. — Значит, пари проиграл! Веди угощай сельтерской водой.

— Эй, хлопцы! — послышались вблизи знакомые голоса.

Перескочив через ограду палисадника, к нам бежали Фурман и Гузарчик.

— Так вы зачеты готовите! — сказал назидательно Маремуха.

— Какие там зачеты! — прямо завопил запыхавшийся Гузарчик. — Скажи-ка, где сейчас можно карту Украины найти?

— Вот чудаки! Да у нас же в фабзавуче есть карта. В том шкафу, что в канцелярии, — сказал Маремуха.

— А зачем вам карта? — спросил Бобырь.

— Я знаю, что в шкафу, — не отвечая, пробубнил Гузарчик, озираясь, — но ключ-то ведь от того шкафа у делопроизводителя, а его до послезавтра не будет.

— Для чего карта, скажи? — спросил я. — Вы же техмеханику сдаете.

— Что значит «для чего»? Смешной разговор! Ты разве не знаешь? — И вдруг, хлопая себя по лбу, Моня крикнул: — Невежды, вы ничего не знаете! Едем!!

— Как едем? — встрепенулся Бобырь.

— Едем, едем, едем!! Ура! Виват!! — заорал Монька и запрыгал на тротуаре, отбивая чечетку.

— Да объясните толком вы, черти! — крикнул я Гузарчику.

— Мы сидим, понимаешь, учим техмеханику — и

вдруг видим: почтальон. И в руках у него письмо. Толстое такое, с печатями сургучными. «Где, — говорит, — ваш директор? Письмо ценное у меня для него». Повели мы, понимаешь, почтальона к Полевому в комнату. Тот расписался, а мы не уходим. Ждем. Словно чуяли! Я сразу и говорю: «Давайте мы, товарищ директор, поскорее печати оборвем». Оборвали. Раскрыли письмо, а там — путевки! — И Фурман, выпалив скороговоркой эту новость, даже закашлялся от волнения.

— Через час экстренное собрание в школе! — ввернул Монька. — Велено всех из города созвать!

— Куда путевки? — суетливо спросил Бобырь.

— На заводы всей Украины. Нам! Понимаешь? От ВСНХ! — Фурман порылся в карманах и вытащил оттуда длинненький листочек бумаги. — Я все списал... Читай, Гузарчик!

— «Одесса — два места...» — нараспев прочел Моня с такой гордостью, будто это он сам выписывал путевки и выдавал их хлопцам.

— Я поеду в Одессу, факт! — загорелся Бобырь.

— Да, только тебя там и ждут! — насмешливо сказал Фурман. — Там из таких конопатых мыло варят.

— Ну, ты... не задавайся! — обиженно возразил Бобырь.

— Да не мешай, Сашка! — попросил Маремуха. — Пусть человек читает... Давай, Монус.

— «Дружковка, Торецкий завод — три места, Енакиево — четыре места, Гришино — два места...» Фурман, ты не знаешь, где Гришино? Ты там под вагонами не ночевал случайно?

— Понятия не имею! — пробасил солидно Фурман в ответ.

— «...Макеевка — пять мест, Алчевск — четыре места, Луганск — одно место...» Смотри, Луганск, кажется, большой город, а почему туда только один поедет? Странно!..

— Читай, читай! — толкнул Гузарчика Маремуха.

— Читаю... «...Краматорская — два, Запорожье — четыре, Мариуполь — пять, Бердянск — четыре...» Это где-то на море, кажется.

— На море, — буркнул наш всезнайка Фурман, —

только мелкое дно очень: идешь, идешь — и все до коленей.

— «...Славянск — два места, Киев — пять мест...» Даже в Киев, смотри! Прекрасный город! «...Большой Токмак — четыре...»

— Дохлое дело — так читать! — остановил Моньку Петро. — Как слепые.. Поди знай, что такое Большой Токмак, где он! Выберешь, а потом...

— А никто тебе выбирать самому и не даст! — сказал Фурман.

— Все равно... Я хочу знать заранее, куда мне выпадет, — бросил Петро. — Давай поищем карту. Может, в комсомольском клубе есть? Пошли, хлопцы, в клуб! Еще до собрания успеем.

И мы пятеро, задыхаясь от быстрой ходьбы, направились в клуб. Мы шли, размахивая руками, мимо отцветающих каштанов, мимо тенистого, густого парка. Оттуда доносились мягкие звуки гитары и чья-то песня:

Мы идем на смену старым,
Утомившимся борцам
Мировым зажечь пожаром
Пролетарские сердца...

Хорошо шагать в такт этой песни, зная, что все опасения уже позади!

Хлопцы переговаривались, шутили; только я один шел молча, но мне было радостнее всех: я шагал мимо тенистого парка и вспоминал Харьков, весеннее утро в заваленном талым снегом университетском скверике, ясное солнце, ударявшее мне в глаза, и так же, как тогда, весело билось мое сердце.

— Человек, не ставящий перед собой никакой цели в жизни, — пропащий человек, — так начал свою речь Полевой на экстренном собрании учеников в помещении нашей слесарной. — Такой человек, — продолжал Нестор Варнаевич, — обычный пожиратель хлеба. А вы, хлопчики, — будущее рабочего класса, единственной силы, которая способна переделать мир по-новому. Значит, каждый из вас, если он только хочет быть настоящим человеком, обязан ставить перед собой все

новые и новые цели. «Почему я не могу, когда я могу?» — так говорите себе всегда, столкнувшись с трудностями! Воспитывайте в себе чувство ярости к неудачам. А они, конечно, будут на вашем пути. Вы видели их уже здесь. Мы были на волоске от закрытия. Враги украинского народа — националисты, наемники мировой буржуазии — хотели повредить нам и здесь. И что же? Нашли правду в Харькове, в Центральном Комитете партии. Нашли! И вот вам результат. — С этими словами Полевой поднял со стола пачку путевок. — Это мандаты в вашу будущую жизнь. Но они могут оказаться простыми клочками бумаги, если вы когда-нибудь успокоитесь, скажете себе: «Баста, я всего достиг, сейчас можно на боковую!» Не отходите в сторону, повторяю, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!.. Вы — преобразователи мира, поймите это! Кому, как не вам, советской молодежи, принадлежит будущее! Вы, мои хлопчики, — первые всходы революции. Великий Ленин лично заботился о ваших судьбах. Гордитесь этим! Свое детство вы провели еще в старом мире. Многие из вас помнят еще городового, стоявшего на перекрестке Почтовки как символ старого прошлого. Это прошлое еще будет хватать вас за ноги. Отбрасывайте от себя старую гниль. У вас впереди — великое будущее, с вами в ногу шагает молодость страны. Радуйтесь этому!

Я очень хотел бы, друзья, встретиться с вами через десяток лет, когда из молодых рабочих вы станете мастерами, инженерами, командирами производства, а самое главное — коммунистами.

Готовьте себя к вступлению в партию с первых же минут работы на новых заводах. В минуты трудностей и радости объединяйтесь вокруг партии. Еще будучи беспартийными, воспитывайте в себе лучшие качества большевиков...

Вы читали вчера речь Михаила Ивановича Калинина, обращенную к выпускникам Свердловского университета.

Там, в этой речи, есть замечательная фраза: «Самое ценное у партийного работника, чтобы он сумел празднично работать и в обыкновенной будничной обстановке, чтобы он сумел изо дня в день побеждать одно

препятствие за другим, чтобы те препятствия, которые практическая жизнь ставит перед ним ежедневно, ежечасно, чтобы эти препятствия не погашали его подъема, чтобы эти будничные болотные препятствия развивали, укрепляли его напряжение, чтобы в этой повседневной работе он видел конечные цели и никогда не упускал из виду эти конечные цели, за которые борется коммунизм».

И, повторяя сейчас вам эти слова, я, со своей стороны, советую вам, ребята, работать празднично, не опасаясь препятствий, все время видя светлое будущее коммунизма.

Там, где вы будете работать, всегда вырабатывайте в себе большое желание узнать то, чего вы еще не знаете. Не останавливайтесь! Никогда не останавливайтесь! Бойтесь двух слов: «усталость» и «успокоение».

После вас придут другие. Им будет куда легче, но они станут завидовать вам, ибо никто из них не увидит того, что придется пережить и увидеть именно вам...

Скоро, очень скоро вы покинете эту школу. Мы выпишем вам литера, и уедете вы на большие заводы. Там ждет вас большой труд. Любите труд, честно относитесь к своим обязанностям... В добрый путь!..

Слушая эту взволнованную, необычайную для нас речь Полевого, мы понимали, что ему очень жаль отпускать нас. Он говорил все это, путаясь и сбиваясь, как бы размышлял вслух, и голос его временами дрожал, но видно было, что слова его идут от души. И больше всего мне запомнились слова: «Вы — первые всходы революции!» Было в этих словах что-то неповторимо прекрасное. Я как бы увидел широкое — куда глазом ни кинь — зеленое поле пшеницы, засеянное ранней весной руками великого человека. Уже пронеслись над ним первые весенние грозы, уже завязываются колоски на стройных сочных стебельках, и тянутся они все выше, к сияющему где-то в лазурном небе горячему солнцу...

Собрание закончилось быстро.

Оставалась последняя загадка: кто же куда поедет?

Волнуемые этой мыслью, мы снова пошли бродить по родному городу.

В НОВОМ ГОРОДЕ

Мы вышли на вокзальную площадь, и в ту же минуту сильный порыв ветра сорвал соломенный картуз с головы извозчика, ожидавшего со своей линейкой пассажиров у вокзала. Будто легонький сосновый обручик, картуз, подпрыгивая, покатился через площадь.

Загорелый коренастый извозчик мигом соскочил с облучка и пустился вдогонку.

— Тю! Тю! Держи, Володька! На Кобазову гору занесет! — кричали, смеясь, другие извозчики.

Гонимый ветром картуз катился зигзагами, и, уже настигая его, Володька стал приседать, широко расставляя ноги — так, словно курицу ловил.

Несмотря на конец мая, здесь было на редкость сумрачно и прохладно. Влажный морской ветер подымал рябь в лужах, блестевших на площади. Низенькие, с побеленными стволами акации гнулись от ветра, а по небу, едва не цепляясь за вокзальную крышу, плыли тучи — мрачные, черные, набухшие дождем.

Вспомнился очень ясно в эти минуты первого знакомства с новым городом оставленный нами где-то далеко позади, на краю страны, наш родной пограничный городок: скалистый, поросший зеленью, залитый солнцем, овеваемый карпатскими ветрами. Вспомнились последние сборы, станционный перрон, митинг на станции и напутственные слова нашего комсомольского секретаря Никиты Коломейца: «Перед вами расстилаются широкие дали светлого грядущего. Будьте и впредь на этих новых дорогах жизни верными помощниками партии!»

Слова Никиты оборвал голосистый паровозный гудок. Все фабзавучники высунулись из окон вагонов и, протискиваясь между другими пассажирами, запели любимую песню:

Когда мы выйдем на кордон,
Пускай дрожат паны:
Мы — ЧОН!
Всемирный Октябрь
Придет, придет!..

Как прозрачно было весеннее небо в те минуты, когда проплыли перед нами знакомые строения вокзала,

как солнечно все было вокруг!.. И вот тебе — нас сразу швырнуло в глубокую осень. И это еще юг называется?

...Отряхивая с донца картуза капельки воды и подбежав к нам, извозчик Володька крикнул:

— Ну что, молодые, поехали? Карета графа Бенгальского к вашим услугам! — И он ударил ладонью по лакированным поручням линейки.

Уговору насчет извозчика в поезде не было. Мы переглядывались.

Наш казначей Маремуха, озадаченно посапывая, держал руку в том кармане штанов, где у него хранились общественные деньги. Бобырь готов был ехать, не раздумывая, и с удовольствием поглядывал на линейку. Таких линеек в нашем городе не было — одни старомодные фаэтоны.

Тиктор стоял поодаль, у стены, держа в руке тяжелый сундучок. Прищурив глаза, он разглядывал лежащую перед ним площадь, делая вид, что предложение извозчика его не касается.

Маремуха несмело спросил у меня:

— Так что ж, Василь, поедем?

— А может, пешком пройдемся? — сказал я.

— Куда пешком? — возмутился Бобырь. — Далеко!

— Давай поедем, — согласился я. — Интересно только, сколько он возьмет. Спроси-ка, Маремуха.

— Какая такса? — осведомился Петро.

— Божеская! — буркнул извозчик и, взбегая на крыльцо, взял у Петра его корзину с чайником из белой жести. — Садитесь, садитесь, голубчики! Не обижу. Это все ваше хозяйство? — И он показал на остальные вещи.

— Нет, постойте, мы так не поедем! — остановил я извозчика. — Скажите, сколько, а потом сядем. — И тут же подумал про себя: «Знаем мы эти штучки! Теперь ласковый, сулит не обидеть, а там заломит — держись!»

— Вас четверо? — спросил, оглядываясь, извозчик. — Куда ехать: до курорта или на Кобазову гору?

— До центра, — сказал я твердо. — Вот за четверых сколько?

— Меня не считайте, я не поеду! — крикнул Тиктор.

— Почему? — спросил Маремуха.

— Извозчик — буржуйская роскошь. Сперва надо жилье отыскать, а потом на извозчике кататься, — отрезал Тиктор. И, помахивая сундучком, он медленно сошел по ступенькам на площадь.

— Подожди, Яшка, так давай... — хотел было остановить Тиктора Маремуха, но я цыкнул:

— Пускай идет... Начинаются старые фокусы!

— Бедовый парень, — обиженно сказал извозчик, покачивая головой. — «Буржуйская роскошь» — смотри ты! Да я буржуев за миллионы не повезу. Я сам партизанскую карточку имею...

— Ну, так сколько до центра? — перебил я.

— Что же, по полтиннику с брата.

— Много, — сказал я. — Поторгуйся, Петро!

— А по скольку дадите? — испугался извозчик.

Петька бухнул:

— По двадцать копеек!

— Ну, добре, — согласился извозчик. — Поедем ради почина!

Первой он положил на линейку Петькину корзинку с чайником и хотел было класть мой фанерный чемодан, но тут я предложил хлопцам:

— Куда же мы поедем с вещами? Давайте лучше оставим вещи на хранение. И руки вольные у нас будут.

— А не покрадут? — спросил Маремуха.

— Чудак, кто покрадет? Хранение ведь государственное! — успокоил я нашего казначея.

Одну, общую, квитанцию на вещи мы вручили ему же, и Петро, напуганный рассказом о том, как меня обокрали в Харькове, с опаской косясь на смуглого извозчика, спрятал эту драгоценную бумажку в карман толстовки.

Мы расселись. Линейка весело затарахтела по камням.

С обеих сторон вдоль мостовой тянулись выложенные камнями канавки, залитые желтой водой. Низенькие белые домики, крытые то красной, то серой черепицей, стояли в глубине чистеньких двориков, усыпанных песком и мелкими ракушками.

Кое-где сквозь жерди заборов виднелись виноградники, молодые вишни, черешни, абрикосы; вспы-

хивали засаженные огненной настурцией и пионами клумбы.

Мы жадно разглядывали первую улицу города, в котором нам предстояло жить и работать.

На одном из угловых домов я прочел табличку: «Проспект тринадцати коммунаров», и надпись снова напомнила мне наш пограничный город, ЧОН и дорогое слово «коммунар».

— Давно дождит? — спросил у возницы Петро.

— Как шторм начался. Считай — третий день, — придерживая гнедую лошадь, сказал Володя. — А вчера град ударил, здоровенный. Не град — картечь! Виноград молодой побило.

— А раньше жарко было?

— Африка! — ответил извозчик. — Я полдня из моря не вылезал — такая жара стояла. Видишь, загорел как.

Веселее стало после этих слов извозчика. Значит, ветер и лужи на улицах — дело преходящее, временное, и в случае чего, коль не добудем скоро жилья, и на скамеечке бульварной переспать не страшно.

На тротуаре перед нами замаячила знакомая спина Тиктора. Он шел по направлению к городу широкими, размашистыми шагами, держа на плече зеленый сундучок.

Шагая упрямо один, он подчеркивал, что мы для него не компания. И хотя мы понимали это, каждому из нас сделалось стыдно: «Вот наш же фабзавучник, земляк, шагает с вещами пешком, а мы, и впрямь как буржуи какие, трясемся на шикарной линейке!» Самый совестливый и добрый из нас, Маремуха, не утерпел и шепнул:

— Давайте гукнем его, а, хлопцы?

— Гукнуть-то можно, — сказал я, — да он еще больше задаваться станет. Позабыл разве, как всю дорогу он нос драл? Хочет, чтобы к нему подмазывались, чтобы его просили. Дудки!

— Василь правильно говорит, — согласился Бобырь. — Яшка известный индуалист. Пускай сам попросится, если заморился.

Но Яшка и не подумал остановить линейку. Он шел, высоко подняв голову. Ветер развевал его пышный светлый чуб, лихо выбивавшийся у него из-под серой кеп-

ки. Злые глаза его были прищурены. Тиктор притворялся, что вовсе и не замечает нас.

— «Буржуйская роскошь!» Тьфу, — сплюнул Володька. — Вот кощей бессмертный, думает, я разбогатею от его двадцати копеек? Неси, скупердяй, свой сундук... Вы что, с ним из одного края, ребята?

— Да так, рядом... — ответил я уклончиво, не желая раскрывать перед посторонним наши личные взаимоотношения.

— Наверное, в дом отдыха приехали? — спросил извозчик, погоняя лошадь.

— С чего вдруг? — удивился Бобырь.

— Дикие, да?

— Какие «дикие»? — не понял я извозчика.

— Говорю — курортники дикие? Снимете себе частным путем комнатки и будете загорать на солнышке месяц-другой, ножки кверху.

Меня смутили догадки возницы, и я сказал строго:

— Мы на работу сюда приехали. Окончили в своем городе фабзавуч и получили направление на завод имени красного лейтенанта Шмидта. Есть у вас такой?

— Еще бы! Джона Кейворта бывший! Но туда же давненько набору не было! Свои наведываются до конторы изо дня в день...

Мы переглянулись.

— Наверное, с маленькими разрядами, потому?.. — дрогнувшим голосом спросил Маремуха.

— Всякие. И с маленькими и с большими. Но если у вас направления, то, может быть...

— Да еще какие! — похвастался Бобырь. — Из Харькова, от ВСНХ Украины. Сам Феликс Эдмундович Дзержинский из Москвы распоряжение давал. А в тех путевках сказано: «Принять без всяких». Покажи-ка, Петрусь, мою путевку.

— Новое дело! — огрызнулся Маремуха. — Буду я тебе на таком ветру документы разворачивать!

«Смешной Бобырь, право! — подумал я. — И товарища Дзержинского для пущей важности назвал. Первый раз увидел человека и уже загорелся: хочет ему такие важные документы предъявлять».

Линейка, подпрыгивая, катилась по длинному Проспекту тринадцати коммунаров. Володька изредка лени-

во похлопывал гнедую лошадь вожжой по шелковистому крупу.

На улице было совсем пустынно. Изредка встречались случайные прохожие.

Город казался очень тихим. Чувствовалось, что каждый лишний человек здесь на счету.

«Если не все местные жители могут найти работу, то что же станет с нами? Ведь мы приезжие, да и специалисты не очень опытные. И родные наши остались далеко, и Полевой, и Коломеец, и Панченко... Некому помочь нам будет в случае чего!» — раздумывал я, и все беспокойнее становилось от таких мыслей.

— А жить вы где нацелились, хлопцы? — спросил извозчик.

— Да не знаем еще... — протянул Бобырь.

— А вы сюда на практику или насовсем? — с видимым интересом спросил извозчик.

— Если примут, то надолго, — пояснил я.

— Так слушайте, молодые! — заявил извозчик торжественно. — Я имею для вас квартиру. Сказка! Волшебные грезы! Городской парк по соседству, целое лето музыка играет. Если на крышу вылезти, можно кино бесплатно смотреть каждый четверг. У моей тетушки. Верное слово! Да и море рядом.

— Нам квартира не нужна. Нам бы только комнату одну, — сказал я недоверчиво.

— А почему ты, Василь, не хочешь квартиру? — спросил Саша. — Если две маленькие комнатки, то...

— Да! А может, тебе еще рояль туда притащить и гостиную отдельную, как у графа Потоцкого? — накинулся Петро на Бобыря. — Хочешь квартиру — подыскивай ее сам, а мы с Василем в одной комнате поселимся. Правда, Василь?

— Ясное дело! — буркнул я, понимая, что нам бы на одну комнату денег наскрести, а не то что на две.

— Вот у тетушки моей и будет для вас комната, — охотно согласился Володя. — Тетушка у меня очень симпатичная. Одна в целом доме живет. Сына ее махновцы зарубили, а она...

— А тетушка примет нас?

— Отчего же? Порекомендую — значит, все. Уж лучше вы будете жить, чем нэпманы какие. Приедут сюда, на море, жир спускать, да еще хрюкают: «Второй этаж,

высоковато, сердце болит!» Хлопот с ними не оберешься. А вы будете тетке моей в самый раз.

— У вашей тетушки, выходит, собственный двухэтажный дом? — спросил я.

— Ага! Двухэтажный, — как ни в чем не бывало признался Володька. — Только мебели нет — это плохо. Но вам что? Вы люди молодые. Купите себе на первое время тропическую мебель — разные там ящики из-под апельсинов. Это недалеко... Н-но, Султан! — И с этими словами извозчик повернул налево.

Линейка съехала с мостовой и мягко покатилась по пыльной узенькой улочке.

Только этого еще недоставало: у частной домовладелицы жить! В ее собственном двухэтажном доме!

С каждой минутой я все больше мрачнел. Зачем только мы связались с этим веселым, не в меру разговорчивым извозчиком!

Но когда линейка круто остановилась на тихой приморской улице, залитой лужами недавнего дождя, и мы, разминая ноги, нерешительно спрыгнули на влажную песчаную землю и когда Володька познакомил нас со своей тетушкой — худой бабусей в длинной юбке, выяснилось, что у нее совсем пролетарский вид.

Тетушку звали Агния Трофимовна. Седоволосая, она была повязана простым, в черную горошинку бумазейным платком.

Она вышла к нам на улицу с блестящим заступом в руках — этим заступом «буржуйка» сама перекапывала в огороде грядки.

— Вот, тетя, квартирантов тебе привез. Прошу любить и жаловать! — сказал весело Володька, щелкая длинным кнутом.

СТРАХИ МИНОВАЛИ

«Двухэтажным собственным домом» оказалась на самом деле маленькая, крытая желтоватой черепицей хатка, стоящая в глубине засаженного цветами дворика. Дальше, за хаткой, виднелись деревья городского сада и голубая раковина для оркестра.

Полутемная кухонька да выбеленная известкой чистенькая спальня с дверью, выходящей прямо в сени, —

вот, собственно говоря, и был весь первый этаж шикарного «особняка».

Прямо из сеней, заставленных корзинами, дубовыми кадками и кухонной утварью, тянулась наверх довольно скрипучая и крутая лесенка без всяких перил. Казалось, она ведет на чердак.

Когда мы взбирались по этой лесенке вслед за хозяйкой, думалось, что вот-вот две косые балки, поддерживающие ступеньки, рухнут и мы впятером покатимся вниз, на всякую рухлядь.

Верхняя — и единственная — комнатка второго этажа нам сразу понравилась. Давненько, видимо, ее переделали из самого обыкновенного чердака, потолок был косой, и оконная рама выходила прямо на крышу.

Володька поставил в угол кнут и ловко, по-хозяйски, отщелкнул задвижки. Он с треском распахнул маленькое запыленное окошечко.

— Сюда вылезайте — и экран видать, как из первого ряда, даже еще лучше. На прошлой неделе я здесь «Лесного зверя» смотрел. Никакой давки, бесплатно все, и ветерок продувает! Где еще такое удобство получите? — сказал Володя.

И впрямь, из окна хорошо виднелся белый холст киноэкрана в городском саду.

Я высунулся в окошечко подальше, увидел под собой весь скат крыши, соседний сад за плетнем и еще дальше, за линией железной дороги, — море.

Извозчик не соврал: самое настоящее, довольно грязное у берегов Азовское море бушевало в какой-нибудь сотне шагов от хатки Агнии Трофимовны. Мне были отлично видны из окошечка белые гребешки волн. На них покачивался в бухте рыбачий баркас с голой и высокой мачтой.

Старушка хозяйка с опасением следила, как мы разглядывали ее комнатку. Чувствовалось, что она сдаст ее охотно, и Саша Бобырь вел себя поэтому как заправский квартирант. Где он только этому научился — не знаю.

Саша расхаживал важно по рассохшемуся полу, совал свой вздернутый нос в каждую щелку, открыл неизвестно зачем дверцу дымохода от низенькой печурки. Увидев на дверной притолоке накопченный восковой свечкой в пасхальную ночь крест, Бобырь сурово провел

по нему пальцем и под конец глянул вниз: отсюда, сверху, сбегающая круто лестница казалась еще опаснее.

— А почему перил нет? — спросил Саша сурово. — Здесь ночью, когда темно, спросонья себе голову можно сломать.

— У меня внизу лампадка всю ночь горит, — услужливо сказала старушка.

— Что?.. Лампадка? От лампадок пожары бывают! — веско сказал Бобырь.

— Что ты, милый, упаси господь! — забеспокоилась старуха.

— А топить зимой чем? — не унимался Бобырь. И он важно похлопал печной лежак.

— Ну, если вы на заводе будете работать, — сказала хозяйка, — топливо у вас будет. Заводским уголь каждую зиму отпускают. Володя вам привезет, сложите в том сарайчике, где коза, и все.

«А если не будем на заводе работать? — подумал я. — А вдруг нас не примут, и надо будет уезжать совсем из этого города?»

— Мне, товарищи, этот мезонин определенно нравится! — сказал Саша очень солидно, так, словно его мнение было решающим. — Беда, конечно, что пустовато здесь.

— Да я же вам сказал, молодые, — вмешался поспешно извозчик, — купите себе на первое время тропическую мебель, а там дальше, к зиме, коль денежки заведутся, и всякую роскошь можно будет привезти.

— Ну, а спать на чем? — возразил Бобырь. — На ящиках из-под апельсинов много не поспишь!

— «Дачки» купите, раскладушки. Только они уже подороже обойдутся! — сказал не так уверенно Володя.

— А просто на полу разве нельзя? — спохватился Маремуха. — Я очень люблю летом спать на полу. Это полезно. У вас, бабуся, соломы нет?

— Сена могу дать. Я для козы прошлый год купила, так с зимы еще немного осталось.

— От сена блохи пойдут, — сказал, морщась, Бобырь. — В сене и в древесных опилках блохи сами по себе, произвольно рождаются. На сене пусть Деникин спит, а мы себе лучше «дачки» купим. Но вот...

— Погоди, Саша, — остановил я Бобыря. — Хватит тебе голову морочить! — И, обращаясь к хозяйке, спро-

сил: — Если вы согласны, мы, пожалуй, поселимся у вас. Но как вам: задаток сейчас или после?

— Право, не знаю... — Старуха замялась. — Вот, может, Володя скажет.

— Слушайте меня, хлопцы! — сказал Володя, стукнув кнутовищем о деревянный пол. — Мы ведь свои люди, правда? Никто вас тут обманывать не собирается. Познакомил я вас с тетей — держитесь теперь за нее крепко. Она вам как мать будет: что постирать, что пищу приготовить. Забот у вас никаких, руки свободны, а тетушке тоже перепадет от вас на кусок хлеба. Правда? А о цене столкуетесь после. Слушайте меня, я человек бывалый. Бегите-ка быстренько на завод, покажите там путевки ваши от товарища Дзержинского и поскорее определяйтесь. А то сейчас для вас как бы затмение. Разве вы знаете, какой разряд вам положат? Сколько зарабатывать будете? Не знаете! Верно говорю? А когда на заводе побываете, враз образования прибавится. Да и тетушка тут тем часом мозгами пошевелит, да и прикинет, как бы это побольше с вас запросить, чтобы и себе не обидно было, да и племянничку Володе на магарыч досталось. Ну, тронулись, что ли, на грешную землю?..

Конечно, надо было дорожить каждой минутой в этот первый день нашего приезда в не знакомый еще город. Следовало послушаться совета Володи и немедленно мчаться на завод. Но нам очень хотелось взглянуть, как выглядит вблизи настоящее море. Никогда мы его не видели, разве что на картинках.

Самая большая река, которую нам довелось видеть у себя на родине, был Днестр, да и то, чтобы добраться до него из города, надо было шагать проселочными шляхами добрых верст пятнадцать. И купаться в том Днестре можно было лишь у берега — иначе мог пальнуть в тебя, заплывающего на середину реки, румынский жандарм.

Выйдя со двора, мы завернули в переулочек, ведущий к морю, пересекли портовые железнодорожные пути и остановились у каменного парапета набережной.

Не виданное нами раньше море бросалось на берег. Волны ярились пеной, бились с грохотом в каменную грудь парапета и, обессиленные, откатывались обратно, унося с собой мелкую гальку, гнилые водоросли, ракуш-

ки, уступая место новым бегущим на берег волнам. Все море ходило ложбинами и буграми, неспокойное и злое.

Холодные брызги долетали до нас. Бобырь, недовольно поморщившись, потер ладонью веснушчатое лицо и сделал шаг назад.

Признаться, не таким я представлял себе раньше море! Думалось: выйдешь на берег — и далеко-далеко, до самого небосклона, будет простираться перед тобою широкая и тихая равнина голубоватой чистой воды.

Когда-то я подарил Гале Кушнир свою фотографическую карточку с надписью: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега».

Это я слышал в театре во время представления драмы о семи узниках, повешенных царскими полицейскими. Я запомнил и частенько повторял это. Помнится, Галя еще спросила меня:

— Ты это сам сочинил, а, Василь?

Соврать прямо, сказать «я» было неудобно. Авторитет ронять также не хотелось, пришлось ответить уклончиво:

— А что, разве плохо?

Сейчас, глядя на море, я вспомнил те недавние дни, когда мы были еще мальчишками, вспомнил Галю и стишки о любви, «широкой, как море», и невольно возвратился мыслями в далекий наш город.

Я огорчился, что здесь, в новом городе, море было вовсе не таким уж широким. Слева его огибала узкая песчаная коса. Она была похожа на длинный рог, загнутый слегка к юго-западу. На самом конце косы, прямо перед нами, чернели какие-то постройки, и в стороне от них, на отшибе, виднелся, подымаясь довольно высоко над водой, конусообразный столбик. Позже мы узнали, что это маяк.

Вход в порт справа от нас прикрывал серый каменный волнорез. Он как бы продолжал линию портового мола и казался отсюда очень низким. Лишь изредка над гранитными глыбами волнореза вспыхивали белые барашки: это волны из открытого моря, более грозные, чем те, что подкатывались к берегу, силились перепрыгнуть через волнорез.

Обдуваемые влажным морским ветром и мелкими брызгами соленой воды, оглушенные шумом бегущих

на берег волн, мы не услышали, как к нам подошла девушка.

Мы увидели ее лишь тогда, когда она вскочила с разбегу на парапет. Полы ее синего,, с крупными белыми цветами халатика прижало ветром к ногам, обутым в розовые резиновые туфельки.

Мы все трое уставились на незнакомку.

Не обращая на нас внимания, она стояла на бетонном парапете, стройная и гибкая, и жадно вдыхала в себя штормовой воздух. Постояв так немного, она обернулась и, внимательно оглядев нас троих, громко спросила:

— Вы здесь еще побудете, молодые люди?

— Немного побудем, — смущенно отозвался Бобырь.

— В таком случае покараульте, пожалуйста, мои вещи! — сказала девушка и, не дожидаясь нашего согласия, быстро вынула из густых волос роговую гребенку с блестящими камешками, сунула ее в кармашек халатика, провела рукой по волосам и бросила халатик на каменный барьер как раз перед Сашкой.

Оставшись в купальнике, девушка поставила ногу на лесенку и стала спускаться вниз.

Мы думали, девушка окунется несколько раз у берега, держась за пеньки старых свай, а потом, дрожа от холода, вылезет обратно. Ведь именно так купались многие женщины у нас в Смотриче. Но эта, как заправская морячка, сильно оттолкнув ногами ржавую лесенку, нырнула под гребень идущей на берег волны. Не прошло и минуты, как мы увидели незнакомку далеко в море. Желтый ее костюм то показывался на уровне белых барашков, то снова исчезал. Девушка не отворачивалась от набегающих волн, а, наоборот, зарывалась в них головой. Огромные стены воды вырастали внезапно перед нею, но она уверенно ныряла под них, чтобы, получив малюсенькую передышку, опять встретить удар разбушевавшегося моря. Лишь изредка, поворачиваясь к нам лицом, незнакомка высовывала из-под воды загорелую руку и лениво отбрасывала назад волосы. Мокрые, густые, они все время лезли ей на глаза.

— Смотри ты, принцесса цирка! — сказал восхищенно Бобырь. — Как ныряет!.. Ты бы смог так, а, Ма-

ремуха? — И Сашка, не отрывая глаз от моря, сел рядом с халатиком девушки на парапет.

— Надо попробовать сперва, что за вода, — уклончиво ответил Петро. — Если настоящая соленая, то отчего же! В соленой воде, говорят, легко плавать: она сама человека держит.

— Держит-то держит, но волны какие! Разве не видишь? — сказал я. — Такой волной как шарахнет, мигом забудешь все на свете... Как она вылезет только?

— Худо ей будет к берегу пробиваться, — согласился Бобырь.

— Где же она, хлопцы? — закричал вдруг Маремуха. — Я ее не вижу.

Девушки в самом деле нигде в море видно не было.

— А может быть, она уже на волнорезе? — неуверенно протянул Саша.

— Туда не так-то скоро доплывешь! — сказал я и тотчас же облегченно крикнул: — Да вон она, чудаки!

Цепляясь за якорную цепь, незнакомка лезла на раскачивающийся на волнах баркас. Всплеск волны подбросил ее вверх, и она рывком выскочила на палубу. Схватив одной рукой мачту, другой она поправила волосы и потом, как это обычно делают извозчики на морозе, похлопала себя руками по телу, как бы обнимая себя. Хорошо ей, видно, было отдыхать там! Мне уже начинало не нравиться ее купанье. Сказала, чтобы «немного» покараулили ее вещи, а сама, глядишь, и в самом деле к волнорезу махнет!

— Ты тоже, Сашка, чудак! — сказал я Бобырю. — Кто, скажи, тянул тебя за язык говорить, что мы тут стоять будем! Она себе развлекается там, а нам на завод идти надо. Вызвался тоже, караульщик!..

— Ну, так давай пошли! — предложил Бобырь, оглядываясь.

— Мы пойдем, а халат ее украдут. Она подумает, что мы жулики, — резонно заметил Маремуха.

— Мы вот с Петрусем пойдем, а тебя оставим здесь... кавалера! — припугнул я Бобыря.

— Один я не останусь. И не думай! — буркнул Бобырь и поспешно отодвинулся от халата.

Словно чуя наши опасения, незнакомка ловко, головой вниз, прыгнула с баркаса в кипящую воду. Появившись на волнах снова, она вразмашку, по-мужски, по-

плыла к берегу. Волны помогали ей плыть, подталкивали ее. Но вот возле самого берега девушка попала в мертвую зыбь. Пловчиха почти не двигалась с места. Совсем грязная, с накипью из мусора, шипящая вода, откатываясь от парапета, то чуть-чуть отгоняла девушку в море, то сразу же возвращала ее обратно. Незнакомка, видно, устала. Лениво плавая, она собирала силы.

Но вот с грохотом и ревом понесся на берег высокий водяной вал. Он подхватил девушку.

Незнакомка с силой уцепилась за железную лестницу, чуть не сорвав ее с петель.

Кое-как девушка вылезла на бетонную набережную. Ее пошатывало. Волосы были липкие, свисали, как намоченная пакля. На загорелых ногах чернели крупинки сора.

— Мерси, что покараулили, — сказала девушка, тяжело дыша. И, схватив халатик, она побежала в сторону, оставляя на парапете маленькие мокрые следы.

— Двинулись, хлопцы! — позвал я друзей, поворачиваясь спиной к парапету.

Извозчик Володя, прощаясь с нами, показал вдали, под горой, высокую кирпичную трубу с красным флагом, развевающимся на громоотводе.

— Это и есть завод имени лейтенанта Шмидта, — сказал Володя. — Держите курс на трубу — и попадете прямехонько в контору!

Город был повсюду чистый и на редкость ровный, не в пример нашему родному городку, изборожденному оврагами и пропастями. Теперь, когда мы шли пешком от берега моря к центру, поглядывая на трубу, стало понятно, что мутная вода, заполняющая почти доверху облицованные камнем-песчаником канавки вдоль улиц, загоняется ветром с моря и благодаря ей в городе нет пыли.

— Да, товарищи, ничего не скажешь — здорово плавает эта принцесса! — с завистью в голосе признался Бобырь. — Я бы не полез в такую бурю в море. Аж до сих пор в ушах шумит!..

— Тебе с непривычки кажется страшно, — сказал Маремуха. — Вот погоди, устроимся здесь, станем целое лето купаться — и еще не в такой шторм поплывем. До того маяка доберемся, что на косе виднеется!

— Хватил тоже! До того маяка добрых десять верст, — заметил я неуверенно.

— А хорошо, правда, что мы у самого моря устроились! — едва поспевая за нами, сказал Петро. — Подумайте, как это здорово: утречком побежали разом на берег — и бух-бух в море! А потом — на завод. И умываться не надо. Пожалеет Тиктор, что откололся от нашей компании.

— Ой, не кажи гоп, Петро, пока не перепрыгнешь! — сказал я, вспоминая слова извозчика о безработных, которых много в городе. — «И бух-бух в море!» Не пробухайся, смотри! Еще неизвестно, как нас встретят на заводе.

— Как могут встретить! Странно! — удивился Бобырь. — У нас же путевки.

— Нечего гадать попусту! — скомандовал я. — Быстрее давай пошли! — И тут же поймал себя на том, что перед глазами у меня маячит эта девушка в цветастом халатике. Смелая девушка!

КАК ПОЛУЧИТЬ КОВКИЙ ЧУГУН?

Стало понятно, что завод уже близко, когда к нам донесся запах курного угля. Так же пахло в нашей фабзавучной кузнице.

Где-то поблизости посапывал двигатель. Улочка, усаженная вдоль тротуаров желтыми акациями, упиралась в другую, лежащую перпендикулярно. Мы свернули в эту новую улочку и сразу же за углом увидели, что она вся перегорожена высоким створчатым забором из зеленых брусков. В центре забора были такие же створчатые ворота. Над ними висела красивая полукруглая вывеска из железных букв, прикрепленных к проволочной сетке.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА П. П. ШМИДТА

В ту минуту, как мы стояли на углу, возле стены завода, ворота неожиданно раскрылись, и оттуда, с за-

водской территории, выехал целый обоз жаток-самоскидок. Возницы, погоняя лошадей, сидели сбоку, на пружинных сиденьях. Похожие на крылья маленьких ветряных мельниц грабли были выключены и не двигались. Жатки проезжали новенькие, видно только что выкрашенные черной и красной эмалевой краской.

Слушая, как тарахтят на покрытой жестким диабазом мостовой широкие чугунные колеса жаток, видя, как подпрыгивают на изогнутых сиденьях загорелые возницы в жестких брезентовых куртках, я невольно вспомнил далекий пограничный совхоз над Днестром, в котором довелось мне работать три года назад. Вот такими же примерно жатвенными машинами убирали там совхозную пшеницу.

Но те совхозные жатки были старые, разболтанные, с иностранными надписями, они достались совхозу еще от панской экономии. Эти же, перед нами, были новенькие, советские. Хоть солнце пряталось еще в тучах, но они блестели. Широкие их ладьи лоснились. Острые ножи ходили сейчас вхолостую, как в машинке для стрижки волос, и чувствовалось: попадись им навстречу колосья пшеницы либо ржи — они враз перегрызут их и положат первый слой колосьев ровной бороздкой на просторный и гладкий щит.

— Здесь такие машины делают? — протянул восторженно Петр. — Смотри, деталей сколько! Это не наши соломорезки!

— Конечно, здесь. Смотри, вон надпись. — И остроглазый Бобырь показал Маремухе на боку жатки фабричную марку: «УТСМ. Машиностроительный завод имени лейтенанта П. П. Шмидта».

— А что значит УТСМ? — не унимался Петро. — Это, наверно, станция, куда их направляют.

— Какой недогадливый! — сказал я, вспомнив эту же надпись в наших путевках. — УТСМ означает: Украинский трест сельскохозяйственного машиностроения.

— Какие машины! — восторгался Бобырь. — Собрать их чего стоит! Посложнее, чем мотор от мотоциклетки. Здорово, что нас сюда направили!..

Вахтер послал нас к маленькому одноэтажному домику в глубине заводского двора.

Мы остановились в нерешительности перед дверью,

обтянутой черной клеенкой. На двери было написано: «Отдел рабочей силы».

— Кто же будет говорить? — спросил Бобырь, оглядывая нас. Видно было, что в эту решительную минуту он волновался.

— Василь — наш бригадир, он пускай и говорит, — поспешно буркнул Маремуха.

— Давайте путевки! — сказал я.

В длинной комнате с низеньким потолком трещала машинка. Около завитой светловолосой машинистки, жуя в зубах папиросу, стоял, диктуя, высокий молодой парень в клетчатом сером костюме. Волосы его были напомажены. Сразу бросались в глаза его огромные туфли лимонного цвета с длинными острыми носами. Черный галстук в твердом воротничке его крахмальной рубашки был завязан бантиком. Брюки на парне модные, в дудочку, хорошо выутюженные и короткие — выше щиколотки. И длинные бакенбарды. «Вот пижон!» — подумал я.

— «...Таким образом, контингент рабочих завода постепенно растет», — диктовал сквозь зубы напомаженный парень и, завидя нас, удивленно спросил: — По какому делу?

— Здравствуйте! — Я шагнул к франту ближе. — Вот, — и протянул ему путевки.

Он нахмурился, вынул изо рта изжеванную папироску, молча прочитал одну за другой все путевки и, возвращая их мне, сказал глухим баском:

— Аут!

— Что? — переспросил я.

— Не требуется, — с презрительной миной ответил франт.

— Нам их в школе выдали. От ВСНХ, — быстро затараторил Бобырь.

— Я грамотный, — косясь на Бобыря, сказал парень в «дудочках». — Повторяю: рабочие данных квалификаций нам не требуются.

— Товарищ, но мы же направлены на ваш завод! — сказал я, глядя прямо в серые глаза франта.

— А я вас не приглашал! — И он, как в театре, развел руками. — Какие могут быть претензии, странно! К тому же каких-нибудь полчаса назад я принял на за-

вод уже одного вашего выпускника... Леокадия Андреевна, как фамилия того блондина? Ну, того, что, вы сказали, похож на вашего знакомого товарища Крючкова.

— Тиктор, Яков Денисович! — глянув в какую-то бумажку, вяло сказала машинистка. — И не на моего знакомого, а на донского казака Кузьму Крючкова! — С этими словами машинистка отвернулась от франта и скучающим взглядом посмотрела в окно.

— Видите. Было одно место — Тиктора принял. И, кстати сказать, на свой страх и риск принял, ибо если об этом узнает городская биржа труда, мне могут хорошую вздрючку дать! Своих, местных, на очереди хватает. Даже футболисты есть... Вот! А вас, молодые люди, к сожалению... Увы! — И франт опять развел руками.

— Мы же пятые разряды имеем! — воскликнул Петро. — Столько учились...

— Знаю и понимаю, — прервал Петра франт и выбросил в форточку окурок. — Сам происхожу из рабочего сословия и вполне понимаю ваше затруднительное положение, но сплошной апсайт!

Тронутый участливым тоном, который послышался в словах франта, я спросил:

— Что же нам делать?

— Поезжайте в Харьков. Ночь езды. Пусть ВСНХ вас переправит на другие заводы. В Донбасс, что ли. Вам же все равно.

— Что значит «все равно»? — возмутился Маремуха. — Откуда у нас деньги еще и в Харьков ехать? Мы на последнюю стипендию сюда кое-как добрались.

— А я здесь ни при чем, — сказал франт и поглядел в окно, видимо, желая, чтобы этот неприятный для него разговор был окончен побыстрее.

Я смотрел на выутюженные лацканы его тесного пиджачка, на загорелую, сильную, ну прямо бычью его шею, на старательно вывязанный бантик и думал: «Что же делать? Что сказать ему еще, этому нарядному дылде, который не хочет понять страшного нашего положения?»

Однако, чувствуя всю глупость и бесцельность таких действий, я сказал друзьям тихо:

— Ну что ж... Тронулись, раз такое дело...

— Оревуар, — буркнул франт и подошел поближе к машинистке, чтобы диктовать дальше.

Выйдя во двор первым, я присел на холодную каменную ступеньку. Двое рабочих в брезентовых куртках, выпачканных ржавчиной, катили по рельсам вагонетку, полную мелкого, но почему-то поржавевшего литья. Я с большой завистью смотрел на рабочих, хотя они были заняты работой черной, не требующей большого умения.

— Что же будем делать, а, Василь? Чего ты уселся? Слышишь! — стоя надо мной, пробубнил Маремуха.

— Мы дураки, что связались с тем извозчиком! Это я виноват. Надо было с Тиктором идти. А теперь он уже зачислен, а мы на улице! — признался растерянно Бобырь.

Слова Бобыря, его испуганное, жалкое лицо, покрытое россыпью веснушек, вернули мне хладнокровие.

— Извозчик тут совершенно ни при чем, Саша. Ну, ладно, прибежали бы сразу вчетвером сюда, а место одно. Что дальше? Тебя, допустим, приняли бы, а мы что?

— Ты не сердись, Вася! Посоветуй лучше. Ты же и в Харькове был, путевки эти доставал... — очень миролюбиво сказал Бобырь.

Внезапно в мозгу моем пронеслись напутственные слова директора нашего фабзавуча Полевого: «Не отходите в сторону, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!»

Эти слова, да и вся прощальная речь Полевого наполнили меня еще большей яростью к напомаженному бюрократу.

— Надо идти к самому главному, кто здесь есть... Вот!.. К директору... А он не поможет — в партийный комитет! — отрезал я твердо.

...Директор завода оказался низеньким седым человеком в синей спецовке. Мы сперва даже не поверили, что это именно он и есть хозяин светлого кабинета, заставленного частями машин, пропашниками, какими-то деталями, пробирками с песком и медными опилками.

Кабинет директора скорее всего напоминал лабораторию или сборочную мастерскую. Если бы не диаграммы на стенах и не большой дубовый стол с телефонами,

чернильным прибором и кожаным удобным креслом, мы бы подумали, что ошиблись дверью.

Когда мы гуськом вошли в кабинет, директор стоял у тисков с зубилом и молотком в руках. Тиски были привернуты к подоконнику. В них виднелась зажатая деталь, покрытая ржавой, красноватой пылью.

Сжав в левой руке зубило, директор уверенно, не глядя под руки, как заправский слесарь, наотмашь бил по расплющенному концу зубила тяжелым ручником, разрубая деталь пополам.

— Чем могу быть полезен, молодые люди? — заметив нас, спросил он и, положив на подоконник ручник, потер ладони. Был он похож на старого мастерового.

Уже в самом звучании его голоса мы почувствовали, что директор — человек спокойный, внимательный. Правда, он не стал читать всех путевок. Прочел только первую и, когда я рассказал ему, в каком положении мы очутились, спросил:

— Все подоляне?

— Да, из одного города, — сказал Маремуха.

— Издалека же вас принесло к нам! Считай, почти из-под самых Карпат да в Таврию! Я знаю ваш город немножко. На австрийский фронт проходили через него. Пропасти там такие, скал много, и какая-то крепость на тех скалах стоит.

— То Старая крепость, она и сейчас стоит! — сказал радостно Бобырь, да и все мы повеселели.

— Но вот не припоминаю, — сказал директор, — разве была там промышленность?.. Откуда же у вас фабзавуч взялся?

— Фабзавуч есть, а промышленности большой пока нет, — ответил я директору, мимоходом обижая рабочих «Мотора», которые всерьез считали свой заводик крупным предприятием. — Оттого и прислали нас к вам, что пока дома разместить негде было. Нам секретарь Центрального Комитета партии Украины говорил, что такие молодые рабочие скоро повсюду нужны будут — и в Донбассе, и в Екатеринославе, и... здесь!.. — добавил я.

Директор поднял свои мохнатые брови и посмотрел на меня внимательно, словно проверить хотел: а не вру ли я?

— Это я вижу, что прислали... — сказал он протяжно. — Но предварительно не запросили, нужны ли нам

вы сегодня. Броня для молодежи уже вся давно заполнена. И где я вас размещу — вот вопрос.

Он снова взял со стола наши путевки, полистал их и в раздумье покачал головой.

— Кто из вас Маремуха?

— Я Маремуха! — выкрикнул Петро, как на перекличке в ЧОНе, и шагнул к директору.

— Что же мы умеем делать, а, Маремуха?

— Я столяр и... потом... токарь по дереву. Точить могу.

— По дереву? — Директор удивился. — А я думал — по хлебу. Комплекция у тебя, знаешь, такая... подходящая.

Мы с Бобырем засмеялись, поглядывая на смутившегося и сразу покрасневшего Маремуху. Слегка косолапый, он стоял перед директором завода, как солдат: руки по швам. Лишь штаны его были мятые, все в складках от долгого спанья на жесткой вагонной полке.

— Представь себе, Маремуха, ты рожден в сорочке, — сказал директор. — Столяров хороших нам как раз не хватает. А на бирже труда их, пожалуй, и нет. Ну, а кто из вас Манджура Василий Миронович?

Теперь я двинулся навстречу директору.

— Ты что, галичанин? — спросил директор.

— Почему? — опешил я.

— Фамилия такая — галицийская... Хотя верно: от вас ведь до Галиции рукой подать. Считай, один народ с ними. Збруч только и разделяет... Итак, чем же нас порадует Василий Миронович Манджура?

— Я литейщик!

— Литейщик? — Директор сразу подошел к маленькому столику. Он взял первую попавшуюся деталь и, протягивая ее мне, спросил: — Из какого металла отлита?

— Из чугуна, — сказал я, посмотрев на отломанное ребро детали.

— Ой ли? — Директор хитро прищурился, буравя меня глазами.

Ни слова не говоря, он подошел к тискам, вывернул из них старую, надрубленную деталь, зажал в тиски новую и с размаху ударил по ней ручником.

Деталь погнулась, как самое настоящее железо, но даже не треснула.

— Итак, чугун? — спросил директор и поглядел на меня еще хитрее из-под своих косматых бровей.

— Ну и что же! — сказал я медленно. — Всякие чугуны бывают. Вязкие, например...

— Ты хотел сказать — ковкие? Не так ли? — заметно оживляясь, поправил меня директор.

— Ковкие!

— А как получить ковкий чугун?

— Надо... к обычному серому чугуну добавить железа побольше... ну, стали малость...

— Стали? Позволь, но тогда же, наоборот, литье крошиться будет? Сталь, она, как известно, хрупкость дает.

— А надо сперва отлить деталь, а потом отжечь ее в руде специальной... В марганцовистой руде, кажется, — сказал я, припоминая рассказы нашего инструктора Козакевича.

— Ах, отжечь! — еще больше оживился директор, и на лице его заиграла радостная улыбка. — Тут-то она и зарыта, собака! Я, брат, с этим отжигом второй год вожусь, считай, с той поры, как меня рабочая масса красным директором выдвинула. У англичан-то мы после революции этот завод отобрали, а они, удирая с белыми, все производственные секреты с собой увезли. Думали, пропадем мы без их помощи. А мы маракуем помаленьку сами, что к чему. Вот докапываемся сейчас до секретов отжига с научной, так сказать, точки зрения, чтобы не вести литейное дело на глазок. Я хочу и добьюсь того, чтобы у меня на заводе чугун был такой же ковкости, как железо. Понимаешь? Чтобы, если крестьянин станет нашей жаткой пшеницу жать и наедет случайно на камень, ничего с ней плохого не случилось. Чтобы зубья не посыпались! А зубья эти, брат, — великая штука. Они ножи от всякой пакости предохраняют. Понимаешь? И вот хочу я, чтобы украинский селянин благодарил нас за наши жатки! Мало болтать о смычке города с селом. Смычка, она в таких вот зубьях тоже заключена! — И директор погладил ржавую деталь, как живого котенка. — Ну-с, а тебя, молодой человек, чему учили? — спросил он, переводя взгляд на Сашку Бобыря.

— По слесарной части пятый разряд дали, но я больше всего люблю моторы разбирать... — сказал Сашка.

— Даже моторы разбираешь? Вот герой! Ну, а кто же после тебя их собирать будет? — И директор, хитро посмеиваясь, глянул на Бобыря.

— А я сам и соберу, коли надо. Какой смотря мотор. Если, скажем, от мотоциклетки типа «Самбим» — очень даже просто, — не удержался Сашка, чтобы не похвастаться перед директором завода.

— Придется, значит, тебя в РИС направить, — решил директор.

— В какой такой «рис»? — Голос Сашки заметно дрогнул.

— Цех у нас так называется: ремонтно-инструментально-силовой. А для удобства произношения: РИС. Этот цех все другие мастерские обслуживает.

Проглядывая еще раз наши путевки, директор сказал.

— Итак, молодые люди, правдами или неправдами, а все же на завод я вас приму. Почему, вы спросите меня, такое одолжение? Да потому, что в нашей стране и здесь есть еще безработица. Людей много, а заводов пока мало. Но верю твердо: явление это временное. Очень скоро мы и от безработицы избавимся, заводы новые выстроим, и, возможно, никто и не поверит, что была когда-то при Советской власти безработица. Но сейчас она есть... Так вот: сегодня прогуляйтесь в цехи, оформитесь, а завтра, по гудку, прошу пожаловать к мастерам. Будь вы здешние — я бы послал вас в очередь, на биржу. Однако приходится, повторяю, делать исключение. Но работать честно, на совесть! Понятно? Не прогуливать и не опаздывать! Наш завод — советский. Понятно? Английского капиталиста Джона Кейворта мы в Лондон выгнали и в свои руки дело его, нашим горбом нажитое, взяли. Для своей же пользы мы должны хозяйничать и беречь завод. Таких рабочих, которые по-хозяйски относятся к своему заводу, у нас ценят и уважают... Комсомольцы среди вас есть?

— Мы все комсомольцы, — поспешно сказал Бобырь. — А Василь у нас даже членом бюро был!

— Тем лучше! — обрадовался директор. — Комсомолята нам крепко помогают. Когда оформитесь в цехах, сходите в ОЗК к Головацкому, станьте на учет и начинайте новую жизнь!

Хозяйка выдала нам три длинных холщовых мешка. Вдвоем с Маремухой мы набили их колючим, пересохшим сеном и, зашив дратвой, прислонили матрацы к сарайчику, в котором блеяла коза, ожидая того часа, когда, наконец, ее станут доить.

Пол в нашей комнате Агния Трофимовна хотела вымыть сама, но мы, приученные к этому делу еще в общежитии, решили обойтись без ее помощи. Маремуха таскал наверх в цинковом ведре холодную жесткую воду из маленького колодца, вырытого во дворе, а я, разувшись и подкатав штаны, «драил» мокрой тряпкой рассохшиеся доски. Потом вымыл окошко. Как только стекло было протерто, в комнате сразу посветлело, и радостней стало на душе от полной чистоты вокруг.

В соседнем доме, что виднелся из-за густой зелени и выходил своим фасадом к морю, играли на рояле. Окна в том доме были открыты, и звуки рояля долетали в наш мезонин, смешиваясь с блеяньем козы и шумом близкого моря, которое к вечеру стало успокаиваться.

— Чистое окно стало! Даже стекла не видно! — сказал Петро, разглядывая мою работу.

— Тащи матрацы! — распорядился я, ободренный похвалой товарища.

И пока Петро таскал матрацы, я примерил, как мы их разложим. Свой матрац я решил положить у самого окошечка. «Холодно ночью будет, зато свежий воздух. И гудок заводской первым услышу».

В комнате приятно запахло сосновыми досками, сеном.

Прислушиваясь к звукам рояля, я ловил себя на том, что мне хочется побыстрее прогнать время, остающееся у нас до завтрашнего утра — до первого утра нашей работы на заводе!

В памяти моей из всего увиденного на заводе, если не считать разговора с директором, остался только длинный и пыльный проход литейного цеха. По этому проходу я дошел до цеховой конторки. Далекие отблески выпускаемого из вагранки чугуна, дробный стук формовочных машин, удары сигнального колокола, визг талей, которыми подымали формовщики тяжелые опоки возле цеховой конторки, — все это настолько ошеломило ме-

ня, что я даже как следует не рассмотрел, как работают мои будущие товарищи — литейщики.

Как не похож был этот огромный цех, покрытый застекленной низкой крышей, на малюсенькую литейную нашего фабзавуча, где всегда стояли тишина и прохлада и даже в дни плавок не было шума!

Сменный мастер Федорко, которого я застал в цеховой конторке, низенький человек лет сорока, с лицом красным и обветренным и реденькими выгоревшими бровями, ничуть не удивился, когда я дал ему записку от директора. А может, ему позвонили до моего прихода из заводоуправления?

Федорко записал меня в цеховой табель, выдал рабочий номерок, временный пропуск и пообещал:

— А на машинку поставлю завтра!

— Но ведь я никогда не работал на формовочных машинках, — сказал я мастеру тихо. — Я на плацу работал... А что, разве плацовой формовки у вас нет?

— Подладитесь, — коротко отрезал мастер. — Две недели испытания — большой срок.

И все. И ни слова больше.

— До свидания! — осталось сказать мне и выйти.

С трудом разыскал я возле здания заводоуправления домик, где, как сказал мне встречный рабочий, «орудуют комсомолисты».

Прочитав на дверях надпись: «Общезаводской коллектив комсомола», я немедленно сократил ее. Получилось ОЗК. Вспоминая совет директора «сходить в ОЗК», я толкнул дверь.

Спиной ко мне, на стуле, перед большой картой стоял высокий человек и водил по ней линейкой. Кроме письменного стола, этажерки, шкафика да десятка стульев, никакой другой мебели в комнате не было. На стенах впритык одна к другой висели географические карты.

Высокий человек обернулся, и я с удивлением увидел на нем хорошо повязанный малиновый галстук.

— Вам кого? — спросил он, разглядывая меня серыми и, надо признаться, умными глазами.

— Мне секретарь ОЗК нужен, — сказал я неохотно. — Но если его нет, я зайду позже.

И уже повернулся, чтобы уйти, как человек с линейкой шумно спрыгнул на пол.

— Ну, здорово! — сказал он, протягивая мне большую жилистую руку.

Хотя на отвороте темно-коричневого с искрой костюма незнакомца и был привинчен кимовский значок, все же, настороженный его нарядным видом, а главное — галстуком, я порывался уйти и буркнул:

— Я завтра приду!

— А отчего не сегодня?

— Когда сегодня?

— Ну, хотя бы сейчас. Я секретарь. Давай познакомимся. Головацкий. А ты кто?

Я словно подавился чем-то и в первую минуту не смог вымолвить ни слова. Вот еще новости. Чтобы секретарь общезаводского коллектива комсомола галстук носил! Где это видано? Все наши прежние диспуты о культуре и мещанстве как раз учили: чем больше молодой человек уделяет внимания своей внешности, всей этой дребедени — отутюженным брючкам, а особенно галстуку, тем скорее он отрывается от коллектива, делаясь чернильной душой и черствым человеком, не понимающим нужд рабочего класса.

Все же пришлось рассказать Головацкому, что привело меня сюда.

— А как ты к оппозиции относишься? За кого голосовал в прошлом году, когда обсуждали решение ЦК комсомола? — спросил он осторожно, явно «прощупывая» мои настроения.

— А у вас что, оппозиционеры еще водятся? — ответил я вопросом на вопрос.

— Своих не было. Приезжала сюда всякая шваль, на работу устроилась, пробовала народ мутить — не вышло. Позавчера, когда на районном партийном активе обсуждали итоги апрельского Пленума Центрального Комитета партии, все единогласно голосовали за линию ЦК. Народ у нас единодушный, предатели поддержки не нашли. Так ты ответь мне: каково твое личное отношение к оппозиции?

— Мое? — уже спокойнее сказал я, понимая, что имею дело с настоящим, честным парнем. — Я считаю, что эту шваль троцкистскую давно пора гнать из партии и из комсомола. Нас враги окружают, задушить Советскую власть хотят. Мы должны едины быть, сплотиться

вокруг партии, а эти оппозиционеры хотят разлад между нами внести.

— Отлично, что тебя направили в литейную! — обрадовался Головацкий. — Правда, ребята там хорошие, и когда мы в прошлом году громили троцкистов, затесавшихся было в ячейку заводоуправления, комсомольцы-литейщики выступали первыми за линию ЦК и совместно со всем коллективом не дали этим врагам прижиться на заводе. Но потом несколько ребят из литейной уехало в Краснознаменный флот, на Балтику, и актива поубавилось. Да и перевыборы давно пора провести... Прежде всего скажи: у тебя какие наклонности?

— Я не пью! — сказал я хмуро.

— Я не о том спрашиваю. — Секретарь поморщился. — Какую комсомольскую работу прежде выполнял? Ну, влечет тебя к чему больше?

Волей-неволей пришлось рассказать Головацкому и о нашем комсомольском клубе, и о вечерах-диспутах под названием «Что раньше появилось — мысль или слово, курица или яйцо?». Я рассказал ему, как судили мы рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, и припомнил вечера самокритики, на которых протирали с песочком каждого комсомольца за его грехи. Ввернул пару слов и о диспутах о культуре и мещанстве, посматривая при этом на малиновый галстук секретаря.

— Ого! — обрадовался Головацкий. — У тебя солидный опыт работы, причем в области перестройки и поисков новых форм. Это превосходно. Все течет, все изменяется! Творческая мысль комсомольца должна пребывать в состоянии вечного беспокойства, на пути постоянных исканий. Только тогда каждый из нас будет гарантирован, что ему не станет угрожать опасность превратиться в тупицу. Все, что ты рассказал мне, я учту. — И Головацкий сделал быстренько какие-то заметочки в блокноте. — У тебя явные наклонности к культурно-массовой работе. Возможно даже, поручим тебе организовать в литейном общество «Лига времени». Это, брат, большое дело! — С этими словами Головацкий посмотрел на свои часы. — Но пока, дружище, я тебя попрошу напрячь все силы на борьбу с браком. Твой цех работает на сдельщине. Но одно дело — сдельная оплата труда у капиталиста и другое дело — при нашем

советском строе, когда работаем на себя и когда не только количество нас интересует, но и высокое качество. А кое-кто этого не понимает. Жмет вовсю — и брачок дает изрядный. Особое внимание обрати вот на эти носики. — И тут Головацкий взял с этажерки такую же деталь, какую показывал нам сегодня директор. Она, как перышко, запрыгала в его руках. — Это должна быть самая безгрешная деталь, — продолжал секретарь. — Как и все остальные, впрочем. Но эта — особенно. И ты, как комсомолец, должен повести ярую борьбу с бракоделами, находить конкретных носителей зла...

— Но ведь я раньше на машинке не работал! — перебил я Головацкого, повторяя ему то же, что сказал мастеру. — Я на плацу формовал... Маховики могу даже без нижней опоки.

— Подладишься, — сказал мне секретарь, а он, как видно, кое-что соображал в литейном деле. — Где твой открепительный талон?..

Глядя сейчас в чистые стекла вымытого окошечка, я вспоминал и холодное, жесткое слово мастера «подладитесь» и разговор с Головацким и думал: «А если не получится? Пройдут две недели испытания, не научусь работать на машинке, и скажут мне: «Уходи, брат, отсюда!» Что будет тогда?»

Стало казаться, что я никогда не кончал фабзавуча, что пятый разряд, полученный мною, здесь не играет никакой роли, и ничего-то в общем я не умею делать, и вся моя работа начнется только с завтрашнего дня. Не зная толком, каким будет тот завтрашний день, я волновался еще больше.

Лестница, ведущая наверх, заскрипела под ногами Маремухи. Петро тащил круглый столик на точеной ножке.

— Вот! — сказал Маремуха, тяжело дыша и, видимо, ожидая одобрения.

— Агния Трофимовна дала?

— Ага! «Пока, — говорит, — у вас мебель появится, берите, пользуйтесь, а то у меня все равно, — говорит, — он лишний...»

— Теперь нам табуретки раздобыть — и все в порядке.

— Меня хозяйка спрашивает, что завтра на обед го-

товить: борщ зеленый или суп с черешнями холодный? А я говорю: «Не знаю. Пускай хлопцы скажут». Ты чего хочешь лучше, Василь?

— Она нас как в ресторане кормить собирается, что ли? — ответил я хмуро.

— Ну, раз на всем готовом взялась держать, пусть ухаживает!

— Еще неизвестно, какие заработки будут!

— Ничего, заработаем как полагается, — уверенно сказал Петя. — Мне, когда я оформлялся, один плотник говорил, что у них в столярном никто меньше сотни не зарабатывает. Даже третий разряд!

— Тебе хорошо, Петрусь, ты свою знакомую работу делать будешь. Знай себе гоняй фуганок! А вот мне переучиваться надо. Леший его знает, как на тех машинках формовать! Я их и вижу-то впервые.

— А ты не журись, Василь! Будет трудно — мы с Бобырем поможем...

— Чего он не идет, Бобырь? — спохватился я, поглядывая на старинный будильник-ящик, поставленный хозяйкой на лежанке печи. — Где его, Сашку, носит! Уже второй час как ушел!

— Ну, до вокзала не так уж близко. Пока Володю найдет, пока вещи получит. А потом ему еще харчей надо купить. Ведь хозяйка взялась нас кормить только с завтрашнего дня, — заступился за Бобыря Маремуха.

Сашу мы услали на вокзал за нашими вещами. Нам следовало за это время набить сеном матрацы, помыть пол — словом, приготовить комнату к ночлегу.

— Он адрес хоть записал? — спросил я Маремуху. — А то, может, забыл дорогу сюда и бродит по городу...

— Зачем ему адрес? Уговорились же: отыщет Володю на стоянке, и тот его бесплатно привезет.

— Хотя верно, — сказал я, успокаиваясь. — Ну что же, мы свое дело закончили, давай погуляем немножко.

Мы прошли мимо хозяйки, которая разглаживала для нас простыни, открыли калитку.

— Пойдем, Петро, налево, — предложил я.

И мы направились Приморской улицей к порту, мимо усадьбы, из которой слышалась недавно музыка.

Сейчас рояль затих, в доме звенели стаканы — видно, там пили чай. Двор перед этим каменным домом был

засажен стройными мальвами, лозами винограда, чайными розами, пунцовой гвоздикой. Душистые табаки не раскрыли еще своих стрел, но приятный запах цветов, недавно освеженных дождем, так и вырывался оттуда, из-за невысокого заборчика. Какие-то особые, никогда не виданные мною розы поднимались даже под крышу дома, оплетая цветущей аркой одно из его открытых окон. Густо-розовые кустики иудина дерева росли рядом с акацией.

У самого забора, в углу усадьбы, высилась беседка, сплошь обросшая темно-зеленым блестящим плющом. По его скрюченным стеблям вилась еще и лиловая повилика.

Когда мы поравнялись с беседкой, я услышал там говор и не удержался, чтобы не заглянуть внутрь.

На перилах беседки сидела, болтая загорелыми ногами, та самая девушка, халатик которой мы стерегли на море. А около нее, на земле, припав на колено, накачивал велосипедную шину франт из отдела рабочей силы.

Я смотрел на девушку так, словно видел ее впервые. Перехватив мой взгляд, она подняла глаза и, недовольно тряхнув волосами, освободила их из-под плюща. Мне сделалось неловко. Я смутился и кивнул головой, как бы кланяясь. Отворачиваясь поспешно, я заметил, что девушка улыбнулась.

— Узнал, а, Василь? — спросил Петро, подталкивая меня локтем.

— Кого?

— Ну, эту принцессу. — И, передразнивая девушку, Петро протянул пискливо: — «Покараульте, пожалуйста, мой халатик...»

— А ты длинного того узнал?

— Какого длинного?

— Ну того, что велосипед накачивал.

— Нет. А кто это?

— Да тот пижон, что на завод нас не хотел принять!

— Правда? — удивился Петро. — Неужели они наши соседи?

— Эта, в халатике, — безусловно!

— А он — ее брат! — решил Петро.

— Почему именно брат? Кавалер, наверно!

Мне почему-то сделалось неприятно при мысли, что франт знаком с нашей соседкой и может в любую мину-

ту рассказать ей, как мы упрашивали его принять нас на завод.

Медленно брели мы с Петькой по Приморской улице. Слева от нас поблескивали ведущие к порту железнодорожные пути, а за ними, за парапетом, к самому горизонту подымалось море.

Ветер совсем упал, и прибой утих. Волны уже не бухали в бетон, как утром, а тихо, с легким шуршаньем накатывались на песчаный берег. Скрывая от нас море, потянулся за путями дощатый забор. За ним колебались верхушки мачт. Флаги на них едва шевелились. На западе, там, куда скатывалось невидимое еще за тучами солнце, алела ровная полоска заката.

На побеленном дощатом заборе было написано:

ПЛЯЖ ОБЩЕСТВА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ

Позади нас, на тротуаре, раздался звонок.

Мы прижались к забору, и мимо, шурша ракушками, пронесся на велосипеде знакомый франт с девушкой. Ее он посадил на раму, впереди себя. Франт с бакенбардами вел машину согнувшись, быстро передвигая педали.

— Что, ему улицы мало? — огрызнулся Петька.

— А не видишь — там лужи: он «дудочки» свои боится забрызгать, — сказал я с нескрываемой злобой, глядя вслед быстро удаляющейся паре.

Наполовину покрытое желтой сеткой заднее колесо велосипеда делалось все меньше и меньше, оставляя на песчаном тротуаре чуть заметный вафельный след.

Пока мы осматривали через решетчатую загородку порт, подъездные пути и пакгаузы из серой гофрированной жести, уходящей вдаль, к последнему причалу с сигнальным колоколом, Саша Бобырь успел доставить все чемоданы и распаковать вещи.

Мы застали его за приготовлением ужина. Саша разрезал на три части большую засохшую булку, которая оставалась у нас с дороги.

— Где вы шатаетесь? — крикнул Бобырь, увидев нас. — Вы знаете, кого я встретил?!

— Графа Бенгальского? — съехидничал я. Мне очень не нравилась эта манера Сашки разговаривать на крикливых, повышенных нотах, как с маленькими.

— Шути, — огрызнулся Бобырь. — Я Печерицу видел. Да!

— Печерицу? — переспросил Петро и фыркнул. — Ну, Василь, держись: начинаются старые истории. Где термометр, не знаешь? Пора бы ему температуру измерить. Не знобит тебя, а, Сашок?

— Какой термометр! При чем тут термометр! — прямо завизжал от негодования Бобырь. — Я вам правду говорю, а вы смеетесь.

— Подожди, Сашенька, — остановил я друга. — Кого ты, говоришь, видел?

— Печерицу!

— В самом деле?

— В самом деле.

— Где же ты его видел?

— Около вокзала.

— Около вокзала? — вмешиваясь в наш разговор, уже серьезно спросил Маремуха.

— Ну да, возле вокзала, — поспешно проговорил Бобырь, — он бузу пил...

Это было уж слишком, и мы с Петькой громко расхохотались.

— Ты слышишь, Василь? — спросил Петро, давясь от смеха. — Он видел Печерицу, Печерица пил бузу, а буза ударила этому конопатому бузотеру в голову, и он прибежал сюда морочить головы нам...

— Да, да! — окончательно обижаясь, закричал Саша. — Не хотите верить — не надо. Только я ничего не выдумываю! Буза — это питье такое, здешнее, из проса, кислое и белое. Во всех будочках продается. Я уже пробовал, а если вы не знаете, так я не виноват...

Нехорошо смеяться над приятелем, да еще когда он всерьез обижается, но на этот раз трудно было удержаться от смеха.

Мы хорошо знали, что не только Бобырь, но и многие другие фабзавучники до самого дня отъезда мечтали поймать Печерицу. Разъезжаясь по городам Украины, мы дали себе слово, если повстречается этот бандит из Коломыи кому-либо из нас, не дать ему выскользнуть.

Но больше всех нас мечтал повстречаться с Печерицей Саша Бобырь. Поимкой Печерицы он думал за-

гладить те досадные промашки, что приключились с ним во время чоновской тревоги. Скоро наш горячий Сашка начал просто галлюцинировать: Печерица виделся ему всюду.

По пути сюда, к Азовскому морю, Сашка дважды ловил Печерицу. Однажды, когда поезд стоял в Фастове, Сашка, выглянув в окно, вдруг хрипло крикнул:

— Вот он, хлопцы! Держите! — и метнулся к выходу.

Человек, прогуливавшийся по перрону, которого Бобырь принял за Печерицу, был очень мало похож на беглеца. Это оказался сгорбленный старичок в брезентовом пыльнике. Одни пушистые и рыжие усы, пожалуй, смахивали на печерицыны.

В Екатеринославе, когда мы обедали в буфете вокзала, Саша, чуть не опрокинув тарелку, налитую до краев жирным украинским борщом, прохрипел: «Смотрите!» — и ткнул ложкой по направлению к газетному киоску.

У застекленной витрины киоска выбирал открытки человек в сером дорожном пыльнике. Сашка решил, что и этот — Печерица Однако стоило пассажиру в сером пыльнике обернуться, как мигом . выяснилось, что это молодой парень, на голову выше Печерицы.

Ну разве могли мы, зная о дорожных видениях Бобыря, отнестись с доверием к его словам!.. И я сказал:

— Ну хорошо, Печерица стоял и пил бузу. А ты что?

— Я посмотрел — и к вам!

— Отчего же ты его не схватил? Надо было его поймать за шиворот, ногу сзади подставить и на землю.

— Тебе хорошо говорить! А вещи?

— Какие вещи?

— Какие? Наши! Я боялся вещи оставить. Он побежит, я за ним, а вещи кто-нибудь цапнет.

— А Володька где был?

— Да я не с Володькой ехал, в том-то и дело. Я с другим извозчиком приехал. Володька обманул нас.

— Погоди, а у него усы были? — решил я проверить Сашку.

— Усы?.. Усов не было... Усики. Маленькие такие, как кисточки для гуммиарабика.

— Для того чтобы Сашке понравиться, он и усы в парикмахерской подстриг, — съязвил Маремуха.

— Ладно, ладно! Смейтесь, если вам так весело! — буркнул Саша обиженно. — А я вот пойду куда надо и заявлю.

— Ну, довольно тебе, Сашок, нам головы морочить, — мягко сказал я. — Показывай лучше, что на ужин куплено.

— Вот брынза, — совершенно покорно сказал Саша и развернул пергаментную бумагу, в которой лежал кусок брынзы в добрый фунт весом.

— И это все? — возмутился Маремуха.

— Нет, зачем. Вот еще рыбки купил... Не тронь, это редиска. Рыбка вот тут. — Саша развернул маслянистую бумагу. — Глядите, какая рыбка маленькая! — И он выволок из старой газеты три нитки, унизанные мелкими копчеными рыбешками. Рыбки лоснились от жира и были пузатенькие. — Тюлька называется! — гордо заявил Бобырь и, как ожерелье, поднял на руки вязки с рыбешками.

— Ты бы еще поменьше купил! — буркнул недовольно Петро. — Самая мелкота. Кто же ее чистить будет?

— Для чего чистить? — удивился Саша. — Не надо чистить. Так, целиком ее едят. Гляди, мне в лавке показали...

Наш каптенармус сорвал с нитки пару истекающих жиром рыбешек и послал их в рот. Пожевав немного, Саша, как фокусник, сперва раскрыл рот, а потом смело, с головами и кожурой проглотил тюльки.

— Еще аппендицитом, чего доброго, заболеешь! — сказал Петро. Больше всех болезней Маремуха почему-то боялся именно аппендицита. Даже косточку от вишни и то боялся проглотить.

Но наглядный пример Бобыря заставил Петруся позабыть об угрожающей ему болезни. Он осторожно отщипнул с бечевочки одну рыбешку и принялся жевать ее.

— Вкусная... — протянул Маремуха. — И костей совсем не чувствуется. Комса это?

— Не комса, а тюлька! — солидно поправил Бобырь.

— «Тюлька, тюлька»! — передразнил я Сашу. — А ты бузы не принес случайно?

— Бутылки не было, — принимая мои слова всерьез, сказал Саша. — А хочешь бузы, после ужина можно сходить. Тут, за углом, в киоске продается.

— Послушай, Петрусь, — скомандовал я, — скачика вниз, принеси кипятку и миску от хозяйки. Надо брынзу парить.

Пока мы расправлялись с тюлькой, мраморная брынза, отдав кипятку часть соли и горечи и пустив жирные круги, сделалась мягкой и очень приятной на вкус.

Мы резали ее охотничьим ножом и ели, запивая чаем, в котором плавали распустившиеся чаинки.

Поужинав, мы отнесли вниз посуду и долго мылись во дворе, прямо у колодца.

А потом, освеженные, сытые, поднялись в свой мезонин и улеглись на высоких матрацах.

Окно осталось открытым. На дворе уже потемнело. Сквозь лохмотья проплывающих туч изредка проглядывал молодой месяц. Как только тучи освобождали месяц, в комнате становилось светлее.

— Но вы слышите, хлопцы, как тут тихо? — сказал, нарушая молчание, Петрусь. — Ни выстрелов, ни свистков. Что значит граница далеко! На весь город небось два милиционера, да и те уже дрыхнут.

Агния Трофимовна звенела внизу посудой. У нее на кухне шипел примус. Вероятно, она с вечера собирала для нас завтрак.

— А мы дураки! — снова заговорил Петро. — Как поступали в фабзавуч, надо было по одной специальности идти. Гуртом бы теперь в одном цехе работали. Все веселее. А так — разбредемся кто куда...

И опять никто из нас Маремухе не ответил. Я понял, что и Бобырь, прикидывающийся храбрецом, думает о том, как-то он будет работать завтра.

На дворе делалось все темнее и темнее. Опять небо сплошь заволокло тучами, и месяц не проглядывал больше. Равномерный шум близких волн укачивал так, словно мы все еще ехали поездом...

ВОЗЛЕ МАШИНКИ

— Вот, Науменко, тебе новый напарник! — сказал сменный мастер Федорко, подводя меня к пожилому рабочему, который суетился в одиночку около двух формовочных машинок.

Рабочий обернулся. Ему было уже лет за пятьдесят. Высокий, седой, в груботканой холщовой рубашке с подрезанными до локтей рукавами, он удивленно посмотрел на Федорко.

— Покажи ему, что и как, —сказал мастер, кивая на меня. — За обучение запишем тебе по среднему.

— Да помилуйте, Алексей Григорьевич! Поставьте до кого другого! — попытался возразить старик, но сменный мастер, прерывая его, сразу замахал руками:

— Надо, Науменко! Ты старый формовщик и обязан смену учить.

С этими словами мастер скрылся за стеной пустых чугунных опок.

Мы остались одни. Науменко разглядывал меня недоверчиво. Особой радости у него на лице не появилось. По всему было видно, что ему куда сподручнее формовать одному, чем возиться с учеником да еще отвечать за его работу.

Когда мастер отошел далеко, мой учитель, нисколько не стесняясь, смачно плюнул себе под ноги и сказал работающим за барьерчиком напротив него двум формовщикам:

— Везет же мне, грешному: то пьянчужку посылают на исправление, то молокососов надо обучать!

Соседи засмеялись. Один из них, худой и высокий, коротко подстриженный под «нуль», с выпирающими скулами смуглого лица, был похож на монгола. Другой, с острыми, колючими глазами, не переставая набивать опоку, сказал:

— И не говори, дядя Вася, партнеры у тебя на выбор!

— Да нет, на самом деле! — пожаловался соседям мой учитель. — Так славно ладилось сегодня, думал до завтрака полсотни опок поставить, а теперь снова придется на соль зарабатывать. — И, обращаясь ко мне, он хмуро спросил: — Ну, чего нос повесил? Зовут-то как?

— Василий Манджура.

— Получил тезку, дядя Вася, а еще плачешься! Вместе именины справлять будете. Все дешевле... — быстро формуя, выкрикнул шустрый литейщик с острыми глазами.

— Работал? — спросил Науменко, кивая на машинки.

— Не видел никогда. На плацу формовал, а с машинками дела не имел.

— Ого, дядя Вася, имеешь специалиста по художественному литью! — закричал проворный сосед. — Он еще тебя, старого, поучит, как скульптуры отливать.

— Где же это ты на плацу работал, интересно мне? — спросил Науменко с явным любопытством.

Я понял, что плацовая формовка здесь ценится куда выше машинной. Пришлось рассказать, как я попал в этот город.

Науменко терпеливо выслушал мой рассказ и скомандовал:

— Ну, будет байки рассказывать. Становись-ка! — И он кивнул на левую машинку.

К ней вел узенький проход. Высокая, почти в человеческий рост печка разделила меня и Науменко, как только я подошел к машинке. Между нашими машинками стоял глубокий ящик с особой, формовочной землей, называемой здесь «составом». У меня слева, у дяди Васи справа высились положенные друг на дружку ряды пустых чугунных опок.

Увязая в сухом песке, я подошел вплотную к машинке. На ней была закреплена сделанная из баббита модель каких-то втулок.

— У тебя — низ. Понял? — крикнул мне Науменко. — А втулки эти «колбасками» зовутся. Будешь набивать низ, а я верх. Погляди, как это делается.

Мне трудно было сразу оторваться от своей машинки. Я пошатал железные прутья, торчащие у нее по углам, — их назначение мне было непонятно — и потрогал припаянные к модельной плите два блестящих, скользких конусных болта.

— Сюда смотри, эй, молодой! — сердито прикрикнул Науменко.

Одним махом он ловко насадил чугунную рамку с боковыми винтами на такие же блестящие штифты, не глядя, снял с заднего ряда опоку, положил ее внутрь

рамы и стал проворно заворачивать винты. Когда винты зажали опоку в раме, дядя Вася схватил с полочки мешочек и потряс им над моделью. Ровный слой присыпки, будто пудрой, покрыл баббитовые «колбаски». Так же, не глядя, мой учитель окунул руку в ящик и, зачерпнув ею горсть состава, высыпал его на модель.

Раз, два — и в руках Науменко взметнулась лопата. Он вогнал ее с размаху в разделяющую нас песчаную кучу и швырнул в опоку груду песка, потом вторую. Из глубины потревоженной кучи задымил пар. Видно, песок не успел еще остыть со вчерашней отливки.

Дядя Вася разровнял своими гибкими и жилистыми пальцами влажный, но горячий песок, схватил коротенькую набойку и принялся быстро набивать.

Я не отрываясь внимательно следил за каждым его движением, запоминал все.

Мускулы играли на старых, жилистых руках Науменко.

Острый деревянный клинышек, насаженный на железную ручку набойки, врезался в песок с такой яростью, что казалось, Науменко хочет разбить всю эту машинку или, в лучшем случае, загнать ее под землю.

Встречая на своем пути влажный песок, набойка уминала его, утрамбовывала, загоняла в пазы модели. Песок исчезал внутри опоки, делался плотным, как земля на проселочном шляху. Дядя Вася прошелся по неровной плоской поверхности опоки квадратной трамбовкой, сбросил склепанную из жести надставку и сгреб чугунной линейкой на уровне ребер опоки излишек смеси. Потом длинной иглой — душником — он наколол вентиляционные каналы. Науменко согнулся, постучал колотушкой, расшатывая модель в ее песчаном футляре, и ловким движением нежно и плавно поднял набитую опоку вместе с чугунной рамой на четырех угловых прутах вверх. За какую-нибудь минуту от сильных, напряженных движений, от яростного упорства при набивке мой учитель перешел к нежным, вкрадчивым и деликатным движениям, когда надо было оторвать песок от модели.

Выпуклые баббитовые втулки модели сделали свое дело и оставили в утрамбованном песке свои следы — гнезда будущих деталей

Науменко провернул крючком в песке воронку для

литника. Не успел я уследить, откуда он появился, как в руках моего учителя оказался гибкий резиновый шланг с медным наконечником, похожим на головку для сифона с сельтерской водой. Дядя Вася надавил кнопку наконечника и сразу из шланга с шипеньем вырвалась струя сжатого воздуха. Направляя струю по бокам опоки, Науменко обдул ею бортики рамы и, швыряя шланг обратно, за машинку, сказал:

— Сейчас накроем. Ходи за мной!

Понатужившись, он неслышно снял с машинки зажатую в рамки довольно тяжелую опоку. Держа ее на весу перед собой, Науменко быстро побежал на плац.

Позади наших машинок, на сухом песке плаца, уже стояли четыре формы, набитые дядей Васей до моего прихода. Пятая форма была раскрыта и лежала, словно на подушке, на мягком песке. В ней чернели четыре стержня — будущие дырки в чугунных «колбасках».

Мягко перебирая ногами, Науменко подошел к нижней опоке и накрыл ее только что у меня на глазах заформованным верхом. Скользкие, смазанные графитом штифты верхней рамки туго вошли в дыры нижней рамки, и поэтому верхняя опока очень точно легла на нижнюю, осторожно соединяя где-то там внутри, в сердце формы, и канавки для чугуна и края будущих «колбасок».

Хотя все то, что я увидел сейчас, было для меня ново, я чутьем молодого литейщика представлял себе, как там, внутри, края формы плотно прижали сейчас книзу верхними углублениями сухие шишки. Я сразу же вообразил, как выпрыгнут из этой формы после заливки тяжелые чугунные «колбаски» — важные детали машины, которой предстоит много побегать в дни сбора урожая по широким полям страны. И мне снова стало радостно, что я выбрал себе именно такую интересную и умную специальность.

Тем временем Науменко легко, стараясь не сдвинуть форму, отвернул винты в рамах и, оставляя опоку на песке, поднял раму вверх, разъединил ее и, швырнув мне нижнюю половинку, крикнул:

— Лови!

Трудно было сразу, с непривычки, поймать довольно тяжелую чугунную раму.

Я схватил ее уже почти около земли, да и то обеими руками: головка винта ударила меня по колену.

— Теперь действуй сам. Выбирай слабину! — сказал Науменко, вынимая из кармана пачку папирос. — А мы покурим.

Силясь не сбиться, подражая моему учителю, я повторял каждое его движение, проверенное и рассчитанное многими годами работы. Завинтив опоку, я не глядя, лихо швырнул на модель горсть состава, вогнал острие лопаты в кучу песка. Набивал я усердно, приплясывая около машинки, и с такой злостью уминал песок, что казалось, руки оторвутся от туловища.

Обижало, что Науменко смотрел на меня как на обузу. Правда, я понимал, что, со своей стороны, он, старый, опытный формовщик, быть может, и прав. Конечно, куда приятнее формовать одному, чем учить какого-то новичка. Я еще не знал, что означают слова мастера «запишем тебе по среднему», но думалось, что, получив такого напарника, Науменко явно прогадывает.

Набивая, я чувствовал, как лоб мой вспотел. Как всегда в таких случаях, я делал слишком много движений, песок пробрался в мои ботинки, скрипел на зубах. То и дело я ловил на себе взгляд дяди Васи. Он смотрел подозрительно, недоверчиво, проверяя каждое мое движение.

— Можно подымать? — спросил я.

— Попробуй, — сказал учитель уклончиво.

— Подымаю, — сказал я и, постучав колотушкой, нажал рукоятку рычага.

Набитая песком опока плавно пошла вверх.

Не успел я ее обдуть и снять, как соседи засмеялись.

— Что это у тебя, молодой, за коржик на модели остался? — крикнул мне высокий смуглый сосед.

Глянул под опоку — и горько стало: к модели прилипла большая груда песка. И впрямь словно коржик! Науменко стоял у меня за плечами посмеиваясь.

— Что, веселая работенка? — кивая на меня, сказал дядя Вася шустрому невысокому формовщику, которого звали Лукой. — Присыпочку забыл, оттого и корж получился, — пояснил мне Науменко.

Да и без этих слов я уже понял свою ошибку. Заторопившись, я позабыл припылить модель сухой присып-

кой, что лежала на полочке в небольшом мешочке. «Но этот, черт старый, тоже хорош! Видел мою оплошность и не поправил, чтобы выставить меня на смех перед соседями!»

Когда я выбил из опоки песок, Науменко сказал:

— Да и модель твоя небось уже прохолонула. Я давно не менял подогрев. Бери клещи — вон за ящиком, пойдем до камелька.

Держа в руках длинные кузнечные клещи и не зная еще толком, для чего они мне понадобятся, я шел вслед за дядей Васей по главному проходу литейной.

Мой учитель шагал ровно и широко, наклонив немного седую голову в замасленной кепке зеленого цвета. Я поспевал за ним следом, как провинившийся школьник. Я понимал, что не радостно должно быть на душе у моего учителя. «Вот, — должно быть, думал Науменко, — принесло воспитанничка на мою голову из какой-то Подолии, а теперь возись с ним, показывай, учи, вместо того чтобы самому делать настоящую работу!»

Мы шли, пересекая длинный цех как раз посредине.

То там, то здесь стучали колотушки, стояли позади машинок горы пустых еще опок, а готовые, заформованные, высились поодаль на плацу, дожидаясь, когда их будут заливать.

Под высокой кирпичной стеной цеха монотонно шипели сильные вентиляторы, нагоняя внутрь воздух. Они гнали воздух в середину вагранок, раздувая глыбы кокса, плавя куски чугуна, наваленные сверху, через люки. Чугун стекал вниз белыми струйками по горячему коксу, собираясь там, на дне вагранок, жидкой, расплавленной массой, готовой вырваться наружу, как только горновой пробьет стальной пикой летку.

— Гляди, гляди, Науменко с новым адъютантом потопал! — донеслось из глубины цеха.

Это кричал какой-то литейщик с загорелым и недобрым лицом. Голова его была повязана, как у женщины, красной косынкой.

— Вася, детка, поздравляю с помощничком! Давай, давай, обучай смену, авось на выдвижение пойдешь! — закричал он сильнее, думая, что Науменко остановится с ним «покалякать», но мой учитель пошел еще быстрее и не остановился.

Тут же, около соседней машинки, я увидел Тиктора. Нет сомнения, и он видел меня, но притворился, что не замечает, словно я был для него чужим человеком.

Тиктор уверенно набрасывал в опоку песок. Он работал на пару с литейщиком, голова которого была повязана косынкой.

Во дворе, в стороне от литейной, пылал под открытым небом «камелек». Так называлась круглая печка с решетчатыми боками, заваленная горящим коксом. Отовсюду из щелей в пылающем коксе торчали хвостики греющихся металлических плиток.

— Смотри, где будут наши. Запоминай! — сказал Науменко и ткнул в просветы между раскаленными глыбами кокса две толстые, увесистые плитки.

— И всякий раз сюда бегать? — спросил я.

— А то как же? — удивленно и сердито посмотрел на меня Науменко.

— Такие концы!

— Хочешь чисто формовать — будешь плиту подогретой держать. Иного выхода нет! — сказал дядя Вася. Тут же он выхватил клещами положенные им раньше и уже раскаленные добела плитки. Чувствовалось: не приди мы сейчас за ними, плитки бы поплыли, как чугун внутри вагранки. — А теперь лети быстро и засунь их под машинки! — приказал Науменко, подавая мне клещи.

Держа в вытянутых клещах пылающие плитки, я стремглав помчался обратно к нашему рабочему месту.

«Завод большой, а с этими плитками порядки неважные! — думал я, опрометью пробегая через весь цех. — Разве нельзя было поближе камельки поставить?»

Плитки были еще ярко-красными, когда я засунул их в пазы под модельным устройством. Скоро мокрый песок, лежащий на баббите, посерел и просох. Модели нагрелись так, что руку долго продержать на них было трудно, а Науменко все еще не было.

Чтобы не терять времени, я принялся набивать на своей машинке нижнюю опоку.

Теперь, оставшись у машинок один, я чувствовал себя спокойнее. Никто не смотрел мне под руки. Соседи копошились где-то на плацу, позади своих машинок, а по бокам у нас никого не было. По-видимому, фор-

мовочные станки здесь были на простое или поломаны.

«Пусть этот старик побродит по цеху, — думал я, набивая, — кое-что мы уже и без него знаем!»

Вторая опока набилась хорошо. Песок не прилип к модели, как в первый раз, и я отважился без приказа учителя, самостоятельно поставить опоку на плацу. Она мягко опустилась на песчаную подушку, расставаясь с моими руками.

Потом я пулей примчался к машинке. Обдувая горячую модель воздухом из шланга, я надел запасную раму и принялся готовить второй низ. Я не думал, что смогу обогнать учителя, но все же решил иметь хоть маленький задел. Я так увлекся формовкой, что не приметил, как вернулся Науменко.

— А шишки кто будет ставить? Дядя?

Услышав рядом строгий голос учителя, я вздрогнул от неожиданности, и тяжелая трамбовка, меняя направление, изо всей силы хлопнула меня по большому пальцу левой руки.

Удар был страшный! Слезы проступили у меня на глазах. «Ноготь обязательно слезет!» — пронеслась мысль.

Хотелось крикнуть, запрыгать, закружиться от боли, швырнуть далеко в песок проклятую чугунную трамбовку, выругаться изо всей силы! Но я понял, что тогда вызову новые насмешки, и, сдерживая боль, закусил до крови губу. Не оборачиваясь к Науменко, чтобы он не увидел заплывшие слезами мои глаза, я сказал тихо, сквозь зубы, отчеканивая каждое слово:

— А вот заформую еще этот низ и тогда поставлю шишки!

К обеденному перерыву палец распух и посинел. Казалось, что треснула кость.

«Кто это придумал такую тяжелую трамбовку? Ею можно искалечить человека навсегда... Но ведь если она будет легкая, то песок не заформуешь туго. Ты формуй, да не зевай в следующий раз!» — рассуждал я сам с собою.

Когда мне приходилось снимать опоку, я напрягал все силы для того, чтобы заглушить боль в пальце. Скрывая боль от Науменко, я отвертывал кое-как вин-

ты, хватал раму и мчался обратно, желая наверстать каждую минуту. Даже песок из башмаков не было времени высыпать.

— Совсем загонял парня, Науменко! — кричал через барьерчик Лука моему учителю.

— Перекурили бы малость! — советовал ему напарник Луки — Гладышев — формовщик, похожий на монгола.

Хотя их шутки и задевали меня, я старался не обращать внимания. «Шутите, шутите!» — думал я.

Дали сигнал на обед. Заводской гудок не был слышен в шуме литейного цеха, и потому здесь всякий раз, когда приходило время обеденного перерыва, горновые били в стальной рельс, подвешенный около вагранок.

Не останавливаясь на перерыв, я все работал: набивал и набивал.

Одна за другой умолкли колотушки машинок. Лишь вагранки гудели под стеной не утихая.

— Ладно. Шабаш. Обедать пойдем! — сказал строго Науменко. — Давай руки мыть.

Холодная вода из-под крана брызнула на запыленные руки, и боль в пальце сразу немного стихла. Видя, что мой учитель зачерпнул в жестянку горсть желтого крупнозернистого песка, я повторил его движение. Этот жирный глинистый песок хорошо отмывал руки. Скоро я увидел свои красные, натруженные ладони и следы свежих мозолей на них.

Молча я пошел вслед за Науменко к машинке, взял завтрак, что мне приготовила хозяйка, и уселся на плацу, вблизи учителя, подложив вместо стула опоку.

Науменко не спеша, степенно развернул платок. Три яйца, кусок копченого чебака, редиска с мохнатой ботвой, ломоть пеклеванного хлеба с маслом и крепкий чай в бутылке — таков был его завтрак.

— Ты в общем не робей, хлопец! — вдруг ласково сказал Науменко. — Нынче мы с тобой заработаем на хлеб и воду — это верно. Ну, а завтра — на борщ, а потом, глядишь, и на котлеты. Первый раз всегда трудно... У меня тоже хлопец есть, чуть постарше тебя летами. Здесь же, в литейной, работал. А сейчас в Екатеринославе в горном институте учится. Сначала письма слал жалобные: не выдержу, мол, вернусь! На заводе куда вольготнее! А теперь — ничего. Во вкус вошел.

Оседлал, видно, эту непокорную науку. Шутит: «Вот буду начальником рудника — должность табельщика тебе, батька, всегда обеспечена...» Погоди, а что у тебя с пальцем? — И, разглядывая мою руку, дядя Вася нахмурился.

После того как я отмыл графитную пыль, было хорошо видно, как под ногтем поврежденного пальца запеклась кровь.

— Да вот, стукнул нечаянно, — сказал я очень небрежно.

— Хорошее дело — стукнул. Он распух у тебя, как поп на пасху. Чего ж ты раньше мне не показал? Беги в амбулаторию. Бюллетень получишь.

— Куда в амбулаторию? Два часа поработал и уже за бюллетенем? — сказал я по возможности веселее.— Такими пустяками докторам голову морочить.

— Горяч ты, я погляжу, парень! — сказал, покачав головой, Науменко. — На терпеж хочешь взять. Ну, смотри, тебе виднее. А бюллетень по такому делу всегда дадут.

В голосе его звучало уважение. Он говорил со мной как с давним своим напарником. И, конечно, это было ценнее прямой похвалы и одобрения.

СОСЕДКА БУДИТ МЕНЯ

Приятели еще не вернулись: их цехи кончали работу позже литейного. Хотя, не в пример вчерашнему дню, стояла жара, в полутемной кухоньке Агнии Трофимовны было на редкость прохладно, да и в нашей комнатушке, несмотря на близость крыши, дышалось легче, чем на открытом воздухе.

Берег моря был заполнен людьми. Одни купались: поблескивали на солнце их мокрые тела. Другие лежали без движения на песке.

Поглядел я на эту картину из окна, и захотелось двинуть туда, на солнышко, погреться до прихода Маремухи и Бобыря, да и помыться заодно после работы.

Долго не раздумывая, я снял рабочие ботинки, завернул в полотенце чистую одежду, надел кепку и, предупредив хозяйку, где меня искать в случае чего, выбежал босиком во двор.

Всего несколько минут побыл я в тени дома, а сейчас солнышко снова ударило мне в глаза, и я шел до калитки жмурясь. Высокие мальвы расплывались перед глазами в дрожащем от зноя воздухе.

Солнце накалило бетонный парапет набережной. Пробежав по нему несколько шагов, я должен был спрыгнуть на мягкий песок. Однако ступать по нему оказалось еще труднее: верхний слой песка раскалился до того, что казалось, его нарочно поджарили на огромной сковородке.

Хотелось поскорее добраться до воды.

Вокруг лежали и грелись на солнце купальщики. Я нисколько им не завидовал.

После первого дня работы на заводе, усталый, измученный, но гордый, я считал их бездельниками. «Пока они тут переворачивались бесцельно с боку на бок, закрывая носы клочками папиросной бумаги и листьями сирени, мы там, в цехе, таскали тяжелые ковши с расплавленным чугуном», — думал я и чувствовал, что больше, чем кто-либо, имею сейчас право отдохнуть здесь.

У самой воды оказалась свободной низенькая скамейка. На одном конце ее лежала чья-то одежда, покрытая сложенным вдвое пикейным одеялом. По-видимому, хозяин вещей плавал среди тех купальщиков, которые плескались далеко в море, за красными поплавками. Я не спеша разделся и, бросив рабочую одежду под скамейку, шагнул к воде.

Море еще ночью выгладило полоску песка вблизи берега. Уходящий в воду песчаный скат был ровный и твердый, точно нарочно накатанный для удобства купальщиков. По нему скользили маленькие, чуть заметные чистые волны — последние вздохи измученного штормами Азовского моря.

Я поплавал немного у берега, а потом, выйдя на песок, упал на него мокрый. И вот лишь здесь, лежа с закрытыми глазами на мягком песке и слушая тихое шуршанье прибоя, я понял, как устал за целый день. И хотя я лежал без движения, давая полный отдых уставшему телу, мне все казалось, что мои пальцы крепко сжимают набойку и она то и дело подскакивает передо мной, врезаясь в черный формовочный и еще дымящийся с прошлой ночи песок. «Скорее, скорее! На-

жимай! Нельзя отставать от Науменко!» — мысленно шептал я себе. Лопата взлетала у меня в руках. Потом где-то вдали зазвонила рында. «Наш черед, — послышался словно с неба строгий голос Науменко. — Бросай все. Пошли за чугуном!»

...Мы идем по сухому песку главного прохода. Впереди, протянув назад сильные руки, шагает Науменко. Морщинистая шея его покраснела от натуги. Кисти рук соединены на кольце держака. Его рубашка пропиталась пóтом и кое-где прилипла к спине. А я, ведомый учителем, плетусь позади, поддерживая рукоятки рогача, и чувствую, что вот-вот упаду. Силы покидают меня. Едва передвигаю ногами и гляжу в одну точку: на пятно вязкого коричневого шлака, что, как пенка в топленом молоке, тихонько покачиваясь, плавает в ковше, окруженное венчиком ослепительно яркого, режущего глаза жидкого чугуна.

Идти все труднее и труднее. Далеко еще до машинок. Поскорее бы добраться до них! Поскорее бы поставить тяжелый ковш на сухой песок, передохнуть, вытереть рукавом соленый пот, затекающий с разгоряченного лба в уголки глаз, хоть на минуту почувствовать облегчение в ладонях!

«Поскорее! Поскорее!» — думаю я, но чувствую, что ноги проваливаются куда-то... Яма! Яма, вырытая посреди плаца, куда литейщики сливают остатки чугуна...

Силюсь задержаться, но дядя Вася быстро шагает вперед, и я, увлекая его, падаю на спину. Ковш выскакивает из кольца держака. Чугун хлынул мне на грудь, затем на ноги. Горячо-горячо стало...

Теряя сознание, уже на пороге смерти, я тяжело застонал и в ту же самую минуту услышал над собой смех и почувствовал какое-то холодное прикосновение...

...На грудь мне капают тяжелые капли холодной воды. Они мигом разгоняют остатки короткого и страшного сна.

Еще не открывая глаз, пытаюсь припомнить, где нахожусь. Я совсем позабыл, что заснул на берегу. Спросонья мне показалось, что я заснул в ожидании друзей в нашем мезонине и, застав меня спящим, Бо-

бырь, следуя глупой всегдашней привычке, льет мне на грудь из дорожного чайника холодную воду.

— Брось, ну что за мальчишеские штучки! — бурчу я недовольно и, продирая глаза, вижу над собой совсем не Бобыря.

Заслоняя солнце, вся блестящая от воды, держа в руках мое полотенце, стоит наша соседка.

— Под солнцем спать не рекомендуется, особенно белокожим. Обгорите! — говорит она.

Мгновенно вскакиваю на ноги и спросонья шатаюсь. Люди, лежащие вокруг, кажутся мне какими-то призраками, будто я смотрю на них сквозь закопченное стекло.

— Хотела прикрыть вас полотенцем, да нечаянно капнула. Простите.

— Ничего, спасибо! — бормочу я и, пристыженный, что меня застала спящим улыбающаяся девушка, увязая в песке, бросаюсь к морю.

Рассекая тугую воду, зарываюсь в нее и плыву в открытое море. Скоро, однако, пальцы мои касаются дна. Вдали от берега песок волнистый и плотный, без единого камешка. Вода кажется очень холодной, и я, точно обожженный, выскакиваю на берег.

Соседка сидит на скамейке. Теперь я могу свободно заговорить с девушкой, раз она первая затронула меня, но что сказать ей — никак не могу придумать. Спросить разве, где она научилась так хорошо плавать? Нет, глупо!.. Все подходящие слова вылетели из головы, и даже кашлянуть трудно.

Но, облегчая мое положение, девушка первая обратилась ко мне:

— И так сразу бросаться в море не стоит. Вода еще холодная, а вы перегрелись. Легкие простудите.

— Ну, чепуха! — протянул я.

— Совсем не чепуха. Я давно возле моря живу, а вы новичок и многого еще не знаете. Извольте слушать старших!

— Почему вы думаете, что я новичок?

— Не думаю, а знаю!

— Странно, откуда вы знаете? — И, пользуясь случаем затянуть разговор, отвечаю: — А вот и ничего подобного. Я здешний и живу на Матросской слободке.

— Нечего меня обманывать. Я решительно все знаю...

— Что вы знаете, что?

— Знаю, что вы приезжий.

— Кто это выдумал?

— Сорока на хвосте принесла. Птичка такая.

— Здесь сорок нет. Сороки в лесу водятся, а здесь море и степь.

— Ну, не сорока, так баклан... Ну, ладно, не стоит больше интриговать. Я ваша соседка и даже вчера вечером видела, как вы у колодца зубы чистили. Ну, а, кроме того, Агния Трофимовна рассказала нам, что у нее новые квартиранты, очень симпатичные молодые люди.

— Вы и с Агнией Трофимовной знакомы? — выпалил я первое, что пришло на ум.

— Еще бы! Мы третий год берем у нее козье молоко. У папы легкие пошаливают, и врачи рекомендовали ему козье молоко пить.

— Козье молоко здорово помогает, — согласился я. — С нами живет сейчас один товарищ, некто Бобырь, так у него самая настоящая чахотка была. Мамаша заставляла его насильно пить, по рецепту врача, козье молоко и растопленное сало...

— Вылечился?

— Здоров как конь. Только во сне скрипит еще иногда зубами.

Девушка засмеялась и, немного помолчав, спросила:

— Вы сюда... зачем приехали?

— На работу.

— Куда именно?

— На завод имени лейтенанта Шмидта поступили.

— А что вы там делаете, если не секрет?

— В цехах работаем. Я, например, в литейном, а товарищи мои — в других: Маремуха — в столярном, а Бобырь...

— Техниками, да? — перебила меня девушка.

— Зачем техниками? Рабочими!

— Рабочими?.. Простыми рабочими?

— Ну да!.. Рабочими. А что ж здесь удивительного?

— Да нет, я просто так спросила... А потом, должно быть, в институт пойдете? Вам, наверное, стажа рабочего для поступления не хватает?

Сейчас для меня было уже совершенно ясно, что девушка считала нас какими-нибудь спекулянтскими сынками. «Наверное, — думала она, — приехали в чужой город рабочий стаж нагонять». Следовало обидеться уже на одно такое предположение, но я, не подавая виду, сказал солидно:

— Поработаем — увидим. Рано еще загадывать, что будет завтра!

— В литейном, небось, вам труднее всех приходится?

— Почему? Обычная работа!

— Самый вредный цех на заводе. Там всегда такой дым едкий. Серой пахнет. А потолки низкие-низкие.

— Крышу скоро подымут. Уже столбы наружу выведены.

— Ах, когда это будет! Мне вас очень жаль.

— Откуда вы все знаете про литейную?

— Меня папа водил туда однажды. Показывал, как чугун льют. Я волосы шампунем едва отмыла от той пыли.

— Как вас пустили, странно. На завод посторонних не пускают.

— Пустили, — сказала девушка беспечно. — К тому же я не посторонняя: мой папа на заводе главным инженером служит. Вы должны были его видеть.

— Еще не видел, — сознался я. — Мы же только первый день отработали.

— Да, я забыла... А вас как зовут?

— Василь.

— Ну, тогда давайте познакомимся. Меня зовут Анжелика. А сокращенно, для знакомых, — Лика.

— Хорошо, — буркнул я.

— Какой вы все-таки странный! — Девушка засмеялась. — Настоящий бука! Что «хорошо»? Знакомясь, люди должны друг другу руку подать. Ну?

— Почему я бука? Раз мы с вами говорим, то мы уже знакомы, по-моему. Но если вы хотите, то отчего ж! — И я неловко протянул Лике мокрую еще руку.

Она пожала ее своими тонкими пальцами, и как раз в эту минугу у меня за спиной послышался негодующий голос Бобыря:

— Ну тебя, Василь! Мы гукали тебя, гукали, Маремуха аж на крышу вылез, а ты...

Словно ошпаренный, я выдернул руку из ладошки Анжелики.

Запыхавшись от бега, перед нами стояли Бобырь и Петрусь. Саша в изумлении переводил взгляд то на меня, то на Лику.

А соседка, нисколько не смутившись, разглядывала моих приятелей.

— Пошли обедать! — бросил Маремуха.

— Это и есть ваши друзья, да, Василь? — спросила Анжелика. — Почему же вы нас не знакомите?

— Познакомьтесь, хлопцы, — смутившись уже вконец, промямлил я. — Это... это...

Как бы желая выручить меня, соседка поднялась со скамейки и, шагнув навстречу друзьям, сказала:

— Анжелика!

Хлопцы тоже опешили. Петро с ходу пожал девушке правую руку, Бобырь — левую, и оба они назвались.

— Так вот, оказывается, кто из вас Бобырь! — сказала с любопытством Анжелика, в упор рассматривая присмиревшего Сашку. — Это, значит, вы по ночам зубами скрипите?

Сильнее и обиднее Сашку уколоть было нельзя. Он посмотрел на меня с негодованием: многое сказал его взгляд, полный презрения и обиды! Получилось так, что я насплетничал соседке о Бобыре, желая его осрамить, а себя возвысить.

А у меня и в мыслях не было унижать товарища: просто вырвалось как-то случайно...

Разговор вчетвером явно не клеился, и мы оставили Анжелику на пляже, а сами ушли домой.

— Посмотри на этого... индуалиста! — споткнувшись опять на этом трудном слове, сказал Сашка. — Мы с тобой все горло оборвали, а он, оказывается, красавице лапки жмет под шум приазовской волны! А еще вчера возмущался, зачем я вызвался ее халат караулить... Ухажер тоже...

Сказать им разве, как случилось все? Не поверят! Сколько ни клянись и ни старайся — не поверят!.. И я решил промолчать.

В самом центре города, около базара, высился квадрат прижавшихся друг к другу домов. На тротуарах под окнами этих домов каждый вечер гуляла молодежь. И хотя все четыре тротуара принадлежали разным улицам, бесцельное блуждание здесь называлось «прогулкой на проспе́кте». Гуляющие двигались под освещенными витринами магазинов, ну точь-в-точь как у нас на Почтовке! И как только мы слились с потоком гуляющих, я понял, что в каждом городе есть своя «Почтовка». Правда, вечером в этом приморском городе было куда теплее, чем у нас на родине, в Подолии. Загорелые гуляющие парни бродили по панели в белых легоньких апашках, в светлых брюках, в сандалиях на босу ногу.

Было очень душно, и Бобырь, который решил щегольнуть в своем костюме «елочка», быстро снял пиджак и понес его на руке.

Несколько раз мы останавливались у освещенного подъезда клуба водников. В клубе показывали комическую картину «Папиросница из Моссельпрома» с Юлией Солнцевой и Игорем Ильинским в главных ролях. Но всякий раз, отговаривая один другого, мы поворачивали обратно. Мы считали, что еще не вправе тратиться на кино.

Маремуха заработал сегодня три рубля сорок копеек, я — два девяносто пять, а Бобырь хотя и хвастался, что около пяти рублей, но по всему было видно, что он и сам толком не знает, сколько все же записали ему. Но даже и этих денег на руках у нас еще не было.

Правда, мы уже решились было купить самые дешевые билеты, но тут я подслушал разговор зрителей, что на будущей неделе эту же картину будут показывать на свежем воздухе, в городском саду. И сразу от сердца отлегло. Вот и прекрасно! Залезем на крышу и посмотрим ее бесплатно.

— Эй, молодые, сюда идите! — донесся к нам знакомый голос с бульварчика, что протянулся по другую сторону улицы, перед клубом водников.

Мы шагнули на мостовую и увидели извозчика Володю. Он сидел, покуривая, на скамеечке, в компании

еще каких-то двух людей. Володя был в морском поношенном кителе и в широкополой соломенной шляпе.

Когда мы подошли ближе, я увидел рядом с ним своих соседей по машинкам — литейщиков Луку Турунду и Гладышева.

— Подвиньтесь-ка! — приказал Володя своим собеседникам, и те освободили для нас место на скамеечке. — Сидайте, рассказывайте. Ну что, приняли вас на завод?

— Отстал ты, брат, от жизни, — отодвигаясь, бросил Лука. — С Василем мы, можно сказать, соседи по машинкам.

— А кто из вас зовется Василем? — спросил Володя.

Я ткнул себя пальцем в грудь.

— Других тоже приняли? — допытывался извозчик.

— А то как же! — сказал Маремуха таким тоном, будто и не могло быть иначе.

— Значит, у меня легкая рука, — обрадовался Володя. — Готовьте по сему случаю магарыч!

— Магарыч своим чередом, — вмешался Бобырь солидно, — а вот где вы пропадали вчера? Договорились ждать на вокзале, а сами исчезли неизвестно куда.

— Я до Мариуполя ездил, — сказал Володя, — с инженером одним. Вот как познакомил вас с тетушкой, так сразу и подался в Мариуполь.

— Разве туда поездом ехать нельзя? — удивился я.

— Можно, но неудобная пересадка в Волновахе. Считай, день поезда ждать. А этому инженеру срочно надо было в Мариуполь, вот и отмахали такой конец.

— А обратно порожняком? — спросил Маремуха.

— Мало-мало что не так, — сказал Володя, оживляясь. — Только покушал на постоялом дворе, Султана покормил. «Ну, — думаю, — поплетемся теперь налегке». Вдруг, откуда ни возьмись, подходит какой-то чудак с чемоданчиком: «Не возьмете ли меня с собой туда?» — «Отчего ж, — говорю, — за двадцатку хоть на край света». Думал, торговаться будет, так нет: вынул деньги без всяких. «Давай только, — говорит, — поедем быстрее». А я что? За такие деньги можно ехать.

— В самом деле двадцатку дал? — заинтересовался Гладышев.

— Думаешь, шучу? Два червонца новеньких, вот они, милые. — И Володя нежно похлопал себя по нагрудному карману куртки. — Весело доехали. Песни всю дорогу пели.

— Доходная у тебя работа, Володя, — сказал Лука. — Деньги платят да еще песни подпевают!

— И не говори! — отшутился Володя. — У меня денег — как у лягушки перьев. В одном кармане смеркается, а в другом светает... А впрочем, шибко не завидуй. Это сегодня только так подвезло. Другой раз стоишь, стоишь перед тем вокзалом и думаешь — для смеха бы кто нанял хоть до Матросской слободки!

— Все-таки на свежем воздухе, — сказал Гладышев, — пылюку не глотаешь, как у нас в литейной.

— Ничего, Артем, вот крышу подымут, и у нас пылюки будет меньше, — заметил Лука, и мне стало понятно, что поднятия крыши ждет весь литейный цех.

— Ты говоришь, Артем, свежий воздух, — тихо ответил, как бы размышляя с самим собой, извозчик Володя, — а я бы от этого легкого, свежего воздуха на карачках на завод вернулся, если бы не рука.

— Вы тоже на заводе работали? — нисколько не скрывая своего удивления, сказал я таким тоном, что Лука и Артем засмеялись.

— А ты думаешь! — горячо сказал Володя, видно, задетый за живое моим недоверием. — Я, милый, не всегда кустарем-одиночкой был. Двенадцать лет на заводе отработал. С мальчиков. Еще буржуи жилы из меня тянули. Если бы не рука, кто знает, быть может, сейчас бы в мастерах ходил.

— А что у вас с рукой, что? — спросил торопливо Бобырь, разглядывая лежащие на Володиных коленях загорелые и на первый взгляд здоровые руки.

— Да глупая в общем история приключилась, — сказал Володя. — Земляки, они ее знают (он кивнул в сторону Луки и Гладышева), и вам, новичкам, узнать полезно. Вроде как бы инструктаж получите.

Тут, когда Махно в двадцать втором до Румынии подался, в городе у нас немало его подручных осталось. Не знаю, сами ли они побоялись в чужие края за своим батьком лохматым удирать, или он их здесь, в Таврии, на рассаду оставил, — только факт, что кишело ими. А особенно много их шлялось в колонии,

за вокзалом. Там раньше что ни усадьба была, то кулацкая. Хозяева жили в колонии крепкие: дома каменные, виноградники большие, на причалах около моря баркасы собственные, а по берегу от маяка до Матросской слободки волокуши расстелены. Виноград уродится квелый — из моря деньги вытянут. Ну, а как голод случился, дружинники-рабочие давай у тех колонистов погреба осматривать — нет ли где хлеба зарытого. Да и в самом деле: в городе голод, дети распухли, на улицах всю крапиву да на кладбище лебеду для пропитания выщипали, а перешел пути — иной мир. Всего вдоволь в колонии; под праздники даже окорока коптят и самогон варят. Идешь по улице голодный, еле ноги волочишь, а тут как шибанет тебе в нос от ихней праздничной трапезы — разорвал бы их всех, паразитов, живьем! Народ повальное бедствие терпит, а эти веселятся — «тустеп» да «ойру» под граммофоны пляшут.

Понятное дело, колонистам не понравилось, что мы их обыскиваем, донимаем, к добру ихнему прикасаемся. Постреливать они стали в дружинников. А тут, на заводе, еще иностранцы оставались. Джон Кейворт с чадами своими — тот сразу в Англию махнул, а своих надсмотрщиков помельче оставил. Эти его доверенные оружие где-то добывали и колонистам потихоньку ночами подбрасывали.

И вот однажды заходим мы в светлицу к одному купцу здешнему, Бучило его фамилия. Не успели еще дверь за собой прикрыть, слышим — шаги! Входят за нами двое соседей Бучилы, тоже из местных кулаков-колонистов, братья Варфоломеевы. В кожаных куртках оба, в кубанках, штаны из малинового бархата, и руки в карманах держат. «Ну, — думаю, — горячо нам сейчас придется!» Знал почти наверняка, что оба брательника у батьки Махно служили. С ними третий вошел, как бы холуй ихний, Кашкет по прозвищу, он же Ентута...

— Погоди, Володя, — перебил я извозчика, — он в литейном цехе работает? Красной косынкой голову повязывает?

— Он, он самый! — охотно подтвердил извозчик. — Ну, так вот... Оглянулся я — вижу, сам купец стоит у кровати, ухмыляется. Никакой, видать, ему обыск не

страшен, раз подмога пришла. А соседи его, Варфоломеевы, поставили у двери Кашкета — и ко мне. А я, можно сказать, один был. Помощник мой, Коля Сморгунов, — хлопчик ловкий, карабином владел, но от голодухи ослаб совсем. Не совладать бы ему даже с младшим Варфоломеевым. И получилось так, что приходится мне как бы одному на себя удар принимать.

Старший Варфоломеев подходит ко мне и говорит:

«Ну что, Володя, грязная твоя душа, пришел в гости к соседу — садись».

«Ничего, спасибо, сяду», — говорю. И присаживаюсь на уголке стула.

«Давай, — говорит старший Варфоломеев, — хозяин, угощай желанных гостей!»

Вижу, приносит Бучило, улыбаясь, стаканы, штоф самогону, сало вареное. А под стеной его дочки, как на выданье, сидят. Обе невесты Варфоломеевых. Побледнели, чуют, не к добру такое угощение.

Смотрю я Варфоломееву прямо в лицо. Страшно мне, но не робею, Советскую власть за плечами чую. И прислушиваюсь, о чем его младший братан с хозяином перешептываются.

Люська Варфоломеев наливает мне тем временем стакан самогонки и говорит:

«Пей, милый!»

«Зачем, — говорю, — я первый? Может, она отравленная! Выпей сам».

«Ты что же, — шипит Люська, — боишься? И еще хозяина оскорбляешь! Тебе, голодранцу, уважение делают, а ты...» И раз — ножик выхватил.

Вижу я такое дело, мигнул Коле Сморгунову. А тот, вместо того чтобы на мушку их взять, из последних сил как трахнет карабином по лампе! Так мне горячее стекло на голову посыпалось. Что делать? Раз такой оборот — повалил я на стол старшего Варфоломеева. Слышу, посуда загремела, барышни визжат, темнота кромешная. «Лишь бы, — думаю, — своих побыстрее дождаться!» И браунинг вытаскиваю, чтобы в окно пальнуть. Но тут как раз возле уха табуретка пролетела. «Ага, — думаю, — тяжелая артиллерия в ход пошла!» И ползу к выходу. Слышу, сопит кто-то рядом и хромом пахнет. Значит, куртка кожаная рядом. «Ну, — думаю, — получай!» И рукояткой

браунинга как дам! Попал прямо по затылку. Застонал кто-то из Варфоломеевых и кричит: «Держи дверь, Кашкет, мы ему покажем!» — и как бахнет в потолок. Тут и я стесняться перестал: застрочил в угол, откуда стреляли, из браунинга... Визг, огонь, керосином пахнет, а Сморгунов у двери голос подает: «Давай, — говорит, — Володя, обезоруживай бандитов! Я их не выпущу отсюда!» Хорошо ему говорить «обезоруживай»! Их с хозяином четверо, не считая невест, а я один! И пробиваюсь себе ползком к двери. Вдруг слышу, кто-то будто замахнулся на меня и самогоном пахнуло близко. Я присел и рукой голову заслоняю. А тут — бжи-и-и-ик! По руке моей!

Я сперва, знаете, не почувствовал боли. Даром что жилы мне ножом перерезало да еще череп задело! Отдернул я руку — и в карман за платком. Но чую, дело плохо: пальцы не работают. Прижал пораненную руку другой рукой, жарко мне стало, даже пот на лоб выступил, и усталость одолевает.

Едва собрал силы крикнуть Коле Сморгунову: «Бей их, кулацких паразитов, бо я раненый!» А в эту минуту Кашкет стекло высадил и хотел туда, на снег, рыбкой! Тут Коля Сморгунов в него на прощанье из карабина бабахнул. Наши дружинники выстрелы услышали, обоих Варфоломеевых и хозяина взяли. А я вот... покалеченный остался. Даже стакан с водой трудно поднять. Питание плохое в те годы было, срослось все кое-как, а рука до сих пор словно парализованная...

— Послушай, Володя, — спросил Гладышев, — а почему Кашкет хвастался, что это его на фронте ранили, когда он от белых Екатеринослав защищал?

— На фронте? — Володя засмеялся. — А ты не купался с ним никогда? Жаль! Искупайся при случае. Посмотришь, куда пуля входила, откуда шла. На фронте, брат, таких ранений не бывает; разве что у дезертиров, кто под шумок пятки салом смазывает...

Мимо нашей скамейки, широко выбрасывая ноги, прошел знакомый франт из отдела рабочей силы в длинных остроносых ботинках.

— А вот и Зюзя! — громко сказал извозчик.

— Привет! Привет! — отозвался тот, оборачиваясь на его голос, и, помахав рукой, пошел дальше.

— Вот этот Зюзя нас на завод не хотел принять! — мрачно сказал Маремуха.

— Да что ты говоришь! — удивился Володя.

— Правда, правда, — сказал я, поддерживая Петруся.

— Странно! — сказал Гладышев. — Неужто забурел? А мне говорили, что Зюзя хорошо к рабочему классу относится.

— Ничего себе «хорошо»! — возмутился Бобырь. — Да если бы не директор завода... Вот, послушайте... — И он рассказал, как встретил нас Зюзя в своей канцелярии.

— Самый настоящий бюрократ. Чернильная крыса! — поддакнул я.

— А я хотел было к нему идти в транспортный цех со своим Султаном наниматься, — сказал Володя.

— Да хоть бы объяснил, посоветовал, а то просто: «Аут! — говорит. — И езжайте в Харьков», — с возмущением добавил Бобырь. — То ли дело директор... Все по-человечески расспросил, проверил, что мы знаем...

— Ты директору нашему не удивляйся, — сказал Лука. — Таких директоров от Севастополя до Ростова и по всему побережью не скоро сыщешь! Его уж и на завод Ильича звали, и в трест украинский — не пошел. «Дайте мне, — говорит, — завод поднять, технику труда наладить, английское наследство ликвидировать». Это он затеял поднять крышу литейной. «Пусть, — говорит, — в самом вредном цехе самый чистый воздух будет». А ты не видел, какую чугуночистку при нем выстроили? Загляденье! Раньше, при Кейворте, в той чугуночистке люди от чахотки гибли сотнями. В сараюшках литье чистили, вся пыль на легкие садилась. А сейчас любо глянуть: чистота, света много, пыль отсасывают трубы... А какой в прошлом году приезжим троцкистам бой дал Иван Федорович! Перья с них летели! Ты Ивана Федоровича с Зюзей не равняй.

— Он что, выдвиженец? — спросил Бобырь.

— Иван Федорович?

— Да нет, Зюзя!

— Футболист, — сказал Лука спокойно.

— При чем же здесь футбол? — удивился Маремуха.

— А при том, — пояснил Лука, — что Зюзя был самый лучший центр-форвард на все Запорожье, но там, на заводе «Коммунар», с ним мало считались: работал у них в кочегарке, что ли. Ну, а наш главный инженер Андрыхевич — болельщик старый. Поехал он однажды в Запорожье, посмотрел игру Зюзи, видит — парень ходовой, ну и переманил его сюда. Тут ему, ясно, раз-раз — и выдвижение: заместителем начальника отдела рабочей силы. Жалованье приличное, есть на что харчиться, чтобы за мячом бегать...

— Главный инженер — это седой такой? — осторожно спросил я, припоминая слова Анжелики об ее отце.

— Он самый, — подсказал Володя, — ваш сосед. Со странностями человек, но футбол уважает...

— Дочка у него занятная, — не без удовольствия ввернул Маремуха. — Василь с ней уже познакомился. Лапки жал на пляже.

— Да что ты? — Володя удивился и поглядел на меня с уважением. — Ты, оказывается, парень-хват, не теряешься! Но смотри: Зюзя узнает, мигом тебе ноги перебьет. У него, брат ты мой, удар пушечный. Штангу мячом ломает...

Неподалеку от нас, в порту, раздался прерывистый гудок. Потом другой, третий...

— «Дзержинский» в Ялту уходит, — сказал Лука.

Никогда в жизни мы не видели настоящих пароходов, только на картинках. Мне очень хотелось побежать в порт, поглядеть отход парохода, но, как назло, Маремуха продолжал разыгрывать меня и, подталкивая Бобыря, спросил у Володи:

— А что, разве Зюзя — приятель инженеровой дочки?

— Как же! На велосипеде ее катает часто и в гости к ним захаживает. Свой человек, словом.

— Я думаю, они его как футболиста уважают, — заметил Лука.

— Неужели дочка инженера — футболистка? — буркнул Петро.

— Болельщица! Пойдешь игру смотреть — не садись впереди нее, — предупредил Лука, — всю спину тебе ногами исколотит. Помешалась на почве футбола, как и ее папаша.

— Ну, а это ты зря так... — заступился за мою знакомую молчавший доселе Гладышев. — Скажет тоже: «помешалась»! Барышня самостоятельная, умная, много книжек читает. А что болеет футболом, так что из того? Кто у нас не болеет, скажи? Одни голубями, другие футболом увлекаются. Главный врач курорта Марк Захарович Дроль болеет? Болеет! Начальник порта капитан Сабадаш? Ясное дело! Зубодер мадам Козуля? Еще как! Эта, из танцевального заведения... как ее, мадам Рогаль-Пионтковская? Безумно! Даже Лисовский, поп, как игра, церковь на замок — и на поле со своей матушкой... Такой уж город у нас шальной!

— Кто, кто? Рогаль-Пионтковская? — переспросил я. — Она не графиня случайно?

— Леший ее ведает, графиня она или нет, а вот то, что эта мадам просто чудо-юдо на всю округу, — факт... — сказал Гладышев.

— Самый главный профессор по танцулькам, — добавил Лука.

— Чего же мы сидим здесь, друзья, да сухой беседой пробавляемся? — встрепенулся Володя. — Может, пойдем до Челидзе и по кружке пива выпьем, а?

— Надо пойти, правда, а, Василь? — шепнул мне Бобырь. — Не пойдем — обидятся!

«Ходить в пивную комсомольцам? — подумал я. — Хорошо ли? С другой стороны, и впрямь новые наши знакомые могут подумать, что мы белоручки какие, чуждаемся их компании, либо просто скареды. И наконец, разве это большой грех — выпить кружку пива?»

Однако усталость одолевала, и, помня, что завтра поутру надо на работу, я сказал:

— Да мы не знаем... Ведь нам завтра...

— Оставь ты их, Володя, — вмешался неожиданно Лука. — Хлопцы молодые, в работу еще как следует не втянулись и еще в самом деле проспят. Нехай майнают домой! А ты, друг, — обращаясь уже ко мне одному, очень сердечно сказал Лука, — напарника своего особенно не бойся. Он ворчит, покрикивает, но в общем-то справедливый старик и гоняет

тебя не зря. Все к лучшему... Злее будешь! Ну, до завтра!

Мы расстались, и Володя, первый выйдя из палисадника на мостовую, запел:

На заводе том Сеню встретила,
Где кирпич образует проход...
Вот за эти-то за кирпичики
Полюбила я этот завод...

Шагах в тридцати от людного проспекта было пустынно и тихо, как в деревне глубокой ночью. Сладко потянуло маттиолой, и в кустах одного из садиков, у самой дороги, зачастил перепел.

— А твоя симпатия, Василь, знает, что ты у нас в фабзавуче в футбольной команде играл? — спросил не без ехидства Петро.

— О ком ты говоришь?

— Притворяйся! — И Маремуха весело хмыкнул. — Будто не знаешь, о ком?

— Как ее зовут, а, Василь? — спросил Саша.

— Я забыл.

— Он уже забыл, ты слышишь, Петрусь? — издевался Бобырь. — Тогда я тебе напомню, раз ты такой забудька: Ан-же-ли-ка! Запиши, пожалуйста, на память.

— Что это за имя такое: Ан-же-ли-ка? — наслаждаясь моим смущением, протянул по складам Маремуха. — Первый раз слышу. Очень странное имя. Наверное, заграничное.

— Деникинское имя, — поддакнул Бобырь. — Ты думаешь, случайно она нам «мерси» сказала?

— Так все буржуи говорят: «мерси» и «пардон», — согласился Маремуха.

А я шел опять молча, терпеливо выслушивая, как ребята прокатываются по моему адресу...

Далеко в море колыхались, огибая волнорез, белые топовые огни уходящего парохода «Феликс Дзержинский». Если бы я знал в ту ночь, кого он повез на своем борту в Ялту в кромешной тьме Азовского моря!.. Если бы я знал, то примчался бы заранее в порт и не стал тратить времени на пустые разговоры.

В ГОСТЯХ У ТУРУНДЫ

По мере того как я втягивался в заводскую жизнь, слово «подладитесь» страшило меня все меньше. Дни пролетали быстро, и всякий новый день приносил новости.

Сегодня, за несколько минут до обеденного перерыва, к моей машине подошел Головацкий. Странно было видеть его среди пыли и шума литейной в хорошо сшитом костюме да еще при галстуке. На месте секретаря заводского комсомола я бы постеснялся показываться в цехе в подобном наряде. Люди работают физически, а он прогуливается таким чистехой! Но Головацкий вел себя как ни в чем не бывало, поздоровался за руку с Науменко, а Луке с Гладышевым поклонился.

— Своего подшефного проведать зашел, Толя? — спросил Лука.

— Как он — прижился у вас? Не теряется? — вопросом на вопрос ответил Головацкий и посмотрел на меня внимательно серыми глазами.

— Торопыга. Скоро дядю Васю обгонит! — бросил Лука и, схватив набитую опоку, помчался накрывать ею нижнюю половинку.

Обращаясь к Гладышеву и Науменко, Головацкий сказал:

— Я ему говорил: «Подладишься», — а он было приуныл, как узнал про машинную формовку. — И, еще раз поглядев на меня, сказал доверительно: — Ты зайди ко мне, Манджура, в обед...

— Вы, я вижу, хорошо с Головацким знакомы? — спросил я Луку, как только секретарь скрылся за опоками.

— Это же наш воспитанник! Выходец из литейной. Мы его здесь и в партию принимали, как ленинский набор был, — сказал Лука, и я понял, что мой сосед — коммунист.

— Значит, Головацкий в литейной работал?

— Ну да! А чему удивляешься? На томильных печах! — бросил Турунда. — Он молодец, хорошие порядки там завел. До его прихода чумазей томильщиков на целом заводе никого не было. От той руды, которой они литье отжигают, ржавчина не только к робе, но и к волосам приставала. За версту можно было

узнать, что парни из томилки идут. А сейчас — глянь: выходят после шабаша чистыми, как люди. А почему? Собрал Головацкий, по поручению парткома, комсомольцев на субботник, заложили сообща змеевики в тех печах, провели души с горячей водой да устроили каждому рабочему шкафчики для грязной и чистой одежды. Сейчас, когда пошабашат, сразу под душ. Помоются горячей водицей, переоденутся во все чистое — и по домам, что интеллигенты какие. Любо-дорого! И не узнаешь, что они в тех печах литье разгружали...

Эти слова, услышанные от соседей, запали мне в душу. Я шел теперь к Головацкому в ОЗК с добрым чувством и никак не ожидал, что он встретит меня упреком.

— То, что ты подладился быстро и освоил тонкости машинной формовки, — хорошо и похвально, Манджура, но почему ты держишься особняком ото всей молодежи?

— Как «особняком»? — переспросил я, усаживаясь на скрипучий стул.

— Да очень просто! Половина ребят тебя попросту еще не знает: кто ты, что ты, чем дышишь. О беспартийных я уже не говорю. Даже комсомольцы и то не подозревают, что у тебя комсомольский билет в кармане. В прошлый раз ты мне здесь полных три короба наговорил о своей общественной работе в фабзавуче. Я было возрадовался: «Вот, — думаю, — огонь-парень на подмогу к нам пришел...»

— Но мне же надо было освоиться, — виновато сказал я, осознавая, что секретарь ОЗК во многом прав.

— Но сейчас ты уже, надеюсь, освоился?

— Сейчас освоился...

— Тогда добро, — уже мягче сказал Головацкий. — И советую тебе поскорее узнать всю молодежь литейной: кто чем живет, кого что интересует. Ведь что получается: литейная — единственный цех на заводе, который, в зависимости от заливки, часто кончает работу задолго до общего шабаша. Что это значит? Это значит, что больше всего свободного времени у молодежи литейной. А много ты найдешь литейщиков по вечерам в юнсекции клуба металлистов? Очень мало! Стыд и срам, но это, к сожалению, так. А вот на

танцульках у мадам Рогаль-Пионтковской их полным-полно...

Второй раз за последние дни я услышал знакомую фамилию. И трудно было удержаться, чтобы не перебить секретаря ОЗК:

— А кто же эта мадам?

— Осколок разбитого вдребезги, — сказал Головацкий, постукивая длинными пальцами по фанерному столу. — Еще несколько лет назад ей принадлежали ресторан «Родимая сторонка» и кондитерская при нем. А потом, когда мадам устала от налогов, она открыла свой собственный танцкласс. Дочь этой мадам еще при белых вышла замуж за англичанина — начальника цеха и с ним укатила в Лондон. Ну, а мамаша осталась и обволакивает сейчас своим влиянием молодежь.

Напрягая память, я спросил:

— Рогаль-Пионтковская тут давно живет?

— Как революция началась. Она сюда приехала вместе с дочерью. Откуда-то из-под Умани.

— Замужем?

— Мужа ее никто не видел. Либо схоронила его там, в Умани, либо в бегах находится...

— И ребята из литейного ее посещают?

— Если бы только из литейного! Из других цехов тоже. Не сумела комсомольская ячейка организовать досуг молодежи — мадам этим пользуется. И возьми себе на заметочку, Манджура, в твоем цехе есть еще совсем малограмотные ребята. Нечего коллектива чуждаться! Пора с хорошими ребятами подружиться, в одну упряжку стать. Гриша Канюк, к примеру, или Коля Закаблук...

— Все сделаю, Толя, — пообещал я Головацкому.

— Надо сделать все, а потом еще повторить! — пошутил Головацкий и, пожимая мне руку, сказал: — Ну, беги, а то до гудка три минуты осталось...

Еще в годы царского режима, когда мы жили в Заречье, под Старой крепостью, неподалеку от Успенского спуска, усадьба графини Рогаль-Пионтковской занимала целый квартал на городской окраине. Желтый барский особняк с колоннами у подъезда терялся в зелени тенистого сада, и к нему от железных ворот, украшенных коваными железными лепестками, вела усыпанная гравием дорога. Ее окаймляли грядки с белыми

лилиями и пионами. Высокие ажурные ворота почти никогда не открывались, и на них висел тяжелый ржавый замок.

Но однажды ворота усадьбы распахнулись настежь по доброму согласию ее владелицы. Случилось это весной 1919 года, когда наш город захватил со своими бандами атаман Петлюра. Остатки его банд жались к железной дороге. В руках неудачливого атамана находилось несколько маленьких городков и местечек Подолии и Волыни. Но, несмотря на то, что петлюровский фронт трещал по всем швам, атаман торжественно объявил наш город временной столицей «Петлюрии», а для своей резиденции выбрал наполовину пустующий особняк графини Рогаль-Пионтковской.

Автомобиль, на котором подъехал Петлюра, встречала у распахнутых ворот сама графиня, дама в черном платье с воланами, с лорнетом, прижатым к глазам. Мы, мальчишки, видели с погоста соседней Успенской церкви, как, выйдя из машины, одетый во все синее Петлюра поцеловал худую, украшенную перстнями руку графини и вместе с хозяйкой последовал к желтому дому. Сюда к нему приезжали для переговоров галицкие «сичовые стрельцы» из корпуса Коновальца, деникинские офицеры.

Несколько позже на постой к графине прибыли английская и французская военные миссии. Офицеры Антанты, помогавшей Петлюре, разгуливали в своей невиданной нами форме по тенистым аллеям графского сада, но рассмотреть их поближе нам никак не удавалось. Прохожих сгоняли с тротуара гайдуки из «куреня смерти», охранявшие Петлюру и его свиту.

Лишь один раз вместе с приятелями мы взобрались на гранитный фундамент изгороди и попробовали разглядеть сквозь гущу зелени, что же творится возле дома с колоннами. В ту минуту, когда мы стояли босиком на шершавых и теплых от весеннего солнца плитах, прильнув к железной ограде, из сада выскочил высокий худощавый мужчина в длинном сером пиджаке и замахнулся на меня черной тростью в серебряных монограммах.

Как вспугнутые воробьи, пустились мы наутек кто куда, боясь, как бы длинноногий не кликнул на расправу с нами петлюровцев из наружной охраны. А у них

были припасены для нас угощения похлеще трости: длинные нагайки с оловянными «пятаками», заплетенными в кожу.

Лицо незнакомца — хищное, злое, дряблое, все в желтоватых морщинах — я хорошо запомнил.

Говорили, что это родной брат графини, убежавший откуда-то из-под Киева, от большевиков. Недаром впоследствии, когда Петлюру прогнали, графиню арестовала Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Что потом с ней стало, я не знал. А может, братец графини и был тем самым находящимся в бегах мужем здешней Рогаль-Пионтковской, которая, по словам Головацкого, «обволакивала молодежь» своими танцами?..

Зной еще не развеялся, но на проспекте уже было людно. Вялые и разморенные, брели с пляжа курортники в тюбетейках, в широкополых соломенных шляпах, а то и просто повязав головы мокрыми платочками. Курортники тащили в руках коврики, полотенца, мокрые простыни, купальники. Иные из них задерживались у киосков, где продавались студеная белая буза, лимонное ситро, нарзан и боржом со льда. Другие приезжие, главным образом мужчины, забегали в угловой кооператив виноградарей. Утомленные жарой и морем, они опрокидывали там стаканчики, наполненные прозрачной «березкой», янтарным «вяленым», «выморозками», «изабеллой», густым и янтарным «мускатом» и другими винами Приазовья.

То заглядывая внутрь магазинов, то задерживаясь у нарядных витрин, я шел, впечатывая каблуки в мягкий асфальт.

Еще до окончания работы Гладышев сказал мне, что салон Рогаль-Пионтковской помещается в доме № 25 по Генуэзской улице.

Внезапно все прохожие перестали меня интересовать, кроме одного, что появился откуда ни возьмись передо мной. Спина его и походка — твердая, уверенная, строевая походка военного — показались мне удивительно знакомыми. Если бы не его летний штатский костюм из чесучи да не мягкая, из той же материи панама с широкой голубой лентой, я бы сразу бросился к прохожему, как к дорогому земляку.

«Но этот не виданный никогда раньше штатский костюм?.. А походка та же, и рост, и высоко поднятая голова с загорелой шеей!.. Да он, верно, на курорт сюда приехал! Ну, как я не догадался!»

Быстро обогнав прохожего в костюме из чесучи, заглядываю ему в лицо. Он в это время смотрит в окно аптеки, где виднеются целые батареи банок с латинскими надписями.

«Ну да, это он!»

Я подхожу к прохожему вплотную и, чуть дотронувшись до его полусогнутого локтя, говорю:

— Здравствуйте, товарищ Вукович! Как вы сюда...

Человек с лицом Вуковича удивительно хладнокровно, будто ждал, что я его затрону, оборачивается и говорит:

— Вы обознались, молодой человек... — и слегка насмешливо смотрит мне в глаза, как бы жалея, что я так глупо ошибся.

Что я буркнул ему в ответ, не помню. Это не были слова извинения. Скорее всего я произнес что-то похожее на «ух ты!» и, смешавшись окончательно, быстро зашагал прочь, чтобы зеваки не обратили на меня внимания. А сам думал: «Ну бывает же такое сходство! Удивительно, как похож этот человек на Вуковича...» Если бы то был Вукович, он обязательно узнал бы меня и поздоровался. Особенно после того продолжительного разговора в его кабинете, когда мы посетили его вместе с Коломейцем.

Придя в себя после досадной оплошки и освобождаясь от охватившего меня смущения, я решил ни в коем случае не говорить хлопцам, как я обознался...

Дом № 25 на Генуэзской оказался ничем не примечательным с виду одноэтажным особняком. От кассирши в платье из клетчатой шотландки, которая раскладывала на столике у входа книжки с билетами, я узнал, что танцы начинаются через час. Не крутиться же мне под высокими окнами танцкласса столько времени, чтобы поглядеть на здешнее чудо-юдо! Я медленно побрел Генуэзской улицей, подальше от центра города.

Генуэзская привела меня в предместье Лиски с его маленькими домиками. Почти вся земля здесь была занята огородами. Я пошел на край поселка, к самому морю.

Вблизи берега покачивались на якорях просмоленные рыбачьи баркасы со свернутыми парусами. На песке, забросанном водорослями, сохли неводы-волокуши. В лицо ударил воздух морского раздолья, смешанный с запахами копченой рыбы, водорослей, йода, смолы.

Пустынный песчаный берег тянулся к Ногайску. Из оврага, спускавшегося к морю, выглядывала какая-то двухэтажная вилла под красной черепицей. Закат бросал багровые блики на ее окна, обращенные к Лискам. Стекла будто пламенели под лучами солнца, медленно падающего в море. Казалось, вилла горела, подожженная изнутри. Я вспомнил рассказы литейщиков о бывшем владельце завода Кейворте, который улепетнул за границу, и решил, что не иначе, как это его вилла виднеется вдали. Достаточно лишь было сравнить ее с маленькими белыми мазанками, разбросанными по берегу моря, чтобы понять: там жил богач.

По мягкому песку я подошел к тихому морю и, зачерпнув руками чистой воды, умыл вспотевшее лицо и смочил волосы.

— Эй, молодой, иди сюда! — послышалось издалека.

«Не меня, наверное, — подумал я, не оборачиваясь. — Кто меня может знать тут?» И шагнул по направлению к Генуэзской. Но вдогонку понеслось:

— Василий Степанович! Товарищ Манджура!

От маленького домика ко мне быстро шел мой сосед по машинкам Лука Турунда. Он уже успел переодеться в светло-голубую, выжженную солнцем робу, простеганную белыми нитками.

— Загордился, право! — сказал Лука, подбегая. — Кричу, кричу, он хоть бы хны! Я увидел тебя еще, как ты к морю шел. Никак, думаю, топиться парень идет от притеснений Науменко.

— Здравствуйте! Отчего ж мне топиться?

— Давай зайдем до меня в хату! — предложил Турунда.

Я ответил неуверенно:

— Мне в город нужно. Может, в другой раз?

— А я тебя не на свадьбу зову. Посидим маленько и тронемся вместе.

Домик Турунды был расположен на самом берегу. Проходя во двор, я спросил:

— Не заливает волнами, когда шторм?

— Случается. Прошлой осенью майстра задул, и такие волны пошли, что стекло выбило водою. Моя жинка даже кур на чердак переселила, чтобы море не украло.

В горнице с низким потолком было прохладно. Все окна, кроме одного, распахнуты настежь, были завешены кисеей от мух. На подоконниках стояли горшки с геранью и фикусами и бутыли с вишневой настойкой.

— Знакомьтесь! — предложил Лука. — Вот мой папаша, а это жинка. Перед вами Василий Степанович. Он прибыл к нам на пополнение литейного цеха... Откуда ты прибыл, Василь?

— Из Подолии, — сказал я, здороваясь с отцом Луки и с женой. — Но я ведь не Степанович, а Миронович...

— Правда? — Лука удивился. — Значит, я тебя с напарником спутал: он у нас Степанович. Сидай вот сюда, под окошечко: нет-нет да с моря низовкой потянет.

Я протиснулся под окно и сел за хорошо вымытый сосновый стол. Отец Луки, черный от солнца и такой же сухопарый, как его сын, присел напротив, а жена Турунды, симпатичная женщина лет двадцати пяти, захлопотала у печи, которую было видно через сени. Смуглая, крепко сбитая, с косами, уложенными в корону, она неслышно пробегала по кухне, то показываясь перед печью, то пропадая за простенком.

— А мы тут разговариваем с батькой на одну тему житейскую, — сказал Лука. — Ты ведь знаешь, что третий месяц один процент нашего заработка отчисляется на бастующих английских рабочих. А мои домашние, как принесу я домой книжку расчетную, шумят: «Опять эти «А. Р.»! Что они, родня тебе? Лучше бы вместо тех отчислений платье жинке купил».

— При чем здесь платье! — перебил сына старый Турунда, показывая желтые от табака редкие зубы. — А они, эти «А. Р.», помогали нам в девятьсот пятом, когда «Потемкин» красный флаг выбросил? Напротив! Старый Кейворт сотню казаков из Мелитополя вызвал забастовщиков усмирять. Помог, думаешь, тогда нам кто-нибудь из-за границы? Черта с два! Целое лето

одной тюлькой пробавлялись. А с какой такой стати мы теперь ихним забастовщикам помогать должны?

— Потому что мы отечество всех трудящихся мира, — сказал я осторожно, чтобы не разозлить ворчливого старика. — У нас Советская власть, а у них еще ее нет... У них капиталисты на шее сидят.

— То не ответ, — буркнул старик. — Ты под корень гляди, а политику мне разводить нечего!

Слова Турунды задели меня за живое. Вспомнились наши собрания в фабзавуче на международные темы, и так же запальчиво, как там, я сказал:

— Почему «не ответ»? Ясно, что мы в лучшем положении, чем те английские горняки, что ради наживы всяких капиталистов угольную пыль глотают.

— А мало мы той пыли при царизме наглотались, чтобы буржуй заморский вон в тех хоромах жил да на собственной яхте по морю раскатывал? — старик показал крючковатым пальцем в сторону виллы, которую я разглядывал с берега. — Ему пикники на свежем воздухе были нужны, а нам один кабак оставался на потеху, да и тот в долг.

— И не берись даже моего старого переспорить. Все равно что митрополит Введенский! Ты ему свое, а он тебе свое. Наперекор. Я тоже толкую ему: поскольку мы рабочая власть, значит, всякому рабочему, который нуждается, подсоблять должны в беде, — сказал Лука.

Неслышно ступая по глиняному полу босыми загорелыми ногами, в горницу вошла жена молодого Турунды. В руках у нее задымленный противень. Она поставила его тихонько на две деревянные подставочки, и я увидел на дне противня четыре жирные рыбины. В нос ударил сильный запах чеснока.

— Едал когда-нибудь такое? — спросил Лука.

Я отрицательно покачал головой.

— Чебак по-рыбачьи! — заявил Лука. — Утреннего улова. Батька его ущучил, а мы сейчас отведаем. — И, поддев вилкой тяжелую рыбину, он положил ее передо мною на тарелку.

Тут я заметил, что даже чешуя не счищена с чебаков. От жара духовки блестящие чешуйки взъерошились так, будто кто-то причесывал рыб «против шерсти».

Довольно скоро, снимая, по примеру хозяина, ко-

жу с чебака, я угадал немудреный способ приготовления этого вкусного блюда. Перед тем как бросить рыбины на противень и отправить в жар духовки, их нашпиговывают дольками чеснока. Рыбы пекутся целиком, в собственном жиру.

— Но ведь рыбка посуху не ходит! Верно, Василь? — подмигнув мне, сказал Лука и достал из темного угла тяжелый кувшин с вином.

Он налил в стакан бледно-желтое, удивительно чистое вино.

— Хватит! Хватит! — остановил я Луку, когда была налита половина моего стакана.

— Чего испугался? — Лука поднял на меня быстрые глаза. — Думаешь, крепкое? Да это «березка». Слабенькое. Его у нас малые детки заместо воды пьют.

— Все равно будет. Я непривычный.

— Привыкать надо, — заметил отец Луки. — У Азовского моря жить — «березку» пить!

— Ну, за твою удачу, Василь. Чтобы ты стал хорошим литейщиком. Пусть фартит тебе в молодой жизни! — сказал Лука, и мы чокнулись стаканами.

Подняла свой стакан и жена его, поправляя полной рукой уложенные короной иссиня-черные тяжелые косы.

От взгляда ее глубоких, темных, как маслины, добрых глаз повеяло большим радушием. Показалось, что я уже давно знаком с милыми хозяевами этой хатки, выросшей на песчаном приазовском берегу.

Вино было холодное, ароматное, чуть кисловатое, со слабой горчинкой. Оно и в самом деле не было крепким.

Я отставил пустой стакан и мимоходом глянул на часы-ходики, висящие на стене, у печки. Лука перехватил мой взгляд и сказал успокоительно:

— Не бойся, молодой, мне ведь тоже в университет идти.

— В какой университет? — удивился я.

— Он студент у меня, — ответила за Турунду его жена и, поглядывая на Луку очень ласково, положила ему на плечо смуглую руку.

— С прошлого года. Вечерами! — сказал Лука. — Поженились мы с Катей, я и подумал: надо учиться. Хватит время свободное попусту переводить. Поступил

на подготовительные курсы, припомнил все, чему еще в приходской школе учили, алгебру одолел, а тут открывается вечерний рабочий университет. Ну как не воспользоваться!

— И доволен? — спросил я, чувствуя, как от этого слабенького вина тепло растекается по телу.

Лука весело вскинул голову:

— И не спрашивай даже! До этого что было? Пошабашил, приоделся — и на проспект. А с проспекта куда? В «Родимую сторонку», к Челидзе. Идешь после него домой сонный, ноги вензеля пишут. Иной раз так раскачает, что в кепке да в сапогах на койку бухнешься. Не успел глаза прикрыть, уж гудок заливается. А с похмелья работа какая? Ползаешь, что та муха осенняя по стеклу, а напарник тебя ругает на чем свет стоит, потому что и его задерживаешь. Спасибо Ивану Федоровичу, что он университет открыть придумал.

— Директор?

— Он самый. Смекнул, что в городе учителей всяких много — и по химии и по астрономии, — созвал их к себе и говорит: «Давайте, милые, по вечерам рабочий класс учить, деньги я для вас найду!» Сказано — сделано. И завертелась карусель. И вот с той поры, как начал я тот университет посещать, вроде как другим человеком стал. Вагранка гудит вдали, а я тем часом формулы припоминаю, что учитель разъяснял, и соображаю, что к чему, отчего чугун плавится, как из него сталь получить и при какой именно температуре... И получается так, что вместо этого маленького окошечка смотришь на жизнь из большущего окна.

— А на занятия сегодня опоздаешь, — очень мягко вполголоса сказала жена.

— Я? Ничего подобного! — спохватился Лука и, подбежав к этажерке, принялся собирать книги.

— Заходите до нас запросто, — сказала Катерина, прощаясь. — А задумаете в море пойти — старый вас на рыбалку возьмет.

Я поблагодарил хозяев хатки за угощение и сказал, что в следующий раз приду к ним уже с хлопцами. Вместе с Лукой мы пошли Генуэзской улицей к проспекту.

— Кусачий мой батька, правда? Ему пальца в рот

не клади! Тоже до революции в литейной на ковком чугуне работал.

— Отчего же сейчас не возвращается?

— Да в гражданскую, как завод остановился, он рыбачить начал. Рыскалистым рыбаком стал. И однажды, на исходе зимы, ушел он в море со своей ватагой на подледный лов за красной рыбой. Ветер все с запада дул, а потом вдруг возьми да и сорвись ночью левант. Лед зашевелился, крошиться стал, и понесло его в открытое море. Вынесло моего батьку тем левантом аж на кубанскую сторону. Половина ватаги погибла, а они чудом по мелководью вброд выбрались, почитай уже с самого крошева. А вода была студеная, проняла она батькины ноги до самого костного мозга. Сейчас, как перемена погоды, папаша не игрок. Добро еще — курорт близко. Жинка ездит туда да и в цибарках вонючую грязь, лиманную, ему привозит. Нагреет ее на плите, посадит старика в корыто и давай его той грязью лечебной исцелять. Боль утихнет, и опять батька сети свои в баркас — и гайда в море. Либо за рыбцом, либо за пузанком, либо за таранью. Рыбы в этой луже пропасть! — И Лука кивнул в сторону моря.

— Послушай, Лука, а кто на том курорте лечится?

— Отовсюду люди приезжают. Вот, скажем, жил бы ты еще на своем Подоле или дальше. Пробуждаешься ночью и слышишь — ноги ломит, спасу нет. Бегом в поликлинику. Делает доктор тебе ощупывание: так, мол, и так, самая что ни на есть острая форма ревматизма. Ну, а страхкасса тебе путевку бесплатную — и ты здесь...

«А может, все-таки я Вуковича встретил на проспекте? — подумал я, оставшись один. — Схватил он ревматизм на границе. Направили его на курорт, переоделся он в штатское и не захотел признаваться?..» Но тут же отогнал эту несуразную мысль.

«НУ ЛАДНО, МАДАМ!»

Уже издалека было видно, что около заведения Рогаль-Пионтковской толпится молодежь. Одни из них лениво щелкали семечки, поглядывая на тех счастливцев, которые без всякого колебания заходили в откры-

тые двери прихожей. Другие, более нетерпеливые, отступали подальше, к палисаднику, и, приподымаясь на цыпочки, норовили заглянуть через высокие окна в глубь зала, откуда доносилась музыка, смешанная с шарканьем ног танцующих.

Оставив у билетерши в клетчатом платье целый полтинник, я вошел в продолговатый зал с потрескавшимися колоннами из папье-маше.

Сразу повеяло духотой, кисло-сладкими запахами пудры и дешевых духов.

Несколько пар с окаменелыми туловищами расхаживали то взад, то вперед посредине зала в каком-то непонятном танце-марше. Позже я узнал его название: «фокстрот».

Кавалеры с важными и вместе с тем ничего не выражающими лицами, то приподымаясь на носки и наступая, то отходя на два шага назад, колесили по залу, водя разморенных жарою девушек. Видно было, они очень гордятся, что могут ходить так, соблюдая этот однообразный ритм и проделывая два-три незатейливых движения перед глазами отдыхающих танцоров либо зевак, которые, подобно мне, пришли поглазеть на это диковинное зрелище. Хозяйки танцкласса еще не было, и я с нетерпением ждал ее появления.

Глядел я, как развлекаются посетители салона Рогаль-Пионтковской, и невольно вспомнились мне совсем иные танцевальные вечера в совпартшколе нашего города.

Музыканты-курсанты располагались там на дощатой сцене, и медь оркестра сотрясала высокий мраморный зал, переделанный в клуб из бывшей церкви женского епархиального училища. Было так весело и людно, что казалось, не замазанные еще святые радуются этой громкой музыке и сам бог Саваоф, стоящий в сандалиях на босу ногу над лозунгом «Мир хижинам, война дворцам!», тоже готов пуститься в пляс вместе со своими крылатыми архистратигами и пророком Моисеем. Курсанты в голубых буденовках и девчата из предместий города танцевали самую настоящую мазурку, и никто, конечно, не обращал особого внимания, что кавалеры пляшут в залатанных сапогах со стоптанными каблуками, а на ногах у дам иной раз можно было увидеть простые деревяшки.

Быстрые венгерки чередовались с плавными и легкими вальсами — от «Души полка» до чудесного вальса «Дунайские волны». Веселые краковяки приходили на смену падеспани, а уж если лектор природоведения Бойко просил музыкантов сыграть его любимую «Китайскую польку» с приседаниями да иными выкрутасами, не было в клубе человека, который бы не пристроился к цепочке танцующих.

И я ходил в тот пляс! И я приседал на корточки, а потом проносился через весь зал, помахивая то вправо, то влево поднятыми указательными пальцами.

Однажды в паре со мной очутился пожилой повар Махтеич. Он пришел справиться у дежурного по школе, когда давать звонок на ужин, а лектор Бойко завлек его в пляс. Под звон литавр мы кружились с Махтеичем по залу, едва не налетая на сцену, пылающую от медных труб музыкантов, и я слышал, как пахнет от моей «дамы» гречневой кашей, жареными шкварками, луком, и почти наверняка мог догадаться, какой ужин приготовлен для курсантов.

Много потехи и непринужденного молодого веселья было на тех забытых уже курсантских вечерах. Дружные и неприхотливые, они придавали бодрости. Там молодость выплескивалась через край. Там чувствовался боевой, смелый коллектив людей, которые решили запросто отдохнуть и повеселиться.

«А здесь что? Разве это танцы? Стучат ногами на одном месте, как истуканы! И никому нет ровно никакого дела до соседа. И всяк прельщен мыслью, что он танцует лучше всех. А танца-то и нет!»

И я громко рассмеялся при этой мысли. Один из танцоров — желтолицый, с остренькими черными усиками — угрожающе покосился в мою сторону, видно, решив, что это я над ним насмехаюсь.

— Соседушка, мой свет, да вы ли это? Ах, какой прогресс! — раздалось рядом.

Оборачиваюсь, вижу — Анжелика. Стоит около меня в зелененьком платье с белыми горошками и показывает в улыбке оба ряда ровных зубов. Делать нечего, я протянул ей руку и сказал:

— Добрый вечер!

— Вы танцуете? Вот не думала! Такой тихоня...

— Просто поглядеть пришел, — буркнул я, оглядываясь, нет ли еще поблизости других знакомых.

— Бросьте, бросьте! — погрозила мне пальчиком Анжелика. — Меня вы не обманете... А вот и мадам Рогаль-Пионтковская. Она заменит тапера, и это прекрасно! — И, подымаясь на носки, чтобы стать более заметной, сложив ладони ковшиком у рта, Лика, как в рупор, крикнула: — Глафира Павловна, чарльстон попросим!

Дородная седая старуха в черном платье, с удивительно румяными щеками оглянулась на этот возглас. Ее лицо расплылось в довольной и многообещающей улыбке. Нет, она решительно ничем не напоминала сухопарую графиню с Заречья! Скорее эта мадам была похожа на владелицу мясной лавки или колбасной.

— А тот, маленький, вероятно, муженек вашей мадам? — спросил я тихо Лику, показывая на тапера.

— Что вы? — возмутилась Лика. — Ее муж был инженером и погиб под Уманью от шальной пули. Умань — это где-то в ваших краях, не правда ли?

— Куда там! До Умани нам еще сутки езды поездом! — воскликнул я и про себя отметил, что рассказ Головацкого и слова Лики частично совпадают.

Маленький тапер в длинном замусоленном пиджаке с фалдами до коленей, похожий на сверчка, ставшего на задние лапы, угодливо придвинул Рогаль-Пионтковской кругленький вращающийся стульчик. Мадам подобрала юбки и села. Стульчик сразу же перекосился под тяжестью ее грузного тела. Приподняв над клавиатурой пухлые пальцы в сверкающих перстнях, хозяйка задумалась.

— Вы чарльстоните? — шепнула мне Анжелика.

— Что?

Громкие звуки нового танца прогрохотали в зале: мадам без сожаления принялась разбивать свой рояль.

— Пойдемте, это чарльстон! — сказала Лика.

— Да я не умею!

— Чепуха! Очень легкий танец. Смотрите на мои ноги — и быстро научитесь! — Лика вытащила меня на середину зала и сразу положила свою ладошку мне на плечо.

Вокруг уже танцевали, оттопыривая туловища, ка-

кие-то пары. Пестрые платья девушек, пролетая мимо, рябили в глазах.

Я внимательно смотрел вниз, где трясла длинными загорелыми ногами моя соседка. Казалось, Анжелике надоели ее ноги и она хочет отбросить их в сторону. Ноги ее двигались, как на шарнирах: бросит ногу в сторону, помашет ею и снова наступает на меня.

«Не танец, а пляска святого Витта!» — подумал я, выворачивая ноги в коленках так, что кости захрустели. «Эх, была не была!» — решил я и, вспомнив курсантские вечера, с силой подхватил Анжелику и закружил ее. Она смотрела на меня изумленно остановившимися и немного злыми глазами. Но только хотел я сделать крутой поворот, как правая нога моя наступила с ходу на что-то мягкое, ускользающее.

Я пошатнулся назад и со всего размаха ударил локтем в спину Рогаль-Пионтковскую.

Мелодия чарльстона на мгновение оборвалась. В наступившей тишине я услышал не очень громкое, но ожегшее меня короткое слово:

— Хам!

Отлетая как можно скорее от рояля, я увидел перекошенное злобой нарумяненное лицо хозяйки танцкласса. Вне всякого сомнения, это она пальнула в меня обидным словом. Но злость на ее лице гостила недолго: Рогаль-Пионтковская мигом заулыбалась и, словно желая наверстать потерянное время, забарабанила по клавишам еще громче. Возможно, Анжелика не слышала этого оскорбления, отпущенного по моему адресу, а может быть, просто сделала вид, что не слышит, — только я решительно рванул свою даму вправо, к струе свежего воздуха, бьющего из дверей, и вывел ее из зала.

— Экий вы, право, увалень! — сказала Лика не то шутя, не то презрительно. — Играют одно, а вы, совершенно игнорируя мелодию, пляшете какую-то «ойру». Да у вас вовсе нет слуха! Вам, сударь, Михайло Михайлович Топтыгин на ухо наступил. Вы совершенно не чувствуете ритма.

— Насчет Топтыгина не знаю, а что в такой жаре могут толкаться одни сумасшедшие — это факт!

— Они умеют чарльстонить, а вы нет. Так зачем же злиться? — сказала Лика примирительно.

— А разве не лучше в такой вечер к морю пойти, на лодке покататься?

И только сказал это, как мой взгляд остановился на яблочном огрызке, раздавленном на полу. Так вот, оказывается, из-за чего заработал я «хама»! «Ну ладно, мадам! Посмотрим еще, кто «хам». По полтиннику с танцора загребать можешь, старая карга, а порядка соблюдать не хочешь!»

— А вы на лодке любите кататься? — спросила Лика, размахивая надушенным платочком.

— А кто же не любит? — сказал я, не подозревая подвоха.

— Тогда знаете что? Убежим отсюда к морю! — И снова Анжелика схватила меня за руку.

Пяти шагов мы не прошли с нею по Генуэзской, как навстречу попался Зюзя.

— Куда же вы, Лика? — недовольно сказал франт, растопыривая руки.

— К морю с молодым человеком отправляемся! — капризным голосом бросила она. — Кстати, вы незнакомы?

— Тритузный! — буркнул франт и не глядя сунул мне свою лапу.

Я пожал ее без всякого удовольствия и назвался.

— Пардон, дорогуша! Меня Иван Федорович задержал. Меняйте гнев на милость и возвращайтесь. Сегодня танго «В лохмотьях сердце». Разучивать будем. Со словами...

Тут уж я не стерпел. Разряженный пижон абсолютно не хотел считаться с моим существованием!

— Давайте, Анжелика, скорее, а то позже комары нас на море заедят! — сказал я басом, и она пошла со мной.

В ДОМЕ ИНЖЕНЕРА

По обе стороны дощатого мостика болтались на приколе лодки. Лика нагнулась и щелкнула ключом, отмыкая замок на цепи.

— Прыгайте! — скомандовала она, подтягивая лодку к причалу.

Не раздумывая, я прыгнул. Как только подошвы

встретили решетчатое дно, проклятый тузик закачался так, что я едва не вылетел за борт.

— Возьмите круг, Лика! — донеслось сверху.

Это крикнул дежурный матрос Общества спасения на водах. Он стоял на мостике в одних трусах да в фуражке-капитанке с белым флажком на околыше. На мускулистой груди матроса висел на цепочке свисток.

— А для чего, Коля? — сказала Лика, отталкиваясь веслом от причала. — Я думаю, мой гидальго умеет плавать. Да в случае чего я и сама спасу его, без круга.

— Как знаете! — Матрос усмехнулся. — А если что, давайте полундру. — И он бросил круг обратно на причал.

Насупившись, прислушивался я к этому разговору. Моя соседка положительно во всем хочет показать свое превосходство надо мной! И в этой фразе, оброненной матросу, тоже звучал презрительный намек, что я не умею плавать и, как котенок, пойду ко дну, если она меня не подхватит.

Анжелика легко перебирала веслами, и берег постепенно уходил от нас. Причал казался отсюда уже совсем маленьким, как две спички, сложенные буквой «Т» и прилипшие к берегу.

— Пустите, я немного погребу!

— Рискните, — согласилась Анжелика, и мы переменились местами.

Багровый шар солнца, падающего куда-то левее, за Керчь, ослепил меня и окрасил удивительно спокойную воду бухты в ярко-кирпичный цвет. Я зарыл весла глубоко в воду и одним толчком подал лодку вперед. Она забрала вправо, но весло вырвало уключину. Еще немного — и уключина утонула бы в море.

— Я верю, Василь, что вы силач, но зачем же лодку ломать? Загребайте легко, как бы нехотя, от скуки. И тузик скорее пойдет.

И в самом деле, как только я уменьшил усилия и перестал зарывать лопасти весел глубоко в воду, лодка заскользила по поверхности бухты, как плоский камешек, пущенный с берега, оставляя за рулем нежный дрожащий след.

— Забирайте чуть-чуть левее. На волнорез!

— Вы туда хотите?

— А вы нет?
— Далеко же!
— Вы не знаете еще, что такое «далеко»! Если бы мы с вами на косу сейчас отправились, на ночь глядя, — другое дело. А волнорез — рукой подать.

Порт с полукруглыми пакгаузами остался уже позади.

И почти сразу же за сигнальным колоколом его последнего мола открылись высокие гранитные глыбы волнореза.

— Пожалуй, близко! — согласился я. — Версты две будет?
— Полторы.

Непривычный к веслам, всякий раз напрягаясь, я сжимал губы. Вид у меня, наверное, был неестественный. Теперь моя соседка, нисколько не смущаясь, разглядывала меня в упор с очень близкого расстояния.

— А знаете, Василь, у вас взгляд — как прикосновение. Как у лейтенанта Глана! — неожиданно сказала она.
— Это что еще за тип? — буркнул я.
— Это любимый герой одного скандинавского писателя. Лейтенант Глан скрывался от несчастной любви в лесу, жил в глухой избушке и, чтобы досадить любимой девушке, послал ей в подарок голову своей собаки...
— Дикарь какой-то! — бросил я. — Настоящий человек не будет от людей бегать.
— Не от людей, а от несчастной любви. Ему цивилизация надоела.
— Все равно! — сказал я, уже заранее возненавидев отшельника. — А скажите, какой взгляд у вашего Тритузного? Тоже «как прикосновение»?

Не улавливая иронии в моем вопросе, Анжелика с готовностью ответила:

— Взгляд обыкновенный, зато удар пушечный! Жаль, что вы не поспели на матч в Еникале. Вот была игра! Зюзя пробил с центра поля и повалил мячом вратаря. Наши болельщики прямо визжали от восторга.
— Подумаешь! — нарочито дерзко сказал я, налегая на весла. — Мы играли однажды с молодежной Бердичева, а Бобырь защищал ворота. Двух наших беков подковали, а на Сашу трое игроков летело, на открыто-

го вратаря! И вы думаете что? Пропустил Саша мяч?.. Задержал! Правда, пришлось мне одному вражескому инсайту по физиономии съездить за то, что ножку подставил. Судья остановил игру и выдал Бердичеву пенальти. С одиннадцати метров! И опять Саша мяч не пустил, а тот негодяй ушел с поля с побитой мордой!

— Ой, Василь, Василь, надо вам научиться хорошему тону... — назидательно сказала Лика. — Если бы вы знали, как меня шокируют эти ваши словечки! Юноша вы приятный, а выражаетесь подчас, как мужик неотесанный.

Прежде всего я не знал тогда, что означает мудреное слово «шокировать». Но даже не оброни она его, уже один ее холодно-поучительный тон взбесил меня. И я сказал дерзко:

— «Неотесанные» революцию делали, хорошо бы вам знать это!

Анжелика не нашлась, что ответить, или не захотела продолжать этот разговор.

Багровый венчик угасающего солнца выглядывал над поверхностью моря, окрашивая воду тревожным цветом пожара.

За нами море стало уже густо-черным и маслянистым. Оно неслышно вздыхало, отражая последние розовые блики заката и тень от волнореза, падающую к портовому молу.

Легко и небрежно поправляя волосы, Лика сказала:

— Бунация!

Я пожал в недоумении плечами, давая понять, что не понимаю этого слова...

— Бунация — вот такое спокойное состояние моря, как сейчас. Полный штиль. Больше всего я люблю море таким.

— Мне казалось, наоборот, что вы любите шторм. Вы тогда прыгнули с лесенки прямо в кипящее море.

— Я выросла у моря и не могу дня прожить, чтобы не купаться. Это вошло в привычку. Но больше всего на свете уважаю покой, тишину. И чтобы кошка мурлыкала рядом... Сидеть на качалке и гладить тихонечко кошку. А у нее в шерсти чуть-чуть потрескивает электричество... Что может быть еще лучше? Прелесть!

Слушать такое — и не возмутиться? Я сказал:

— Да это же мещанство! Вы еще не начинали жить, а уже вас тянет к покою.

— Ого-го! — Лика прищурилась. — Тихоня начинает показывать коготки. Очень любопытно! Я не знала, что вы такой спорщик. Мои поклонники слушают меня обычно без возражений.

«Однако какая наглость! Кто ей дал право меня к своим поклонникам причислять?»

— Нет, серьезно, Василь, грешна я: люблю потосковать наедине, забыться от мирской суеты, уйти в царство грез...

И Лика неожиданно пропела мягким, приятным голосом:

В сером домике на окраине,
В сером домике скука жила...

— Особенно зимой, — продолжала она, — когда день еще не ушел и борется с лиловыми сумерками, я люблю быть одна и разговаривать с тоской... Она выходит неслышно из-за портьеры, вся серая-серая, добрая, унылая фея с пепельными волосами, вот такого цвета, как море сейчас, и успокаивает меня...

«Бесится с жиру на отцовских харчах! Вот и мерещится ей всякое», — подумал я. Таких откровенных обывательниц мне еще вблизи не приходилось видеть.

— Для чего же вы, собственно говоря, живете?

— По инерции. Жду счастливого случая. Авось придет кто-либо сильный, возьмет меня за руку, и все сразу изменится.

— А сами? Без няньки?

— Не пробовала.

— А вы попробуйте.

— Ах, надоело!

— Какой же смысл коптить небо зря? Ждать сильного кого-то и ныть: «надоело», «надоело»...

Видно было, слова эти не на шутку задели Анжелику. Опять в глазах ее мелькнул злой огонек, как давеча, в салоне Рогаль-Пионтковской.

— А вы, сударь, для чего живете? Вас устраивает, что ли, однообразная работа в литейной?

— Однообразная? — возмутился я. — Напротив! Сегодня я формую одну деталь, завтра — другую. Из-под моих рук выходят тысячи новых деталей. Мне ра-

достно при мысли, что я тружусь для своего народа, никого не обманывая. Разве это не интересно? Я горжусь тем, что я рабочий, горжусь, вы понимаете? А насчет однообразия вы бросьте! Нет скучных занятий, есть скучные, безнадежные люди.

— Ну хорошо! Все узнали, со всем познакомились, а дальше что?

— Учиться!

— Трудно же учиться. Не успели пообедать и отдохнуть — и уже надо бежать на лекции.

— А кто за нас бегать будет? Ваша серая фея?

— Но есть другой выход. Хотите, я попрошу папу, и он переведет вас на легкую работу. В конторщики, скажем?

— Зачем мне это? Я в служащие не пойду!

— Смешной вы, право, Василь! Я вам добра желаю, а вы, как ежик, упрямитесь, иглы выпускаете.

— Пусть ваш Зюзя за легкую работу держится, а я не буду.

— Почему вы так сердиты на Зюзю? Безобидный, милый юноша...

— Юноша? Здоровый, как бугай, а к бумажкам прилип. Смотреть противно!

— Отчего вы так нетерпимы к людям, Василь? Такой злюка — ужас!

— А если эти люди не той дорогой идут, так что же — хвалить их должно? Как же мы будем мир перестраивать с такими людьми? — уже сердился я.

— Кто вас просит мир перестраивать? Пусть остается таким, как есть!

— Кто просит?.. Вы, может, довольны старым миром? Может, вам царь нравится или батька Махно?

Я думал, что Анжелика либо увильнет от прямого ответа, либо станет отнекиваться.

Но она сказала на редкость спокойно:

— Мой папа и при царе хорошо жил. Кейворт очень уважал папу. Сам говорил, что такого главного инженера поискать надо!

— А как рабочие жили?

— Не интересовалась... И вообще все это скучно... Посмотрите лучше, как быстро месяц поднялся!

Нежный свет месяца дробился на гладкой воде и пересекал ее от волнореза почти до самой косы, где

уже замигал маяк. Вода в бухте под лучами месяца серебрилась и чуть дрожала.

— Такую освещенную месяцем полоску называют «дорожкой к счастью», — сказала Анжелика. — Года два назад я поверила было в эту легенду, взяла лодку и поехала по этой дорожке в открытое море. До косы добралась, а тут как сорвался норд-ост, море пришло в волнение, одной назад было никак не добраться! Я вытащила лодку на отмель, перевернула ее, водорослей подстелила и так, под лодкой, одна переночевала. То-то страху натерпелась.

— Ну как не стыдно: страх от ветра! Нашли чего бояться! — И, сказав это, я невольно провел рукой по лбу.

Лика уловила мое движение и быстро сказала:

— Да, я все хотела спросить, что это за шрам у вас на лбу?

— А-а, так, пустяки!

— Расскажите.

— Царапина от гранатного осколка.

— От гранатного? А кто это вас?

Пришлось рассказать, как довелось мне, ночуя в совхозе на берегу Днестра, под стогом обмолоченной соломы, встретить банду, идущую из Румынии.

— Ах, как все это страшно и увлекательно! — сказала Лика. — Только политики я не люблю. — И она скривила губы. — Это скучно. А вот то, что вы сейчас рассказали, очень интересно.

— А без политики мир не перестроишь.

— Опять вы за свое, Василь! Такой несносный... Давайте поедем домой, а то переругаемся окончательно.

Только когда мы подчалили к мостикам, я почувствовал, что устал. Ладони болели от весел. У самой калитки дома я хотел было скоренько попрощаться и уйти, но Анжелика, пряча руки за спину, сказала:

— И не думайте даже... Сегодня вы должны целый вечер провести со мною. Идемте к нам. Я вас познакомлю с папой.

Отец Анжелики сидел в большой столовой за обеденным столом и раскладывал перед собой карты. Он был так увлечен, что даже не обернулся в нашу сторону.

— Папочка! А у нас гость! — крикнула Анжелика и тронула его за плечо.

Отец ее обернулся. Он швырнул на стол колоду карт и поднялся нам навстречу. Высокий, костистый, он едва не достигал макушкой тяжелой люстры. Меня сразу поразили густые-прегустые, сросшиеся на переносице мохнатые брови Андрыхевича и его ястребиный нос, опущенный крючком вниз.

— С кем имею честь? — сказал он, подавая мне морщинистую руку.

— Василий Манджура, — представился я.

— Это наш новый сосед, папочка. Я тебе говорила, что у Агнии Трофимовны поселились новые квартиранты. Это один из них. Прошу любить и жаловать. Заядлый спорщик!

— Приятно встречать молодых людей, обуреваемых жаждой спора. Своей культурой Древняя Греция обязана высокоразвитому искусству споров. В них рождались многие живые и поныне истины. — И, предлагая мне: — Садитесь, Василий... — инженер показал на стул.

— Миронович! — подсказал я, усаживаясь. И сразу же придвинулся поближе к массивному столу.

— А знаешь, что у нас на ужин сегодня, дочка? Раки! Представь себе, целое ведро раков мне Кузьма привез из Алексеевки! Я уже Дашу за пивом послал.

— Папа — страстный ракоед, —пояснила Лика. — Он часто договаривается с проводниками поездов, и те ему из-под самого Екатеринослава раков привозят.

Инженер посмотрел на меня пристально и сказал:

— Ты развлекай гостя, Лика, а я пойду варить этих зверей. — И ушел на кухню.

— Сейчас папа будет священнодействовать! Он их как-то особенно варит: с тмином, с лавровым листом, с петрушкой. Для него варка раков — особое удовольствие. Даже когда мама дома, и то он ей не доверяет этот процесс. Мама еще гостит у дяди в Гуляй-Поле. Как уехала на пасху, так и не возвращалась... Хотите, я вам покажу мое гнездышко? — тараторила Лика.

Назвался груздем — полезай в кузов. Зашел в этот дом — надо подчиняться желаниям хозяйки.

Мы вошли с Ликой в маленькую комнатку с окнами, выходящими в сад. Комнатка сплошь завешана персид-

скими коврами. На одном из ковров повешена иконка богоматери, и перед ней, свисая на медном угольничке, теплится лампадка граненого красного стекла. «Ого, религиозная к тому же!» — подумал я.

Анжелика повернула выключатель и зажгла верхний свет. В комнате стало очень светло. Полосы света, вырвавшись из двух окон в сад, выхватили из темноты кусок клумбы и посыпанную песочком дорожку, окаймленную битой черепицей.

— И здесь вы беседуете с вашими феями? — спросил я, усмехаясь.

— Да. Здесь я поверяю свои душевные тайны моей доброй серой принцессе, изучаю гороскопы великих людей... Кстати, Василь, в каком вы месяце родились?

Не подозревая подвоха, я сказал спокойно:

— В апреле. А что?

— А, в апреле? Под знаком Барана?

— Какого барана?.. — протянул я, не скрывая досады.

— Нечего обижаться! Баран — знак нахождения Солнца. Садитесь вот сюда и слушайте. Я прочту сейчас вам все, что касается вашей личности.

Она пошелестела страницами книги и, отбрасывая рукой длинные каштановые волосы, прочла:

— «Знак Барана дает всяческие способности, легкость учения, неустанную жажду действия и смелость, граничащую часто с безумием. Тип этот всегда готов сражаться не на жизнь, а на смерть за дело, которому себя посвятил, даже в загробном мире и на службе у вельзевула. Жаль только, что вследствие огромной импульсивности он поддается часто вещам, которым бы не следовало себя посвящать с такой энергией. Эта повышенная импульсивность и недостаток обдумывания делают его временами опрометчивым и толкают к бессмысленным действиям. Человек, рожденный в момент нахождения Солнца под знаком Барана, может проявлять наклонности к мученичеству, превращаясь в Баранчика Жертвенного...» Ну? — сказала Анжелика, переводя дыхание. — И это вы! Потрясающе, правда? Как на ладони показала вам самого себя. Ну, что вы скажете по этому поводу, а, Василь?

— Это все старорежимные суеверия...

— Ну почему суеверия, Василь? Как вам не стыд-

но! Послушайте, что дальше написано: «Баран дает наклонности к технике и промышленности. Он рождает людей для профессий, связанных с огнем и железом, развивает в людях организационные таланты и умение руководить своими близкими...» Скажите, разве это не про вас сказано и не про ваши идеалы?

— Под эти шаблонные пророчества можно всех людей подогнать, и будет правильно... И при чем здесь загробный мир?

— Да, но ведь не все люди родились в апреле. А еще смотрите, что здесь сказано: «Друзей следует искать среди лиц, рожденных между 24 июля и 24 августа, под знаком Льва». А вы знаете, что я родилась 25 июля? Значит, самим провидением мы уготованы один для другого.

«А может, это она так хитро и тонко улещает меня на женитьбу? — подумал я с опаской. — Только этого еще не хватало! Связываться с такой мамзелью, с ее коврами и феями! Бр-р-р! Пропал тогда человек! — Меня даже передернуло при этой шальной мысли. — Отколоситься не успеешь, а уж завянешь навсегда!»

— Почему вы молчите, а, Василь? Да не глядите на меня так ужасно, я могу в обморок упасть.

— Это все чепуха!.. Суеверия... бред, — проговорил я уверенно. — Люди, у которых ничего больше в этой жизни не остается, выдумывают себе какой-то другой мир.

— Почему же бред? Ох, нетерпимый вы! К моему папе приходят инженеры на спиритические сеансы. Они крутят в темноте такой маленький столик и вызывают духов. Им уже явился дух Наполеона, и даже Навуходоносор с ними разговаривал!

— Знаем мы эти фокусы! — сказал я и от души рассмеялся. — У нас в Подолии, поблизости от моего города, однажды «калиновское» чудо стряслось. Теткам померещилось, что из ран жестяного изображения Христа на придорожном столбе кровь течет. Отсталые, темные люди, как на ярмарку, повалили к тому кресту. И что вы думаете? Приехала комиссия, проверила и выяснила, что все это попы нарочно подстроили, чтобы народ мутить, против Советской власти его настраивать и деньгу при этом зашибать!

— Экий вы Фома неверующий! — сказала она с

раздражением. — Я не знаю ничего о вашем чуде, а вот голос Навуходоносора у нас все явственно слышали.

— Скажите, он случайно не передавал вам привета от дочки Рогаль-Пионтковской из Лондона? Как там, чарльстон в моде? — съязвил я.

В эту минуту на пороге «гнездышка» вырос Андрыхевич.

— Прошу! — сказал он и широко отбросил руку, давая нам дорогу.

Стол был накрыт. В тонких кувшинах, стоявших на скатерти с какими-то вензелями, пенилось темное пиво. Перед каждым прибором высились хрустальные бокалы на тоненьких ножках и лежали салфетки. Под боком у одного из кувшинов с пивом приютился маленький пузатый графинчик такого же красного граненого стекла, как и лампадка, что теплилась в комнате Лики. А посреди стола возвышалось полное блюдо пунцовых дымящихся раков с длинными, свисающими усами.

«Вот это раки, да! — подумал я, усаживаясь. — Не те коротышки, что ловили мы возле свечного завода. Такой как вцепится в икру — держись!»

— Пока эти звери остынут, предлагаю закусить осетриной! — сказал Андрыхевич, усаживаясь против меня.

Тут я заметил на другом блюде продолговатый пласт белой рыбины, залитый густым желтоватым соусом и обложенный дольками лимона.

Я пригвоздил рыбу вилкой и начал резать ножом. И вдруг заметил, что Андрыхевич с дочерью переглянулись. Видно, я сделал что-то непотребное. Анжелика быстренько приложила к губам палец, давая знать отцу, чтобы он мне ничего не говорил. Инженер лишь молча ухмыльнулся и бровями шевельнул. Разыгравшийся было после катания на лодке аппетит сразу увял. Я силился догадаться, какую именно допустил оплошность, и не мог.

— Водочки под осетрину, а, молодой человек? — предложил инженер, приподымая пузатенький графинчик с притертой пробкой.

— Спасибо! Водки не пью, — сказал я глухо и, чуя недоброе, отложил на скатерть вилку.

— Хвалю! — сказал Андрыхевич. — Водку с молодых лет пить вредно, ибо она яд! — И тут же, шевеля мохнатыми бровями, налил себе полную рюмку этого «яда» и проглотил ее одним махом.

Отдышавшись, инженер заметил мои колебания и посоветовал:

— Раков, молодой человек, берут руками. Бросьте нож и вилку и работайте смело, не стесняясь.

Эх, была не была! Я протянул руку и взял с блюда самого большого рака, но не успел положить его к себе на тарелку, как, откуда ни возьмись, появилась служанка Даша в кружевной наколочке и сменила мою тарелку на чистую. «Интересно, она в профсоюзе «Нарпит» состоит или они эксплуатируют ее тайно, без трудового договора?» — подумал я.

И вот огромный рак лежит передо мной, но как его полагается есть в «приличном обществе», я не знаю. То ли дело было лакомиться раками на лугу у свечного завода! Выхватишь, бывало, такого рака двумя прутиками из кипящего казанка и давай его ломать тут же, у костра, швыряя в огонь красную шелуху.

Андрыхевич ел с какой-то торжественностью, словно он действительно священнодействовал, как сказала Лика. Сразу было видно, что еда занимала далеко не последнее место в жизни этого барина.

— Раки — моя слабость! — сказал Андрыхевич, разгрызая клешню. — А в соединении с настоящим бархатным пивом они дают прекрасную вкусовую гамму. — И налил мне в бокал черного, как деготь, пива. — На какую же тему вы спорите с молодым человеком, дочка? — спросил он.

— Василь собирается мир перестроить, а я его отговариваю.

— Да что ты говоришь! Это интересно. Кто был ничем, тот станет всем? Из грязи да в князи? Так следует понимать означенную перестройку? — И Андрыхевич, прищурившись, глянул на меня.

— Да! — сказал я, отодвигая в сторону шейку рака и стараясь быть спокойным. — Ну, а вам хотелось бы, чтобы все было по-прежнему: сотня капиталистов наживается на труде миллионов... так, что ли?

— У того, кто стал всем, способностей не хватит и знаний кот наплакал.

— Напрасное беспокойство! Научимся. Будем бороться и учиться.

— Однако способности человеку от бога даются. Они врожденные и переходят из поколения в поколение! — уже сердился инженер.

— А вы думаете, у рабочего класса нет способностей?

Лика засмеялась и сказала:

— Я говорила тебе, папочка, — спорщик отчаянный. Чувство противоречия развито у нашего гостя удивительно сильно.

— Погоди, дочка! Это даже интересно. Итак, вы, сударь, спросили меня: есть ли способности у рабочего класса? Вне всякого сомнения! Не будь у русских мастеровых способностей, я бы избрал себе другую профессию. Ибо каков смысл работать инженером, когда нет способных исполнителей твоих замыслов! Но понимаете, какая штука: для того чтобы в рабочем классе развивались оригинальные, самобытные таланты, ему нужна техническая интеллигенция! А где вы ее возьмете?

— Как где? А сам рабочий класс? Класс, который революцию сделал?

— Бросьте-ка, юноша, эти сказочки! — сказал Андрыхевич с заметным раздражением. — Самое легкое — разрушить одним махом все то, что до вас создали поколения. А вот попробуйте-ка все это из развалин поднять, выстроить наново. Откуда вы возьмете образованных людей, которые смогут практически осуществить эти фантастические планы переустройства Таганрогского уезда и целого мира? Да еще когда все страны против вас!

— Строим и будем строить сами! Не побоимся! С таким руководителем, как наша партия, рабочему классу никакие трудности не страшны, — сказал я, воодушевляясь и запальчиво глядя на Андрыхевича.

— Сами? «Раз-два — взяли! Эх, зеленая, сама пойдет!» Да?

— Ничего, ничего, и без «Дубинушки» как-нибудь справимся, — чувствуя большую правду на своей стороне, ответил я инженеру. — И худо тогда придется тем, кто сегодня идет не с нами.

— На кого вы намекаете, молодой человек? — спросил Андрыхевич и зло посмотрел на меня.

— А чего мне намекать? Вы разве не знаете сами, что человек, идущий против всего народа, против его воли, рано или поздно будет выведен на чистую воду, разоблачен и вышвырнут за борт? Вы что думаете: рабочий класс потерпит, чтобы над ним издевались, не верили в его силы, а в то же самое время ели его хлеб? Нам приживальщиков не нужно. Нам нужны друзья. Вы вот сейчас подсмеиваетесь над тем, что мы делаем. А как всякие старорежимные интеллигенты вели себя, когда иностранцы убежали за границу? Думали, верно, все развалится? А сейчас поглядите — без этих заморских буржуев завод наш больше выпускает жаток, чем до войны. Разве это не факт? Факт! А сколько таких заводов в нашей стране! И сколько их будет еще построено со временем!

— Поживем — увидим... — буркнул многозначительно инженер.

И очень много недоверия, скрытой злобы, раздражения услышал я в этих сдержанных его словах.

РОЛИКИ

На всю жизнь запомнился мне этот разговор за широким столом, освещенным мягким светом свисающей с потолка тяжелой люстры. Как сегодня, я вижу перед собой пренебрежительный взгляд инженера Андрыхевича, прищур его раскосых глаз, слышу снисходительно-иронический его голос. Это не был снисходительный тон человека, старшего годами, более опытного, знающего во много раз больше своего собеседника. Будь это так — я, быть может, ушел бы с иным чувством, чем то, которое я унес, покидая поздно вечером их дом, заросший плющом и пахучими розами. Нет, совсем другое крылось в его пренебрежении ко мне! Со мной разговаривал барин, человек из того старого, отживающего мира, о котором так много говорил нам директор фабзавуча Полевой. Инженер издевался тихо, про себя, и над моей запальчивостью и над моей искренней верой в будущее. Он не разбрасывал слов на ветер, а выпускал их с тайным умыслом, скупо, обдуманно. Он не выкладывал все карты на стол, чтобы я не мог сказать ему прямо в глаза: «Эх ты, контра и при-

служник всяких эксплуататоров-кейвортов, давших тягу за границу! Уезжай и ты к ним побыстрее с этой земли, из страны, в людей которой ты не веришь!»

Нет, он разговаривал очень хитро и подчас, желая выведать, что я думаю, как бы совета у меня спрашивал. У меня-то! У фабзавучника, и месяца не проработавшего на заводе... старый, седой главный инженер.

Уже когда я покидал столовую, где багровели на блюде недоеденные раки, инженер, продолжая на ходу наш разговор, спросил меня:

— Где же, интересно, вы будете строить эти новые заводы?

— Всюду, где надо! — ответил я ему дерзко, вспоминая слова, оброненные некогда в беседе со мной секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины.

— Эх, молодой человек, горячи вы больно, погляжу я на вас! Заводы собираетесь строить, а рыбу ножом есть не отучились. С маленького начинать нужно. С малюсенького.

Долго ворочался я в ту ночь на колючем, жестком матраце, положенном у распахнутого окна. Ворочался под храп заснувших давно, еще до моего прихода, хлопцев, вспоминал обидные намеки костлявого инженера и особенно этот его укол насчет ножа, которым я разделал осетрину.

Как все было просто, хорошо и радушно у Луки Турунды, в его домике на самом берегу моря! И сам Лука, и его отец, и Катерина — такие искренне гостеприимные, настоящие люди!

Я заснул с теплым чувством благодарности к семье Турунды и окончательно возненавидел соседей в доме с плющом, сознавая отлично, что у них там гнездится то самое старое прошлое, хватающее нас за ноги, против которого предостерегали меня не раз и Полевой и Никита Коломеец.

А потом мне приснилась какая-то чертовщина...

Будто я во фраке с фалдами, как у того тапера, танцую чарльстон. Без устали танцую, дрыгаю руками и ногами, словно тот нищий, пораженный пляской святого Витта, что стоял у нас в городе под кафедральным костелом и всегда выманивал деньги. Танцую и сам смотрю на себя в зеркало. И вижу, как лицо мое меняется.

Оно становится морщинистым и злым и постепенно обрастает седой бородой и густыми бровями. А я все танцую, танцую и делаюсь худым, как палка. Здоровенные пунцовые раки ползут ко мне отовсюду по грязному паркету и шипят на меня, раскрывая клешни: «Хам! Хам! Чумазый хам! Куда ты залез? Из грязи да в князи? Вон отсюда!» И вот тут около колонны возникают совсем еще молодые Бобырь и Петрусь. Они перешептываются и смотрят на меня с презрением. И я слышу шепот Бобыря: «Ты видишь, Петро? Вот он! Протанцевал всю свою жизнь — и ничему не научился!»

Обливаясь холодным потом, я зашевелил губами, чтобы сказать им слова оправдания, но мой голос заглушило шипенье. Проклятые раки опять затараторили свое, да так громко, что хочется зажать уши...

Я переворачиваюсь на другой бок — и просыпаюсь.

Около меня трещит будильник.

Хотя в окно смотрит еще желтая молодая луна, пора вставать. Литейная начинает работать куда раньше остальных цехов.

«Приснится же такая чушь! — думаю я и осторожно переступаю через спящих хлопцев. — Надо не забыть снова завести будильник, чтобы и они не проспали...»

Кому доводилось жить подолгу в приморских городах, тот знает, что они прекрасны в любую пору.

Чудесные тихие, безоблачные закаты, когда порозовевшее солнце не спеша опускается в море. И не менее прелестны такие же минуты прощания с гаснущим где-то на небе, за облаками, солнцем, когда море грохочет и налетает громадными водяными валами на парапеты набережной, забрасывая солеными брызгами пролегающие рядом железнодорожные пути. Бора приносит из степи песчаную пыль, пахнущую полынью и богородицыной травкой, срывает фуражки с голов, крутит смерчи над путевой насыпью, гонит по улицам клочки бумаги, сухие водоросли, кизяк. Даже в узеньких канавках, вырытых далеко от моря, под Кобазовой горой, в такие дни, когда дует бора или норд-ост, глинистая, желтоватая водица с утра до вечера подернута рябью и волнуется, как на широких морских просторах. И все-таки в дья-

вольском шуме бушующего моря, которое гремит не только у берегов, но и посылает свой грохот на самые отдаленные улицы, город, продуваемый борой, прекрасен. Приютившийся на мысу под горой, он похож на корабль, который вот-вот оторвется от материка и вместе со своими жителями, зданиями, базаром и Лисовской церковью отплывет, преследуемый норд-остом, в дальнее опасное плавание по вспененным волнам. И далекий протяжно-заунывный вой сирены на маяке при такой мысли воспринимается как последний сигнал отхода в трудный, но такой заманчивый рейс!

Но особенно запомнился мне новый в моей жизни город на приазовском берегу в летние предутренние часы.

Три часа утра. Пробили склянки в порту, и их мелодичный звон поплыл над всеми улицами и затих лишь где-то на горе, около кладбища. Тихо скрипнула под рукой калитка. Закрываю ее снова на щеколду, а сам бреду некоторое время по жестким путям над морем.

Черное-черное море, лишь у самого порта изборожденное отблесками желтых сигнальных огней, покорно улеглось в берегах бухты. Оно тоже спит, изредка тихо вздыхая нежно шуршащими волнами.

Хорошо раствориться в удивительной предрассветной тишине досыпающих улиц! Еще ни одного огонька не видно в окнах. Уличные фонари горят лишь на главных перекрестках, бросая с высоты пятна желтого света на мостовую. Вокруг стеклянных колпаков фонарей вьются тучи белых, серых и кремовых мотыльков. Они шелестят шелковистыми крылышками там, вверху, будто упрямо хотят разбиться о горячее стекло.

Ты проходишь один за другим безлюдные перекрестки, ныряешь в мрак ровненьких кварталов, сливаешься со шпалерами молодых акаций и потихоньку освобождаешься от остатков сна.

Сонный вахтер в проходной кивает головой, глянув издали на пропуск. Хорошо слышно, как зазвенела на самом дне зеленого ящика опущенная туда рабочая марка. Она возвратится из зеленого ящика в литейную лишь с восходом солнца, после всех заводских гудков. Цеховой табельщик повесит ее на гвоздик в ящике, затянутом проволочной сеткой. И всякий раз, пробегая к камельку, видя ее — медную, блестящую, с цифрой

«536», — ты будешь с удовольствием думать: «Еще день прожит честно. Без опоздания и прогула!»

Больше всего меня мучила в первые недели работы на заводе боязнь опоздать. И совсем не потому, что за этим следовали взыскания, снижение заработка, выговор от мастера. Просто стыдно было даже представить себе, как идешь ты, опоздавший, гудящим цехом и все с усмешкой глядят на тебя. Люди уже давно работают, за машинками стоят заформованные опоки, их уже можно заливать. Литейщики, пришедшие на работу вовремя, глазеют на тебя и думают: «Вот соня, когда притащился в цех! Рабочий класс давно уже делом занят, а он отсыпается на своих перинах, лодырь окаянный!»

Даже представить было трудно, как это я, опоздав, появлюсь перед своим напарником Науменко и как ни в чем не бывало скажу ему: «Привет, привет, дядя Вася!» Какую совесть надо иметь, чтобы опоздать, а потом делить поровну со своим напарником его заработок!

А возможно еще и другое. Уронил ты в пустой уже ящик марку, гонишь к цеху заводским двором, и тут тебе навстречу директор Иван Федорович. «Здравствуй, Манджура! — говорит он тебе. — А куда это ты так торопишься? И почему ты здесь, когда все твои товарищи давно в цехе, формуют детали, своим трудом крепят смычку рабочего класса и крестьянства?» И что я скажу тогда директору в ответ? Опоздал, мол, Иван Федорович. Скажу это после того, как Руденко взял с нас слово честно относиться к своим обязанностям?..

Вот почему, как только сменный мастер Федорко предупредил меня: «В летнее время начинаем не по гудку, а с четырех», — даже мурашки по коже пробежали. «Смогу ли я вставать в такую рань? Не опоздаю ли?»

Но все сомнения заглушал разумный довод: «Как же иначе? Прикажи литейщикам начинать работу вместе со всеми, по гудку, — значит, заливка будет начинаться около полудня. Солнце уже в зените, и полуденный зной, соединяясь с жаром, идущим от расплавленного чугуна, превратит литейную в ад кромешный. Нет, это очень правильно, что директор Руденко, пока крыша над литейной не поднята, распорядился выделить наш цех в особый график».

Обычно мне удавалось приходить в литейную одним из первых. Сегодня же я услышал подле вагранки, в

полумраке цеха, голоса нескольких рабочих. Да и мой напарник уже явился. Под нашими машинами пламенели хвостики остывающих плиток. Заранее подсунутые Науменко в пазы под моделями, они отдавали свое тепло остывшему за ночь баббиту.

От соленых инженерских раков и его бархатного пива меня мучила жажда. Я напился холодной воды прямо из-под крана и пошел за лопатами. Мы оставляли их в тайнике, под основанием мартеновской печи, которую не успел достроить заводчик Кейворт.

Согнувшись, вошел я в сводчатый тоннель под мартеновской печью и нащупал там две наканифоленные лопаты. В темноте сверкнул зелеными глазами и метнулся в сторону обитатель этих подземелий — старый котище. Их жило здесь несколько, одичалых заводских котов. Они скрывались на день и выползали на простор литейной лишь к вечеру, когда чугун остывал в формах и не было риска обжечь на окалине нежные кошачьи лапки. Чем питались они в нашем горячем цехе, я понять не мог. Ведь крысам и мышам делать здесь было нечего. Может быть, объедками от завтраков рабочих?

Приятно шагать по мягкому песочку цеха на рассвете с двумя лопатами на плечах, чувствуя силу, бодрость и желание в любую минуту приняться за формовку!

Рабочие, голоса которых я услышал издали, собрались около машинок Кашкета и Тиктора. Стоял там Артем Гладышев, задержался с клещами в руках и мой Науменко.

— Вот наработали, биндюжники!

— Ты биндюжников не обижай! Хороший биндюжник до такого позора не допустит!

— И на того хлопца молодого валить нечего. Каков учитель, таков и ученик!

— Кашкету денег на похмелку не хватало... Орал все: «Давай! Давай!» Вот и «надавался»!..

Все эти отрывочные фразы долетели до меня еще по пути. Сперва я не понимал, что случилось. Однако стоило глянуть вверх, на груду пустых опок, как все стало понятным.

На одной из опок мелом было написано: «115—605». Эта цифра обозначала итог предыдущего дня. После приемки литья такие надписи делали на опоках браковщики. Выходило сейчас, что всего сто пятнадцать хоро-

ших деталей заформовали Кашкет с Яшкой. Остальные пошли в брак.

Позади себя я услышал тяжелое дыхание и знакомый голос:

— Радуешься?

Оглянулся, вижу — Тиктор. Воротник его расстегнут. Чуб распустился.

— Я не такой себялюб, как ты, — сказал я очень тихо. — Мне чужие неудачи радости не доставляют. Обидно только, что столько чугуна пошло насмарку!

— Ну ладно, давай сматывайся отсюда! Стыдить меня нечего. Сами с усами!

Посмотрел я в злые, с кошачьей прозеленью глаза Яшки и понял, что у этого человека совести осталось очень немного. И сказал ему сквозь зубы:

— Продолжаешь свою шарманку, Яшка?

...Самое золотое времечко — эти предрассветные часы в прохладе наступающего утра, пока руки не устали и капли пота не блестят на запыленном лбу. Электричество погасили, и сквозь стеклянную крышу в цех пробивается дневной свет.

Работа в этот день у нас с Науменко шла хорошо. За плечами появились три ряда опок с «колбасками». Видя, что Науменко остановился на перекур, я спросил:

— Откуда взялся такой громадный брак у них? А, дядя Вася? Прямо-таки странно!

— Ничего странного, — поворачиваясь на мой голос и ставя ногу на ящик с составом, сказал Науменко. — Всякая машинка и модель свою душу имеют, подобно человеку. Одна модель — капризная, нежного обхождения требует, у другой характер потверже, и она никаких набоек не боится. Все это сердцем чувствовать нужно. К одной модели подходи осторожненько, с подогревом да с присыпочкой, расколачивай ее тихонечко. А другую набивай наотмашь.

— Но машинки-то одинаковые?

— Да ничего подобного! Здесь все должно быть механизировано: и набивка, и трамбовка с помощью сжатого воздуха. Так и было вначале, как только эти машинки установили. А как Советская власть в свои руки заводы начала забирать, хозяева прежние, заморские,

принялись все под откос пускать. Чертежи уворовали, компрессоры испортили, части из-под них либо в землю позарывали, либо в море побросали. Ночами шныряли тут с фонариками иностранные техники да приказчики и свое грязное дело творили.

— А где же Андрыхевич был? Чего же он смотрел?

Попыхивая цигаркой, Науменко сказал мне:

— Кто его знает! Может, бычков с волнореза ловил, а может, сам с теми хозяйчиками виску ихнюю пил. Жил себе в полное удовольствие, с примочечкой, и заботы ему было мало, что эти буржуи здесь колобродят...

— Дядя Вася, а раньше подогревали машинки тоже так? Плитками? — спросил я, поглаживая свою остывающую модель. — Неудобство большое!

Науменко глянул на меня, недоумевая:

— Экося! Почему неудобство?

— Ну как же! Взял разгон, поставил несколько опок — и плита уже остыла. Беги через весь цех до того камелька...

— Ишь ты, барчук! Бегать, значит, тебе лень? А может, конку тебе до камельков проложить? Вся работа в литейной на том и построена, чтобы не сидеть, а бегать. А хочешь спокоя — в конторщики нанимайся.

Слова Науменко обидели меня крепко, но вступать с ним в спор не хотелось. Чтобы не задерживать формовку, я схватил клещи и побежал «на Сахалин» — к камелькам.

Мчался литейной и думал: «А все-таки, дядя Вася, не прав ты! Разве это дело — такие концы бегать? Где рационализация? Сложить все расстояния до камельков и обратно — полдороги до Мариуполя будет!»

Не успели мы набить сто первую опоку, к машинкам подошел мастер Федорко и спросил:

— Шабашить скоро собираешься, Науменко?

— А что такое, Алексей Григорьевич?

— Перестановочку сделаем.

Дядя Вася и формовать бросил. Не скрывая досады, он протянул:

— Какую?

— Ролики тебе ставлю.

— Ролики? Да смилуйтесь, Алексей Григорьевич! Оставьте нам «колбаски». Подладились только-только, а вы уже снимаете!

— Надо, Науменко! — строго сказал Федорко. — «Колбасками» вашими уже весь склад полуфабрикатов забит. А роликов там с гулькин нос. Я поставил было тех башибузуков, а они, видел сам, напороли браку столько, что и двумя платформами не вывезешь. Еще день такого художества — и слесарно-сборочный в простое. Можно ли рисковать?

— Я-то понимаю, что рисковать нельзя, — сказал дядя Вася, — но...

— Не нокай, цветик Василек! — крикнул из-за машины Гладышев. — Менка славная. Для твоих «колбасок» полвагранки чугуна перетащить нужно, а ролики хоп-хоп — и залил моментом.

...Запасные плиты из ремонтно-инструментального притащили чернорабочие. Притащили и бросили прямо в сухой песок, на место, освободившееся от пустых опок, которые почти все уже пошли у нас в дело. Пробегая на плац, чтобы ставить нижние половинки формы, я нет-нет да и поглядывал на новую модель. Она казалась очень простенькой. Над гладкой баббитовой плитой было припаяно шесть таких же роликов, как и те, что ведут четыре крыла жатки по железному маслянистому скату от падения к подъему. Над каждым из роликов, торчащих над модельной плитой, возвышался отросточек для стержня. А верх был и того проще: шесть маленьких наперсточков — гнезд для шишек и будто прожилки на листке клена — канавки, расползающиеся в стороны, для заливки каждого ролика.

«Интересно все же, почему брак может получиться в такой простой детали?» — подумал я, формуя.

Пора уже было шабашить. Турунда с Гладышевым заформовали все свои опоки и начали заливку. Дальше в этой жаре формовать было трудно. От залитых по соседству опок полыхало жаром. Под вагранками снова ударили в рынду. Начиналась очередная выдача чугуна.

— Бросай формовку! — приказал Науменко. — Пошли туда, до вагранки.

Мы заливали под частые удары рынды. От одного выпуска чугуна до другого времени оставалось ровно столько, чтобы дотащить наполненный расплавленным

металлом тяжелый ковш к машинкам и залить друг за дружкой все восемь форм.

Как приятно было увидеть наконец, что чугун дошел до самого верха формы и круглая воронка литника, в которую заливали мы расплавленный металл, наполнилась и побагровела! Радостно было чувствовать, что все наши формы примочены в меру и заливаются удачно, металл не стреляет по сторонам сильными жалящими брызгами. Он только глухо ворчит и клокочет внутри, заполняя пустоты в формах и становясь из жидкого твердым в холодном песчаном плену.

Едва успевали мы выплеснуть в сухой песок около мартена бурый, подобно пережженному сахару, остывающий шлак, как у вагранки опять звенела рында, приглашая литейщиков брать чугун.

И мы поворачивали туда, где под шумящими вагранками, в шляпах, надвинутых на лоб, в темных очках, с железными пиками наперевес, расхаживали горновые.

Мы мчались туда бегом. Дядя Вася трусил вприпрыжку, совсем по-молодому, позабыв о своих годах.

Мне нравилась эта рискованная работа, быстрый бег наперегонки с другими литейщиками по сыпучему песку мастерской и осторожное возвращение с тяжелым ковшом обратно.

Было чадно. Першило в горле от запаха серы. Яркие вспышки разлетающихся искр делали почти незаметным свет последних непогашенных лампочек в отдаленных углах цеха.

Совсем близко, за недостроенным мартеном, гудела круглая «груша» — пузатая печь для плавки меди. Случайные сквозняки приносили оттуда едкий запах расплавленной меди. Захваченный общим волнением, я не обращал никакого внимания на чад и на жару, которая, чем дольше продолжалась отливка, становилась все сильнее.

Лица литейщиков блестели в отсветах пламени, мокрые от пота, темно-коричневые.

Стоя под черной гудящей вагранкой, вблизи желоба, по которому мчалась к нашему ковшу желтоватая струя чугуна, изредка поглядывая на хмурое, сосредоточенное лицо дяди Васи и чувствуя, как наполняется ковш, я понимал, что выбрал для себя правильное дело.

Мелкие брызги чугуна, описывая красивые огненные дуги и остывая на лету, сыпались где-то за спиной, но я уже не порывался ускользнуть от них в сторону, как раньше, не вздрагивал, а лишь незаметно поеживался, крепко сжимая кольцо держака.

В гуле вагранки, вблизи огня, в быстрых проходах по цеху с ковшом, полным расплавленного чугуна, была особая отвага, был риск, веселое удальство.

И, таская в паре с Науменко тяжелые ковши, усталый, обливающийся соленым потом, но гордый и довольный, я был несказанно счастлив.

Лишь к концу плавки я заметил, что возле наших машинок копошится еще с одним слесарем, погромыхивая раздвижным ключом, Саша Бобырь. Присланные из ремонтно-инструментального цеха, они переставляли нам модели на завтрашний день. По-видимому, Саша давно наблюдал за тем, как мы заливаем чугун, потому что, когда, поставив пустой ковш на плацу, разгоряченный, я подошел к машинкам, он спросил жалостливо:

— Заморился, а, Василь?

В голосе Бобыря я услышал признание того, что труд литейщика он почитает выше своей слесарной работы.

— Заморился? С чего ты взял? День как день! — ответил я тихо.

Уже иным, пытливым голосом Бобырь осведомился:

— А где ж ты вчера до поздней ночи шатался?

— Там, где надо, там и шатался! Гляди лучше, плиту ставь без перекоса. И болты подтяни до отказа!

— Не бойся! Мы свое дело знаем, — буркнул Сашка и, упираясь ногами в ящик с составом, потянул на себя еще сильнее рукоятку разводного ключа.

— Давай кокили смазывать, молодой! — позвал меня Науменко.

Он успел уже притащить из кладовой ящик, наполненный чугунными обручиками.

Я захватил с собой баночку графитной мази и уселся около напарника на песок.

Стоял такой пеклый жар, что плотная утром графитная мазь сейчас сделалась как кашица. Мы обливались потом даже за легкой этой работой. Надо было

макать палец в графитную мазь и затем смазывать внутри каждый кокиль.

— Соображаешь, для чего эта петрушка? — спросил Науменко.

— Чтобы эти кокили свободно насадить на ролики.

— Это первое. Второе — чтобы снимались они легко, вместе с песком.

— Разве они в опоке остаются?

— А ты думал? Застывая в кокилях, чугун обволакивается твердой коркой. Такой ролик с твердой и гладкой, скользящей поверхностью без обточки в дело идет.

— Ловко придумано! — сказал я и вспомнил, что не раз видел, как, падая на гладкую плиту, жидкий чугун, застывая, становится гладким и твердым, как эта плита.

За дымящимися опоками промелькнула красная косынка Кашкета. Щелкая семечки, он медленно брел по проходу.

Нынче он приплелся на работу позже всех. Стоило ему увидеть надпись, сделанную браковщиком, как он поднял страшный крик, бегал к мастеру, ходил с ним во двор, куда обычно высыпали бракованные детали, грозился подать заявление в расценочно-конфликтную комиссию и ни в какую не признавал брака по своей вине. Так и слонялся он весь день по цеху, до самой заливки.

Приметив нас около ящика с кокилями, Кашкет круто повернулся. Минуту постоял он молча, в шутовском платке, стянутом узлом на затылке, шелуша подсолнечные зернышки, а потом спросил:

— Загодя готовите?

Вопрос этот был ни к чему, и дядя Вася не счел нужным отзываться. Молча натирал он кокили графитом, перемешанным с тавотом.

— Заработать больше всех норовите? На дачу с садом? — прошепелявил Кашкет.

— Да уж не на свалку, как ты, а для пользы рабочего класса! — отрезал Науменко, хватая кокиль.

— Интересуюсь, что вы послезавтра запоете, как напишут вам такое, что мне сегодня?

— Интересуйся сколько влезет, а пока давай лузгу-

то подсолнечную не швыряй под ноги. В песок же попадает! — сказал Науменко сердито.

— Выбойщики просеют. Не бойся! — сказал Кашкет и лихо сплюнул шелуху под ноги.

— Такую мелочь не просеешь. Попадет в форму — и, глядишь, раковина. Не сори, тебе говорю! — уже совсем сурово прикрикнул дядя Вася.

— Ну ладно, голубок, не серчай, — сказал Кашкет примирительно и сунул семечки в карман.

Присев на корточки около меня, он схватил кокиль и принялся намазывать его внутри. От Кашкета несло водочным перегаром.

— Однако, коли рассуждать так, без крика, дядя Вася, то все, что вы сейчас делаете, лишнее, — прошепелявил Кашкет, водя пальцем в середине кокиля.

— Ты о чем? — спросил Науменко, строго глянув в сторону Кашкета.

— Намазывай не намазывай — не поможет. Модель сконструирована погано — оттого и брак. Переделать ее давно пора, а они рабочих за брак донимают!

— Сам ты себя донимаешь, а не «они», — ответил Науменко. — Болты болтаешь, а формовать не знаешь!

— Поглядим вот, сколько ты со своим комсомолистом наформуешь, — сказал Кашкет, вставая и потягиваясь.

— Глядеть другие будут, а ты, друг ситцевый, давай-ка танцуй отсюда, а то вертишься по цеху, как бес перед заутреней, и другим работать мешаешь!

И хотя сказал это Науменко так, словно он не придал никакого значения словам Кашкета, но я сообразил, что этот лодырь задел моего напарника крепко. Понятно было, что Науменко в лепешку разобьется, лишь бы заформовать и отлить ролики хорошо.

— А может, и на самом деле конструкция модели подгуляла, а, дядя Вася?

— Ты слушай побольше этого болтуна, — сказал сердито Науменко, — он тебе еще и не такое придумает! Однажды он забрехался до того, что ляпнул: «Я, — говорит, — хорошо помню то время, как пароход «Феодосия» еще шлюпкой был». Да можно ли верить хотя бы одному его слову!

...Следующий день, втянувшись, мы работали еще

проворнее. До обеда у нас было уже забито восемьдесят семь опок. Хотел было я метнуться после обеда до Головацкого, но дядя Вася засадил меня обтачивать рашпилем на конус края крепких, замешанных на олифе стержней — шишек. Готовя шишки на последний задел, чтобы можно было втыкать их в гнезда формы, не тревожа краев будущих роликов, я думал о том, что формовать эту детальку оказалось проще простого. Но какими они у нас получились, мы еще не знали.

Об этом предстояло узнать лишь в понедельник, когда раскроют опоки.

Сегодня была суббота.

Когда мы пошабашили, на плацу осталось сто пять пышущих жаром залитых опок.

ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

— Нехай вам грець! Чешите языками дальше, а я пойду хлопцам писать! — так сказал я Маремухе и Саше, выслушав терпеливо все их насмешки по поводу моей вечерней отлучки.

Оставляя их вдвоем в мезонине, я так и не сказал им, где пропадал весь вечер третьего дня. Как выяснилось из допроса с пристрастием, который мне учинили хлопцы, они намеревались и впредь контролировать каждый мой шаг, опасаясь, а не отрываюсь ли я от коллектива? Они по-товарищески боялись, как бы я не свихнулся на стороне, не «переродился», и разными намеками хотели выведать у меня все. А я не смог признаться. Заикнись я только про званый ужин да про раков — получилась бы такая проработка, только держись. А разве я честь нашего флага у того инженера не держал? Держал!

Еще в сенях я переобулся в легкие тапочки, а литейные мои «колеса» выставил в козий сарайчик до понедельника.

Под забором в нашем дворике приютилась ветхая, обросшая диким виноградом беседка. Посреди нее был вкопан в землю шестигранный столик.

Славно писалось в уютной тени беседки! Ветерок-низовка иногда залетал сюда с моря и шевелил облож-

ку тетради, то приоткрывая ее, то укладывая листочки на место.

Сперва я написал Фурману — в Луганск, на завод имени Октябрьской революции, Монусу Гузарчику — в Харьков и, конечно, Гале Кушнир — в Одессу. С самого утра я думал над тем, что мне написать ей. Обида, которую нанесла она мне, взяв было сторону Тиктора в истории с Францем-Иосифом, теперь казалась совсем пустяковой.

Забыв все досадные колкости и мелкие обиды, я вспоминал сейчас только все милое и нежное. Скромную, веселую Галю я невольно сравнивал с Анжеликой — со всеми ее суевериями, с лампадкой на ковре, тоскливой феей да увлечениями чарльстоном.

«Конечно же, Галя во сто тысяч раз скромнее, проще и сердечнее!» — думал я, старательно выводя в конце открытки строки:

«...И если это письмецо найдет тебя, выбери свободную минутку, Галя, напиши, как ты живешь, как устроилась, нравится ли тебе работа, Одесса, — словом, все опиши и вспомни при этом наши прогулки в Старую крепость и все то хорошее, что было между нами. Просят тебе передать пламенный комсомольский привет Петрусь и Саша Бобырь, которые живут со мной в одном домике у самого Азовского моря.

С комсомольским приветом *Василий Манджура*».

Никакой уверенности в том, что мои письма дойдут до адресатов, у меня не было. Расставаясь, мы записали названия заводов, на которых будем работать, и все. Но ведь на заводах тысячи рабочих!

Никите Коломейцу я решил написать большое, обстоятельное письмо. Его-то адрес впечатался в мою память на всю жизнь: «Город Н., Больничная площадь, школа ФЗУ около завода «Мотор». Старательно я вывел этот адрес и придавил голубенький конвертик камешком-голышом, чтобы не унес его ветер. Но стоило мне раскрыть тетрадку, как я понял, что в ней кто-то хозяйничал. Две страницы были вырваны из середины, а на первой красовался знакомый почерк Бобыря.

Прочитал я и невольно улыбнулся:

«Начальнику городского отдела ГПУ

У меня очень хорошая память. Увидел кого — запомнил навеки. Это я все к тому, чтобы вы, товарищ начальник, отнеслись...»

Здесь Сашкино послание обрывалось. Последнее его слово «отнеслись» появилось позже, взамен зачеркнутой фразы: «не смеялись, как мои товарищи».

Снова мне живо представился день приезда, распаленный Саша Бобырь, доказывающий, что возле киоска с бузой он видел Печерицу. Не забыл я, какой вопль поднял Саша, когда Маремуха спросил: «А ты не сказал, увидя Печерицу: «Чур меня, чур!»?»

Сложив вчетверо испорченную страничку, я положил ее в кармашек косоворотки и принялся сочинять письмо Никите Коломейцу. Длиннющее оно получилось. И виноват в этом не столько я, сколько сам Коломеец.

Накануне расставания Никита сказал: «Одно прошу, милый: побольше подробностей. Жизнь всякого человека состоит из множества мелочей, и только тот является настоящим человеком, кто не утонет в этой каше, а, разобравшись, что к чему, найдет правильную дорогу вперед. Потому давай-ка, брат Васенька, побольше мне поучительных мелочей, которые ты заметил на новом месте. Я постараюсь в них разобраться и использую в работе с новым выпуском фабзайцев».

Я и «давал мелочи», как говорят кочегары, «на полное давление». Все написал Коломейцу: и как Тиктор уединился от нас в поезде, и как мы боялись сперва, что у крупной домовладелицы поселимся, и как Печерица привиделся Саше Бобырю у киоска с бузой, и даже этого специалиста по пушечным ударам Зюзю Тритузного, который чуть не встал поперек нашей дороги, я распатронил так, что держись! Сообщал я Никите, что продумываю на досуге одно изобретение по поводу подогрева машинок. Очень обстоятельно описал историю своего визита в танцкласс Рогаль-Пионтковской. А чтобы Никита, чего доброго, не вздумал упрекать в увлечении танцульками, объяснил причину посещения этого заведения:

«Хотел воочию проверить, не является ли здешняя Рогаль-Пионтковская родственницей той старой графини, которая жила у нас на Заречье и так гостеприим-

но встречала у себя в усадьбе атамана Петлюру, «сичовиков» Коновальца, представителей Антанты и других врагов Советской власти».

Я просил Никиту узнать поподробнее, какая судьба постигла графиню и ее породистого братца.

Описал нашего красного директора Ивана Федоровича Руденко, который по-отцовски обошелся с нами. Рассказал в письме Никите, как заботится Иван Федорович о рабочем классе: крышу в литейном возводит и сам пытается разгадать секреты, увезенные иностранцами.

Уже смеркалось, и потому письмо пришлось закончить кое-как, на скорую руку. Дальше я написал Никите о мелочи, на мой взгляд весьма полезной:

«...Передай инструктору Козакевичу: пусть он велит обрезать рукава до локтей тем новым ученикам, которые работают у него в литейной. Сколько у нас браку получалось из-за этих длинных рукавов, а никто не обращал на это внимания. Сообразили только здесь. А дело простое: ползает фабзаец над раскрытой формой и задевает песок манжетами. В одном месте крючком подрыв исправит, а в других местах сам же невольно сору насыплет. Получаются и раковины и заусеницы. С подрезанными же рукавами формовать куда сподручнее, и скорость движения бо́льшая. Пусть также Жора растолкует всем литейщикам, что такое кокили, для чего они служат, а еще того лучше — нехай он ради примера заформует да зальет детальку с кокилем. Полезно очень. А то взять, к примеру, меня: лишь тут впервые я увидел, что это за штука такая...»

Солнце уже свалило в море. На прогретую и усталую землю спускались теплые молочные сумерки. А я все писал и писал. Даже рука заныла, хуже чем от набойки.

ЖЕРТВЫ САЛОНА

Полный и погожий месяц уже взобрался на небо. Свет его рассыпался блестками по тихой воде бухты.

Все воскресенье вместе с хлопцами мы проваляись в приморском песке, как заправские курортники.

Прокаленный солнцем до самых костей, коричнево-красный от загара, я медленно брел по мягкому асфаль-

ту и наткнулся на Головацкого. Он шел на прогулку в легкой апашке, в кремовых брюках, в сандалиях на босу ногу.

— Ищу пристанища от жары! — сказал Головацкий, здороваясь. — Вентилятор дома испортился. Пробовал чинить — невмоготу. Размаривает. Уже и бузу пил, и яблочный квас с изюмом — не помогло. Давай заберемся туда, подальше! — И Головацкий кивнул головой в глубь парка.

Признаться, я думал по случаю воскресенья навестить Турунду, даже друзей звал туда к нему, в Лиски, на берег моря, но они отказались. Предложение Головацкого заставило меня изменить первоначальный план. Мы смешались с гуляющими и пошли аллеей мимо площадки летнего театра, отгороженного высокой решеткой. Там дробно стрекотал киноаппарат, и под самым экраном слышались одинокие звуки рояля. Сегодня на открытом воздухе давали «Медвежью свадьбу» и «Кирпичики» — две картины в один сеанс. Гуляющие повалили туда, и в аллеях для воскресного дня было сравнительно просторно.

В зеленом тупике, куда пришли мы с Головацким, оказалось совсем пустынно. Сквозь решетку сада просматривался освещенный переулок, который вел на Генуэзскую. Тупик сада, образуемый ветвистыми деревьями, оставался в тени, и мы сразу почувствовали себя прекрасно, откинувшись на выгнутую спинку скамеечки.

— Тс-с! Внимание, Манджура! — подтолкнул меня Головацкий, указывая на переулок.

В полутьму Парковой улицы выпорхнули две девушки в легких ситцевых платьях. Едва очутились они в тени лип, как первая девушка присела на ступеньку крылечка. Поспешно, словно ее догонял кто-то, она стала проделывать какие-то фокусы со своими ногами. Скоро я понял, что девушки освобождаются от туфель. Потом, как кожу со змеи, они стянули длинные чулки, засунули их в туфли и бережно завернули обувку в газеты, еще заранее припасенные для этой цели. Оглядываясь и разминая ноги, по-видимому чувствуя себя отлично босиком, девушки побежали в сторону Лисок. И тотчас же из освещенного переулка под тень лип выпорхнула целая стайка подруг. Подбежав к кры-

лечку и садясь на ту же ступеньку, они проделали то же самое, что и их предшественницы, и, завернув свои узкие туфли кто в старую газету, кто в платок, легко и радостно разбежались по домам.

Улыбаясь и таинственно поглядывая на меня своими умными глазами, Головацкий сказал:

— И смех и грех, не правда ли? Такое зрелище можно наблюдать отсюда каждый вечер.

— Смотри, еще! — шепнул я. — Новые жертвы!..

На Парковую вырвались, пошатываясь, две подруги. Одна была в блузочке-матроске, с челкой на лбу.

Другая придумала себе платье-тунику с удивительно широкими рукавами.

Девушка в матроске с откидным воротником даже до заветной ступеньки не могла добраться. Она с ходу обхватила старую липу и, прижавшись к ней, сбросила с ног блестящие туфельки.

— Какое блаженство! — донесся сюда ее тонкий голосок. — Думала — сомлею, так жать стали!

— Чулки-то стяни, Марлен, — сказала ее подруга, уже присевшая на крылечко, — подошву протопчешь!

— Погоди. Пусть пальцы отдохнут... — И девушка в матроске медленно прошлась под липами в одних чулках, как бы остужая ноги на камнях тротуара.

— А вольнó тебе было такие тесные заказывать! — сказала ее подруга, стягивая чулки.

— Да и так тридцать седьмой ношу. Куда же боле? Смеяться станут... — отозвалась Марлен.

Когда девушки растворились в сумерках, убегая босиком на Лиски, Головацкий сказал:

— Та, что в матроске, на заводе у нас работает.

— Откуда же они так бежали?

— Штатные завсегдатаи танцкласса Рогаль-Пионтковской... Ты не был там?

— Был! — буркнул я и заколебался: стоит ли рассказывать Головацкому, как та мадам обозвала меня хамом?

— Что же ты думаешь по поводу увиденного?

— Заведение для оболванивания молодежи!

— Руку, дружище! — воскликнул Головацкий. — Значит, мы с тобою одного мнения... В салоне Рогаль-Пионтковской молодого человека отучают мыслить. Ему преподносят суррогат веселья и заслоняют от не-

го удивительно интересный мир, можно сказать — целую вселенную.

Головацкий оглянулся и продолжал:

— ...Вот эти деревья, звезды, что мерцают на небе, даже эти песчинки, что, хрустя под ногами, скрывают еще в себе множество неразгаданных тайн природы. Тайны эти ждут человека, который бы пришел к ним и, открыв их, помог обществу. Глянь-ка на эти домики, что перед нами. Познай способ их постройки, пошевели мозгами: а нельзя ли строить лучше, практичнее, удобнее, чем строили наши деды, строить так, чтобы солнце гостило в этих домиках круглый день? Разве это не задача, которой стоит посвятить всю жизнь? Или, скажем, перенесемся с тобой мысленно на берег моря. Как мы еще мало его знаем! Рыбку-то нашу, азовскую, все еще по старинке волокушами вытягивают, а ведь где-то уже есть электрический лов. Или другая задача: поймать энергию прибоев, поставить ее на службу социализму! Разве это не сказка, которую можно сделать былью? А ведь ежевечерне десятки людей — перед которыми возможно такое интересное будущее! — по нескольку часов, как нанятые, бесцельно дрыгают ногами. Позор!

— Так надо это безобразие прекратить.

— Видишь, Манджура, однажды я уже пробовал повести борьбу с этой мадам, но кое-какие ортодоксы на меня зашикали: мельчишь, мол, Толя! Нам, мол, следует проблемы решать, а ты привязался к танцульке. А я вовсе не мельчу. Если мадам Рогаль-Пионтковская и окочурится в один прекрасный день, с влиянием ее придется еще долго бороться... Вот эта, в матроске, — скромная и очень понятливая девушка. Однажды в библиотеке я заглянул в ее абонемент и в восторг пришел, сколько книг она прочла. А потом затащили ее подружки на эти «шимми» да «фокстроты» раз-другой, и на глазах меняться стала. Сперва челку себе завела модную, потом брови выщипала какими-то невообразимыми зигзагами, а погодя и перекрестилась.

— В церкви? Комсомолка?!

— До церкви пока дело не дошло, — сказал Головацкий, — домашним образом перекрест устроила. Надоело, видишь, ей скромное имя Ольга, назвала себя Марлен. Ну, а подружкам только подавай! Они сами

такие: вчера еще были Варвары, Даши, Кати, а как заглянули к Рогаль-Пионтковской, перекрестились на заграничный лад: Нелли, Марго, Лизетты... В слесарно-сборочном даже одна Беатриче объявилась — Авдотья в прошлом...

— Скажи... а Анжелика — тоже заграничное имя? — спросил я мимоходом.

— Ты про дочку главного инженера? Тоже перекрест. Правда, более скромный. По метрике — Ангелина. Всего две буквы исправила.

— А хлопцы-перекресты есть?

— Встречаются. В транспортном цехе, например, работает возчиком некто Миша Осауленко. В позапрошлом году он сотворил глупость — искололся весь у одного безработного морячка. Живого места на коже не осталось. Вся в татуировках: якоря, русалки, обезьяны, Исаакиевский собор, а на спине ему изобразили банановую рощу на Гавайских островах. На пузе накололи штоф, бубновый туз и красотку. А под этим — надпись: «Вот что нас губит!» Чуть заражение крови не получил от этих наколов. Ездил на битюгах забинтованный, пока не свалился. А потом проклинал себя на чем свет стоит. Выйдет на пляж загорать — а вокруг него толпа собирается: что это, мол, за оригинал такой разрисованный? Люди приезжие думали, что Миша — старый морской волк, а он дальше Белореченской косы не отплывал, да и то в тихую погоду, ибо его море бьет крепко. Пришлось ему, бедняге, уходить купаться на Матросскую слободку — подальше от глаз. Но, думаешь, он набрался ума-разума от этого промаха?.. Открыла Рогаль-Пионтковская свой танцкласс, он и причалил туда от скуки. А плясать парень здоров! Ясно — мадам комплименты говорит и на свой лад всех настраивает. Иду однажды на завод, слышу — позади этот разрисованный Миша едет на своей платформе и поет во весь голос: «Джон Грей был всех смелее, Джон Грей всегда таков...» Другой же танцор кричит ему с панели: «Эдуард! Закурить нет?»

— Ты шутишь, наверное, Толя? — сказал я.

— Какие могут быть шутки! Чистая правда. Пошел я в транспортный цех. «Как тебе, — говорю, — не стыдно? Неужели ты сам себя не уважаешь?»

— А он что тебе сказал?

— Брыкался сперва. Дескать, это «мое личное дело». Поговорили мы с ним часок-другой, и он наконец согласился, что дурость показывает.

— А сейчас на танцульки ходит?

— Одумался. Зато другие без танцкласса жить не могут. Вот эта Марлен. Из рабочей семьи, хорошая разметчица, а тоже поплелась к самому модному сапожнику Гарагоничу. «Давай, — говорит, — построй мне по журналу лакированные туфли на самом высоком каблуке». Гарагонич, не будь дурак, содрал с нее всю получку, поднял ее на добрых десять сантиметров, а как там она ходить будет — это его не касается. Ты сам видел, качается, как на ходулях. И все это, друже, из того салона расползается. Главный очаг мещанства! Мадам действует на молодежь тихой сапой. Приятельницы ей песенки шлют заграничные, ноты, пластиночки для граммофона, модные журналы, а она их распространяет. Пора нам, Вася, дать бой!

— Как же бой давать, коли у нее патент?

Головацкий засмеялся:

— По-твоему, патент — это охранная грамота для частника? Залог того, что государство ему на пятки наступать не будет? Наивен же ты, Манджура! Давай-ка лучше потолкуем, как действовать.

...Так, душным вечером, на окраине городского парка, вблизи кустов зацветающего жасмина, возник наш план наступления на танцевальный салон Рогаль-Пионтковской.

Все до мелочей мы продумали и обсудили на этой скамеечке. Когда все уже было договорено, Головацкий спросил:

— Ты не очень устал сегодня?

— Нет. А что?

— Быть может, мы проследуем в мою хижину и там набросаем все наши замыслы на бумагу, чтобы ничего не растерялось?

КАЮТА НА СУШЕ

Головацкий жил в маленьком флигельке на площади Народной мести.

Мы прошли в глубь запущенного длинного двора.

Около двери флигелька Головацкий пошарил рукой под стрехой и нашел ключ.

Висячая колодка скрипнула под его руками.

Зажигая свет в сенях, Толя пропустил меня вперед. Задняя стенка прохладных сеней была сплошь заставлена книгами.

И в комнате повсюду виднелись книги: на полках, на этажерке, даже на неокрашенных табуретках.

— Только ты не удивляйся некоторым моим причудам, — как бы извиняясь, предупредил он, — я, видишь ли, болельщик моря...

Меблировка небольшой комнаты состояла из узенькой койки, застланной пушистым зеленым одеялом, письменного стола и круглого обеденного столика, над которым спускалась висячая лампа под зеленым абажуром. Мне сразу бросилось в глаза, что два окна, выходящих во двор, были круглые, как пароходные иллюминаторы. Спасательный круг с надписью «Очаков» дополнял сходство этой комнаты с корабельной каютой. И стул был тяжелый, дубовый, какие бывают на пароходах в капитанской рубке.

— Тебя окна удивляют? — спросил Головацкий. — Если бы ты только знал, какую баталию пришлось мне вести с квартирной хозяйкой, пока она разрешила перестроить их таким образом.

— Они же наглухо у тебя в стенку замурованы! Воздуха нет.

— Ничего подобного! — И Головацкий, как бы оправдываясь передо мною за свое чудачество, повернул невидимую прежде защелку. Он потянул на себя круглое, чуть побольше спасательного круга, окошечко. Со двора повеяло запахом цветов, и молодая луна сразу приблизилась к этому флигельку. — Моя конструкция, — сказал Толя, открывая другое окно. — Сам подмуровку делал, ребята из столярного по моему чертежу рамы сколотили. Необычно, правда? А я люблю! Как на море себя чувствуешь. В состоянии движения. А эти квадратные гляделки располагают к покою.

— Но поголовное большинство людей пользуется же квадратными окнами?

— Привыкли к мрачному однообразию, — полушутя, полусерьезно сказал Толя. — Обрати, например, внимание — с прошлых времен в нашей одежде еще

преобладает черный цвет: черные картузы, кепки, костюмы, платки у наших бабушек и даже выходные платья у девушек. А разве не пора повести борьбу против этого траура в повседневной жизни? Природа ведь так богата красками! Сколько прекрасных цветов в сиянии радуги, в оттенках неба над морем! Тут надо смело рвать с прошлым!

— Да ты не горячись, Толя. Я просто спросил тебя, — успокоил я хозяина странной комнаты и подошел к полке с книгами.

Каких только книг у него не было! И по географии, и по биохимии, и по логике... Старинная лоция Азовского моря соседствовала с учебниками астрономии и навигации. В простенках между полками висели таблицы с видами рыб, морские узлы на дощечках, изображения пароходов, идущих под сигнальными огнями, и даже чертеж двухмачтового парусного судна.

— Ты небось моряком хочешь стать?

— Почему ты так думаешь? — И Толя очень пристально глянул на меня, желая узнать, понял ли я на самом деле цель его жизни.

— Да вот литература у тебя все о море! — И я кивнул головой в сторону морских книг, занявших целых три полки.

— Надо, милый, хорошо знать не только ту землю, на который живешь, но и то море, которое расстилается в десяти шагах отсюда. А быть может, когда-нибудь и поплавать придется. Ведь мы же, комсомольцы, шефствуем над флотом!

— А этот офицер... кто? — спросил я настороженно, разглядывая над кроватью Головацкого бережно окантованный под стеклом фотографический портрет морского офицера в черной накидке, при кортике, в очень высокой фуражке.

— Лейтенант Петр Шмидт, — объяснил Головацкий.

— Какой Шмидт? Тот, чье имя завод носит?

— Он самый. Тот, который поднял сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Выступал против царизма, любил рабочий люд. Свою роль в революции сыграл. Недаром рабочие Севастополя избрали его в Совет депутатов!

— Давно его именем завод назван?

— Вскоре после революции. И ты думаешь, случайно?

— Не знаю...

— Тогда слушай... Дело в том, что Шмидт немного работал на нашем заводе...

— Шмидт? Офицер Шмидт?

— Ну да, мичман Шмидт! Его родственники тут жили. И он, решив повидать собственными глазами, как живет рабочий люд, на время отпуска сменил мичманский китель на рабочую блузу... Или возьми историю самого портрета Шмидта, — продолжал, воодушевляясь, Головацкий. — Как узнал я от стариков про лейтенанта, пустился по его следам. Интересно же! Все газеты старые того времени перечел, дом, в котором его семья жила, излазил весь, от чердака до погреба. Но увы! Ничего не сохранилось. Как-никак двадцать лет миновало. Три войны, три революции, голод. А потом думаю: не мог Шмидт жить в нашем городе и ни разу не сняться, будучи в отпуску! Пересмотрел у всех частных фотографов негативы тех лет — и вот, полюбуйся, отыскал совершенно случайно. Увеличение уже по моему заказу делали.

— Так надо его в музей! Для всех!

— Неужели ты думаешь, я такой шкурник? В тот же день, когда портрет Шмидта был у меня, я отослал негатив в Исторический музей. Мне и письмо благодарственное оттуда пришло.

— А круг откуда?

— Извозчик один надоумил, Володька некто.

— Бывший партизан? Рука повреждена?

— Он самый. Обмолвился как-то, что в Матросской слободке живет один севастополец, чуть ли не участник самого восстания. Я к нему. Оказалось, сам-то он на «Очакове» не ходил, но круг с того мятежного корабля сохранил. Реликвия! Еле вымолил.

Кофе в кастрюльке забурлил. Головацкий приподнял медную кастрюльку и проложил между ее донцем и голубеньким пламенем спиртовки железную планку.

Напиток, который он готовил, требовал постепенного и малого подогрева.

— Взгляни теперь на эту фотографию, Манджура, — сказал Толя, подходя широкими шагами к противоположной стене. — Тоже наш земляк.

Я увидел на фотографии бравого морского офицера в царской форме.

Он сидел прямо перед аппаратом, в белом кителе, разукрашенном орденами, в белой фуражке с темным околышем, положив руки на колени.

— Что это ты белопогонниками увлекаешься?

— Во-первых, погоны у него темного цвета, — поправил меня Головацкий. — Во-вторых, если бы все царские офицеры прошли такую жизненную школу, как этот человек, и хлебнули горя столько же, то, возможно, деникины да колчаки не смогли бы выступать с оружием против революции. На кого бы они тогда опирались?.. Это, к твоему сведению, Георгий Седов, знаменитый исследователь Арктики, погибший от цинги во льдах, на пути к Северному полюсу.

— А он тоже с Азовского моря?

— Ну конечно! С Кривой косы. Как видишь, офицер офицеру рознь. Если бы у лейтенанта Шмидта, помимо его искренних стремлений свергнуть самодержавие, был характер Георгия Седова, то, кто знает, как бы окончилось восстание на «Очакове»!

— Седов, значит, хороший человек был? — спросил я осторожно, уже окончательно теряясь.

— Он был из простонародья и любил свою родину! — сказал вдохновенно Головацкий и достал с полки какую-то книгу. — Послушай-ка слова последнего приказа Седова, написанные перед выходом к Северному полюсу. Он написал этот приказ 2 февраля 1914 года, будучи уже совершенно больным. «...Итак, в сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это — событие для нас и для нашей родины. Об этом уже давно мечтали великие русские люди — Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильные научные и идейные завоевания в полярных исследованиях на пользу и гордость нашего дорогого отечества. Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, «прощайте», но хочется сказать вам «до свидания», чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на родину...»

— А вернуться ему удалось? — спросил я.

— Его похоронили там, в Арктике, на пути к це-

ли. Он жизнь свою отдал за народное дело, а царские министры его тем временем бранью в газетах осыпали...

— Да, такой человек, не задумываясь, принял бы Советскую власть. И не стал бы шипеть по углам, как Андрыхевич! — выпалил я.

— Ну, тоже сравнил... кречета с лягушкой... — Головацкий посмотрел на меня с укоризной. — Тот, кого ты назвал, просто обыватель с высшим техническим образованием. Ты что, знаешь Андрыхевича лично?

— Познакомился на днях случайно, — ответил я.

— Любопытно даже, как человек уже во втором поколении переродился. Его родители в Царстве польском против русского императора мятеж подымали. Их за это в Сибирь сослали. А вот сынок стал царю да капиталистам служить и революцию воспринял как большую личную неприятность.

— Но прямо он об этом не говорит?

— Иной раз любит разыграть демократа, совершает вылазки из своего особнячка в город. Преимущественно под воскресенье. В пивные заходит, в «Родимую сторонку» — слепых баянистов слушать. Пиво попивает да разговоры разговаривает. Кое-кто из мастеров под его влиянием. Души в нем не чают.

— Но так-то в общем он человек знающий, пользу приносит?

— Приходится работать. Иного выхода у него нет. Я себе хорошо представляю, что бы с Андрыхевичем произошло в случае войны! А насчет пользы — что ж? Пользу можно приносить еле-еле, проформы ради, и можно — от всего сердца, с полной отдачей. Этот же барин только *служит*. Ты слыхал, наверное, что многие производственные секреты иностранцы, уезжая, скрыли или увезли — кто их знает! Иван Федорович бьется, бьется, но пока результаты невелики. А инженер главный ходит вокруг да около, бровями шевелит да посмеивается. Теперь посуди: неужели Кейворт от своего главного инженера имел тайны? У хорошего, опытного инженера они в душе запечатлеться должны без всяких чертежей. Чертежи — отговорка. Он сердце свое раскрыть не хочет.

— Других порядков ждет! Думает, переменится

все, — согласился я с Головацким и рассказал ему о своем споре с инженером.

— Ну видишь! Чего же боле? Какие тебе еще откровенные признания нужны? — воскликнул Головацкий и, видя, что кофе вскипает, притушил немного горелку. — Не любит он нас. Люди, подобные Андрыхевичу, не помогают нам. Они нас подстерегают. Ты понимаешь, Василь, подстерегают!.. Подмечают каждый наш промах, каждую ошибку, чтобы позлорадствовать потом... Да пусти сюда опять Деникина с иностранцами — он первый ему на блюде хлеб-соль преподнесет!

— А дочка у него такая же? — спросил я, выждав, пока весь гнев Толи выльется на старого инженера.

— Анжелика? Подрастающая гагара. Это о таких прекрасно сказал Горький: «И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает».

Головацкий разлил густой-прегустой дымящийся кофе в маленькие бордовые чашечки с черными пятнышками, похожими на крапинки крыльев божьей коровки. Потом сходил в сени и, зачерпнув из кадки воды, налил два стакана.

— Турецкий кофе пьют так, — сказал он, — глоток воды, глоток кофе. Иначе сердце заходится. Крепкий очень.

В двенадцатом часу ночи покидал я Толину «каюту».

Улицы города уже опустели. Летучие мыши неслышно скользили над головой, когда я проходил мимо парка, закрытого на ночь.

ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, — ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Так хорошо ладились, почитай целую неделю, славные эти ролики! Из каких-нибудь шести сотен выпадало штук пять-семь браку по нашей вине. С этим можно было мириться. Это был допустимый процент брака при такой быстрой работе. А делали мы роликов куда больше, чем кто-нибудь другой, и все потому, что дядя Вася не ленился заранее смазывать кокили и обтачивать стержни — шишки. Он рассуждал так: лучше полчаса побыть в духоте да в пыли возле залитых опок и под-

готовить все к завтрашнему дню, чем возиться с этими приготовлениями спозаранку, когда надо набирать разгон.

В тот день, когда кончался мой испытательный срок, дядя Вася не вышел на работу. Мне и невдомек было, отчего он запаздывает. Почти все рабочие появились у своих машинок: одни пересеивали дополнительно песок, другие подогревали модели, третьи готовили место на плацу, разглаживая сухой песок, чтобы удобнее потом было ставить опоки. Неожиданно появился мастер Федорко и заявил:

— Дам тебе, Манджура, сегодня другого напарника. Твой Науменко отпросился на два дня за свой счет. Ему надо жену на операцию свезти в Мариуполь.

...А спустя несколько минут подле наших машинок появился Кашкет. В руке он держал собственную набойку.

Разболтанной походочкой подошел Кашкет к машинке дяди Васи, попробовал рамку — нет ли шатания на штифтах, закурил. Поглядел я на эту картину и подумал: «Напарник! Лучше кота бродячего под мартеном поймать да к машинке приставить, и то вреда меньше будет...» Правда, после того ужасающего брака он сделался осторожнее, но все равно, хоть и суетился он больше всех, пыль в глаза пускал беготней и ненужными криками, мы его и Тиктора ежедневно обгоняли на добрых сорок опок.

Турунда увидел, какого я получил напарника, и замотал головой: не бери, мол! Отказывайся!

«Как же отказываться? Работай я здесь год-другой — иное дело. Мог бы артачиться, просить замену. А я — новичок. С другой стороны, мастер, может быть, нарочно отделяет Кашкета от Яшки?»

— Модель почему слабо нагрета? — важно спросил Кашкет.

— Беги за плитками и подогрей по своему вкусу.

— Ты моложе — ты и бегай! — прошамкал Кашкет.

— Как знаешь! — бросил я и, услышав звук рынды, объявляющей начало работы, принялся набивать песок в опоке.

Кашкет повертелся, повертелся и, схватив клещи, пошел за плитками.

К его возвращению у меня уже стояло два низа.

Я и шишки поставил сам, и площадочку для новых опок приготовил. Кое-как мы набили десять опок. Тут Кашкет начал томиться. Пошел покурить к вагранке и застрял. Горновым байки рассказывать!.. Зло меня взяло. Накрыл последнюю опоку за напарника и побежал к вагранке.

— Послушай, когда же ты... — Я тронул за плечо Кашкета.

— В позапрошлом году то было, — сказал он, думая, что я заинтересовался его рассказом.

— Я спрашиваю, когда ты перестанешь болты болтать, а будешь опоки набивать? — бросил я ему в лицо.

— А я тебе разве мешаю? — ответил Кашкет спокойно и повернулся спиной, чтобы продолжать беседу.

— Да, мешаешь! — закричал я ему в ухо.

— Тебе мешаю?

— Не мне лично, а всему заводу. Рабочему классу. Всем! — уже окончательно разгорячившись, крикнул я.

Кашкет как-то сжался весь, трусливо швырнул в песок цигарку и сказал горновому:

— Приходи ко мне лучше, Архип. Там доскажу. А то видишь, какого мне подбросили бешеного... комсомолиста...

Я смолчал и пошел обратно к машинкам. Иду размашистыми шагами, чуя где-то позади дробный ход Кашкета, а сам думаю: «Неизвестно еще, кого кому подбросили, накипь махновская! Нужен ты очень!»

Кашкет, возвратившись, засуетился, затарахтел рычагом машинки и, надо отдать ему должное, каких-нибудь минут тридцать работал прытко. Лука с Артемом даже диву дались, откуда у этого клоуна появился такой темп. Не слышали они нашего разговора около вагранки. «Пусть, — решил было я сперва, — все это останется между нами!»

Но Кашкет придерживался другого мнения. Спустя некоторое время он опять прошепелявил:

— Интересуюсь: чем же именно я мешаю рабочему классу?

Не задумываясь, с ходу, как набойкой острой, я отрезал ему:

— Наших жаток миллионы крестьян ждут, а ты задерживаешь программу. Рабочий класс производитель-

ность труда повышает, а ты дурака валяешь. Видно, хочешь, чтобы не мы их, а они нас?..

— Я сам рабочий класс! Что ты плетешь? Какие «они»?

— Они — это белогвардейцы да капиталисты. Сволочь всякая, которой ты в девятнадцатом помогал!

— Я?! Помогал?! Да что ты, детка? Вот напраслина!

Он вдруг притих и сделался смирненький-смирненький. Даже за плитками стал бегать не в очередь. Следя за тем, как гонит он впритруску к далекому камельку, я даже подумал: а прав ли я? Все-таки Кашкет старше меня годами, в литейном давно — не слишком ли я повышаю голос?

Будто угадывая мои сомнения, Турунда сказал мне:

— Так его, Василь! Правильную линию занял. А то, в самом деле, что ему здесь — шарашкина контора? До каких пор это можно терпеть?

— Давно бы его выкатить с ветерком. Жаль, у Федорко душа мягкая! — ввязался в разговор Гладышев. — Пора ставить вопрос резко. Сходи в обед к Федорко. Так, мол, и так, убрать надо этого проходимца и оставить тебя формовать одного, пока Науменко не возвратится.

Слова сочувствия старых рабочих меня очень тронули. Но все же я не решился последовать совету Гладышева. «Промучаюсь как-нибудь, — думал я, — эти два дня с Кашкетом, а потом снова вернется мой напарник и все будет хорошо».

Довольно скоро мне пришлось пожалеть о своих колебаниях. Настала моя очередь бежать за плитками. Возвращаюсь — верх опять не набит, а Кашкет спокойненько беседует с горновым:

— И... прихожу я, понимаешь, оформляться к Тритузному, а он меня спрашивает: «Где вы, товарищ Ентута, последние пять лет работали? А почему у вас нет справок с последнего места службы?» А я ему палю: «Товарищ Тритузный! Я как испугался генерала Врангеля в двадцатом годе, так с тех пор не мог прийти в себя и целых пять лет не мог работать!» Зюзя прямо ахнул: «Пять лет?! Что это за нервное потрясение такое?..»

Тут к Кашкету подскочил с клещами Турунда.

— Тебе что, особое приглашение надо посылать, что-

бы к машинке стал? — сказал Лука, принимая мою сторону.

— Простымши же плита была! — сказал Кашкет, делая невинное лицо.

— Мозги у тебя простыли, а не плита! — бросил Турунда в сердцах, пропуская моего напарника к машинке.

— А тебе что, некогда? Поезд в Ростов отходит? — огрызнулся Кашкет, принимаясь за работу.

— Да, некогда! — закричал Турунда, с силой вгоняя лопату в горячий еще песок. — И вся эта болтовня нам надоела. Лень тебе здесь — иди увольняйся, тягай волокушу. .

— Так его, лядащего! Так его, — одобрительно крикнул Гладышев.

Чувствуя полное одиночество, Кашкет буркнул:

— Смотри, какой строгий! — И принялся формовать.

Тяжело было мне разобраться в душе этого случайного моего напарника. То ли балагуром таким ленивым был он в юности, то ли и впрямь, если верить извозчику Володьке, в степь по-прежнему смотрел: не вынырнут ли из-за кургана махновские тачанки?

Неожиданно, нарушая молчание, Кашкет запел:

В понедельник, проснувшись с похмелья,
Стало пропитых денег мне жаль.
Стало жаль, что пропил в воскресенье
Память жинкину, черную шаль...

— Кашкет в своем репертуаре, — заметил Гладышев.

— А что — чем не Шаляпин! — сказал Кашкет и приосанился, поправляя косынку.

— Низ уже набит, Шаляпин, а верхней опоки все еще не видно! — крикнул я.

Прыгая около машинки, он все еще не мог успокоиться:

— Даже песню про тебя народ сложил.

— Какую такую песню?

— А вот какую... — И шепелявым пропитым голосом он запел:

Жил-был на Подоле гоп со смыком,
Он славился своим басистым криком...

Ты ведь с Подола?

— Плохо географию знаешь, — сказал я строго. — Подол — это околица Киева, а я лично родился в бывшей Подольской губернии.

Кашкет ничего не ответил. Он силился поспевать, превозмогая похмелье, суетился, но мне было ясно, что ту норму, какую обычно ставили мы с Науменко до перерыва, нам никак не выполнить.

Песок накануне был полит слишком обильно. Под низом он парил, как раскрытый навоз весной, и не годился в формовку. Надо было перемешать его с сухим песком.

По соседству высилась куча пересохшего и жирного песка. Я опрометью бросился туда и, чтобы не останавливать формовку, стал перебрасывать песок на нашу сторону.

— Тише ты, окаянный! — крикнул у меня над ухом Кашкет и схватил меня сзади под локти.

Но размах моих рук ему уже было не сдержать. Острие лопаты врезалось в песок, встречая на своем пути неожиданную преграду.

Что-то жестко хрустнуло в песке, будто лопата перерезала электрическую лампочку.

— Вот ирод!! Кто тебя просил сюда нос совать! — завопил в отчаянии мой напарник.

Он опустился на корточки и принялся разрывать дрожащими руками песок.

— Да ты рехнулся, что ли? — спросил я, все еще ничего не понимая.

— Я те дам «рехнулся»! Такое устрою, что своих не узнаешь... Косушка была захована тут, а ты угодил в нее.

Кашкет поднял на ладони горсть мокрого песка. Он поднес его к носу и принялся жадно обнюхивать. Руки его дрожали. Резкий запах водки подтвердил мне, что в песке и на самом деле была зарыта бутылка.

— Пошли формовать! — позвал я.

— А чем я теперь опохмелюсь в обед?

— Давай освобождай рамки! Два низа набиты.

Мрачный, насупленный, он стал набивать. Но потеря косушки беспокоила, видно, его больше всего на свете.

— Как тебя угораздило на ту сторону залезть?

— А как тебя угораздило водку в цех тащить? Мочеморда.

— Ты, я погляжу, язва! Не зря твой земляк рассказывал, какой ты вредный парень.

— Это правда, я вреден для тех, кто Советское государство обманывает. Таким вредным был, есть и буду. А то, что Тиктору и тебе это не нравится, — мне наплевать. Я вам подпевать не буду. А если тебе не по душе порядки на советском заводе, убирайся вон отсюда, пока мы тебя сами не попросили.

...Кашкет и в самом деле с обеда ушел неведомо куда: то ли в амбулаторию — больничный лист просить, то ли по увольнительной. А вскоре Федорко, пробегая цехом, на ходу бросил мне:

— Я отпустил твоего напарника. Формуй сам. Турунда поможет тебе залить.

И вот после всех передряг с Кашкетом наступили блаженные часы.

Набил пару низков, повтыкал туда стержни — перебегаешь к другой машинке и формуешь верхи.

Я был благодарен этим минутам еще и потому, что, когда мчался цехом от камельков, держа в клещах пылающие плитки, в мозгу блеснула счастливая мысль.

«А что, — думал я, набивая, — если по этим же трубам, по которым сейчас проходит к любой машинке сжатый воздух, пустить такой же воздух, но предварительно подогреть его? Пускай идет подогретый воздух по цеху, разветвляется до каждой машинки и нагревает заодно модели. От общей магистрали можно сделать отвод, привернуть к нему краник, а к кранику — резиновый шланг с медным наконечником. Понадобится тебе воздух для обдувания модели — повернул отводной краник, и тем же горячим воздухом прекрасно сметешь ненужный тебе песок. А все остальное время воздух работает на подогрев. И как просто сделать это! Надо только запаять пазы под моделями, устроить доступ для проходящего воздуха, и модель все время будет горячая. А чего мы достигнем? Многого! Литейщикам уже не надо покидать свое рабочее место и бегать до камельков. Они не будут больше простужаться, выскакивая разгоряченные во двор, особенно зимней порой. Станет соблюдаться правильно ритм формовки. Да и сколько коксу можно сохранить для государства, если мы навсегда уничтожим камельки!»

Охваченный счастливыми мыслями, формуя изо всей

силы на машинках, я не увидел, как ко мне подошел Федорко. Он притаился в двух шагах за моей спиной и наблюдал, как я формую.

Я заметил мастера лишь после того, как тот громко спросил Турунду:

— Ну, Лука, что ты скажешь о своем соседе? — И Федорко кивнул на меня.

Турунда отложил трамбовку, утер потное лицо и сказал:

— Я, Алексей Григорьевич, думаю — толк будет. Старательный он и подладился быстро.

— Так вот, Манджура, — сказал Федорко, растягивая слова, — испытание твое кончилось. Пошабашишь — заходи в контору, там тебе выдадут расчетную книжку. Поставлю тебе пятый разряд. А дальше видно будет!.. Не мало?

— Ладно, Алексей Григорьевич, хватит. Спасибо вам! — И я крепко пожал руку мастеру.

...Уже многие пошабашили, а я все набивал и набивал, чтобы не стоять зря в ожидании, пока Лука с Гладышевым зальют свои опоки. Огромное облако пара поднялось возле опорожненной вагранки.

Горновые выбили низ вагранки, оттуда в глубокую яму вывалился полуобгоревший кокс, покрытый чугунными корочками и липким шлаком, будто орех в сахаре.

Всю эту огненную кашу уже поливали из брандспойтов. Слышно было, как шипели глыбы кокса. Он постепенно делался багровым, потом — темно-малиновым и, наконец, почернел.

По соседству, в клубах пара, вырываясь из другой вагранки, искрилась струя чугуна. Она хлестала в новые ковши. Все уже дымилось вокруг, и парно было, как в бане на третьей полке. И хотя мне довелось таскать ковши с Турундой в самые последние минуты, никогда не работалось так легко, как именно сейчас, на исходе рабочего дня. Спокойные и немного торжественные слова мастера все еще звучали в ушах. Они утверждали за мной прочное место в этом цехе.

Залитые солнцем улицы сменяли одна другую. Чумазый, с потеками пота на лице, гордо шагал я посередине мостовой, а в боковом кармане куртки уже лежала новенькая расчетная книжка с печатью и моим рабочим

номером. В ней было четким, размашистым почерком написано, что формовщик Василий Миронович Манджура имеет пятый разряд. Мне хотелось показать эту книжку каждому прохожему, хотя один вид мой, без всяких документов, мог подсказать, что я принадлежу к великой рабочей армии.

Жара была незаметной после зноя литейной. Силился я продумать еще раз свой план: как можно изменить подогрев машинок. Но сейчас, на улице, мысли эти разбежались, и трудно было привести их в порядок. «Ладно, главное придумано, а остальное придет позже!»

На повороте с улицы Магеллана на Приморскую меня догнала Анжелика.

— Здравствуйте, Василь, — бросила она, тяжело дыша. — Вы бежите, как на пожар!

— Здравствуйте, — буркнул я. — Бегу, потому что грязный. Помыться хочется!

— Скажите, вы на меня сердитесь?

— С чего вдруг?

— А почему вы не заходите?

— Времени не было.

— Я оставила вам записку. И с друзьями вашими говорила. Неужели не передавали?

— Передавали! — сказал я хмуро, стараясь быть с Ликой как можно строже. И подумал: «Уж лучше бы ты не заходила, а то житья нет.Совсем заклевали меня: «жених» да «жених»! Глаза нельзя повернуть в сторону соседней усадьбы — немедленно хлопцы начинают улыбаться.

Сашка Бобырь раздобыл где-то пучок флердоранжа, каким украшают новобрачных, и, пока я мылся у колодца, воткнул мне его в петлицу пиджака. Хорошо еще, я заметил вовремя, а то вышел бы так в город, на посмешище людям!

Помолчав, Лика сказала:

— Все-таки невежливо. Я первая даю о себе знать. Захожу к вам, чего никогда раньше не делала. А вы... Приличие же требует!

— Знаете что, Лика, — отважился я, — боюсь, что с вашими приличиями нам не по пути!

— Неужели я так безнадежна? Беспринципное существо с мещанскими наклонностями? Так прикажете вас понимать?

Я понял: Лика хочет вызвать меня на откровенный разговор.

Заводить с ней дискуссию не хотелось, и я уклонился от прямого ответа.

— Да как знаете. Вам виднее!

— Все мое несчастье, Василь, заключается в том, что я не могу на вас сердиться.

— А вы рассердитесь, — сказал я безразлично.

— Трудно... — протянула Лика. — И я было подумала...

— Что?

— Вот кто выведет меня на верную дорогу...

Приближалась моя ограда. После трудового дня в литейной я никак не мог настроить свое сердце на лад Анжелики. И я отрезал:

— Вы попросите Зюзю. И удар у него пушечный, и чарльстонить может, и всем приличиям обучен. Вот кто подойдет вам в воспитатели. Пока!

С этими словами я помахал ей шершавой ладонью, а другой рукой сильно толкнул впереди калитку...

Первым откликнулся на мое письмо Моня Гузарчик. Оно и понятно: Харьков был рядом, ночь езды. Монька писал:

«...Полученная весточка принесла мне много радости и морального удовлетворения. Все наши мелкие дрязги уже забылись. Осталось в памяти одно хорошее. И шут с ним, что вы не хотели меня принять в комсомол из-за той бабушки, которую я даже и в глаза не видел. Комсомольцем я таки буду! Я работаю здесь на Харьковском паровозостроительном заводе. Ты знаешь, сколько здесь рабочих? Ведь не поверишь! Больше десяти тысяч. Наш «Мотор» по сравнению с ХПЗ — это сельская кузня...

Мне было очень странно читать твои слова о том, что вам «пришлось повоевать», прежде чем вас приняли на завод имени лейтенанта Шмидта. А меня безо всяких — стоило только показать путевку — зачислили в дизельный цех, и тут-то я впервые увидел, как собираются громадные машины для выработки электроэнергии — дизели. Ты не можешь представить, Василь, какой великан этот дизель! Движок, что попыхивал у нас в подвале фабзавуча, приводя в действие токарные станки и циркулярную пилу, — сморчок по сравнению с нашим двигателем. Могу сказать вполне откровенно: работа иск-

лючительно интересная, и я весьма удовлетворен ею. (Всякий раз, когда я пишу слова «удовлетворен», мне вспоминается наш фабзавуч и Бобырь, который однажды написал это слово «уледотворен».) Как он, наш дружок, чувствует себя у моря? Передай ему мои наилучшие пожелания.

Меня сразу же направили в бригаду из шести человек. Живу далеко — километров девять от завода, но этого расстояния не замечаю. Наоборот даже: приятно ехать через столицу трамваем и разглядывать в окно ее улицы. Приезжаю пораньше, готовлю инструмент. Мастер Иван Петрович Колесниченко похвалил меня однажды: «Вот, — сказал, — Монька хотя и подолянин, недавний фабзавучник, но старается не хуже наших». Люди в бригаде подобрались хорошие, большей частью старички. Один из них было пробовал подшутить надо мной и послал в инструментальную, чтобы я ему принес какое-то «бигме». Я кричу, требую, а потом оказывается, что «бигме» — это выдумка, такого инструмента вообще нет. Посмеялись надо мной здорово!

Среди кадровых рабочих дизельного цеха есть немало таких, которые сами революцию делали. И не только Советскую власть на Украине укрепляли, но еще в майскую стачку 1902 года бастовали, в 1905 году полицейских били. Настоящий пролетариат! Они рассказывали мне немало о боях харьковских рабочих против царизма. Вот вчера кончили мы работу и выходим из цеха со сборщиком Левашовым — лет ему уже под шестьдесят. Видим — трамваи битком. Он и говорит мне: «Давай, Моня, пойдем пешочком до центра». Побрели мы с ним, и я нисколько не пожалел, что согласился на такую прогулку. Идем, а старик рассказывает мне, как готовилось в Харькове восстание, как приезжали делегаты ЦК большевиков из Питера. Уже в центре, на площади Розы Люксембург, там, где проезд с площади на Университетскую, Левашов показал мне, где помещался штаб восстания, откуда подносили боеприпасы, где подстрелили первых полицейских, где соорудили баррикаду...

Порядки здесь иные, чем в нашем городе. Помнишь, как прорабатывали у нас даже беспартийных за то, что они носили галстуки? Тут — совсем обратное. Молодежь ХПЗ, и особенно нашего дизельного цеха, не счи-

тает зазорным хорошо, опрятно одеваться. «Дело совсем не в галстуке, — говорят здесь, — а в том, какое нутро у человека под тем галстуком». После работы молодые хлопцы моются, переодеваются во все чистое и уже тогда едут домой. Правильная постановка вопроса! А то другой нередко как бы нарочно, чтобы доказать всем, что он рабочий, влезает в мазутной спецовке в трамвай и всех пачкает, вместо того чтобы оставить робу в цехе.

В дизельном большая комсомольская ячейка. Пока я — посещающий. Когда я рассказал секретарю, почему вы не приняли меня в комсомол, он посмеялся и сказал: «Да ты и вовсе мог от рук отбиться!» И посоветовал мне вскорости подать заявление. Так-то, Василь!

Ну, кончаю. Напишут тебе хлопцы, Василь, — как можно скорее пришли мне их точные адреса. Передай Маремухе с Бобырем мои наилучшие пожелания».

Я прочитал это письмо стоя, не переодевшись. И хотя Монька намекал на прежнее отношение к нему, сразу ушли в тень сегодняшние неприятности: и стычка с Кашкетом и слишком, быть может, грубый разговор с Анжеликой.

Вытряхивая песок из башмаков в сарайчике, я подумал, что неплохо бы у нас в литейном завести харьковские порядки. Какой смысл шагать через весь город в грязной, местами прожженной робе, когда можно там, у нас, помыться, переодеться и, подобно томильщикам, возвращаться с работы чистыми!

Вспомнилось, как, разряженные, проходили мы еще совсем недавно улицами весеннего города, лузгая семечки и грызя кокошки, и как нагнали нас Фурман с Гузарчиком и сообщили о том, что прибыли путевки для выпускников фабзавуча на заводы Украины. Совсем недавно это было, а сколько нового произошло в жизни каждого из нас с того субботнего вечера и как твердо мы уже стали на ноги!

«Милый, родной город! — думал я, плескаясь, как утка, подле колодца. — Увижу ли я тебя когда-нибудь вновь? Пройдусь ли Прорезной, слушая шелест листвы? Заберусь ли на зубчатые стены Старой крепости и гляну ли оттуда, с ее валов, на широкие просторы моей Подолии, на весеннее половодье Смотрича? Разбрелись мы по Украине с путевками в новую жизнь, и вряд ли

суждено нам встретиться снова над скалистыми обрывами старинного города и пройти с песнями и факелами по темным урочищам до быстрого Днестра».

ПОРУЧЕНИЕ КОЛОМЕЙЦА

«Дорогой Василько!

Прости, дружище, что не ответил сразу. Запарился! Что называется — полные руки работы. Уехали вы на заводы, опустел наш фабзавуч; казалось бы, можно и нам позагорать на скалистых берегах Смотрича. Но мы решили иначе. Раз партия призывает нас перейти развернутым фронтом в наступление на частника и все силы бросить на индустриализацию страны, имеем ли мы право в такое горячее время каникулы устраивать?

Собрал я комсомолят первого года обучения, Полевой пригласил в школу педагогический персонал, и на общем собрании мы решили обновить нашу школу собственными силами.

Больше месяца, изо дня в день, мы являлись в фабзавуч и приводили в порядок помещения, заготовляли новый инструмент, расширяли цехи. Не узнал бы ты, Василько, и своего цеха сейчас! Литейная твоя побелела изнутри и снаружи. А у входа Козакевич воспроизвел на стене в увеличенном размере эмблему профсоюза металлистов. И сейчас прохожие сразу догадываются, что в этом чистеньком здании, где когда-то заседали казначейские «делопуты», варится чугун. А помнишь кладовку возле слесарной? Нет ее уже и в помине! Мы снесли деревянную переборку и на освободившейся площади установили еще три верстака с тисками. Таким образом выкроено еще девять рабочих мест для обучения индустриальной смены. Что это значит, вдумайся, а, Василь? Это значит, что осенью мы сможем принять на девять человек больше хлопцев и девчат, которые бы захотели дружить с зубилом и ручником. А если каждый фабзавуч последует нашему примеру? Это уже будет целая дивизия промышленного пролетариата. Это наша, советская молодость, помноженная на технику, на социалистическое отношение к труду, на умение разбираться в чертежах и по этим чертежам строить будущее!

Мне очень радостно за вас, что директор завода оказался подлинным большевиком и отнесся к вам чутко, так, как и подобает красному директору, и принял вас на завод сверх установленной брони. Из твоего письма, Василь, я заключил, что у вас теперь установились отличные отношения с коллективом комсомола, что вас там уважают. Вот почему, дорогой, считая тебя попрежнему посланцем подольского комсомола на приазовском берегу, я обращаюсь к тебе, Маремухе и Бобырю с большой просьбой.

Помнишь, Василь, совхоз на берегу Днестра, где мы с тобой подружились еще в те годы, когда ты жил в совпартшколе? Есть решение бюро окружного комитета партии о передаче всего совхоза с его постройками и землею в распоряжение молодежной сельскохозяйственной коммуны. В этой коммуне мы будем готовить кадры молодых специалистов сельского хозяйства. А они, в свою очередь, покажут путь остальному крестьянству: как можно хозяйничать на новых, советских началах.

Приток добровольцев в коммуну огромный. Не только молодежь из Бабшина, Жванца, Приворотья, Устья, но и хлопцы из других районов, прочитав в газете «Червоный кордон» заметку о коммуне, засыпают сейчас окружком просьбами послать их туда.

Но вот беда! Все есть в той коммуне: пахотная земля, коровы, кони, молодые рабочие руки, азарт, желание посвятить себя сполна любимому делу, а инвентаря недостает! Наши комсомольцы-фабзавучники — я уверен в этом — смогут отремонтировать для подшефной коммуны плуги и бороны; работая сверхурочно, мы сделаем для коммунаров несколько соломорезок, но на этом наши возможности исчерпываются. А вместе с тем крайне необходимо снабдить коммунаров хотя бы пятью жатками-самоскидками. Само собою разумеется, жатки в централизованном порядке никто нам в середине года не пришлет. А как было бы здорово, если бы в дни сбора урожая наши коммунары выехали в поле на хороших, новых, советских жатках!

И когда я прочел в твоем письме фразу о том, что ваш завод делает жатки, в ту же минуту сверкнула в моем мозгу законная мысль: «Вот кто поможет молодой коммуне!» Да, Василь, крутись не крутись, а вы должны

помочь нам! В этом уверены заранее не только мы с Полевым, но и окружком комсомола.

Сходи в партийную организацию завода, к директору, объясни им, какое это будет иметь политическое значение, если на границе с боярской Румынией вырастет образцово-показательная молодежная коммуна. Скажи им... Да что я тебе буду толковать! Неужели ты не сможешь получить для нашей коммуны пять жаток? Проси, настаивай, призови на помощь Головацкого. Судя по твоему письму, он парень внимательный. Словом, Василь, на тебя смотрит весь фабзавуч, а с ним вместе и пограничный комсомол.

У вас может возникнуть вопрос: а кто же будет платить за оные жатки? Не журись на сей счет. Как только мы получим твою телеграмму с указанием суммы, которую надо внести, тут же перечислим деньги. Мы уже приступили к сбору средств для этой цели. Провели в театре имени Шевченко два шефских спектакля («Девяносто семь» и «Ой, не ходи, Грицю»), устроили там же костюмированный бал, подобный тому, какой проводили для сбора подарков червонному казачеству. Да и в окружкоме комсомола есть деньжата для коммуны. Словом, действуй, Василь, на полную мощность!

Да, чуть было не забыл! Ты спрашиваешь: нет ли новостей о Печерице? Есть, и большие! Но писать о них считаю преждевременным...

Приветы всем вам от Полевого, Козакевича и меня. Тебя велел приветствовать Дмитрий Панченко и просил передать, что он убежден в том, что вы с Маремухой и Бобырем оправдаете наши надежды относительно жаток.

С пламенным комсомольским приветом.

Коломеец».

Показываю письмо хлопцам. Бобырь прочел и буркнул нечто неопределенное. Маремуха почесал затылок и сказал:

— Нагрузочка досталась солидная. Купить пять жаток — не пять низок тюльки!

— А что же все-таки с Печерицей? — спохватился я.

— Цапнули его, верно! — сказал, загораясь, Бобырь. — Я же вам говорил, что видел его здесь.

— Здесь видел, а там цапнули? Чудеса! — сказал я, урезонивая Сашу. — Все очень туманно, словом...

— А ты забыл Коломейца? — сказал Маремуха. — Он всегда любил туман пускать, где надо и где не надо.

— Но что же делать, а, хлопцы? — спросил я, возвращаясь к поручению Коломейца.

— Иди к директору, что же иначе! — хмыкнул Бобырь, как бы осуждая меня за то, что я сам не могу понять такой простой истины.

— Давайте вместе.

— Сегодня я — пас, — сказал Бобырь. — У меня такая работенка в аэроклубе, что и ночи не хватит.

— А ты, Петро? — спросил я и с мольбою посмотрел на Маремуху.

— Я же тебе говорил, Василь, у нас занятия по техминимуму. Сам начальник цеха проводит. Разве я могу не прийти?

Но к директору я не пошел, а направился сначала за советом к Толе Головацкому.

Разумеется, я отлично помнил совхоз над Днестром, о котором писал мне Коломеец. Помню, каким таинственным он мне показался, когда мы подъехали к нему на нескольких подводах глубокой ночью. Сторожкие высокие тополя окружали усадьбу за белым каменным забором. Где-то в конюшнях лошади хрупали овсом. Из темноты двора возник сторож с берданкой в руке и, прежде чем раскрыть скрипучие ворота, долго допытывался, кто мы такие.

А разве можно позабыть когда-нибудь первый ночлег в том совхозе, в хрустящем сене, с винтовкой, прижатой к груди, под жестяным навесом, перехватывающим звезды? Или утренние купанья в быстрой и еще холодной с ночи воде Днестра? Или запах седой мяты возле куста крыжовника, который я разыскал случайно, бродя по запущенному саду?..

А как приятны были для меня поездки за почтой для совхоза в местечко Жванец по воскресным дням!

...Тянется в житах над Днестром пыльная проселочная дорога. Копыта буланого конька мягко утопают в пыли, оставляя позади серые облачка. Я покачиваюсь в скрипучем седле и вижу на другом, бессарабском, берегу окраинные домишки Хотина и развалины древней

крепости. Конек прядает ушами и все норовит захватить колосья дозревающего жита.

А еще приятнее возвращение обратно с пачкой свежих газет и журналов. Намотав поводья на руку, в полном безветрии, я разворачиваю «Бедноту», «Рабочую газету», «Молодого ленинца», «Червоного юнака», первые номера «Комсомольской правды» и «Безбожника». Быстро пробегаю названия статей и уже заранее прикидываю, что буду читать вслух сельской молодежи в красном уголке совхоза.

Полевой в то лето поручил мне проводить по воскресеньям громкие читки газет. Сперва я отказывался и даже не представлял, как это я могу, словно учитель какой, рассказывать новости из газет нарядным молодицам и парубкам. Ох, как трудно было провести первую громкую читку! Я не в силах был оторвать глаз от газетного листа и, сделав передых, чтобы спокойно взглянуть на собравшихся, пригладил рукою волосы. А потом все пошло как по маслу! И даже на вопросы стал отвечать.

И меня очень порадовало сейчас известие, что в столь знакомом мне селе возникает молодежная коммуна. Это будет здорово!

Ежедневно веселые молодежные песни будут перелетать в захваченную боярами Бессарабию. Вне всякого сомнения, маленький движок, дающий ток лишь до десяти вечера, коммунары заменят хорошей электростанцией и, кто знает, быть может, то, что писалось в газете «Беднота» о доении коров с помощью электрической энергии, и впрямь станет явью!

Я представил себе бывший помещичий двухэтажный дом, переданный молодежи, освещенный яркими огнями и звенящий песнями в часы досуга. Сколько молодых бессарабцев переплывет к нам на свет этих огней! Ведь на кого больше можно было надеяться тем подневольным людям, если не на нас! Другой надежды у них не было — только наше счастье, способное когда-нибудь, подобно пламени быстрого пожара, переброситься и в Бессарабию...

Но хорошо было размышлять так, шагая к Головацкому, и куда труднее было спуститься с небес мечты о будущем в сегодняшний день и выполнить просьбу Коломейца.

Головацкий тоже был заметно озадачен просьбой Никиты.

— Твой друг немного наивен, — сказал Толя, дочитывая письмо. — Думает, что это так просто — взял да и выложил пять жаток! Но, с другой стороны, такая пограничная коммуна — живое дело комсомола. И оставить письмо ваших друзей без ответа нельзя... Знаешь что: давай-ка махнем к директору!

— Разве он сейчас на заводе?

— А мы его дома навестим, — сказал Головацкий.

— Дома? - переспросил я. — А это удобно?..

— Отчего же? Мы по общественным делам идем! Иван Федорович не какой-нибудь буржуазный спец вроде Андрыхевича. Да к тому же он наш партийный прикрепленный Пойдем, пойдем, нечего стесняться!

Решительный тон Головацкого успокоил меня.

Однако я был озадачен, когда мы свернули от проспекта влево.

— Руденко не в центре живет?

— В Матросской слободке. Открытой всем ветрам сразу! Там издавна селились мастеровые завода. А Руденко, как тебе известно, в литейной до революции работал.

— А что, не мог он в центре города поселиться?

— Конечно, мог, — согласился Головацкий, — тем более что директорский дом пустовал тогда, да не захотел. «Зачем, — говорит, — мне все эти анфилады да прихожие? Мне и трех комнатушек хватит. Да и привольнее там, над морем, как на курорте!» — И Головацкий махнул рукой в сторону побережья, к которому мы приближались. — И Руденко верное решение принял, — продолжал Толя, — взял да и передал дом бывшего заводчика под ночной санаторий для рабочих нашего завода. Пошабашил рабочий со слабым здоровьем — и в этот дом. В одной из прихожих — шкафчик. Робу свою он вешает туда, раздевается — и под душ. Вымылся, а тут в другом шкафчике ему приготовлено чистое бельишко, халат, ночные туфли. Чистота вокруг, пища сытная, распорядок соблюдается строго, спят при открытых окнах и летом и зимой, вечером — культурные развлечения. А утром, по гудку, все из того санатория прямиком на работу.

— А семья у директора велика? — поинтересовался я.

— Он да жена.

— Детей нет?

— Одного сына махновцы зарубили Другой сын — летчик, комиссар эскадрильи Сейчас приехал к ним на побывку

— Погоди, мне Бобырь рассказывал, что летчик Руденко привез в аэроклуб учебный самолет...

— Это и есть сын нашего директора, — пояснил Головацкий. — Отчаянный парень! В прошлом году тоже свой отпуск проводил здесь. На байдарке махнул в Мариуполь. Ты себе представляешь расстояньице? А если бы его шторм подловил у Белореченской косы? Поминай как звали!

И мне стало понятно, почему с таким увлечением рассказывал нам Саша об этом летчике.

— Застанем ли мы Ивана Федоровича? — спросил Головацкий, сворачивая к мостику, переброшенному через канавку.

За каменным заборчиком из песчаника, в яблоневом саду стоял одноэтажный домик. Мы подошли к его открытому окну. Из дома доносились тихий разговор и звон посуды.

— Никак обедают? — шепнул Толя и, помедлив, постучал пальцем в оконную раму. — Иван Федорович дома? — спросил он.

Кружевные занавески распахнулись, и мы увидели загорелое лицо нашего директора.

— А, молодежь! Вот кстати! Я давно хотел отругать тебя, Анатолий.

— Меня? За что же? — удивился Головацкий.

— За дело! — сказал директор. — Но давайте сперва к столу.

— Спасибо, Иван Федорович, мы уже отобедали, — сказал Головацкий поспешно. — Вы продолжайте, а мы вас на бережку подождем.

— А вы без стеснений, присаживайтесь! — приглашал Иван Федорович.

— Нет, нет! — запротестовал Толя. — Мы там будем. — И он махнул рукой в сторону моря.

За низенькими, карликовыми яблоньками тянулся пустырь, густо поросший сизо-зеленой морской по-

лынью, бодяком, широколистыми кермеками, якорцами и крапивой. Здесь в изобилии росли молочаи, таволга и даже ветвистая гармала с желтыми цветами. Окруженная этой блеклой степной зеленью, почти у самого берега была вкопана дубовая скамеечка. Должно быть, в шторм ее захлестывало волнами.

Первым на скамеечку уселся Толя и, поворачивая ко мне свое продолговатое, гладко выбритое лицо, спросил печально:

— За что же он ругать меня собирается?

— Может, Иван Федорович пошутил, а ты уже в панику впадаешь! — утешил я Толю.

— Не-не-е-е! Он за что-то сердит.

В эту минуту позади послышались шаги. Почти вприпрыжку по зыбкому песку к нам шагал Иван Федорович. Он вышел в шлепанцах на босу ногу, в синих рабочих брюках, а рукава его сорочки были засучены до локтей, обнажая сильные загорелые, поросшие седоватыми волосами мускулистые руки.

— Так ты что же это, друг ситцевый, в заводскую столовую со своими комсомольцами носа не кажешь? — с ходу налетел директор на Головацкого и, присаживаясь около, обнял его за плечо.

Толя воскликнул:

— Иван Федорович!..

— Сам знаю, что Иван Федорович. Шестой десяток так величают. А ты вот вспомни лучше свои клятвы, когда столовую открывали: пока рабочие в перерыв будут кофе пить да чаевничать, мы, дескать, комсомольцы, будем общественную работу проводить — про положение трудящихся в Англии... А что получилось? Захожу вчера — никакой агитации. Прихожу сегодня — изо всех цехов люди, а тишина... Разве можно так обманывать?

— Каюсь... Грешен, Иван Федорович! — сказал Головацкий и, сдернув клетчатую кепку, наклонил голову так, что прядь его каштановой шевелюры коснулась скамейки. — Вы понимаете, отчего это получилось? Мы готовим сейчас обширную программу по борьбе с танцами. И все наши силы брошены на этот участок.

— Танцы — не главное, Толя, а частность. Главное для нас сейчас — производство, индустриализация,

сельское хозяйство, освоение культуры. И все силы нашего рабочего класса надо бросить сюда.

— Мы за этим к вам и пришли, Иван Федорович, — поспешно сказал Толя и шепнул мне: — Давай-ка письмо, Василь!

Протянул я письмо Коломейца директору завода, а у самого дыхание зашлось от волнения. Именно сейчас должна решиться судьба нашей просьбы! Руденко вытащил из кармана брюк стариковские очки в проволочной оправе и, напялив их на острый нос, принялся читать размашистую вязь почерка Никиты. Чем дальше читал, тем добрее становилось выражение его глаз, тронутых кое-где красными прожилками.

— Ладное дело задумали хлопцы, — промолвил он наконец, взмахивая письмом. — В таких вот коммунах можно воспитать вожаков крестьянства. И они поведут за собою массы, когда партия позовет нас на широкое переустройство сельского хозяйства. Но чем я могу помочь этому? — вот вопрос. Мне категорически запрещено самому сбывать продукцию. Я же не магазин по продаже сельскохозяйственных орудий!

— Ну, а если в виде исключения? — осторожно спросил Толя.

— Какое может быть исключение, вот смешной! Да меня за такие исключения из партии исключат, а управляющий трестом под суд отдаст. И так ведь недодаем плановую продукцию!

— Ну, а если мы сами сделаем жатки? — закинул удочку Толя.

— Кто это «мы»? Вдвоем с ним? — И директор кивнул на меня.

Толя обиделся:

— Конечно, не вдвоем. Вся заводская комсомолия. Молодые литейщики бесплатно в свободное время отольют пять комплектов чугунных деталей, а там дальше их примут, как по эстафете, комсомольцы и молодые рабочие остальных цехов. И увидите, Иван Федорович, жатки не хуже выйдут, чем у старичков. Я сам в томильную к печам стану и отожгу литье на пять с плюсом.

— Отжечь-то ты мастак, это я знаю, а вот откуда я для вас чугун возьму? Ты же знаешь, Толя, чугун-то меня и держит — как и всю страну, впрочем. Выпускай

наши домны чугуна побольше, сколько можно было бы еще таких заводов, как наш, построить! Основа ведь всего будущего — тяжелая индустрия, а она еще не размахнулась как надо и поджимает нас все время.

— Иван Федорович, родной! А тот металлолом, что мы на комсомольских субботниках собрали? Его же еще не заприходовали?

— Куда там! Давно уже под метелку все пошло.

Я перенесся мыслями на свою родину и представил себе скалистый город у днестровских урочищ. Немало старинных турецких пушек, ядер и другого металлического барахла находили мы в закоулках старинных усадеб, под отвесными скалами берегов Смотрича, под бастионами Старой крепости и на Цыгановке. А сколько всякого металлического лома более поздних времен валялось во дворе воинского присутствия, в бывшем духовном училище, в здании, где помещалась некогда духовная семинария! Одно время все эти металлические части начали было свозить на завод «Мотор», но прекратили эту затею, так как заводской двор не смог вместить весь чугунный хлам. И тут же дерзкая мысль пришла мне в голову.

— А что, если мы достанем вам чугун, товарищ директор? — сказал я решительно. — Вы разрешите нам сделать жатки?

— Если достанете чугун, товарищ литейщик пятого разряда, я охотно пойду вам навстречу, — сказал директор улыбаясь.

...Через полчаса с главной почты я отправил в родной город Никите Коломейцу такую телеграмму:

«Жатки можем сделать условии присылки нам чугунного лома тчк поднимай спешно городскую комсомолию сбора чугунных частей отправляй нашему заводу тчк крепко жмем руку желаем успеха *Анатолий Головацкий Василий Манджура Александр Бобырь Петр Маремуха*».

ПАМЯТНАЯ ПОЛУЧКА

День получки был приятен всем рабочим литейной. Из расчетных книжек, которые с утра разносил к машинкам цеховой табельщик Коля Закаблук, узнавалось,

кто и как поработал последние две недели. И уже с утра, еще до получения заработанных денег, литейщики прикидывали, какие обновки можно будет купить для семьи в магазине, сколько рублей отдать в кассу взаимопомощи, кто был ее должником.

Меня, недавнего фабзавучника, удивляли цифры в моей расчетной книжке. Подумать только! Какой-нибудь месяц работаю я в литейной, а уже меньше семидесяти рублей не зарабатываю. Такая получка казалась мне подлинной роскошью.

В дни получек особенно лихорадило у нас в цехе Кашкета. Уже с утра он был охвачен предвкушением того, как расшвырять свои денежки в пивной, забывая, что опять очнется на рассвете с мелочишкой в карманах и с гудящей от боли головой где-нибудь на сухих водорослях, выброшенных волнами на песчаную отмель.

Вот и сегодня — еще и солнце не взошло, а Кашкет, предчувствуя получку, плясал у своей машинки в красном платочке, затянутом на стриженой голове, и хрипловато напевал:

Надену я черную шляпу,
Поеду я в город Анапу
И сяду на берег морской
Со своей непонятной тоской...

Нынче мы формовали шестереночки. Деталька была капризная: чуть посильнее хлопнул трамбовкой — и треснул зуб, надо вываливать песок из набитой уже опоки. У этих прихотливых деталей мы с дядей Васей работали молча, редко-редко перебрасываясь словом. Но мой напарник, всем нутром ненавидевший прожигателей жизни и бесполезных трутней, подобных Кашкету, не удержался и буркнул:

— Он-то наденет шляпу! Черта лысого! На простую кепчонку денег не может наскрести, все в бутылку окунает, а тут «черна-а-ая шляпа»!

Перед нами по-прежнему хозяйничал вместе с Гладышевым Турунда.

И сейчас, кивнув головой в сторону Кашкета и хитро подмигивая мне, Лука сказал:

— Хорошо поет, а вот как-то сядет?

Промолвив это, Турунда глянул на цеховые ворота: там с помощью курьерши Коля Закаблук подвешивал

какой-то щит. Турунда — партийный прикрепленный к нашей молодой комсомольской ячейке литейного цеха — знал, что придумали комсомольцы.

Другие рабочие цеха, видимо, считали, что это вешают новый щит для объявлений, и до поры до времени не обращали на него внимания. Так, наверное, думал и Кашкет, допевая простуженным, осипшим голосом:

.. В тебе, о морская пучина,
Погибнет роскошный мужчина,
Который сидел на песке
В своей непонятной тоске...
Останется черная шляпа,
Останется город Анапа,
Останется берег морской
Со своей непонятной тоской.
И всякий, увидевший гроб,
Поймет, что страдалец утоп.

— Ох и браку же нынче эти страдальцы наколотят! — заметил Гладышев, обдувая из шланга машинку.

Шипящая струя сжатого воздуха коснулась моего лица, приятно его освежая.

— И как это вы у себя на Подолии, Василь, воспитали напарника под стать нашему Кашкету? — бросил на бегу Турунда. — Так, с виду, будто парень и ничего: крепок, плечист. Мы думали первоначально, что он будет над Кашкетом верховодить, а получилось наоборот: он к Кашкету подлаживается и в одну дуду дует.

Я понял, что речь идет о Тикторе, и с сердцем сказал:

— Знаешь, товарищ Турунда, если бы собрать разом все слова, которые мы обращали к Тиктору, — поверь мне, можно было бы любую колонию малолетних правонарушителей перевоспитать.

— Откуда же он такой твердый выискался, что королек? — вмешался Гладышев.

— Какой «королек»? — удивился я такому сравнению. — Это не королек, а настоящая кукушка!

— Королек, брат, не то, что ты думаешь. Это не птичка, — пояснил Гладышев. — Корольками у нас называют капли чугуна, не сварившиеся с телом отливки. И попадает, скажем, к примеру, такой королек в зуб шестеренки. Недоглядели его в обработке, пустили

шестерню в дело — и, глядишь, в самый трудный момент целый зуб возьми да и выкрошись от паршивой такой капельки!

— На войне, скажем, в самолете! — поддержал напарника Турунда. — И весь самолет с летчиком бабах вниз!.. Скажи, Василь, а может, он из бывших? Дворянин какой или сын пристава? А может, духовного звания?

— В том-то и штука, что нет, — буркнул я с досадой. — Сын железнодорожника, машиниста... Батька Тиктора честно на паровозе ездил, — добавил я, желая быть справедливым к своему недругу.

Уже в разных концах цеха пламенели, остывая в опоках, литниковые чаши, а выбойщики собирали повсюду скрап, чтобы не попал он в формовочный песок; уже мы с дядей Васей, да и многие соседи наши натирали графитной мазью штыри и штифты на машинках, чтобы предохранить их от ржавчины, когда из конторки вышел Коля Закаблук.

Оговариваюсь: недолюбливал я его вначале, как недолюбливал, впрочем, и других молодых рабочих, стремящихся быть только служащими.

И я был удивлен, узнав, что эта «чернильная душа» — старый комсомолец.

Когда комсомольцы литейного цеха выбрали меня секретарем, я начал поближе знакомиться с каждым из ребят. Знакомился и тут же прикидывал, кому какое поручение дать. Рослый, плечистый выбойщик Гриша Канюк взялся редактировать газету «Молодой энтузиаст». Шура Даниленко, формовщик стержней, ежедневно разносивший их по всему цеху на железных листах, согласился в обеденные перерывы читать у себя в шишельной вслух газеты и журналы. Нашлась работа и для других комсомольцев.

Но что придумать для единственного служащего в ячейке Коли Закаблука, когда я относился к нему с таким предубеждением? Не только галстук, но и аккуратный пробор в его жестковатых светлых волосах раздражал меня. Позже я понял: как же можно ошибиться в человеке, составляя мнение о нем по внешнему виду!

Разговорились мы с Закаблуком, и оказалось, что этот коренастый паренек с таким количеством веснушек на лице, что они переползали даже на его узкие, поджатые губы, вовсе не врожденный бумагомаратель. Он занят этим скучным делом по необходимости.

Коля Закаблук стучал на машинках, формуя детали для жаток, с того дня, как завод был пущен в ход Советской властью после разгрома Врангеля. Условия работы в литейной в те послевоенные годы были куда хуже нынешних. Формовали первое время, как и при царизме, без всякой вентиляции. Не мудрено, что в кромешной пыли да в чаду Закаблук подхватил чахотку. А питание известно какое тогда было: тюлька да хлеб из дуранды. Голод в Поволжье давал знать себя и в Таврии.

Легче стало Коле Закаблуку и другим болезненным хлопцам лишь после того, как старый литейщик Иван Руденко стал красным директором, а бывший старорежимный инженер Андрыхевич, командовавший заводом после Джона Кейворта, отошел на второй план. На заводе появился собственный амбулаторный пункт, провели вентиляцию, доктора стали периодически осматривать рабочих. Но больше всего, по словам Закаблука, ему помог тот самый ночной санаторий, который открыли по приказу Руденко в доме бывшего заводчика Кейворта. И когда Колю подкормили в том санатории да «заштопали» ему легкие, врачи разрешили ему работать, но пока не у машинки. Так бывший формовщик Коля Закаблук принялся орудовать арифмометром...

В день получки, о которой я веду речь, Коля Закаблук, видя, что заливка близится к концу, вынес из конторки продолговатый ящик с пакетами, в которых были разложены деньги. К этому времени из расчетных книжек, розданных утром, литейщики, формовщики, шишельники уже знали, сколько им причитается получить заработной платы.

Одну за другой обходил Закаблук машинки, перепрыгивая через кучи песка, минуя дымящиеся опоки. Он знал каждого рабочего в лицо и, подходя к его рабочему месту, мигом выдергивал приготовленный для него пакетик.

Формовщик, вытирая руки от прилипшего к ним песка, принимал конверт и расписывался в тетради.

Мало кто пересчитывал деньги: всему цеху было ведомо, что Закаблук надежный парень и никого никогда не обсчитает.

Закаблук улыбнулся, показывая мне оба ряда белых мелких зубов, и, задерживаясь на секунду у наших машинок, шепнул:

— Будут скандалить — подсобишь, а, Василь?

— Ясно! — пообещал я. — Но, смотри, сам держись твердо!

Закаблук быстро пошел к соседям.

Вскоре он вынырнул у машинок, подле которых суетились Кашкет и Тиктор. Не задерживаясь подле них, Закаблук быстро прошел мимо, к вагранке.

— Эй, эй, Коленька, не обходи друзей! — зашепелявил Кашкет. — Давай сперва сюда заворачивай со всей своей шарманкой!

Закаблук обернулся на этот крик. Лицо его было напряженно. Блеснув зубами, он сказал громко:

— Прогульщики и бракоделы получают деньги в последнюю очередь!

— Тю! — свистнул от неожиданности Кашкет. — Что за новости?

— А вот такие новости! — отрезал Коля и поспешил к вагранке. Там его уже ждали горновые в широкополых шляпах.

Кашкет засуетился пуще прежнего, подгоняя своего напарника и обмениваясь с ним короткими и злыми фразами. Они быстренько пошабашили, и Кашкет помчался в контору жаловаться.

Тем временем мы обдули машинки, разложили на полочке гладилки, ланцеты, крючки, душники, ковшик с водой и помазком — все чин по чину, чтобы можно было поутру приступать к формовке без промедления.

Приятно было, как всегда, пошабашив, помыть под краном блестящую лопату, а потом, нагрев ее над малиновым слитком чугуна, медленно обсыпать днище молотой канифолью. Желтоватая канифоль растекалась по днищу лопаты липким глянцевитым сиропом. Запахи сосновой рощи, высоких чешуйчатых деревьев, истекающих смолою в жаркий августовский день, чудились мне и заглушали все другие запахи литейной. Канифоля лопату, я не заметил, как к щиту, прибитому Закаблуком в цехе, быстро подошел Гриша Канюк: он раз-

вернул и приколол на щите первый номер нашей газеты «Молодой энтузиаст».

Под броской надписью «Рекордсмены брака в литейной» была помещена заметка и нарисовано несколько выстроившихся в ряд фигурок. Полураздетые, как борцы, важно выпячивая увешанные косушками груди, шествовали они в церемониальном марше к одной цели: их влекло к огромной бутыли с черепом на этикетке, наполненной голубоватой жидкостью. Как и следовало ожидать, в числе бракоделов и прогульщиков шли к заветной бутылке чубатый Тиктор и юркий загорелый Кашкет, похожий в своем нелепом красном платочке на испанского пикадора.

А под карикатурой было написано:

«По просьбе всех честных тружеников цеха с нынешнего дня бракоделы, прогульщики и дезорганизаторы производства получают заработную плату в особом порядке».

И в ту же минуту появился со стулом и маленьким раскладным столом Закаблук.

Он быстро развернул на столике ведомости и, сев на стул, застыл в ожидании, как в своей конторке. Он готов был немедленно рассчитаться со всеми бракоделами.

Откуда ни возьмись, у цеховых дверей появился инженер Андрыхевич. По давней привычке он носил инженерскую фуражку с высокой тульей и с молоточком и разводным ключом на бархатном околыше. Завидя главного инженера, литейщики расступились и дали ему дорогу.

Высокий, костлявый, с сединой на висках, резко оттененной зеленым околышем фуражки, Андрыхевич остановился перед стенновкой, посмотрел на столик и презрительно бросил:

— Что это за выдумки? Позовите мастера!

— Я здесь, Стефан Медардович! — откликнулся Федорко, видимо вызванный сюда кем-то из обиженных прогульщиков.

— Почему вы допустили это? — крикнул на мастера главный инженер.

— Я думал... Я решил, что это по общественной... линии...

— Никаких «общественных линий»! — ядовито,

с прищуркой процедил Андрыхевич. — Производство есть производство. Немедленно снять эту мазню!

Много пришлось пережить мне в эти минуты. Сейчас мог провалиться весь план нашего наступления на бракоделов и дезорганизаторов производства. И, набираясь отваги, я быстро шагнул к инженеру.

— Убирать стенную газету мы не позволим! — выкрикнул я срывающимся голосом.

Добрую минуту Андрыхевич разглядывал меня молча, шевеля мохнатыми бровями и, видимо, припоминая нашу первую встречу.

А потом, припомнив, решил действовать обходными путями.

— А-а-а! Строитель нового мира! Здравствуйте, любезный! — промолвил он с напускной шутливостью и подал мне морщинистую руку с массивным золотым перстнем. — Теперь разрешите вас спросить, молодой человек, от чьего имени вы протестуете? — продолжал инженер, явно желая меня унизить. — По собственному почину? Или в порядке известного уже мне юношеского противоречия?

— Я возражаю от имени цеховой ячейки комсомола! Стенная газета выпущена нами, и вы не можете ее запрещать.

— Позвольте, голубчик! Но разве комсомольская организация правомочна своевольничать и нарушать трудовую дисциплину? — спросил инженер.

— Кто нарушает трудовую дисциплину? Мы?! — возмутился я. — Это они нарушают трудовую дисциплину — прогульщики, бракоделы, те, что тянут нас назад!

— Потише, потише, юноша! Умерьте ваш пыл! Я еще не оглох, и кричать мне не надо. Тем более — пора революционных митингов миновала. Я завел сей разговор вот к чему. Пока я здесь главный инженер. Я приказываю мастеру убрать этот листок. А вы — лицо, не обладающее ни опытом, ни административными полномочиями, — вмешиваетесь в мои действия, повышаете тон, грубите. Как это прикажете понимать? Разве это не нарушение трудовой дисциплины?

Злорадное, уже торжествующее полную победу лицо бракодела Кашкета виднелось рядом, а передо мною ехидно блестели зеленоватые глаза Андрыхевича.

Но я еще не сдался:

— Вопрос о порядке очередности получения заработной платы, Стефан Медардович, согласован с директором завода товарищем Руденко и с нашим заводским комитетом профсоюза. Тот, кто работает лучше всех, получает зарплату в первую очередь. И мне кажется, что главный инженер также должен выполнять волю директора, а не противоречить ей.

— Я ничего не знаю о таком согласовании, — буркнул Андрыхевич. — Директор не говорил со мной.

— С вами не говорил, а со всеми членами бюро общезаводского коллектива комсомола говорил. Иван Федорович одобрил все наши меры... а стенгазету — в первую очередь.

— Я это еще выясню! Так легко вам эти фокусы не пройдут! — явно теряясь, хмуро пробурчал Андрыхевич.

Возле меня появился Турунда. Обращаясь к инженеру, он сказал миролюбиво:

— Стефан Медардович, я могу поручиться, что Манджура говорит правду и не собирается вас обманывать. Я заявляю это не от себя лично, а от партийной организации. Мы полагали, что вы нам спасибо скажете, а тут такое разногласие...

— Это мы еще посмотрим! — угрожающе бросил инженер, не дослушав Турунду. Он поправил фуражку с лакированным козырьком и торопливо вышел из цеха.

— Шесть — ноль в нашу пользу, Вася! — выкрикнул Закаблук, как только захлопнулась скрипучая дверь за инженером.

— Слушай ты, комсомолист! — подойдя к нему вплотную и обдавая водочным перегаром, прошамкал Кашкет. — Чего ты ко мне прилип? Язык у тебя сорочий, охотник ты тарахтеть всякое, только затея твоя ни к чему. Я скорее удавлюсь, чем здесь деньги получу. Несите их мне до машинки!

— Ну и не получай! Кланяться не будем! — поддержал Турунда. — Заводоуправление переведет их тебе в сберкассу.

— У меня нема книжки. Я не такой скопидом, как ты! — злобно кричал Кашкет.

— Вот и обзаведешься заодно книжечкой! А сер-

чать тебе нечего. Кто у нас короли бракоделов? Разве не ты со своим напарником? — в упор выстрелил в Кашкета Турунда, поблескивая быстрыми глазами. — Ребята дело здесь пишут. Раз тебя на брак тянет — имей и очередь особую... А то выкатывайся из цеха на море — волокушу тягать. Авось там подфартит больше!

— Да что же это такое, а, братва? Зажимают рабочий класс, а вы молчите? — завопил Кашкет, ища поддержки у смеющихся литейщиков.

Но ни у кого он сочувствия не встретил. Понемногу все стали расходиться.

И тут неожиданно столик с ведомостями закрыла чья-то спина: у Закаблука получал деньги пожилой вагранщик Чучвара. Незадолго до получки он прогулял целый рабочий день на свадьбе у кума, в Матросской слободке. Музыка грохотала на той свадьбе так, что на косе было слышно, а Чучвара на следующий день ходил сонный. Теперь он решил, не делая шума, взять получку да и убраться побыстрее с людских глаз, без лишнего позора.

— Почин есть! — громко сказал Коля Закаблук. — Кто следующий? Прошу поспешить.

И только теперь, впервые после шабаша, услышал я голос Тиктора. Молчаливый доселе и какой-то приунывший, Тиктор дернул Кашкета за руку и сказал:

— Нечего кобениться! Брак был? Был! С обеда прогулял на трех роликах? Прогулял! Получай деньгу — и уходи!..

Цех опустел сразу, как только Кашкет со своим напарником, проявившим на сей раз благоразумие, получил заработную плату. Мы шли к проходной вместе с Турундой и Закаблуком, и, помнится, Лука бросил невзначай:

— Глянь-ка, Василь! А ваш-то подолянин присмирел, увидя себя в такой компании. Подействовало! Не такой он отпетый.

Лука был прав. Я-то думал, что как раз Тиктор начнет бузить больше всех, завидя свой портрет в газете. Случилось обратное, и к лучшему.

Взволнованный схваткой с Андрыхевичем, шагал я вместе с товарищами к заводским воротам и думал: «Теперь «папуленька» проработает меня, раба божь-

его, за обедом! «Такой-сякой, — скажет он доченьке, — чумазый твой поклонник! Поперек дороги мне стал. А мы его, шельмеца, пивом поили да осетриной угощали!» И конечно же, Анжелика станет нос воротить при встрече со мною. Ну и пусть! Ради ее прихотей принципы менять, что ли? Моя дороженька совсем иная: с Турундой, Головацким, Науменко и со всеми моими новыми друзьями в этом городе».

Согретый этими мыслями, я, крепко взяв Турунду под локоть, сказал:

— Почин сделали, Лука Романович! То-то разговоров будет в литейной!.. А сколько боев нас еще ожидает!

— Большое дело делаем, Василь, — серьезным голосом ответил Турунда. — Политика — это бои миллионов, — сказывали мне в рабочем университете. Одиночки в этой борьбе всегда проигрывают. А ведь нас миллионы!

ЗАПИСКА ПОД КАМНЕМ

Спустя два дня после появления в нашем цехе стенной газеты с заметкой о прогульщиках Маремуха, уходя после меня на работу, увидел на дорожке, ведущей к нашей калитке, придавленный тяжелым булыжником белый конверт.

Содержание письма заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«Слушай ты, хохол голопупый! Больно задирист стал сразу. Не ведаешь того, что батько Махно скоро-скоро прибудет со своей ватагой в родные края. Перебьем мы тогда крылышки всем партейным и комсомолистам. Так что сиди потише, а то еще лучше — убирайся, пока ноги целы, с попутным ветерком в свою Подолию, откуда тебя черти принесли. И пикни, гляди, кому об этом письме — пощады не жди. Враз хавку закроем!»

А вместо подписи — оскаленный череп и под ним перекрещенные две кости.

Когда мы вернулись с завода, Маремуха протянул мне конверт с этим письмом и сказал взволнованно:

— Гады, угрожают! Читай, Василь!

Пробежал я наспех это послание, написанное неровными буквами и, по всей видимости, левой рукой, и рассмеялся.

— Что за глупый смех, не понимаю! — буркнул Саша. Он, как деревенская бабка пряжу, наматывал на спинку двух стульев длинные и тонкие резинки для своего аэроклуба.

Я поглядел испытующе на одного, потом на другого и сказал:

— Вы меня, хлопцы, не разыгрываете?

Петр возмутился:

— Видал Фому неверующего! Он думает, что это мы ему от имени махновцев письмо послали! — И тут же Петро рассказал мне, как обнаружил конверт, прижатый камнем.

Доводы Петьки убедили меня. Да и в самом деле: разве пристало комсомольцам шутить так, подделываясь под врагов Советской власти?

— Кто же это написал, а, Василь? — наивно осведомился Маремуха. — Не из литейной ли кто?

— Ясно, из литейной. Кто-то из прогульщиков. Мы им на хвост наступили, а они теперь запугивают, — согласился я.

Бобырь полушепотом посоветовал:

— Раз ты уверен, что это Кашкет, — беги и заяви. Дело это политическое!

— Если бы я знал точно... Не пойман — не вор. Он отвертится, а я окажусь в глупом положении. Еще и на смех подымут!

Саша сказал очень уверенно:

— Ничего, ничего! Там разберут. Там умные люди сидят и до всего докопаются. По одному почерку всюду человека найдут.

— Василь, послушай, Саша говорит дело, — опять вступил в разговор Маремуха. — Письмецо это покажи кому надо. Там примут меры. Ведь это вылазка врага!

До позднего вечера мы обсуждали проклятое это письмо, заполнившее все наши мысли, и ни о чем другом не говорили.

Мы пришли к общему выводу, что не от хорошей жизни, не от силы, а скорее всего от слабости прибегают наши враги к таким подлым письмам.

Еще совсем недавно я очень обижался, когда меня считали мальчишкой. Как хотелось побыстрее перескочить юношеские годы, сделаться взрослым, таким, как Турунда или хотя бы Головацкий! Однако обидное прилагательное «голопупый», намекавшее на мои молодые годы, задело меня сегодня не столько, как оскорбительная и противная кличка «хохол».

...Бобырь и Петро уже давно не подавали голоса. Саша посапывал все больше и больше. Желтоватый месяц, похожий на ломоть тонко отрезанной тыквы, заглядывал в распахнутое окно. В городском сквере по случаю субботы все еще шумели гуляющие. С востока потянуло бризом, и заодно с легким дуновением ветерка я услышал звонкий стук щеколды. Заскрипел гравий под ногами человека, быстро идущего от калитки к нашему домику. Кто бы это мог быть? Хозяйка давно уже спала. Соседи в столь поздний час редко ее тревожили. Из окна я окликнул идущего.

— Телеграмма! Василию Манджуре, — отозвался тот снизу.

Опрометью бросился я по лестнице. И пока расписывался у почтальона и взбегал обратно в мезонин, разбуженные суматохой хлопцы зажгли свет.

Сонные, в одних трусиках, стояли они, поджидая меня, и лица их выражали нетерпение.

При свете лампы прочел я станцию отправления: «Синельниково». Что за чепуха! В Синельникове у меня решительно никого не было. А возможно, это мой батька решил проведать меня и едет из своих Черкасс в отпуск к морю?

— Да раскрывай ее скорей! Не мучай! — простонал Саша.

Внимая его совету, я разорвал синенькую заклеечку, и жесткая телеграмма с наклеенными ленточками букв раскрылась перед глазами, как маленькая географическая карта.

Печатные буквы запрыгали перед глазами. Их сочетание поразило меня своей неожиданностью, и я завопил:

— Хлопцы! Никита сюда едет!

— Никита едет к нам? Ты шутишь? Тут какая-то ошибка! — выкрикнул Маремуха, приподнявшись на цыпочки и через мое плечо заглядывая в телеграмму.

— Какая ошибка? Слушай! — И я прочел раздельно: — «Завтра полудню прибываю товарняком встречайте подготовьте немедленный прием груза тчк *Коломеец*».

— Как жаль, что я не смогу его встретить!

— С ума спятил? — набросился я на Бобыря. — Ты что?.. Не пойдешь встречать Никиту?

Бобырь жалобно протянул:

— Не смогу, Вася. Важное дело есть!

— Какие могут быть важные дела в воскресенье? — принимая мою сторону, сказал Маремуха.

Но Саша не сдавался и многозначительно заявил:

— Такие. Важные. Но пока они — тайна!

— Своего секретаря, Никиту, и не пойдешь встретить? Да он нам чугун везет, баламут ты этакий!.. Обязан быть на вокзале! В порядке комсомольской дисциплины. Понятно? — тоном приказа сказал Маремуха Сашке.

— А я не могу! — упрямо твердил Бобырь. — Как раз на полдень у меня такое назначено...

И ничего не помогло. Как мы ни укоряли Сашку, как ни стыдили его, что он встречу старого друга и воспитателя меняет на какое-то свидание, Бобырь оказался непреклонен и не поддался на уговоры.

На следующий день, прихватив с собою Головацкого, мы с Петром пришли на вокзал. Пассажирский из Екатеринослава пришел еще утром. Пустой зеленый состав давно угнали на запасный путь. Весовщики, стрелочники, буфетчик — все укрылись от полуденного зноя в прохладных комнатах вокзала, который еще не так давно был для нас, фабзавучников, новым и чужим. А сегодня приморская тупиковая эта станция с раскаленными от солнца, поблескивающими рельсами казалась родной и знакомой чуть ли не с самого детства. Как быстро можно освоиться в новом городе, если встретишь на своем пути хороших людей! Даже веснушчатый моложавый дежурный по вокзалу, похожий в своей красной фуражке на гриб мухомор, воспринимался мною как давно знакомый.

Вдали, у выходных стрелок, щелкнул, поднимаясь кверху, щиток семафора, и тонко загудели стальные

тросы в ящике, проложенном вдоль путей. Мы услышали далекий гудок паровоза.

«Какой-то сейчас Никита? Станет ли он по-прежнему беседовать с нами как старший или будет уже считать нас равными?» — думал я, напряженно следя за увеличивающимся клубочком паровозного дыма.

Товарный эшелон, влекомый тяжелым паровозом, летел из степей Таврии навстречу морским просторам. И вот, наконец, обдавая и без того накаленный солнцем перрон облаками горячего пара, паровоз промчался перед вокзалом — черный, маслянистый, лоснящийся от смазки и лака, пахучий и громоздкий, с молодым чумазым машинистом, выглядывающим из квадратного окошечка.

Коричневые платформы со строительным лесом, с ящиками неизвестного груза, засыпанные поташом и углем, мелькали перед нами, и я подумал, что конца-краю им не будет. Но вот на одной из платформ показалась фигура в соломенном капелюхе, не похожая на тех проводников, что нет-нет да и приветствовали нас флажками из тамбуров. Прошла секунда, другая, и мы узнали Коломейца. Одетый в синий комбинезон, он стоял на каком-то огромном станке.

Только наши взгляды встретились — Коломеец сорвал с головы капелюх и замахал им, приветствуя нас. Удивительно черный, сухощавый, с распущенными по ветру волосами, он что-то кричал, но стук вагонных колес глушил его слова. Не успел еще поезд замедлить ход, как Никита ловко спрыгнул на перрон.

— Здорово, хлопцы! — выкрикнул он.

Вначале Никита просто пожал мне руку, затем, поколебавшись мгновение, крепко обнял меня и расцеловал в обе щеки. От него пахло степными просторами, полынной горечью, таволгой и чабрецом. И с Маремухой он расцеловался. Тогда я представил Никите Головацкого.

Коломеец, весело глядя на Толю, жал ему руку:

— Слышал, как же! Василь писал мне о тебе. Спасибо за то, что приютили наших воспитанников... А вот жатки-то будут?

— А чугун будет? — также улыбаясь в ответ, спросил Толя.

Коломеец обернулся лицом к эшелону и показал

рукой на прицепленные к хвосту его три нагруженные платформы.

— Неужто не хватит? — сказал он не без гордости.

— Еще и останется! — определил Толя. — Но, я вижу, не дошли еще до ваших краев слова Феликса Эдмундовича: «С металлом обращаться, как с золотом». Целые залежи, видно, его у вас. А я, признаться, думал, что Василь маленько преувеличивает.

— До вашей телеграммы нам как-то в голову не приходило подобрать весь этот лом, — оправдывался Никита. — Спасибо, надоумили!

— И как вы все это быстро собрали! — удивился Петро.

— Надо быстро. Урожай не ждет. Ночью, при факелах собирали. Теперь вся надежда на вас!

— А что это за штука, Никита? — спросил я, показывая на разбитую чугунную станину, с виду напоминавшую основание огромного стола.

— Это, брат, не «штука», а машина для печатания денег!

— Не та ли, что в духовной семинарии стояла? — вспомнил я.

— Она самая! — подтвердил Никита и, обращаясь к одному только Головацкому, объяснил: — Видишь ли, в нашем городе задержалась однажды петлюровская директория. И вот немцы прислали тогда Петлюре из Берлина эту машину для печатания денег. Петлюра столько гривен и карбованцев на ней напечатал, что и до сего дня дядьки в селах ими светлицы вместо обоев оклеивают. Стояла потом эта поломанная машина в подвале сельскохозяйственного института. Получили мы телеграмму Василия — и давай по всем подвалам рыскать, металл собирать. А комсомольцы-студенты ее обнаружили за штабелями дров. Подойдет?..

Головацкий медленно, отчеканивая каждое слово, сказал:

— А не жалко такую махину на лом брать! Нельзя ли ее для какой-нибудь типографии приспособить?

— Думали. Прикидывали. Артель «напрасный труд»! — бросил Никита. — Немецкие инструктора как дали тягу с Петлюрой за Збруч, так с собою все

ценные части захватили, а станину эту подорвали. Вся она трещинами изошла. Новую легче сделать, чем ее чинить.

Я глядел на громоздкую станину, водруженную посредине платформы и притянутую к ее бортам канатами. Вспомнился мне далекий год гражданской войны, когда в городе, захваченном петлюровцами, прошел слух, что в духовной семинарии будут печатать новые деньги. Живо вспомнилось мне, как силком хотели петлюровцы и моего батьку, печатника, заставить под охраной гайдамаков печатать их размалеванные бумажки с «трезубами», скрепленные подписью главного петлюровского казначея, какого-то Лебедя-Юрчика. Отец закричал: «Я печатник, а не фальшивомонетчик!» — и был таков. Он ушел тогда в Нагоряны, к партизанам.

И вот снова проклятая машина, от которой убегал в те годы из города отец, встретилась на моем пути, но теперь она годилась только в переплавку.

Головацкий сразу же пошел к дежурному по станции и попросил его отцепить платформы с чугуном.

— Вы, друзья, ведите гостя домой. Он проголодался небось. Да и помыться ему не вредно, — сказал Толя, принимая от Коломейца накладные. — А я уж тут все сам протолкну!

— Да, помыться бы не вредно, — заметил Никита и погладил себя по загорелой щеке.

— Неужели ты на открытой платформе всю дорогу ехал? — спросил Маремуха, когда мы вышли на вокзальную площадь.

Лихо тряхнув шевелюрой, Коломеец сказал:

— Знатно ехал! Как бродяга у Джека Лондона! С той лишь разницей, что никто не сгонял меня с поезда. Ночью, на больших перегонах, проводники ко мне собирались, как в клуб.

Не без зависти я спросил:

— Весело ехалось?

— И не говори! Дом отдыха на колесах. Как солнце поднялось — спецовку срываю и давай загорать. Ветерком тебя провевает, а по сторонам пролетают полустанки, села, реки, поля, вся Украина!.. До чего ж богатая наша страна! Мы вечером к Екатеринославу подъезжали, так зарево над заводами во все небо! Вот

индустрия — даже дух захватывает! Словом, замечательная поездка у меня была. Подобного удовольствия я еще в жизни не испытывал!

— Никита, а что же все-таки с Печерицей? — встрепенулся Маремуха.

— С Печерицей?.. — Коломеец сразу сделал загадочное лицо. — Это, брат, длинный разговор. И ночи не хватит, чтобы все вам поведать.

В эту минуту на Кобазовой горе послышался какой-то нарастающий треск. Он все усиливался, перерастая в гул. Обратив взгляды в ту сторону, мы увидели, как с края горы внезапно сорвался и поплыл над городом небольшой аэроплан.

Аэроплан накренился, забирая еще круче, к морю, и мы увидели на небольшой высоте не только широкоплечего пилота в очках и кожаном шлеме, но и сидящего за ним позади второго человека — худенького, вихрастого и удивительно знакомого. Струя воздуха, бьющая от пропеллера, забрасывала назад и трепала его светлые волосы. Пассажир махал нам рукой, и Маремуха вдруг взвизгнул:

— Хлопцы, да это Бобырь! Верное слово, это он!

И, путаясь, сбиваясь, но не сводя глаз с самолета, Маремуха быстро рассказал нам, что вот уже две недели четверо комсомольцев из ремонтно-инструментального цеха что-то колдовали вместе с комиссаром Руденко возле учебного самолета, привезенного из подшефной эскадрильи. Все теперь становилось ясным: и частые исчезновения Саши по вечерам, и его таинственный отказ встречать Коломейца. Не будучи уверены в успехе, не зная, удастся ли им отремонтировать самолет, заговорщики из аэроклуба до последней минуты скрывали свой первый полет. Как же только они сумели перетащить тайком самолет из аэроклуба на Кобазову гору?

Между тем самолет удалялся в открытое море. Он был уже над волнорезом. Я следил за его полетом жадными глазами и — что говорить! — завидовал Саше. Очень хотелось быть сейчас в его кабине и с неба рассматривать наш городок, раскинувшийся на песчаном мысу. За минуту-другую Саша промчался над городом, а мы все шли и шли по проспекту и не добра-

лись еще даже до центра. А тут еще Коломеец разжег мою зависть:

— Неужели это Александр?

— Ну, конечно, он! — крикнул Маремуха. — Он как-то хвастался: «Я бортмеханик!» А я ему: «Какой ты бортмеханик, если ни разу не летал!» А он: «Увидишь — полечу!» И полетел! Смотрите, смотрите — к маяку повернули...

— Смелый, значит, парняга Бобырь. Выходит, не такой уж он трусливый был, каким мы его считали после злополучного дежурства у штаба ЧОНа. Чтобы так летать, нужны крепкие нервы и ясная голова. А он еще рукой машет, словно с крыши. Ничего не скажешь — обставил вас Саша! — сказал Коломеец.

Самолет уходил в синеву неба и был похож на большую стрекозу, нечаянно залетевшую в соленое море.

— На косе сядут, я вам говорю! — предсказал Маремуха.

И впрямь, самолет пошел над косой, но повернул обратно к городу, миновал курорт и, сделав круг над вокзалом, приветственно помахал крыльями.

— Да он с тобою здоровается, слышишь, Никита! — восторженно сказал я. — Думает, что ты еще на вокзале, возле того эшелона.

— Возможно, возможно... —взволнованно соглашался Коломеец, провожая взглядом самолет, взявший теперь курс обратно на Кобазову гору. Через секунду он скрылся за гребнем горы.

Пока наш гость медленно и неторопливо отмывал в море жесткую от дорожной пылищи шевелюру, мы с Петром делали в воде такие курбеты и прыжки, на какие способен лишь человек, до краев наполненный радостью. Я плотно сложил ладони и обстреливал Петруся каскадами водяных брызг. Он отфыркивался, глотая воду, пытался отбиваться, но безуспешно. Потом мы отплывали подальше, где вода была не так взбаламучена, и с разгона ныряли. Под водой я открывал глаза и видел сквозь зеленоватую толщу песчаные складки дна, ржавый обломок рыбачьего якоря, пучки водорослей, похожие на подводное перекати-поле.

Славно было купаться, сознавая, что рядом полощется давнишний друг Никита Коломеец.

Саша ворвался в комнату, когда мы, умытые и посвежевшие, ели втроем холодную окрошку с огурцами, приготовленную хозяйкой на ледяном и крепком хлебном квасе. Румяный от волнения, с лицом, забрызганным каплями масла, с грязными руками, Бобырь поздоровался с Коломейцем так, будто только вчера с ним расстался, и сразу спросил:

— Видал, как мы летали?

— Видал, видал, Сашок, и, признаться, не поверил сперва, что ты на такое способен! — подмигивая нам, ответил Никита.

Бобырь рассердился:

— Что? Не способен? Да мы проверим мотор как следует и в Ногайск махнем или в Геническ. В агитационный полет. Сам Руденко говорил. А я за бортмеханика. Да, да... Никому из хлопцев Руденко не доверил сборку мотора, один я с ним работал...

— Поздравляю, Сашенька, и верю, что не только до Ногайска суждено тебе летать. Раз взлетел — забирай выше и не останавливайся! — сказал Коломеец.

РАДОСТНАЯ НОЧЬ

Чугун, собранный подольскими комсомольцами, сгрузили.

Еще солнце стояло в небе, а уже мы, отобедав и немного отдохнув, собрались у копра и по указанию копрового машиниста принялись подтаскивать к решетке обломки старых дорожных машин, замасленные станины каких-то никому не ведомых станков прошлого столетия и даже ржавый, изломанный пресс для изготовления мацы. Его, сказал Коломеец, разыскали во дворе старинной синагоги комсомольцы-печатники.

Больше всего довелось нам потрудиться, пока заталкали за ограду копра чугунное основание печатной машины. Мы, обливаясь потом, напрягались изо всех сил. Даже старые вагранщики вышли помочь нам.

Наконец машинист закрыл двери ограды, и мы отбежали в сторону.

Тогда Толя Головацкий включил рубильник лебедки. Трос, повизгивая, потянул кверху грузную металлическую бабку. Вот она задержалась в вышине, под блоком копра, ясно заметная на розовеющей голубизне подвечернего неба. Толя нажал рычаг, и освобожденная бабка, рассекая воздух, понеслась вниз. Несколько раз пришлось гнать вверх эту тяжелую металлическую грушу и бомбардировать ею чугунные опоры до того момента, пока станина, задребезжав и крякнув, не разломалась на части.

— Добро! — вскричал Толя, отрываясь от рычага лебедки, и с удовольствием потер замасленные руки.

Самое тяжелое было сделано.

Вскоре, зайдя в огороженный квадратик двора под копром, мы обнаружили на месте машины груду чугунных обломков. Крупнозернистый, славный чугун поблескивал в изломах. Головацкий поднял обеими руками обломок станины на уровень глаз, поглядел в неровную поверхность излома, как в зеркало, и сказал Никите:

— Ладный чугун! Мелкий. Графита немного, зато фосфора и кремния вдоволь. Такой чугун плавиться будет, как масло, а детали из него много лет послужат!

И, пробуя силу своих мускулов, Толя выжал правой рукой обломок станины. Он вовсе не был похож сейчас на того опрятного секретаря, который так насторожил меня своим внешним видом при первом нашем знакомстве.

Чтобы, не ровен час, комсомольский чугун не спутали с общецеховыми запасами, Закаблук соорудил особую загородку: вбитые в землю колышки обтянул веревкой. Мы снесли в эту загородку тяжелые чугунные обломки, и, когда все содержимое трех платформ было готово к забросу в пасти вагранок, Закаблук привесил на веревке таблицу с надписью: «Чугун для молодежного субботника».

Я уже видел воочию: блестят и перекатываются над быстрым Днестром золотистые волны жесткой пшеницы. И, словно корабли, по этому желтеющему морю проплывают в пшеничных полях, стрекоча ножами, жатки, сделанные нашими руками.

Турунда заменял секретаря партийной ячейки литейного цеха Флегонтова, посланного дирекцией завода в производственную командировку в Ленинград. Изо дня в день советовался я с Лукой Романовичем, как лучше нацеливать нашу молодежь на производственные задачи, чтобы в мелочах и в больших делах была она надежной помощницей партии.

Лиха беда начало. Спустя неделю после того дня, когда я поспорил с инженером Андрыхевичем, в цехе появился второй номер молодежной газеты. Выбойщик Гриша Канюк потрудился на славу.

Высокий, плечистый парняга в кожаном фартуке и защитных очках стоял у кранового разливочного ковша и поворачивал его штурвал. Из носика ковша лилась струя расплавленного металла и писала букву за буквой, из которых составлялось название: «Молодой энтузиаст». Огненное это название сразу привлекало взгляды молодых и старых рабочих цеха.

Все заметки аккуратно отпечатал на машинке в заводоуправлении Коля Закаблук. Он был и автором двух из них.

В статье, посвященной режиму экономии, наш молчаливый табельщик хозяйским глазом прошелся по литейному цеху.

Ни цеховые кладовщики, ни Федорко, ни главный инженер завода Андрыхевич, писал Коля, еще не восприняли сердцем призыва партии бороться за режим экономии. «Подумал ли главный инженер, сколько свободной площади гуляет вблизи недостроенного мартена? А ведь стоит очистить запущенный плац от песка и скрапа — будет где установить формовочные машинки, больше года ждущие ремонта в кладовой литейного... А сколько набоек со сбитыми деревянными клинышками валяется на стеллажах! Меж тем всякий раз, когда недостает набоек, мастер Федорко шлет все новые и новые заказы в ремонтно-инструментальный цех. Инструментальщики расходуют дорогой металл, изготовляя для нас новые набойки. А не проще ли было бы насадить на старые железные рукоятки новые клинья и этим ограничиться?»

Подобных убедительных примеров Закаблук отыскал множество. Он без обиняков, прямо обвинял

администрацию в неэкономном расходовании графита, сульфитного щелока и патоки в шишельной. И он не только выискивал недостатки, а призывал рабочих бороться за каждую каплю чугуна, за каждую горсть жирного гатчинского песка, привозимого к нам издалека, за всякую надтреснутую опоку, которую при желании можно связать заклепками и пустить в ход без переплавки.

В заметке «Мягкосердечие мастера Федорко» Закаблук прогирал с наждачком Алексея Григорьевича за его примиренческое отношение к шкурникам и бракоделам. Коля резал правду-матку в глаза. Он писал, что достаточно какому-нибудь бракоделу пригласить мастера к себе на свадьбу или позвать его на крестины кумом, как Федорко готов смотреть сквозь пальцы на все проделки: «Если эти разгильдяи не захотят исправиться, — предупреждал Закаблук, — надо мастеру немедленно очистить от них литейную».

Свою заметку я подписал «Василь Киянка». Мне по сердцу пришлось это слово еще в фабзавуче. Киянкой обычно плацовые формовщики расталкивают модели, перед тем как осторожно извлечь их из песчаных форм. Так и я хотел своей заметкой растолкать ленивых и успокоившихся людей, от которых зависело развитие цеха.

Василь Киянка высказывал в газете «Молодой энтузиаст» давно мучившую его мысль: он предлагал упразднить кустарный подогрев машинок и вызванную им излишнюю беготню по цеху за плитками.

Нам помогло подробное письмо, которое прислал Турунде из Ленинграда секретарь партийной ячейки Флегонтов. Впечатления Флегонтова мы опубликовали в газете.

Он рассказывал о рационализации в литейной завода «Красный выборжец», о набивке форм сжатым воздухом, о точном разделении обязанностей между литейщиками и формовщиками. «А почему бы все это не применить у нас?» — спрашивала редколлегия «Молодого энтузиаста».

Флегонтов формовал у нас колеса для жатвенных машин. Среднего роста, приземистый, седоватый человек лет пятидесяти, он выполнял очень тонкую и кропотливую работу. Слишком медленными и осторожны-

ми показались сперва мне движения Флегонтова, когда я вначале следил за его плотной фигурой в холщовой робе и в казенных желтоватых ботинках. Очень уж подолгу возился он подле каждого раскрытого колеса, примачивал края формы внимательно и нежно, заглядывал с помощью зеркальца в узкие пазы будущего обода, проверяя, нет ли там мусора. В то время как мы на «пулеметах» набивали без оглядки опоку за опокой, устанавливая их добрый десяток на мягкую песчаную постель, Флегонтов со своим напарником успевал снять талями и соединить друг с дружкой всего лишь две половинки одной формы. Как-то раз я высказал Турунде свое мнение по поводу медлительного Флегонтова, на что он ответил мне:

— Больно прыток ты в своих оценках! Там, голубчик, не побегаешь. Колеса да корпуса — самые трудоемкие детали. Не случайно их формуют рабочие самых высоких разрядов. Почему, спрашивается? Да очень просто! Ты «запорешь» в горячке пяток шестеренок — досадно, но поправимо. А представь себе, что плохо заформовано такое колесо. Подумать страшно, сколько чугуна в брак пойдет, на переплавку!.. А Флегонтов — он большой мастер!

...Письмо партсекретаря в нашей молодежной газете с большим интересом было прочитано пожилыми рабочими, да и весь номер произвел сильное впечатление.

...В ту ночь, когда молодежь литейной решила выйти на работу не с четырех, а с часу, чтобы задолго до прихода всех рабочих успеть не спеша заформовать комплект деталей для производства жаток, посылаемых в коммуну над Днестром, я волновался страшно:

«А вдруг мы, молодые формовщики, не справимся с этими трудоемкими и опасными деталями! А ведь на них покоится вся жатвенная машина!» Но тревожить просьбами старших нам не хотелось. «Справимся собственными силами», — подбадривали мы себя.

Не успели мы приступить к работе, как со двора в цех вошли Турунда с Гладышевым, а затем по одному потянулись «старички» — кадровые рабочие, давно уже вышедшие из комсомольского возраста.

— Здравствуйте, Лука Романович! — воскликнул я,

останавливая Турунду. — Мы хотели было на ваших машинках поработать. А как же сейчас?

Лука Романович усмехнулся и сказал:

— Рано ты в старики нас записать хочешь! Да мы же подсоблять вам пришли. Общее дело — одна забота. Не так ли?

Будто чугунная чушка спала у меня с плеч. Спасибо Турунде! Все будет хорошо. Сейчас можно было уже не сомневаться в том, что все чугунные части жаток будут отформованы и залиты как следует.

Начали ровно в час.

Зашипел повсюду у машинок сжатый воздух, заалели раскаленные плитки под моделями.

Острия лопат врезались в песчаные кучи, и оттуда повалил густой пар.

Заранее мы договорились, что со мною на пару станет формовать шестеренки Коля Закаблук. И по тому, как, не глядя, он закрутил винты, прижавшие опоку к чугунной рамке, я убедился лишний раз, что формовка ему знакома издавна.

Не успел Коля набить и первую опоку, как мы услышали ворчливый голос Науменко:

— Эй-эй, молодой! Не занимай чужого места. Надорвешься — и опять заболеешь. Без тебя управимся!

С этими словами Науменко отстранил Колю от машинки и, проверив, надежно ли закреплена опока, с размаху опустил в дымящуюся песчаную кашицу острый клинышек набойки.

— Ничего, Коля, не тужи! — успокоил я моего неудачливого напарника. — Мы с дядей Васей поформуем, а ты погуляй. Или знаешь что? Покажи-ка лучше Коломейцу, как песок пересеивать. Или вот что: подносите-ка к машинкам плитки, чтобы мы не отрывались. Времени-то в обрез!

Никита тоже не остался в стороне. Разве мог он, с его беспокойной натурой, спокойно спать в эту ночь, зная, что молодые литейщики начали делать жатки для приднестровской коммуны?

Далеко над Днестром колосились и тянулись ввысь густые серебристые овсы, сизоватая рожь, пшеница, ячмень. Приближался день сбора урожая. Нельзя было терять ни минуты!

Для нашего подольского гостя Никиты я получил у

Федорко временный пропуск. Коломеец дал согласие выполнять любую работу, какая будет ему под силу. Так и стал он гонять из цеха к пылающим камелькам наперегонки с Закаблуком и возвращался оттуда, держа в клещах искрящиеся плитки для подогрева.

Маремуха поднимал молодежь у себя в столярной, чтобы сверхурочно и бесплатно сделать деревянные части машин. Саша Бобырь в эту ночь тоже пришел со мною в литейную, чтобы оказать первую слесарную помощь в случае поломки.

А дядя Вася, я чувствовал это, был крепко недоволен чем-то.

Он все ворчал себе под нос и почему-то вздыхал, а потом не вытерпел и сказал мне:

— Ах ты, обида какая! Опоздал немного. А все из-за старухи! Говорил ей: буди в полночь. А она сама проспала. Я глянь на часы — полпервого. И в порту первую склянку пробили. Пока лицо ополоснул, пока оделся, а вы уже и застучали.

— Ничего, дядя Вася! И так управимся до начала работы, — утешил я старика.

— Не в том суть, что управимся. Дело-то общественное! А для общественного дела и подавно опаздывать стыдно. Я не Кашкет, у меня волчьей думки никогда не было. Я со всеми сообща жить хочу.

Никогда так радостно не работалось, как в эту ночь! Чего там греха таить — в обычные дни нет-нет да и подсчитаешь в уме, сколько заработаешь, и если к шабашу обычная норма перекрыта, идешь домой веселый. Нынешней же ночью мы работали для общественного дела. Усилия наши были радостными, легкими, одна рука обгоняла другую, и ноги сами мчались на плац.

Спустя три дня мы зашли вместе с Никитой и Головацким в малярный цех. Запахи олифы и скипидара встретили нас еще в тамбуре. Много новеньких жатвенных машин стояло в просторном цехе и дожидалось отправки.

В свете полуденных лучей мы быстро опознали наши пять жаток. Да и не мудрено было отыскать их среди сотен других машин: на борту ладьи каждой жатки, сделанной для приднестровской коммуны, красовался значок Коммунистического Интернационала

Молодежи. А немножко поодаль, под фабричной маркой, молодые маляры ловко вывели две строки из любимой нами, очень распространенной песни тех времен:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка!..

И под словами этой песни, звучащими как лозунг, более мелкими буквами было выведено: «Комсомольской коммуне имени Ильича от рабочих машиностроительного завода имени Петра Шмидта».

Транспортный отдел завода обещал отправить коммунарам жатки с первым товарным эшелоном после полуночи.

ГДЕ ПЕЧЕРИЦА?

После осмотра жаток, готовых к погрузке, я предложил друзьям и нашему гостю сходить на косу. Давно мы собирались пойти туда сами, а нынче и предлог был хороший. Вечер выдался погожий, с легоньким ветерком, дующим из степи в открытое море.

Все эти дни, наполненные тревогами, пока в заводских цехах обрабатывали отлитые нами детали, море штормовало. Сегодня уже на рассвете волнение стихло, и нам удалось без особого труда получить на причале ОСНАВа легкий беленький тузик.

Маремуха с Никитой сели загребными, а я взялся за румпель. Один Саша вначале бездельничал и, сняв тапочки, сидел, свесив ноги с форштевня.

Меняясь по очереди на длинных ясеневых веслах, спустя час мы уткнулись в песчаную отмель косы между курортом и маяком.

Привольно и безлюдно было тут. С обеих сторон косы расстилалось подернутое мелкой рябью водное пространство, разделенное лишь небольшой, узенькой полоской удивительно чистого серебристого песка.

Город едва виднелся отсюда: приземистый, похожий издали на большое приморское село, он растянулся с крохотными своими строениями от Лисок до Матросской слободки. На краю косы, убегающей к волнорезу, справа возвышался белокаменный конус маяка. Много, должно быть, трудов стоило построить его там,

на зыбком песке, если и здесь перешеек был такой узкий, что любая штормовая волна свободно его перехлестывала.

Увязая в песке, как в закромах с пшеном, мы вытащили тузик из воды, и Маремуха проворно начал раздеваться.

Как гусь, пробующий силу своих занемевших крыльев, Никита несколько раз взмахнул руками, глянул, хмурясь, на розовеющее солнце и по-мальчишески ринулся к воде. Догоняя Коломейца, бросились и мы в море, играющее блестками солнечных лучей.

Занятно было купаться тут, на широком морском раздолье! Чистая, как в степной кринице, теплая вода. Дно, укатанное волнами затихшего поутру прибоя, было все в легких песчаных складках. Солоноватый и такой приятный ветерок чуть отдает запахами рыбы и гниющих водорослей. А ляжешь на спину — видишь, как где-то у берега высоко в небе дрожит повисший над приморской степью кобчик. Выискивает добычу, шельма, да все не может решить, на кого бы ринуться ему с высоты.

Выкупались мы на славу, и, когда, мокрые и усталые, пошатываясь, выбрались на берег, Коломеец стал делать гимнастику. Он до хруста в костях разводил руки, вращал кистями, и, хотя нас овевал нежный бриз открытого моря, чудилось, будто мы прохлаждаемся на досуге с Никитой в нашей Подолии. Вспомнилась совместная прогулка по ночному городу, и снова, охваченный нетерпением, я горячо попросил его:

— Будет же тебе в молчанку играть, Никита! Расскажи, наконец, толком: что же приключилось с Печерицей?

— Скажу, скажу, не волнуйся! — утешил нас Никита и, усевшись в лодку лицом к опускающемуся солнцу, повел рассказ.

...С той самой минуты, как Дженджуристый нашел в подъезде окружного наробраза пучок скомканных рыжих усов бежавшего Печерицы, Вукович не знал покоя.

Для того чтобы правильно определить, где Печерица может прятаться, надо изучить все его прошлое, настоящее и даже заглянуть в его будущее, проверить

всех его давних и нынешних друзей и знакомых. Следовало выяснить, где он путешествовал, в каких местностях жилось ему вольготнее всего, и тогда легче догадаться, где он смог бы найти себе сообщников и укрывателей.

Житомир и Проскуров отпадали. Вряд ли Печерица решит остановиться в этих маленьких городках, расположенных вблизи тогдашней государственной границы. Была она «на замке» всегда, а после побега Печерицы из нашего города и подавно ему было рискованно приближаться к ней.

По билету, оставленному мне Печерицей, можно было предположить, что он намеревался ехать до станции Миллерово. Неужели он пустился наутек в бывшую Область Войска Донского или на Кубань?

Из расспросов сослуживцев и по анкетным данным беглеца Вукович выяснил, что Печерица никогда не бывал в придонских краях. Больше того, вскоре по приезде в наш город, будучи еще вне всяких подозрений, Печерица с гордостью заявил машинистке окрнаробраза:

— В Московии я никогда не бывал и, даст господь, не буду. Зачем мне оставлять пределы Украины?

Трудно было предположить, чтобы случайную эту фразу он обронил намеренно, дабы и ею в минуту опасности замести свои следы и укрыться как раз в ненавистной ему «Московии».

На всякий случай были тщательно изучены все подозрительные лица в станицах Миллеровская, Ольховый Рог, Никольско-Покровская и даже в поселках Криворожье и Ольховчик. Следов Печерицы там обнаружено не было. Вернее всего, билет до Миллерова Печерица взял для отвода глаз. И кто знает, не выписал ли он себе для этих путешествий еще несколько бесплатных литеров в разные концы Украины да, быть может, на разные фамилии.

И Вукович принялся решать эту запутанную задачу.

Прежде всего, рассказал нам Никита, он познакомился с документами того периода, когда Печерица носил австрийский мундир и пришел через Збруч на охваченную огнем революции Украину.

Австрийские генералы использовали тогда украинских националистов из Галиции, одетых в австрийские

военные мундиры. Весь легион «украинских сичовых стрельцов» брошен был тогда в составе австрийской армии на ограбление Украины.

На Киевщине, Херсонщине, Екатеринославщине вспыхнули народные восстания. Целые села, волости и даже уезды соединялись в партизанские отряды и вели борьбу с оккупантами. Вблизи одной лишь Звенигородки партизаны разгромили несколько регулярных немецко-австрийских частей.

Восточную армию австрийцев привел на Украину фельдмаршал Бем-Эрмоли. Потом его сменил генерал Краус. В конце марта 1918 года по договоренности с гетманцами этот генерал грабил Подольскую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии — огромное пространство Украины от Збруча до Азовского моря.

Как только генерал Краус возглавил командование восточной армией, советник австрийцев по украинским делам Зенон Печерица получил назначение в штаб XII австрийского корпуса в Екатеринослав. Он часто выезжал в составе карательных экспедиций в районы, охваченные крестьянскими восстаниями, и лез из кожи, чтобы получше да похитрее угодить австрийцам.

...И вот, прослеживая путь Печерицы от захудалого городка Коломыя к берегам Азовского моря, Вукович, по словам Никиты, обнаружил, что чаще всего, отрываясь от Екатеринослава, австрийские карательные отряды базировались на немецкие колонии в Таврии.

Надо сказать, что районы Таврии еще с детства были знакомы Вуковичу. Именно сюда еще в первой половине прошлого века бежал из Сербии его дед, участник восстания против жестокого князя Милоша Обреновича. В Таврии дед Вуковича женился на украинке и остался навсегда, а уже отец Вуковича стал работать в Мариуполе на металлургических заводах мастером доменных печей. В Мариуполе сын его вступил в комсомол, и отсюда еще в годы гражданской войны был он послан на работу в войска ВЧК — ОГПУ.

Изучая теперь маршрут Печерицы по знакомым ему с детства степям Таврии, Вукович узнал, что один из австрийских отрядов, в составе которого находился и Печерица, достиг немецкой колонии Нейгофнунг, расположенной на берегу реки Берды. Вукович немед-

ленно поинтересовался историей этой колонии и узнал, что ее основали еще в начале девятнадцатого века немцы, переселившиеся в Таврию из Вюртемберга.

Вукович вооружился лупой и стал бродить по карте, изучая маршрут Зенона Печерицы к Азовскому морю весной 1918 года. В глазах уполномоченного запестрило множество немецких названий: Фюрстенау, Гольдштадт, Мунтау... Это были богатые немецкие колонии, кучно расположенные в плодородной Таврической степи. Жили немцы в них припеваючи до тех пор, пока царствовала династия Романовых. Но как только из Смольного разнесся клич: «Вся власть Советам!» — страх перед народной властью не раз будил по ночам зажиточных немецких колонистов и заставлял их дрожать.

Австрийскую армию встречали они с распростертыми объятиями. Фельдкураты в серых мундирах служили торжественные молебны в кирках за здоровье династии Габсбургов, и старожилы колоний плакали от восторга под тягучие звуки органов.

Зенона Печерицу — австрийского служаку, отлично владеющего немецким языком, — колонисты, вне всякого сомнения, считали своим. Они охотно помогали ему в грабительских налетах на украинские села.

«Несомненно, — думал Вукович, — у такого изворотливого врага, как Печерица, должны были остаться связи в тех колониях, где он однажды побывал».

Не было тайной и то обстоятельство, что в этих колониях оставались законспирированные немецкие агенты. Явку к одному из них Зенон Печерица также мог получить и на тот «черный день», когда угроза разоблачения принудила бы его покинуть насиженное местечко и перейти в подполье.

Вскоре Вукович узнал, что на племенную ферму совхоза в колонии Фриденсдорф прибыл из Подолии для прохождения учебной практики студент сельскохозяйственного института Прокопий Трофимович Шевчук. Он поселился на всем готовом у колониста Густава Кунке — человека преклонного возраста, исполняющего ввиду отсутствия пастора религиозные обряды в лютеранском молитвенном доме.

Едва лишь Вукович прочитал это сообщение, как ему принесли другую шифровку. Из приазовского го-

родка, который отныне стал местом нашего жительства, извещали, что заподозренный в шпионаже Зенон Печерица был замечен на улице города, но сумел скрыться.

Ведя следствие и предугадывая все возможные поступки врага, Вукович никак не мог представить, для чего понадобилось Печерице показываться среди бела дня в людном курортном городе. Проще, выгоднее и безопаснее было для него переждать опасное это время у знакомого колониста Густава Кунке. После долгих раздумий Вукович пришел к выводу, что Печерица пересел в Жмеринке на поезд, идущий в Одессу, и оттуда стал пробираться в Приазовье морем.

Однако такое предположение оказалось ошибочным. Печерица не был в Одессе и не ехал в Таврию морем.

Сперва он заехал в Харьков, думая там найти поддержку и убежище. Но оставаться в Харькове было для него небезопасно: в это время начались разоблачения скрытых украинских националистов. Печерица, ночевавший без прописки то у одного, то у другого дружка-националиста, мог очень сильно повредить им. И они ему посоветовали схорониться где-нибудь подальше.

Он пробрался поездом до Мариуполя и оттуда на извозчике пыльными приморскими шляхами приехал в наш город. Возможно, это он был тем самым «денежным пассажиром», о котором рассказывал нам извозчик Володька, вовсе не подозревая того, какую птицу он вез на своей тряской линейке.

Делая крюк на Мариуполь, Печерица по-своему рассуждал правильно. Он опасался погони и хотел запутать свои следы.

На расстоянии всего не объяснишь, о многом не расспросишь. По согласованию с начальством Вукович, знавший Печерицу в лицо, выехал в район появления Печерицы. Так случилось, что я увидел Вуковича в день его приезда, когда в чесучовом костюме и в панаме с голубой лентой он шел с вокзала в город. А он не признался, желая до поры до времени сохранить в тайне свой приезд.

В нашем городе Вуковича ждала большая неожиданность. Он пришел в городской отдел ГПУ, и там ему показали срочное донесение от дежурного по стан-

ции Верхний Токмак. В этом донесении сообщалось, что в балке поблизости от станции, где обычно копали фарфоровую глину, найден труп человека с документами на имя Печерицы — Шевчука.

— Что-о-о? Труп? — дрогнувшим голосом выкрикнул Бобырь. — Да не может быть? Кто же его убил?

— А ты думаешь, я знаю, кто его убил? — сказал Коломеец.

Спокойный тон Никиты обманул и Маремуху. Введенный в заблуждение, Петрусь горестно сказал:

— Вукович все тебе рассказал, Никита. Такие подробности, что даже и выдумать трудно. Неужели он не мог тебе досказать напоследок, кто же убил Печерицу?

— Представь себе, не досказал... — еле сдерживая улыбку, процедил сквозь зубы Коломеец и спросил: — Вы уверены, ребята, что жатки до темноты будут погружены на платформы?

— Раз Головацкий взялся за это дело, все будет хорошо! — воскликнул я. — Чьему-чьему, а Толиному слову можно верить. К ночному поезду их перегонят с завода на товарную станцию.

— Ну тогда слушайте, что было дальше! — сказал Никита.

ТРУП В БАЛКЕ

Случилось то, чего очень опасался Вукович. Когда наводили справки о Печерице во Фриденсдорфе, об этом узнал прихожанин кирки и немедленно сообщил заместителю пастора Кунке, что его квартирантом интересуются власти.

Печерица, не дожидаясь, пока его схватят, проклиная все на свете. в наступивших сумерках уехал из колонии на ближайшую железнодорожную станцию Верхний Токмак. Кунке снабдил его рекомендательными письмами к богатеям немцам, живущим в окрестностях Таганрога.

...Была ночь. Два керосиновых фонаря тускло освещали маленькую степную станцию Верхний Токмак. Почти вплотную к станционным постройкам примыкали баштаны и виноградники. Сонный дежурный дремал

у раскрытого окна, дожидаясь звонка с соседней станции.

По гравию перрона одиноко прохаживался Печерица. Потом к нему подошел еще один пассажир и попросил прикурить. Печерица протянул ему тлеющую папироску. От нечего делать они бродили вдвоем по перрону, разговаривая. Слово за слово Печерица выяснил, что его новый знакомый — агент по снабжению из Новочеркасска Иосиф Околита. Он возвращался к себе домой после продолжительной поездки по районам Приазовья и был рад собеседнику.

Довольно скоро Печерица узнал, что Околита — его земляк. Родные вывезли его еще мальчиком из Галиции на Поволжье. Опасаясь преследований австрийцев, население многих сел Западной Украины в те годы покидало родную землю вместе с отступающими русскими войсками. Галичан в 1916 году можно было найти на Кавказе, в Таврии, в Крыму. Некоторые заезжали даже еще дальше — в Пензенскую и Саратовскую губернии. Родные ночного собеседника Печерицы погибли во время голода на Поволжье, а он сам, оставшись сиротой, переехал к своему дяде — портному, такому же беженцу из Галиции, осевшему в Новочеркасске.

Сын учителя из-под Равы-Русской Иосиф Околита не только сжился с «москалями» и не питал к ним никакой ненависти, но даже высказал похвалу по адресу Советской власти и собирался осенью поступить в Ростовский педагогический институт.

Так в эту ночь, слушая доверчивого парня, уже утратившего в своей речи характерный для галичан акцент, Печерица во всем соглашался с ним и попутно соображал, что документы Иосифа Околиты и его биография пришлись бы ему очень кстати.

Кто еще знает, как отнесутся к Печерице знакомые колониста Густава Кунке, к которым держал он путь! Да и, наконец, на первом же допросе Кунке, спасая собственную шкуру, мог легко выдать местонахождение Зенона Печерицы.

...Уже пришла «повестка» со станции Нельговка, что пассажирский поезд вышел в последний перегон, к Верхнему Токмаку. Холодный, змеиный ум Печерицы работал быстро. Стараясь расположить земляка воспо-

минаниями о родной Галиции, Печерица лихорадочно обдумывал: «Труп обнаружат, достанут документы и, если начат мой розыск, немедленно вызовут колониста Кунке для опознания личности убитого. Ну, а тот — бывалый волк. Ради личного спасения и для того, чтобы дать мне уйти, он при любых обстоятельствах подтвердит мою, «Шевчука», «смерть».

Немного поодаль станции, в тени деревьев, виднелся колодец. Сказав, что его мучает жажда, Печерица попросил попутчика подкачать ему насосом из артезианского колодца студеной воды. Не подозревая ничего худого, Околита охотно согласился. Как только они завернули за угол пакгауза и очутились в тени, Печерица, выхватив из кармана охотничий нож, ударил им Околиту в спину. Печерица стащил свою жертву в соседний овражек, обыскал все карманы убитого, забрал у него документы, деньги, портсигар. Мешкать было нельзя. Наскоро сунув в карман убитого фальшивое командировочное удостоверение на имя студента Прокопия Трофимовича Шевчука, Печерица вымыл в луже близ колодца руки и, захватив фанерный чемоданчик Околиты со снедью, как ни в чем не бывало вышел с другой стороны станции на освещенный перрон.

Поезд, идущий от Азовского моря, задержался у станции Верхний Токмак на три минуты. Освещаемый керосиновыми фонарями паровоз-«овечка», попыхивая, потащил состав дальше, к Пологам, увозя мнимого снабженца Иосифа Околиту.

Сонные, ворочались на чистых простынях загорелые, едущие домой курортники.

Дремал в тамбуре, мечтая отдохнуть немного до шумной Волновахи, старик проводник. И никто не обратил внимания на случайного пассажира, занявшего свободное место в полутемном плацкартном вагоне, освещаемом оплывающими стеариновыми свечами.

Да и новый пассажир чувствовал себя отлично. Уверенный в том, что наконец-то перехитрил преследователей, Печерица по приезде в Ростов-на-Дону поселился в лучшей гостинице города — «Сан-Ремо», на Садовой улице.

Он преспокойно прописался в гостинице и сумел прожить там три дня, уверенный в том, что едва ли кто

станет обращать внимание на приезжего из Новочеркасска агента по снабжению по фамилии Околита. Должно быть, он отсыпался всласть после беспокойных странствий. Вечерами бродил по городу.

Очевидно, самым страшным в его жизни было мгновение, когда вместо ожидаемого официанта с мельхиоровым блюдом он увидел на пороге комнаты стройного светловолосого Вуковича.

Вукович держал перед собой взведенный наган и, не повышая голоса буднично сказал: «Руки вверх!..»

— Погоди, Никита! Но как же он смог найти Печерицу под другой фамилией, да еще в таком большом городе? — воскликнул Бобырь.

Коломеец сказал внушительно:

— Ты по-прежнему непростительно наивен, Сашенька, хотя тебе и знаком уже полет в небесах. Пойми ты, голубчик: Вукович и его товарищи — воспитанники железного рыцаря революции Феликса Эдмундовича Дзержинского! Они служат партии и Советской власти, охраняя великие завоевания Октября! Им помогает весь народ! Вукович не только поймал шпиона. Он написал железнодорожникам Верхнего Токмака письмо с просьбой соорудить памятник на могиле Иосифа Околиты, поблизости той балочки, где его убил Печерица. И даже подпись для того памятника он сам придумал. Знаете какую: «Сыну подъяремной Западной Украины Иосифу Околите, погибшему от руки наемника мировой буржуазии. Спи спокойно, дорогой товарищ! Твоя родная земля дождется светлого часа освобождения!» Вот сегодня буду проезжать Верхний Токмак и, если поезд остановится, погляжу на этот памятник.

— Хорошо, Никита, — вмешался я, — но ты так и не сказал нам толком, откуда Вукович догадался, что Печерица живет в гостинице «Сан-Ремо».

— Откуда догадался? — Коломеец улыбнулся. — А вот откуда. Я же вам, хлопцы, рассказывал, что дядя убитого был портным в Новочеркасске. Зная, что самое продолжительное время из всей командировки его племянник пробудет в Мариуполе, дядя послал туда Иосифу Околите, по адресу «Почтамт, до востребова-

ния», короткое, но очень приятное письмо. Дядя извещал Околиту, что приемная комиссия вызывает его в Ростовский педагогический институт. Советовал свертывать дела и ехать домой. Это желанное письмо с обратным адресом своего дяди Околита спрятал в одном из карманов, не обысканном впопыхах Печерицей. И Вукович немедленно вызвал телеграммой к месту происшествия дядю убитого. Пока судебно-медицинский эксперт устанавливал возраст трупа, явно не соответствующий возрасту Печерицы, вызванный телеграммой дядя Околиты уже ехал в Верхний Токмак. Он опознал убитого племянника. Задержать его убийцу теперь оказалось довольно просто.

Как бы очнувшись от раздумья, овладевшего им после рассказа Никиты, Маремуха сказал взволнованно:

— Подумайте только, хлопцы, что было бы, если б Печерица перехитрил нас! Школу бы мы не закончили, болтались бы, может, недоучками в Подолии, и рабочий класс не пополнился бы на пятьдесят два человека!

— И жаток бы коммуна не получила, — сказал Бобырь.

— И жаток бы не было, это верно, — охотно согласился я с Бобырем, — да и многого не было бы. И мы бы с вами тут не сидели... В самом деле, сколько вреда может причинить один враг, если его вовремя не разоблачить!

— Ты рассуждаешь немного мелко, Василь, — вмешался Коломеец. — Дело, конечно, не только в нашем фабзавуче. Такие печерицы покушаются на жизнь всего народа, на Советскую власть. В том-то все и дело, хлопцы, что мы уже научились поражать их волчьи сердца куда раньше, чем они доберутся до нашего сердца! Никогда не оторвать им Украину от России! Народ Украины — честный, трудовой народ — прекрасно понимает, куда гнут эти господа, подобные Печерице. Помните, еще в фабзавуче мы не раз повторяли слова Ильича: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина *возможна,* без такого единства о ней не может быть и речи». Эти мудрые слова Ленина давно уже в сердце у каждого труженика Украины, они не раз проверены на практике в годы гражданской войны, и никакие подлые действия врагов не смогут убедить народ в обратном. И всегда, рано или

поздно, но эти негодяи окажутся в проигрыше, ибо правда обязательно будет на нашей стороне. — И, помолчав немного, Коломеец предложил: — Давайте к берегу, хлопцы! Солнце садится, а нам еще грести и грести.

Мы поднатужились и столкнули лодку в штилевую воду гавани. Теперь я стал правым загребным, а Сашка Бобырь захватил под свое начало румпель. Тугие и длинные весла легко врезались в соленую упругую воду. Падая с лопастей в море, сверкающие капли блестели на солнце. Заскрипели в такт нашим движениям уключины, а Сашка, прохлаждаясь на корме, запел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И, как один, умрем
В борьбе за это!

...Провожали мы Никиту глубокой ночью. Чтобы мягко ему спалось на открытой платформе, под днищем одной из жаток, мы притащили из дому мешок сена.

Вот-вот уже должны были прицепить паровоз к голове длиннющего товарного эшелона, как Никита вдруг вытащил из вещевого мешка эмалированную флягу и сказал:

— Покажи-ка мне, Василь, где воды на дорогу набрать.

— Пойдем, мы тебе покажем, — охотно вызвался Маремуха.

— Да нет, вы тут с Бобырем покараульте мои вещи, а Василь проведет меня. Пойдем, Вася! — торопливо сказал Никита.

Когда я вел его к кипятильнику на краю перрона, невдомек мне еще было, что не столько жажда, как желание сообщить мне какую-то тайну заставило Коломейца просить, чтобы именно я был его провожатым. Как только мы поравнялись с каменным сарайчиком, из которого торчали наружу два крана, Никита оглянулся, нет ли кого поблизости, и тихо, на ухо, шепнул мне:

— Скажи, Василь, ты показывал кому-нибудь свое письмо ко мне перед тем, как его отправить?

Не понимая еще толком, в чем дело, я осторожно проговорил:

— Нет, не показывал... А что?

— И никому не говорил о содержании письма?

— Никому... То есть говорил, что послал тебе письмо, а что в нем было — не говорил.

— Ну, а, скажем, о своих подозрениях, что эта содержательница танцкласса Рогаль-Пионтковская является родственницей подольской графини, ты кому-нибудь говорил?

— А она родственница?.. Ну, вот видишь! — И я, обрадовавшись, сказал: — А я поглядел на нее и думаю: просто совпадение фамилий. Та, наша, — важная, сухопарая, а эта совсем иная, будто торговка из мясного лабаза.

— И думай так дальше, понял? — многозначительно сказал Коломеец. — Простое совпадение фамилий — и больше ничего! И никакой болтовни на этот счет. Не только я тебя прошу об этом, но еще один человек...

— Вукович?

В эту минуту лязгнули буфера вагонов, давая нам знать, что паровоз стал в голову эшелона.

— Когда-нибудь ты узнаешь обо всем, — сказал Коломеец, — а пока... полное молчание. Всякую дичь надо ловить бесшумно.

Сбитый совершенно с толку, я запротестовал:

— Но погоди, Никита! Мы же замышляем наступать на эту мадам и на ее танцульки. Я же тебе дома говорил...

— По комсомольской линии?

— Ну да, с помощью юнсекции...

— По комсомольской линии можно. Это делу не помешает. Но ты поступай так, будто впервые в жизни услышал эту фамилию только здесь. Тогда мелочь, которую ты сообщил мне в своем письме, не пропадет... А теперь — пошли...

ЧТО ТАКОЕ «ИНСПИРАТОР»?

Пять жаток, увезенных Коломейцем, еще не прибыли к месту назначения, а уж Головацкий предложил каждой из ячеек выделить агитаторов для обслуживания обеденных перерывов. Нашелся, правда, один у нас, Аркаша Салагай из сверловочного цеха, который выступил против Толи. Салагай опасался: не будем ли мы, комсомольцы, этим самым подменять партийную органи-

зацию завода? Салагай горячился, доказывая, что проведение читок в обеденные перерывы — прямое дело коммунистов.

Ну и оборвал же Головацкий этого вихрастого крикуна в замасленной кепчонке, лихо заломленной на затылок!

— Всем известно, — очень четко и спокойно сказал Толя, — что комсомольцев, товарищи, у нас на заводе вдвое больше, чем членов партии. А ведь мы прямые помощники коммунистов, не так ли? И ничего зазорного не будет в том, если бросим свои силы и на этот участок, куда направляет нас партия. Наоборот, гордиться этим надо!

...В то лето рабочих завода, да и всю страну очень интересовали отношения с Англией. Вот почему Головацкий посоветовал прежде всего прочесть рабочим вслух несколько статей на эту тему из последних газет.

На сегодня к столовой была прикреплена ячейка столярного цеха. Я нисколько не удивился, переступая порог длинного зала, когда услышал басок Маремухи. До поздней ночи вчера мой друг корпел над газетами в клубной читальне, готовясь к читке.

Маремуха стоял на небольших подмостках, где обычно выступала «Синяя блуза». Держа в руках «Известия», Петрусь читал ноту Советского правительства Англии:

— «...Братскую помощь со стороны рабочих СССР и их профессиональных организаций стачечной борьбе в Англии английские правительственные ораторы пытаются истолковать как акт вмешательства со стороны Советского правительства во внутренние дела Британской империи. Считая недостойным для себя реагировать на грубые и недопустимые выпады, сделанные по этому поводу некоторыми английскими министрами против СССР, его рабочего класса и профессиональных рабочих организаций, Советское правительство указывает на то, что принадлежность какого-либо правительства к определенной политической партии и преобладающее положение той или другой политической партии в каких-либо профессиональных союзах есть довольно распространенное явление...»

На Маремуху были устремлены глаза всех сидевших в зале за продолговатыми столами, затянутыми светлой пахучей клеенкой. Если же кому-нибудь из обедающих

надо было подойти к шипящему «титану» за кипяточком, то он шел туда на цыпочках, стараясь производить как можно меньше скрипа, и все время оглядывался на трибуну.

Как было не порадоваться за Петра! Фабзавучник, который еще так недавно птиц на самотряс ловил и бегал босиком по нашему скалистому городу, сегодня читал рабочим большого машиностроительного завода правительственную ноту, и все слушали его со вниманием. Я пожалел, что нет здесь Коломейца: то-то бы возрадовался он, увидев, какие успехи делает его питомец!

В самом дальнем углу столовой я заметил Головацкого и Флегонтова, на днях приехавшего из Ленинграда. Они тоже со вниманием слушали моего друга.

Слушая ноту, в которой Советское правительство отмечало нападки и глупые выдумки всяких чемберленов, я вспомнил разговор со стариком Турундой.

«Да, помогали и будем помогать всякому честному рабочему, угнетаемому буржуями, а если капиталистам это не нравится, мы чихать на это хотели», — думал я.

Советские дипломаты как бы подслушали тогдашний наш спор и сейчас выкладывали в своей ноте наши думки, правда, в очень вежливой манере, но от этого они не теряли своей резкости.

Размышляя, я было отвлекся от того, что прочел Петро дальше, и мне стоило труда включиться в дальнейшее содержание ноты:

— «...Та или иная степень дружественности в отношениях между государствами, — солидно басил Маремуха, — прежде всего сказывается на их экономических отношениях. В речи министра финансов Черчилля наиболее важное место занимают его выпады, имеющие явной целью подорвать экономические сношения между Англией и СССР. Эти выпады бывшего главнейшего инспиратора английской интервенции тысяча девятьсот восемнадцатого — тысяча девятьсот девятнадцатого годов в Советской республике преследуют явным образом те же цели, которые тот же деятель ставил себе по отношению к Советской республике за все время ее существования. Черчилль не забыл блокаду и интервенцию, и его теперешнее выступление рассчитано на то, чтобы содействовать возобновлению против нас экономической блокады...»

Маремуха прочел без запинки эту длинную фразу и сделал передых. В эту минутную щелочку тишины сразу же залез Кашкет. Он быстро встал и, держа в руках голубую эмалированную кружку, наполненную дымящимся чаем, выкрикнул:

— Молодой человек, можно вопрос?

— Давайте, — неуверенно ответил Петрусь.

— Чтой-то больно много разных мудреных слов ты нам прочел! Стрекочешь одно за другим, а разум их схватить за хвост не может. И непонятно никак, что к чему. Вот, например, объясни-ка мне, друг ситцевый, темному рабочему человеку, что это за штукенция такая «кон-спи-ра-тор»?

И, торжествующе поводя вокруг быстрыми, ехидными глазами, Кашкет шумно уселся на лавку. По всему было видно, что не из-за темноты своей, а исключительно желая подкузьмить молодого парня, задал он этот вопрос.

— Хорошо, я объясню, — сказал Петро. — Только не «конспиратор» там сказано, а «инспиратор». Инспиратор — это...

В эту минуту в столовой раздались твердые, уверенные шаги. Из далекого ее угла подошел к подмосткам Флегонтов. Крепкий, коренастый, в серой холщовой робе и рыжих ботинках, густо припорошенных пылью литейной, он поднял руку, как ученик перед учителем, и сказал тихо Петру:

— Разреши, дорогой, я за тебя отвечу.

Чувствуя, что его затея сорвать читку проваливается, Кашкет заметил с места, но уже куда тише:

— А зачем мешать парню? Читал он бойко, нехай и растолкует нам сам как может.

— А я хочу помочь товарищу да растолковать и тебе и всем. Разве делу от этого будет хуже? — отрезал Флегонтов. — Тебя интересует, как понимать заковыристое иностранное слово «инспиратор»? Изволь, отвечу. Применительно к данному вопросу его можно пересказать так: в тысяча девятьсот восемнадцатом — тысяча девятьсот девятнадцатом годах Черчилль был главнейшим вдохновителем, подстрекателем и... ну, что ли, скажем, наводчиком иностранного нападения на Советскую страну. После первой мировой войны англичане все заводы свои оставили здесь. Сперва они думали, что мы,

большевики, сами сломим голову, а потом, разуверившись в этом, все наши враги решили действовать поиному. Вооруженные силы четырнадцати государств привели к нам вожаки интервентов для того, чтобы задушить молодую Советскую страну, и потерпели поражение. Так приблизительно можно растолковать это слово на фоне международной политики. Но инспираторы бывают разные, не обязательно только английские министры... Скажем, к примеру, могут такие типы затесаться и в ряды рабочего класса, и, хотя масштабы их действий бывают куда меньше, чем Черчилля, все равно они приносят большой вред нашему общему делу. Взять, например, литейный цех. Работает в нем такая личность, которая в годы гражданской войны болталась между батькой Махно и генералом Деникиным. Дожила эта личность до сегодняшних дней реконструкции. Дают ей на машинку напарника, молодого паренька, еще не знающего наших порядков. Понятно, что молодой парень мог бы сознательно относиться к производству, работать честно, не за страх, а за совесть, а пожилой рабочий, казалось бы, должен помогать ему в этом. Здесь же — обратное. Личность, о которой я веду речь, *инспирирует* новичка совсем на другое: на брак, на работу спустя рукава, на халатное, наплевательское отношение к советскому производству. А к чему приводит такая инспирация? Сотни деталей идут в брак, а где-то там, в селе, крестьянин ждет не дождется заказанной жатки и клянет на чем свет стоит такую смычку города с селом. Тебе ясен мой ответ?

Отовсюду послышался смех. Взгляды обедающих остановились на Кашкете, который, уткнув лицо в широкую эмалированную кружку, делал вид, что он усердно пьет чай и ничего не слышит.

— Ну, раз вопросов нет, будем продолжать читку, — сказал Флегонтов и, кивнув Маремухе, пошел назад, к Головацкому.

Маремуха посмотрел благодарными глазами на Флегонтова, откашлялся и стал читать уже более решительно:

— «..Конечно, можно было бы относиться к заявлениям Черчилля без полной серьезности, зная, что его слова никогда нельзя было принимать за чистую монету, если б не его положение министра финансов...»



К стр. 10



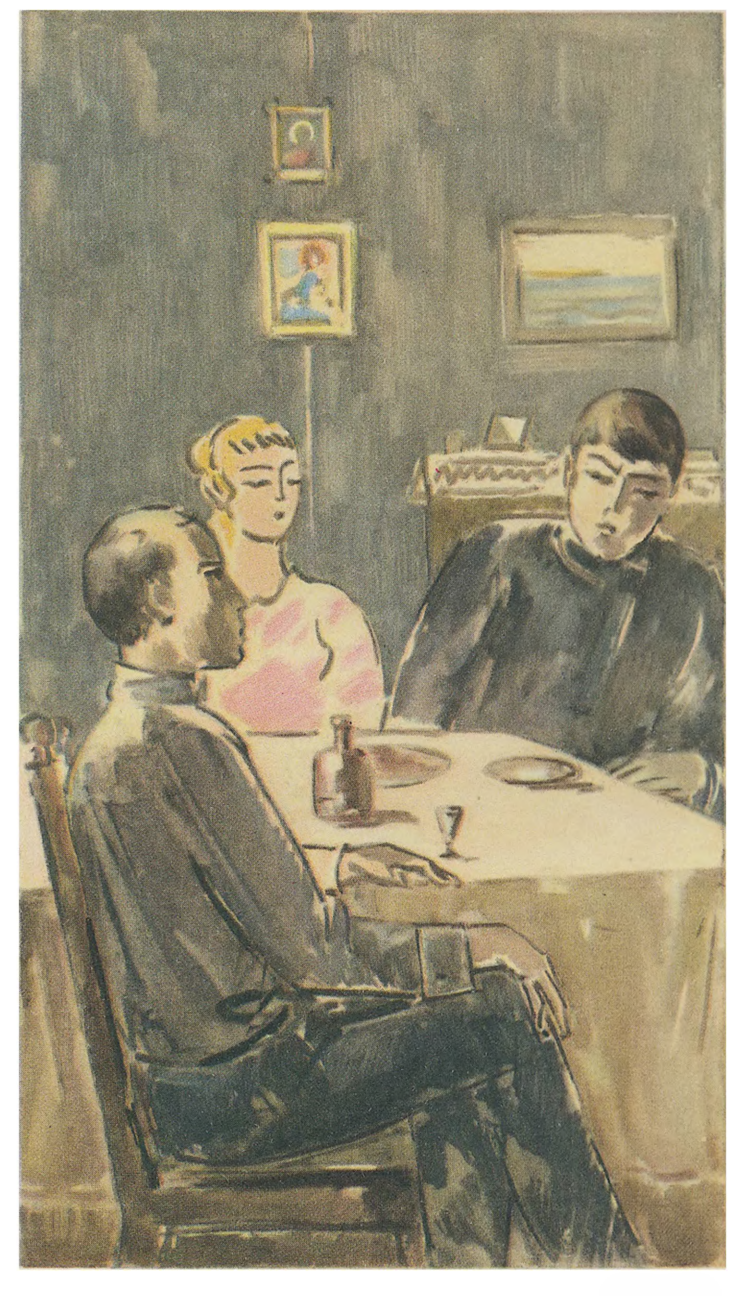
К стр. 17



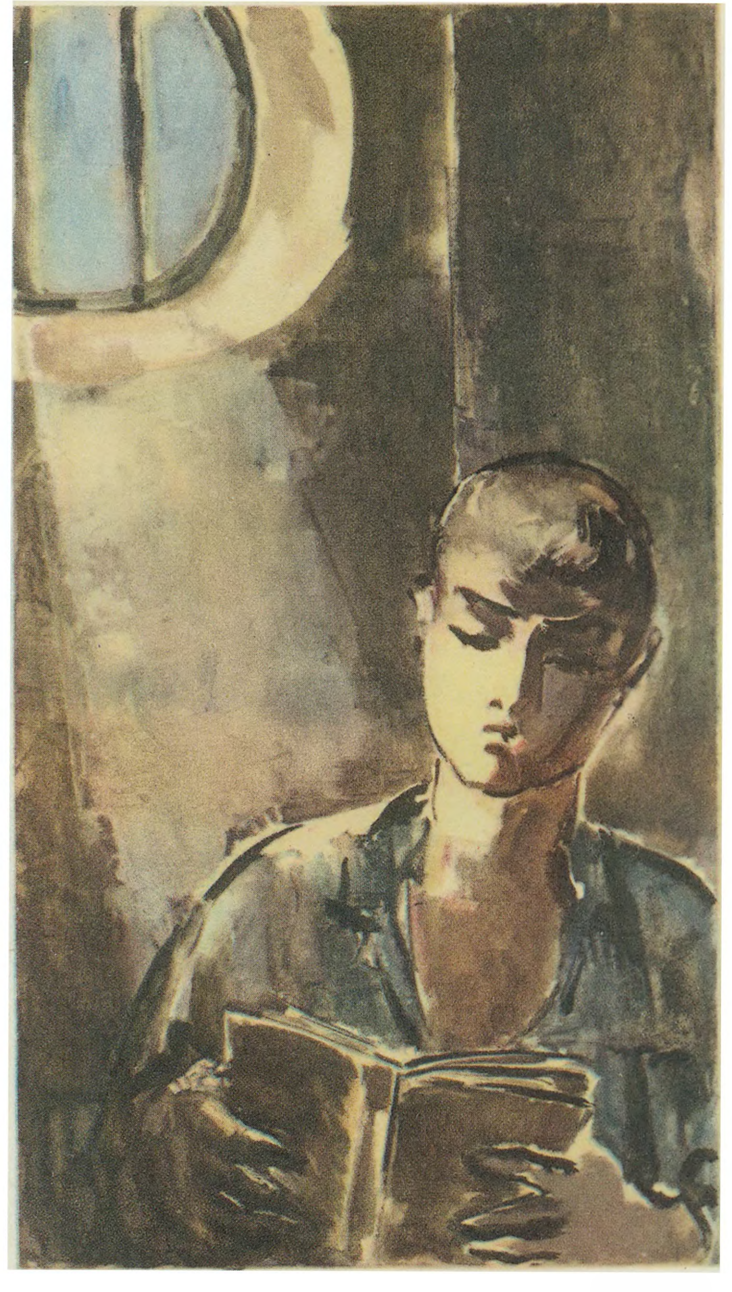
К стр. 213



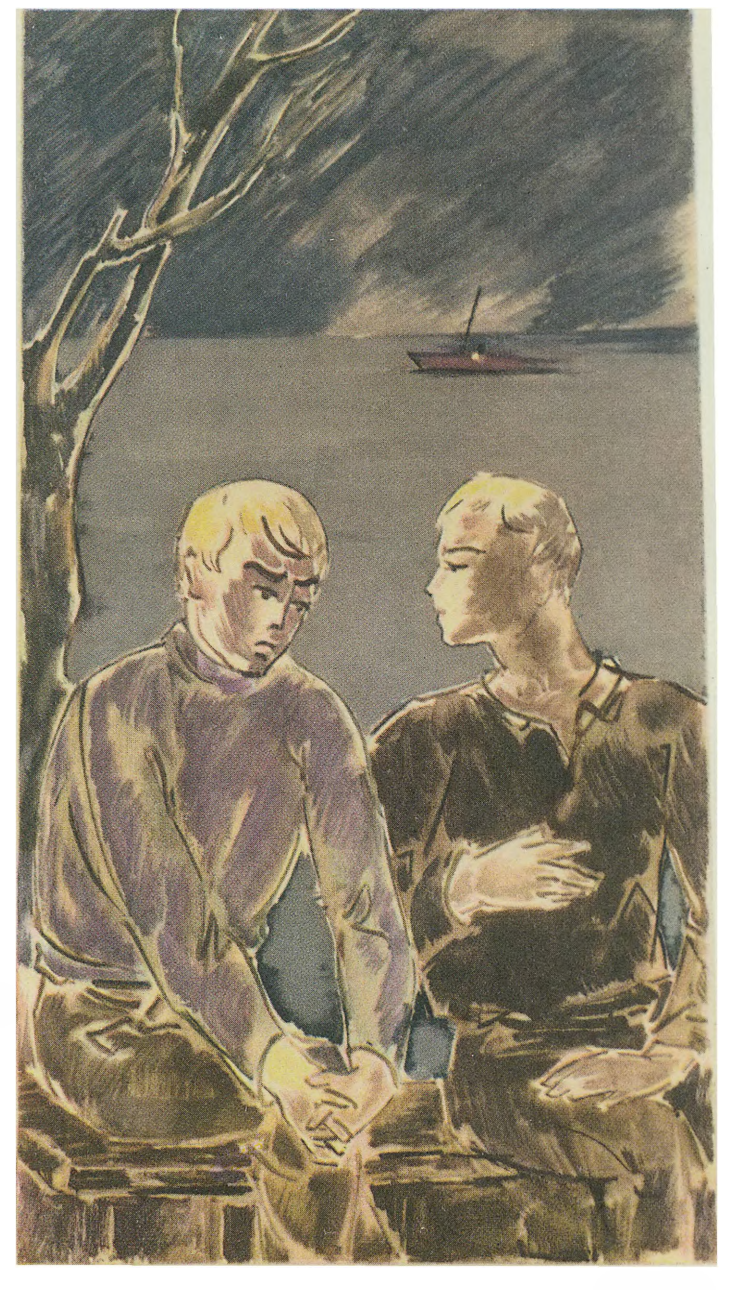
К стр. 218



К стр. 224



К стр. 252



К стр. 322



К стр. 412

Жаркое полуденное солнце ударило мне в глаза, когда за несколько минут до окончания перерыва я вышел вслед за Флегонтовым из столовой. Стояли на путях покинутые рабочими на время обеда вагонетки, доверху засыпанные свежеобработанными маслянистыми болтами; посапывала вдали кочегарка, шумели, не умолкая, вагранки, плавя чугун.

— Земляк читал? — спросил меня Флегонтов.

— Ага! В одном фабзавуче учились.

— Молодец, не замялся.

Но меня терзала одна мысль: имею ли я право сказать Флегонтову, секретарю партийной ячейки, что в одном он малость ошибся? И я осторожно заметил:

— Но кое в чем я с вами не согласен, товарищ Флегонтов!

— В чем именно? — он повернул ко мне крупное загорелое лицо, чуть тронутое следами оспы, по-видимому перенесенной в детстве.

Я заметил, что козырек его военной фуражки лоснился от графита. Еще, должно быть, с гражданской войны служила она ему здесь, на заводе!

— Намекая на то, что Кашкет подстрекает своего напарника на брак, вы этим самым как бы выгораживали Тиктора. Дескать, Кашкет — это бракодел и лодырь, а Тиктор — божья коровка. Не так это на самом деле, товарищ Флегонтов! Если бы вы только знали!..

Кирилл Панкратьевич перебил меня:

— Сколько лет Тиктору?

— Примерно восемнадцатый.

— Так. А что бы я мог знать?

Сбиваясь, я рассказывал, как вел себя Тиктор у нас в фабзавуче, как противопоставлял он себя коллективу, как по пьянке опоздал на чоновскую тревогу.

— И это все? — спросил Флегонтов.

— Но мы его исключили из комсомола! Это неисправимый человек.

— Ты ошибаешься, Манджура, — спокойно сказал Флегонтов. — Бросаться людьми нельзя. Насколько я разбираюсь в этом деле и по личным наблюдениям, и по твоему рассказу, твой землячок — гонористый парень, себе на уме. Но и таких можно перевоспитать. Понимаешь ли, Манджура, нам надо драться за каждого человека, тем более за молодого. Я вот уверен: исключение

из комсомола оставило зазубрину в его душе. А ты дай ему понять, что еще не все потеряно. Я не хочу, чтобы ты, комсомольский организатор, отмахивался от людей, подобных этому Тиктору. Не в наших это интересах. Ершиться станет — наступай. Принципиальным будь. Самое легкое — объявить человека неисправимым и поставить на нем крест. А ведь даже и преступника иной раз можно направить на верный путь нашей убежденностью. Ведь правда-то на нашей стороне! И, следуя этой правде, надо нам по-ленински — очень бережно относиться к людям...

Вечером сорвался тримунтан, и белые барашки побежали через бухту. Острый степной ветер гнал их со страшной силой, заворачивал гребешки волн, и тогда водяная пыль взлетала кверху, розовея в отблесках холодного заката. Свет гаснущего солнца окрасил на несколько минут лицо Маремухи и, должно быть, мое тоже густо-багровой краской.

Вода залива, встревоженная порывистым ветром, меняла свой цвет на глазах у нас, сидящих на скамеечке поблизости от портового ресторана.

Незаметно наступила ночь. Сумерки покрыли землю низкой синеватой дымкой и принесли сюда, к нам, на маленькое взгорье, сладкий запах свежеиспеченного хлеба и соленой морской влаги.

Зная, что у Петра нет сегодня репетиции в клубе, я предложил ему пойти прогуляться по бережку моря. Петрусь охотно согласился, и, когда мы сели на скамеечке, он сказал, облегченно вздохнув:

— Хорошо меня сегодня Флегонтов выручил, правда? Словно знал, что в английских делах я разбираюсь не очень крепко. Понимаешь, я про Китай нацелился говорить. Столько выписок себе сделал — ужас! А Головацкий заставил читать об отношениях с Англией...

Он помолчал и вдруг, словно решившись, наконец, сбросить с себя смущение, горячо заговорил:

— Слушай, Василь, а ты помнишь обращение Сунь Ят-сена к Советскому правительству?

— Я пропустил что-то... Но ведь... постой... Он же умер?

— А он перед смертью своей обращался, весной про-

шлого года. Вызвал, понимаешь, к себе своих друзей и продиктовал им обращение. Как здорово написано! Вот послушай: «Вы, — пишет Сунь Ят-сен, — возглавляете Союз свободных республик — то наследие, которое оставил угнетенным народам мира бессмертный Ленин. С помощью этого наследия...» — Петро наморщил широкий лоб, мучительно припоминая точные слова, и потом радостно продолжал: — Да, а потом так: «...С помощью этого наследия жертвы империализма неизбежно добьются освобождения от того международного строя, основы которого издревле коренятся в рабовладельчестве, войнах и несправедливостях...» Здорово сказано, правда? Какая уверенность! А кончает-то он как: «Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветствовать в могучем, свободном Китае друга и союзника, и что в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира оба союзника пойдут к победе рука об руку». И понимаешь, Василь, быть может, мы с тобой дождемся такого дня.

В эту минуту за спиной у нас послышался говор.

— А тут кто-то сидит! — услышал я громкий голос Головацкого. — Давай сюда, вот здесь есть свободная скамейка. В ресторан ты еще успеешь зайти.

И вдруг словно холодной водой меня окатили — я услышал колючий, задиристый голос Тиктора:

— А какой интерес тебе говорить со мной? Я же не комсомолец...

— По-твоему, если я секретарь комсомольской организации, то мне с тобой не о чем толковать?

— По-моему, да... Вы меня в своей газетке так обрисовали, как последнего вредителя.

Мы сидели на подветренной стороне, и потому каждое слово нам было слышно отлично, но в эту минуту из-за портовых пакгаузов выползли огни паровоза.

Освещая себе путь довольно тусклым керосиновым фонарем, маневровый паровоз потащил мимо нас пустой товарный состав. Все окрест заполнилось шипеньем пара, скрипом вагонных колес, лязгом буферов.

О чем говорили под этот шум проползающего над морем состава Толя с Тиктором, я не знаю, но, когда последний вагон нескончаемо длинного эшелона мигнул

красным огоньком и скрылся в темноте, ветер опять принес к нам взволнованный голос Головацкого:

— У тебя, Яков, молодость, сила, ловкость. Я не верю, чтобы ты не мог работать хорошо, вот убей меня — не верю! А ты между тем выдаешь брак, работаешь небрежно, с ленцой, на авось. И о плохих моделях ты мне лучше не вспоминай. Я литейное дело слегка знаю и никогда не поверю, что при существующих условиях ты не можешь работать по-человечески.

— Пусть от меня возьмут такого напарника, я покажу тогда им...

— Кому это «им», Тиктор?

— Ты разве не знаешь сам, кому? Землячкам моим! Небось нажаловались на меня?

— Если ты имеешь в виду Маремуху и Бобыря, тогда ты глубоко ошибаешься, Тиктор. С ними о тебе никаких разговоров не было. Что же касается Манджуры, то он давно на тебя махнул рукой. Мы даже с ним маленько повздорили из-за тебя.

— Повздорили? — удивленно спросил Тиктор.

— Представь себе! Манджура считает, что ты неисправим, а я убеждаю его в обратном. Он рад бы с тобой потолковать по-хорошему, забыть старое, да все думает, что его рука повиснет в воздухе.

— А ты что думаешь? — пересиливая свою гордость, с заметным интересом спросил Тиктор.

Головацкий молчал.

И это молчание, прерываемое далекими гудками паровоза, пиликаньем оркестра в портовом ресторане и резкими порывами штормового ветра, мне подсказало, что Флегонтов рассказал Головацкому о моих сегодняшних нападках на Тиктора.

— Что я думаю? — переспросил Головацкий, но, решив повременить с ответом на этот вопрос, сказал: — Изволь, я скажу. Но прежде всего ты мне ответишь на то, что меня интересует.

— Отвечу, — решительно сказал Тиктор.

— На все, что я тебя спрошу, ответишь?

— Говорю тебе — да!

Это «да» прозвучало очень искренне.

— Зачем ты частные подряды выполнял, когда учился в фабзавуче?

— Знаешь и об этом?.. Ладно, скажу... Чтобы подработать!

— А родные разве тебе не помогали?

— Черта с два! Батька после смерти матери женился на другой, а та, мачеха, его под башмак взяла и против меня настраивала...

— Это правда, Тиктор? — очень серьезно спросил Толя.

— А зачем мне тебе врать! Да я больше могу сказать тебе: батька уедет на паровозе в прогон, а мачеха и ну измываться надо мной, спасу нет. Я терпел, потому что деваться было некуда. Стипендии-то нам, кто у родителей жил, долгое время не давали.

— Ты же мог ребятам сказать, что у тебя такое в семье творится, они бы помогли, — заметил Головацкий.

— Стыдно было... — сознался Тиктор. — Неохота было в семейные дрязги целую школу посвящать. Вот и приходилось деньгу зашибать любыми способами: даже к спекулянтам нанимался, лишь бы от мачехи материально не зависеть.

— Хочу верить, что это правда, Яков! — сказал Головацкий. — К чему весь этот разговор, как ты думаешь? Мы крепко заинтересованы в твоем будущем, Тиктор, так же как и в будущем любого другого молодого парня. Я хочу, чтобы каждое движение твоих рук приносило пользу обществу. Как этого достигнуть? Спаяться с коллективом! Жить его заботами! Меньше думать о себе и как можно больше — о других. А ты, передавали мне, молчишь, на многих смотришь исподлобья, будто все только тем и заняты, чтобы тебе каверзу какую-нибудь подстроить. А мы хотим лишь одного: чтобы не болтался ты где-то посередке. Рано или поздно такие люди гибнут. А я вовсе не желаю такого исхода. Воспитай в себе настоящую любовь к труду, к коллективу, подави гордыню, разъедающую тебя, как ржавчина, — и, поверь мне, ты станешь другим человеком.

— Ну, раз ты от сердца желаешь мне добра, я попробую, — сказал, помедлив, Тиктор, и в голосе его я не услышал уже той пренебрежительной язвительности, с какой он обычно беседовал с людьми.

Они ушли по направлению к городу и быстро растворились в темноте.

Маремуха сказал мне:

— А ведь и правда мачеха лупила Тиктора! Помнишь, как однажды Яшка явился в школу весь в синяках и обманул нас, что его босяки на свадьбе побили? А потом мы узнали, что это его мачеха разукрасила.

— Нас стеснялся, чтобы не засмеяли, потому и таился. Мы же самостоятельно жили, а он — на отцовских харчах, и стыдно ему было, что лупцуют, как маленького, — сказал я, искренне сожалея о том, что мы вовремя не узнали о семейных делах Тиктора. Знай мы об этом раньше — можно было бы совсем по-иному с ним поговорить.

НАХОДКА ПОД МАРТЕНОМ

Теплынь усилилась еще больше. Случайные штормы чередовались с полным безветрием. Но знойные, размаривающие дни не смогли задержать того, что было задумано. Полезное дело — изготовление жаток для молодежной коммуны — как бы послужило толчком для других начинаний.

Сперва мы думали, что главный инженер не поленится прочесть второй номер стенной газеты «Молодой энтузиаст» и особенно статью Закаблука. Но не тут-то было! Появляясь в цехе, Андрыхевич всякий раз проходил мимо газеты, явно пренебрегая ею.

А мы продолжали думать о будущем цеха и, поддержанные цеховой партийной ячейкой, позвали молодежь завода на воскресник.

Шагая поутру вместе с Маремухой и Бобырем на воскресник, я вспомнил все с самого начала: продолжительные поиски запасных частей и моделей к «пулеметам»; составление чертежа по установке этих новых двенадцати машинок в пролете, который мы заранее назвали комсомольским; распределение обязанностей между всеми активистами завода в часы воскресника; мучительную волокиту в отделе главного инженера, где всеми силами хотели замариновать наш проект, и, наконец, мой первый доклад на бюро цеховой партийной ячейки.

Сперва я отнекивался от доклада. Казалось, что лучше всего объяснит наш замысел Головацкий, как

секретарь коллектива и как бывший рабочий литейного цеха. Но Толя решительно сказал:

— Не стесняйся, Манджура. Начинание родилось в литейной, да? Так кому же, как не тебе, рассказать о нем партийной организации?

Молодые чертежники сумели размножить к заседанию план будущего комсомольского пролета. Перед докладом я роздал синие листочки с белыми линиями чертежа всем членам партийного бюро.

Пока я докладывал, Флегонтов, изучая каждый штрих на синьке, то и дело отрывал от чертежа свой взгляд и зорко посматривал сквозь запыленные окна цеховой конторки в цех.

Там под задымленной стеной высились кучи пересохшего — еще, как мы говорили, «старорежимного» — песка. Под этим песком скрывались фундаменты для формовочных машинок. Мировая война помешала заводчику Кейворту установить на этом месте новые машинки. Производство жнеек было свернуто, часть рабочих мобилизовали в армию, а формовщики, не ушедшие на фронт, делали всем цехом лишь одну деталь — зубчатый корпус для ручной гранаты. Завод выпускал сотни тысяч таких кругленьких, похожих на ананасы гранат. Формовали их споро, и никто не бранил рабочих за то, что скрап, окалину, пережженный песок и всякий мусор они выбрасывали в спешке к недостроенному мартену.

Так и образовалась цеховая свалка, которую мы решили упразднить.

— Доброе дело задумали комсомольцы! И подсчитано все правильно, — поддержал нас Флегонтов. — Двенадцать новых машин — это сотни жаток сверх плана! Это свободные места для тех рабочих, которые ждут своей очереди на бирже труда.

У цеховых ворот мы разошлись. Петро пошел в столярный цех, Бобырь сразу же исчез в кладовой, где его ребята орудовали у новых машинок. А я направился к своей «песчаной бригаде».

Первое, что заметил я в цехе, была широкая спина Тиктора.

Стоя у машинки, Яков стягивал синюю рубаху.

«Пришел-таки!» — подумал я облегченно.

По совету Флегонтова и выполняя слово, данное Головацкому, в субботу перед окончанием заливки я первый подошел к Тиктору и сказал:

— Завтра воскресник, Яков. Придешь поработать?

— Слышал... — не глядя бросил Тиктор и принялся перекладывать пустые опоки.

По такому ответу я не мог еще судить, придет он или не придет, а вот сейчас, увидя и его с нами, обрадовался.

Когда начали раздавать свободные лопаты людям из других цехов, Тиктор, оставшись в одной майке-безрукавке, вразвалочку подошел ко мне и глухо спросил:

— Ну, а мне куда прикажете?

— Выбирай, что хочешь, — предложил я. — Либо здесь — плац расчищать, либо песок носить. А может, хочешь пересеивать его возле бегунков?

— Останусь тут, — решил Тиктор. — Дай вот лопату захвачу.

— Да ты бы кепку надел, — взглянув на его пышную шевелюру, посоветовал я, — запорошатся — не отмоешь...

— Не беда! — упрямо махнул Тиктор светлым чубом.

И пяти минут не прошло, как он одним из первых вогнал с размаху глянцевитую лопату в сухой слежавшийся песок.

Вскоре поднялась такая пыль, что мы видели друг друга как в тумане. Натыкаясь на окалину, на обломки ржавых опок, лопаты скрежетали и быстро тупились.

Под жесткое их царапанье я думал: «Еще лишний кусочек металла останется на решете. Высеют его ребята, отделят от песка, и пойдет он вместе с чугунными чушками в люк вагранки, а потом его снова принесут сюда же, на заливку, в тяжелом огнедышащем ковше...»

Признаться, до приезда сюда я не отдавал себе отчета в том, какую ценность представляет металл для будущего страны. Но после разговора с директором завода я совсем по-иному вдумывался в этот вопрос. Слова директора глубоко запали в мое сознание, и теперь, освобождая плац от залежей песка, я радовался каждому найденному куску чугуна.

Чего только не было на свалке! Обломанные держа-

ки лопат, которыми орудовали, возможно, еще до революции, и недолитые корпуса гранат, возвращавшие мысли к тем временам, когда через мой родной город ко Львову двигались вооруженные подобными ручными гранатами войска Юго-Западного фронта. Лопаты выволакивали обрывки газет с твердым знаком и буквой «ять», осколки чугунных ковшиков, употребляемых для воды во время примачивания форм, какие-то шестереночки и позеленевшие гильзы от ружейных патронов.

Все это вместе с песком наваливали мы на носилки и тащили во двор.

Вскоре Яков сбросил с себя даже синюю майку. Его примеру последовали и другие хлопцы. Их обнаженные до пояса потные тела поблескивали при свете электрических ламп. Мы то и дело невольно поглядывали в сторону Тиктора. Радостно было уже одно то, что в свободный день он работал заодно с нами, а не просиживал за мраморными столиками у Челидзе со своей гоп-компанией и шепелявым Кашкетом. «Надо драться за каждую молодую душу и сделать ее своей, а не отбрасывать на поживу врагам!» — вспомнились слова Головацкого. И нынче я понял, что в споре о Яшке все-таки был прав Анатолий, а не я.

«Но почему в таком случае не можем мы драться за душу Анжелики? Папаша ее — буржуазный спец и не любит нас. Это факт? Да, факт. Но ведь она-то может стать лучше собственных родителей?» Однако, называя ее как-то «самонадеянной мамзелью» и «гагарой», Головацкий как бы отмахивался от нее навсегда. «Нет, Толенька, чего-то ты, друг любезный, не додумал!» — сказал я себе и еще сильнее стал орудовать лопатой. Руки скользили по ее гладкому древку, как по шесту в спортивном зале.

Настроение у меня было отличное еще и потому, что вчера я получил пересланную мне Коломейцем открытку Гали Кушнир. Оказывается, мое письмо до нее не дошло.

На заводе, куда командировали Галю, свободных вакансий не было. Профсоюз металлистов помог ей устроиться токарем в механической мастерской судостроительного завода. Судя по бодрому тону открытки, Галя была очень довольна. «Возможно, на следующий год, Василь, поедешь в отпуск морем, через Одессу, —

так не забудь, что здесь живет твой старый и верный друг, — писала она. — Обязательно разыщи меня. А пока — пиши, не забывай!!!»

Три восклицательных знака в конце письма, да и вся открытка Гали, с видом на море, и особенно тот факт, что Галя все-таки разыскала меня, вызвали в душе моей много радости. «Я несправедлив был к Гале», — думалось мне. И, швыряя лопатой на носилки пересохший песок, я твердо решил в будущем году ехать в отпуск только морем, через Одессу...

Не дожидаясь, пока мы уберем весь песок, водопроводчики уже тянули на новый плац трубы для сжатого воздуха. Наблюдая исподволь, как навинчивали они патрубки, я невольно думал об изобретении, которое беспокоило меня все прошедшие дни. То одно, то другое: жатки для коммуны, приезд Никиты, подготовка к вечеру юнсекции и многие другие дела отвлекали, мешали связно записать на бумаге то, что давно роилось в мозгу...

Тут я заметил, что Тиктор швырнул в сторону лопату и, нагнувшись, схватил какой-то провод. Потом он выпрямился и, заметив монтера в синем комбинезоне, стоявшего на стремянке, крикнул:

— Молодой человек, давай-ка сюда!

Думая, что его приглашают наваливать песок, монтер недовольно отозвался:

— Не видишь — проводку тяну?

— Слезай быстрей! Тут уже есть какая-то проводка.

Монтер неохотно слез со стремянки. Помахивая отверткой, он не спеша подошел к Тиктору и, припав на колено, небрежно поглядел на обрывок шнура.

Как крысиный хвост, шнур торчал из песка. Вокруг скрежетали лопаты, и никто не обращал ни малейшего внимания на Яшкину находку. Монтер наклонялся к шнуру все ближе, ближе — казалось, он хочет лизнуть его языком, — но вдруг, как ужаленный, вскочил на обе ноги и отпрыгнул прочь. Поводя глазами вокруг, он завопил не своим голосом:

— Эй, остановитесь!..

И тут же монтер с ходу вырвал изо рта у подбежавшего Закаблука папиросу.

— Не паникуй!.. Скажи, в чем дело? — тронул за плечо ошалелого монтера Тиктор.

— Я не паникую. Я всевобуч проходил, — объяснял монтер. — То не проводка... то бикфордов шнур!.. Понимаете!.. Кто тут старший?

Грозные слова «бикфордов шнур», подобно молнии, вспыхнувшей среди ночи, осветили в моей памяти неудачный налет врага на штаб ЧОНа. Я не знал, что делать: кричать или рвать этот шнур?

К счастью, в эту минуту из кладовой вышел Флегонтов. Пока мы очищали плац, Кирилл Панкратьевич Флегонтов, Турунда и другие формовщики годами постарше помогали слесарям из инструментального проверять запасные машинки.

— Кирилл Панкратьевич!.. Сюда! — крикнул Тиктор на весь цех.

Флегонтов чуть-чуть ускорил шаги и, подходя к плацу, спокойно спросил:

— Что случилось?

— Да вот, гляньте-ка... — показал ему монтер.

— Бикфордов шнур?.. — проронил Флегонтов. — Откуда? — И тут же, принимая на ходу решение, крикнул: — А ну, не курить здесь!

Он быстро зашагал в застекленную конторку, и мы увидели, как зашевелились его губы, когда он схватил телефонную трубку...

Устали мы на воскреснике до ломоты в костях. Покидали цех уже в сумерки, когда последняя, двенадцатая, машинка переползла с деревянных катков на каменное основание фундамента. Думалось не раз, что от криков «раз-два — взяли!» стекла с крыши посыплются на азартный коллектив молодежи и стариков.

В промежутках между машинками плотники поставили сколоченные ими чистенькие, пахнущие смолой ящики для формовочной смеси. Новая проводка уже белела повсюду. Смоченный водой каменный пол издали казался вороненым.

Для того чтобы новые двенадцать «пулеметов» застучали без перебоев, предстояло еще выверить их в серийной работе. Следовало чернорабочим подтащить сюда сотни новых опок и разгородить решетчатыми штабелями каждую работающую пару. Десятки тонн годного для набивки, чисто просеянного, влажного песка надо было доставить сюда от бегунков и рассыпать кучами в рост человека на новом, отвоеванном

нами у цеховой свалки просторном плацу. Но самая трудная подготовительная работа была уже сделана на воскреснике.

Казалось, можно было нам, усталым до изнеможения, упасть без промедления на жесткие матрацы и забыться в тяжелом сне. Впереди ждала нас целая неделя сдельной работы. Но мы, и придя домой, все еще не могли успокоиться.

— Когда же они ту мину заложили, вот вопрос, — сказал Бобырь.

— Ясно когда: как Врангель убегал! — ответил я. — Их пароходы в тот год и в Азовское море заходили. А как пришло время сматывать удочки, они и решили взорвать завод, чтобы нам не достался, да что-то им помешало. Дядя Вася не зря мне рассказывал, как иностранные техники по ночам в цехах шныряли...

Внизу, в садике, скрипели цикады. Слышно было, как тяжело вздыхает сквозь сон в своей комнатке квартирная хозяйка.

Беседуя вполголоса с друзьями, я все время мысленно был еще там, в литейной, и видел снова, как осторожно монтер откапывал под основанием недостроенного мартена бикфордов шнур, засыпанный песком. Еще до того как появился в нашем цехе вызванный по телефону Флегонтовым начальник горотдела ГПУ — низенький, на первый взгляд добродушный человек в сером коверкотовом костюме, — сам Флегонтов обследовал таинственный ящик, клейменный заграничными надписями, и сказал, что его содержимого вполне хватило бы, чтобы подорвать не только основание мартеновской печи и «грушу» для плавки меди, но и ведущую к вагранкам капитальную стену цеха.

Толя Головацкий показал нам на этот ящик со взрывчаткой и сказал: «Смотрите и запоминайте, какие подарки оставила рабочему классу иностранная буржуазия! Чертежи увезли, а взрывчатку тут положили. Для чего, спрашивается? А для того, чтобы, подорвав литейную, остановить на долгие месяцы завод. Чтобы полить вот этот песок рабочей кровью».

— Одно тут неясно, — нарушая тишину, сказал Бобырь. — Буржуи-то сюда вернуться хотят. Зачем же им, спрашивается, литейную подрывать?

— Смешной ты, право! — совсем по-взрослому от-

ветил Саше Маремуха. — А страховка на что? Возможно, еще до революции Кейворт завод застраховал. Что бы ни случилось, он свои миллионы всегда от страхового общества получит, дай ему только снова до власти здесь дорваться.

— Ну хорошо, — не унимался Бобырь, — а чего они этот шнур понадежней не заховали?

Тут новая догадка осенила Петра.

— Кто знает, может, кто-нибудь из буржуйских холуев нарочно вытащил его наверх? Мы на эту свалку все время остатки чугуна выплескивали. Представьте себе — попадет капелька чугуна на этот шнур, и мина рванет!

— Даже страшно подумать! — бросил Бобырь.

— Но ты вот что скажи, Саша, — трогая Бобыря за плечо, спросил Маремуха, — отчего начальник ГПУ с тобой за руку поздоровался? Ты знаком с ним, что ли?

— Да он со всеми здоровался, — увильнул Саша.

— Не ври. С Флегонтовым и с тобой только, — возразил Маремуха.

— Не знаю, — буркнул Саша.

— Зато я знаю! Петро, дай спички!

Маремуха пошарил рукою у себя под изголовьем и, крикнув: «Лови!», перебросил мне коробок. Чиркнув спичкой, я зажег лампу и при ее разгорающемся свете вытащил из расшитого нагрудного кармашка своей рубашки сложенную вчетверо бумагу, о существовании которой чуть не забыл совсем.

— Читай, Петро! Узнаешь, чей это почерк? — сказал я, протягивая ему бумагу.

Минуты не прошло, как Маремуха, указывая пальцем на Бобыря, воскликнул:

— Его! Конечно, его!

Заглядывая в бумажку, которую Маремуха милостиво поднес к Сашкиному носу, Бобырь простонал:

— У-у-у, забудька!.. Как же я это не спалил!

— Ну, рассказывай все! Разве мы тебе чужие? — сказал я.

— Да что рассказывать? Видите сами... Вы тогда не поверили мне, что я Печерицу встретил. Еще смеялись надо мной. А я думаю: нехай смеются, черти, а мои глаза верные. И снес заявление. Жаль, копию не уничтожил... И нечего вам надо мною издеваться!

— Кто издевается? Чудак ты, право! Очень правильно сделал!.. Мины под нас подводят, а мы что — ушами хлопать должны? — сказал я Саше.

Той ночью я заснул последним. Под легкое посапыванье друзей до боли в затылке передумывал все, что пришлось увидеть сегодня.

Совсем иным представлялся мне теперь тихий и солнечный курортный городок у моря. За его обманчивой спокойной внешностью тоже скрывалась отчаянная борьба нового со старым. Признаки этой напряженной борьбы обнаруживались внезапно, как подметное письмо неизвестного махновца или как хвостик бикфордова шнура, замеченный сегодня Тиктором. Скрытые классовые враги еще надеялись вернуть прежнее положение, отнятое у них навсегда революцией. Они пытались задержать наше движение вперед и пускались на любые подлости.

«Они подстерегают каждую нашу ошибку, всякий наш зевок, — думал я, — и впредь захотят воспользоваться нашим добродушием и беспечностью. Они ждут нашей смерти; если мы уцелеем, будем жить и расти, то, несомненно, рано или поздно доконаем их во всем мире... Они чуют это, свирепеют, идут на все. А раз так — не зевай, комсомолец! Держи ушки топориком, как советовал Полевой. Всюду и везде, где бы ты ни был, будь начеку».

ЧАРЛЬСТОНИАДА

Мы старались сберечь в тайне план наступления на салон Рогаль-Пионтковской и проводили репетиции драмкружка юнсекции при закрытых дверях, но слух об этом расползался по городу. Старички и те стали выпытывать, когда же, наконец, покажут тот спектакль, который придумали комсомольцы.

В наш приморский город приехал отдыхать из Ленинграда артист, певец и музыкант Аркадий Игнатьевич с женой — артисткой ленинградской эстрады.

Аркадий Игнатьевич часто приходил на пляж со своей гитарой.

Надоест ему загорать молча — сядет на краю причала, свесит ноги над морем и давай передразнивать бродячих эстрадников-шарлатанов, которые бог знает за какую чепуху сдирают с доверчивой публики деньги.

Он сам сочинял едкие пародии на распространенные песенки тех нэповских времен. Ох и доставалось же в его пародии одесской песенке «Клавочка», которая «много лопает, ножкой топает» и под которой «бедный стул трещит»! Не пощадил Аркадий Игнатьевич даже новый романс, который нравился слишком доверчивым людям: «Он был шахтер, простой рабочий...» В этой песне, составленной на манер «жестокого романса», Аркадий Игнатьевич заметил то, чего многие не замечали: пошлость. Да и в самом деле, шахтер, который «долбил пласты угрюмых шахт», в этом романсе влюблялся и страдал, как великосветский лодырь!

Гость из Ленинграда привез также с собою блестящий никелированный саксофон. Когда по утрам он брал высокие ноты на этом никогда не виданном мною раньше инструменте, то даже задумчивая коза Агнии Трофимовны начинала жалобно блеять, а куры, кудахтая, разбегались в стороны, словно по двору скользила страшная тень ястреба.

Ленинградские артисты поселились за два дома от нас, возле морских ванн на Приморской. Мы решили просить их помочь нашей юнсекции.

Аркадий Игнатьевич выслушал мой сбивчивый рассказ и сказал веско:

— Иными словами, готовится пародия на местные нравы? Ну что ж, давайте потревожим мещанское болото!

...Иногда я заглядывал в репетиционную, где ленинградцы и Толя Головацкий отбирали исполнителей для молодежного вечера. Аркадий Игнатьевич сидел обычно в кресле, откинувшись на спинку, с гитарой в руках. У него было длинное сухощавое лицо с выдающимся подбородком и острым носом. Его жена Людмила, хрупкая, изящная, в синеньком спортивном платье с красными кармашками и якорьком, вышитым на груди, сидя рядом, отбивала такт то каблуком, то носком туфельки. Головацкий расхаживал позади — солидный и важный.

Так на одной из репетиций увидел я «перекреста»

Осауленко. Он заглянул в клуб по приглашению Головацкого и был несколько смущен этим вызовом, подозревая, не хочет ли Толя снова побеседовать с ним по поводу его татуировок. Однако, узнав, в чем дело, Миша, по кличке Эдуард, охотно включился в нашу затею. Какие-то скрытые силы обнаружились в этом чубатом парне, от шеи до пяток расписанном русалками, обезьянами да старинными фрегатами. Все ему хотелось делать на вечере: и плясать, и жонглировать пудовыми гирями, и даже петь, несмотря на то, что голос Эдуарда был не из мелодичных и часто на репетициях он «давал петуха». Зайдя сегодня в репетиционную, я увидел Мишу Осауленко пляшущим. Он изламывался весь в расслабленных движениях, раздвигал широко ноги, опускаясь на них почти до самого пола и чуть не разрываясь надвое, вяло махал руками и шаркал подошвами, вновь соединяя ноги «ножницами».

— Как этот танец называется? — хмуро спросил Головацкий.

— Блек боттом! — ответил Михаил, тяжело дыша.

— Кто же тебя научил этому танцу? — допытывался Толя.

— Матрос один плясал в «Родимой сторонке». Ребята, ходившие за границу, говорили, что повсюду сейчас это самый модный танец.

— А ты знаешь, что означает «блек боттом»? — спросил Головацкий.

— Ну, название такое... Скажем, «вальс».

— А все-таки, какое именно название, ты знаешь? — Толя хитро переглянулся с Аркадием Игнатьевичем.

— Не-е-е... -- протянул Михаил.

— Эх ты, Матрена Ивановна! Повторяешь, как попугай, чужие слова и даже не поинтересуешься, что они означают. Неужели тебе интересно всю жизнь прожить таким ленивым и нелюбопытным? «Блек боттом» в переводе на русский язык значит «черное дно». А тебе нравится идти на дно? Да еще в кромешную темноту?

Михаил ухмыльнулся, показывая серебряные зубы:

— Не-е-е. Не нравится!

— То-то, милый. Пускай буржуазия, которая считает этот танец модным, сама опускается на дно, а мы

для себя выберем что-нибудь повеселее. Нам к свету надо шагать, а не в преисподнюю опускаться!

...Когда по цехам распределяли билеты на молодежный вечер, я забрал два билетика лишних и послал их по почте прямо домой Анжелике Андрыхевич, а внизу, где пишут обратный адрес, написал: «От лейтенанта Глана». Что мне стрельнуло в голову, сам не знаю. Созорничать хотел.

Как и следовало ожидать, она явилась на вечер вместе с Зюзей Тритузным. Он пыжился, сидя возле нее в третьем ряду, угощал из синей жестяной коробки моссельпромовскими леденцами, нашептывал ей что-то смешное на ухо и сам при этом улыбался первым.

Наблюдая за его ухаживаниями, я думал: «Подожди, Зюзенька! Ты даже не представляешь себе, какое ждет тебя удовольствие!»

Несмотря на старания Тритузного, Анжелика была скучна и смотрела на сцену далеким взглядом, изредка небрежно поправляя пышные волосы и как бы отмахиваясь одновременно от назойливого соседа. Она даже не улыбнулась, когда Головацкий начал свое вступительное слово.

«Глуп тот, кто хочет лишить молодежь веселья и не умеет разумно организовать ее досуг!» — именно так открыл Толя Головацкий молодежный вечер. Все то, что предстояло зрителям увидеть позже, он называл лишь «первой попыткой показать в натуральном свете уродливые явления окружающего нас старого быта и заклеймить навсегда позором тяготение к пустой и безыдейной иностранщине».

— Упадочная музыка, все эти фокстроты и цыганщина, — говорил Головацкий, — вызывают чувство безволия, пассивности, понижают работоспособность человека. И не случайно враги воюют против нас с помощью этой чуждой музыки. Но, клеймя гнилое и чуждое нам, — говорил Толя, — следует учиться хорошему, бережно отыскивать его, лелеять и показывать подлинно народные таланты.

Слова Головацкого, предвещавшие необычное зрелище, внимательно слушал переполненный клубный зал. В зале сидела не только заводская молодежь, но и старые производственники со своими женами. В первом ряду я увидел Ивана Федоровича Руденко, Флегон-

това и секретаря городского комитета партии Казуркина.

Я уже слышал однажды Казуркина на производственном совещании литейного цеха, когда он призывал нас всеми силами бороться с браком и не задерживать другие цехи. Турунда рассказал мне, что Казуркин в гражданскую войну служил в Конной армии Буденного, под самый Львов ходил с нею из приазовских степей. Недаром в память об этом походе поблескивал на его белом френче орден боевого Красного Знамени.

Казуркин помог комсомольцам в подготовке вечера. Не раз Головацкий ходил к нему, и тогда все находилось: и коленкор, и гримеры, и балалайки напрокат из соседнего клуба, и кавказские кинжалы из трофейного фонда милиции, отобранные милиционерами у разоблаченных махновцев...

Едва Головацкий кончил говорить, я перебрался к сигнальному колоколу. Отсюда можно было следить не только за тем, что творится на сцене, но и поглядывать искоса в зрительный зал. Правда, надпись на кисее, открытой распахнувшимся занавесом, мне пришлось прочесть с трудом:

ЧАРЛЬСТОНИАДА, ИЛИ ЧТО ПИЖОНАМ НАДО?
(Фельетон в лицах)

Клубные декораторы в точности изобразили салон Рогаль-Пионтковской. Даже колонны из папье-маше, расставленные по бокам сцены на уровне человеческого роста, были, как и там, засалены.

Кисея с надписью, свертываясь, поползла вверх, и на авансцену выскочил тапер во фраке с длинными фалдами — точная копия тапера из салона Рогаль-Пионтковской. Он принялся, картавя на все лады, расхваливать танцы, которым могут обучить «мадемуазелей» и «мусью» в танцклассе за полтинник в вечер. Потом он подбежал вприпрыжку к пианино, и дробь чарльстона прокатилась по сцене.

Из-за кулис под эту музыку стали выкатываться пары.

Сперва смешок пронесся по залу, как легкий порыв

ветра, предвещающий неминуемую скорую грозу, потом шум перерос в громкий смех, и скоро весь зал хохотал так, что стекла звенели в высоких окнах, обращенных к морю.

Художники клуба постарались! Набрасывая эскизы костюмов для «Чарльстониады», они заодно с гримерами добились почти фотографического сходства исполнителей, танцующих сейчас на сцене, с известными завсегдатаями салона Рогаль-Пионтковской.

Вихляясь в танце, выскочила на сцену разметчица Марлен. Она была в матроске с длинным воротником, с очень низко подстриженной челкой, почти совсем безлобая и оттого мрачная. Подле нее трясли ногами ее подружки на таких высоченных каблуках, что зрители просто диву давались: как они вообще передвигаться могут?

Губы у девиц были раскрашены ярко, но уже не «бантиками», как требовала мода, а целыми бантами! Почти у каждой из плясуний алело под носом кровавое пятно помады размером с доброе куриное яйцо. А какие прически напридумывал им гример! И челки с напуском на выщипанные стрелками брови, и стоящие торчком тюрбаны из волос. Были здесь и подобранные кверху, с затылка, вороньими гнездами целые копны волос, и завитые щипцами пышные кудряшки, как у болонок.

Одна из плясуний, в туфельках на босу ногу, прицепила себе на прическу чучело зелененького попугая-неразлучника и перепоясалась наискосок двумя рыжими лисицами, связанными позади за хвосты.

Все кавалеры «чарльстонили» в узеньких и куцых брючках. Было боязно, как бы эти клетчатые и полосатые штанишки не разлезлись по швам.

Зрители быстро смекнули, кого изображал актер с пробором, расчесанным посреди седоватых и прилизанных волос. Его одели в кремовые брюки и серый пиджачок, а лицо покрыли густым слоем пудры для загара, перемешанной с тавотом. Лицо танцующего седого кавалера прямо лоснилось, смуглое, как у индейца, а на руке он небрежно держал самшитовую палку с монограммами.

Вне всякого сомнения, это была копия адвоката Мавродиади. Полугрек, полутурок, неизвестно какими

ветрами прибитый к берегам Таврии, он появлялся в установленный час на шумном проспекте и не одну пару подметок стоптал на его асфальте. Зимой он сидел где-то в своей юридической консультации, копил деньги, давал советы частникам, как ускользнуть от больших налогов, высуживал наследство всяким тетушкам-салопницам, а с наступлением весны, как только в городе появлялись первые курортники, выползал на проспект. Он знакомился на проспекте с молоденькими приезжими девушками, гадал им по руке и на картах, ходил с ними на пляж и до сумерек лежал там у самой воды в красной феске с черненькой кисточкой. С наступлением вечера он, сделав несколько туров по проспекту, важно шел, постукивая палкой, в салон, целовал руку Рогаль-Пионтковской и танцевал до полуночи.

Но что было опаснее всего: этому стареющему пошляку нравилось быть в окружении молодежи.

Мы надеялись, что клиентура Мавродиади после этого вечера значительно уменьшится, ибо самый лучший способ разоблачить пошляка и жулика — это высмеять его публично.

Тут на сцену из-за кулис выскочила еще одна запоздавшая пара. Зал сразу захохотал: даму в тунике, в прическе, задранной от затылка вверх, вел в танце Зюзя Тритузный с уродливыми бакенбардами на щеках.

Брючки ему смастерили клетчатые, но до коленей, наподобие футбольных трусов, на ноги напялили оранжевые бутсы, так что ни у кого не было сомнения в том, кто именно изображен на сцене. Скопировали все: и Зюзину любимую прическу «под бокс», обнажающую почти до макушки его красноватый затылок в складках, и бантик, зажатый крахмальным воротничком, и все ухватки — предупредительно-вежливые, с наклоном головы вперед, с умильным, приторным заглядыванием в глаза своей партнерше. Танцуя чарльстон, Паша из столярной, играющий Тритузного, нарочно изображал мелкую пасовку — «дриблинг» и выкрикивал то и дело басом излюбленные Зюзины иностранные словечки и футбольные термины: «аут», «силь ву пле», «ах, шарман!», «ожюрдюи», «апсайт»...

Должно быть, ни разу за всю свою футбольную

практику Зюзя не чувствовал себя так глупо, как в этот вечер. На зеленом поле ему было куда вольготнее. Если и промазал у самых ворот и погнал мяч вместо сетки на угловой, то вскоре эта ошибка могла быть забыта. Внимание зрителей быстро переключалось на других игроков. Здесь же Зюзя маячил и вертелся в разных положениях перед зрителями довольно долго.

Сперва подлинный Тритузный, распознав себя в двойнике, фыркнул и, пренебрежительно пожав плечами, заговорил с Ликой. Но стоило столяру Паше, приблизившись к рампе, выкрикнуть любимые Зюзины словечки, как мастер «пушечного удара» сообразил, что над ним смеются довольно зло и обидно. Он стал медленно краснеть. Шея его побагровела, губы сжались. Он силился сидеть как ни в чем не бывало, но все больше и больше зрителей останавливало на нем свои внимательные взгляды. Вот и директор завода Иван Федорович обернулся в его сторону и тоже засмеялся. Этого Зюзя уже не мог стерпеть! Круто повернувшись, он что-то прошептал на ухо своей соседке. Анжелика улыбнулась и покачала отрицательно головой. Зюзя схватил ее за руку, видно пытаясь увлечь из зрительного зала, но Анжелика удивительно спокойно отняла руку и опять покачала головой, продолжая со вниманием следить за тем, что происходило на сцене.

Зюзя оскорбленно пожал плечами и, хлопнув сиденьем, направился к выходу. Он шел по длинному проходу, поскрипывая длинноносыми туфлями, и головы зрителей оборачивались ему вслед. Одни подмигивали, другие шептали ему вдогонку ядовитые словечки, но пуще всех доконал Тритузного Паша из столярного цеха. Видя, что пижон, которого он играет, уходит, Паша выскочил со своей девушкой в тунике на авансцену и крикнул вдогонку Зюзе:

— Оревуар!

Тут, отталкивая Пашу, на сцену вырвалась сама Рогаль-Пионтковская. Она подбежала к рампе, заметая пыль подолом своего старомодного платья, сшитого из черного спецовочного материала. Разглядывая зрителей сквозь стекла костяного лорнета, Рогаль-Пионтковская принялась медленно танцевать.

И никто бы не поверил, что точная копия содержа-

тельницы танцкласса не актриса, а мой приятель Маремуха!

Петру навертели седые букли, нарумянили как следует его полные щеки. К мочкам ушей Петрусь канцелярскими зажимами прикрепил хрусталики от люстры. Получилась ну ни дать ни взять вылитая мадам! Обман обнаружился лишь тогда, когда Петро глуховатым мужским баском начал свой монолог.

Обращаясь к своим питомцам-танцорам и гладя их ладонями по плечам, Маремуха бормотал скороговоркой, изредка попадая в такт мелодии чарльстона:

— Ну что, мои букашечки? Что, таракашечки? Соскучились по вашей мамуленьке? Да? Не надо скучать... не надо горевать! Я быстро отучу вас думать... Зачем вам учиться, мечтать о будущем, читать книжки? Не надо! Это ужасно вредно! Танцуйте! Думайте ногами! Вот так, как я, глядите сюда. Вот так! Вот так! Раз-два! Раз-два-три! Маэстро, побыстрее!..

Приподняв немного длинную юбку, Петро стал выкаблучивать что-то немыслимое. Не то это была чечетка, не то украинский гопачок. Но разве дело было в этом?

Он приблизился к пианино и, отталкивая тапера в сторону, подбирая юбку, сел за клавиатуру сам. И едва он коснулся пальцами белых клавишей, как мелодию подхватил невидимый зрителям оркестр.

Хотя Петро раскачивался над клавиатурой и нажимал педали, изображая, что это именно он играет, — все понимали, что его игра — обман, и перестали понемногу обращать на него внимание.

Под музыку движения плясунов ускорились. Каждая пара танцевала по-своему, кто во что горазд. У Марлен подломился каблук. Она грохнулась, увлекая своего кавалера — долговязого верзилу с острыми усиками. Их падение было сыграно, как настоящее, и повлекло за собою кучу малу. У девицы в желтых лисицах сорвали в общей свалке с ее пышной прически попугая-неразлучника, и какой-то красивый франт пытался незаметно запрятать его в карман. Паша — Тритузный покинул свою даму в тунике и начал танцевать с другой девушкой. Его оскорбленная дама набросилась на соперницу с кулаками. Мадам Рогаль-Пионтковская кинулась их разнимать. Все мелкие, ничтожные страсти

прорывались в танцорах во время этого замешательства. Из чопорных и надутых они делались суетливыми и сварливыми, толкали один другого, бранились. Адвокату Мавродиади наступили на ногу. Продолжая танцевать, он грозил обидчику палкой.

Одна за другой девицы на высоких каблуках стали все чаще и чаще поглядывать на ноги. Страдальческие гримасы появлялись на их лицах. Исподтишка, в танце, они прикасались руками к туфлям, стараясь хоть этим немного уменьшить боль в пальцах.

Тут чьи-то услужливые руки высунули из-за кулис на край авансцены дерево и маленький кустик. На деревце были указатели: «Дорога на Лиски», «На Собачью балку», «В Матросскую слободку», «На Кобазову гору»... Плясуньи ринулись к заветной «рощице». И тут зрители увидели примерно то же самое, что и мы с Головацким видели, сидя на скамеечке городского парка, под кривой акацией. Девушки срывали узкие туфли, прыгали босиком вокруг деревца, изображая радость и облегчение, и с криками «ах, как хорошо!» мчались по домам.

Несколько самых упрямых пар еще танцевало.

Тут осветитель повернул круг прожектора. Зеленовато-синий лунный свет залил сцену, и, когда снова вернулось прежнее освещение, кавалеры оказались седобородыми. Они протанцевали уже всю жизнь. И дам подменили: из молодых и резвых они превратились в старух. Движения их были усталые и расслабленные.

А Зюзя Тритузный оказался не только бородат, но и в довершение всего лыс.

ПРИМИРЕНИЕ

Несколько раз пришлось раздергивать занавес, чтобы показывать публике всех артистов, взявшихся за руки и выходивших на авансцену под громкий туш, с мадам Рогаль-Пионтковской посредине.

Но настоящий вечер начался лишь после этой вступительной пародии.

Живая газета клуба «Синяя блуза» показала несколько своих номеров.

Вслед за тем струнный оркестр токарного цеха, почти сплошь собранный из молодежи, исполнил «Светит месяц» и «Сентиментальный вальс» Чайковского.

На сцене появился хор стариков завода. К великому моему удивлению, и Гладышев тоже был в их числе. Я привык видеть его в холщовой рубахе с отрезанными до локтей рукавами, и сейчас мне было трудно привыкнуть к новому обличью моего соседа по машинке. Он был в длинном черном сюртуке. Из-под сюртука выглядывал воротник красиво вышитой синей косоворотки. Оказалось, Гладышев поет басом.

Хор пропел «Замучен тяжелой неволей», потом — «По диким степям Забайкалья» и «Красное знамя». Старикам шумно аплодировали, кричали «бис». Они пошептались и спели казачью песню «По Дону гуляет казак молодой», потом — «Мы кузнецы, и дух наш молод». Но видно было, песни каторги были памятнее всего старикам рабочим, потому что, когда их вызвали снова, они запели «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный». За сценой в это время позванивали цепями. И зрителям сразу представились дальний Сибирский тракт, партия революционеров, бредущая по этапу в кандалах, сквозь пургу и мороз, в снежную Сибирь...

Чтобы программа была разнообразнее, Головацкий вместе с директором клуба пригласили певцов из Водместрана. Их было всего трое, и они вышли на сцену — из желания подчеркнуть свою близость к морю — в брезентовых робах и широкополых шкиперских зюйдвестках. Я узнал среди них и крепыша Колю — матроса из ОСНАВа, который предлагал Лике спасательный круг, когда мы ехали с нею на лодке. Певцы откашлялись и под баян запели веселые «Таганрогские частушки». Изредка они притопывали ногами, обутыми в охотничьи бахилы выше коленей. Я и не знал раньше, что азовские рыбаки такие мастера сочинять смешные песенки, подобные «Саратовским страданиям».

Потом они запели шуточные морские песенки, которые и доселе можно услышать по всему побережью Черного и Азовского морей, от Скадовска и до Ростова-на-Дону. Рожденные в первые годы после революции, песенки эти высмеивали интервентов, помогавших белякам воевать против молодой Советской республики.

Певцы под бренчанье двух балалаек осмеивали «черного барона» Врангеля, лохматого Махно, английских коммодоров, которые вывозили из Крыма на своих миноносцах русских великих князей, получая от них вознаграждение за проезд фамильными бриллиантами.

Впервые на том молодежном вечере услышал я матросскую песню «Раскинулось море широко» в исполнении Аркадия Игнатьевича.

Выпустили заводских плясунов. Много их оказалось. Никто бы и не подумал раньше, что столько талантов скрыто среди рабочих одного нашего завода. Плясал иной раз человек на свадьбах, на крестинах, на обычных домашних вечеринках, плясал в компании друзей у Челидзе, в его «Родимой сторонке», но никто не придавал этому серьезного значения, и никому не приходило в голову пригласить такого способного танцора в клуб, вывести его на сцену, дать ему возможность показать свое искусство всему заводу сразу. И молодчина Головацкий, что затеял это!

Первым, нахлобучив барашковую папаху, в черкеске с газырями, танцевал слесарь Паша Хименко. Он раскачивался на коленях и, отбивая поклоны, потом пошел колесить по сцене Круги, которые он выписывал, сужались, ноги, обутые в мягкие чуваки, скользили по доскам все быстрее, пока, наконец, он не закружился в стремительном, как вихрь, горном танце, размахивая кинжалом.

Черномазый беженец из Бессарабии Ступак изобразил на сцене, как у него на родине танцуют «Жок». Позже этот танец, названный «Молдаванеска», стал широко известен в нашей стране, но в те времена он был в диковинку.

На сцену выскочил переодетый матросом Миша Осауленко из транспортного цеха. Он был в морской робе салатного цвета, с круглыми перламутровыми пуговицами.

Осауленко то мелко семенил ногами, уходя в глубь сцены, то, цепляясь за воображаемые ванты, как обезьяна, взбирался на высокую мачту, то, полусогнувшись, перебирал канат, то, бросаемый вправо и влево сильнейшим океанским штормом, изображал матроса, работающего в страшную непогоду.

Я знал, что дальше Белореченской косы бывший Эдуард — Миша Осауленко в море не ходил, и удивлялся тому, насколько хорошо чувствует морскую стихию этот береговик.

В очередь с заводскими танцорами выпорхнула на сцену жена Аркадия Игнатьевича Людмила. Была она в простеньком своем платьице с красными накладными кармашками. В каждом ударе маленькой ее ноги был заключен не только точный расчет, но и большая ловкость. По знаку Людмилы оркестр затихал, и тогда она добрые две минуты вела мелодию сама, выбивая на сцене дробь каблучками.

Головацкий сперва не хотел выпускать на сцену нашего знакомого извозчика Володьку под тем предлогом, что он-де кустарь, а не заводской. Но мы уговорили Толю изменить свое решение и даже показали ему партизанскую карточку Володьки. Не пришлось жалеть, что Володька появился на сцене. Он прекрасно жонглировал под звуки музыки большими никелированными шарами, сделал стойку на двух бутылках, поддерживая свое тело одной лишь здоровой рукой, а после этих фокусов сплясал не хуже Людмилы. Его «Яблочко» вызвало шумные аплодисменты. А когда Володька протанцевал знаменитый приазовский «Чебачок» и завершил свой выход шуточным танцем «Тип-топ» с палочкой, успех его лихой пляски затмил всех остальных танцоров, выступавших до него. В просторном фойе, куда повалили после концерта зрители, были заранее развешаны карикатуры на завсегдатаев салона Рогаль-Пионтковской.

Над шаржами, подле которых сразу же стали собираться зрители, через всю стену тянулись броские надписи: «Долой чарльстоны и фокстроты! Выгоним навсегда из нашего быта буржуазную культуру!», «За разумный и веселый отдых нашей заводской молодежи!»

Здесь же юнсекция клуба металлистов рассказывала гостям, в какие кружки они могут записаться. Был среди них и кружок сольного народного танца.

Юнсекция извещала, что на днях открывается школа для желающих обучиться бесплатно таким танцам, как вальс, краковяк, мазурка, венгерка и полька.

Педагоги из вечернего рабочего университета вос-

пользовались нашим вечером и развесили в фойе условия приема. «Каждый рабочий может стать инженером!» — было написано на плакате.

Пока публика прогуливалась в фойе, я вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. И здесь, у входа в клуб, увидел Лику. Протягивая мне руку, она сказала:

— Здравствуйте, лейтенант! Спасибо за приглашение.

— Здравствуйте, — сказал я, делая вид, что не замечаю ее укола. — Вам понравилось?

— Необычно. И смешно. Такого до сих пор в клубе не было. Вы домой? — Она посмотрела на меня из-под своих густых ресниц, высокая, красивая, и, словно боясь, что я скажу «нет», добавила: — Проводите меня. Мой спутник обиделся и сбежал.

— Я видел.

— Злорадствуете? Жестоко немного. Думаете, он с большой охотой на Генуэзскую ходил? В клубе скучно, вот все туда и зачастили. Так вы меня проводите?

Глянул я на Анжелику, увидел в ее больших, чуть раскосых глазах просьбу, и жаль мне стало обидеть ее грубым словом. Я пошел вместе с нею.

— Что значит «скучно», Лика? Смешно это. Маленький ваш Зюзя, что ли? Няню ему надо, чтобы развлекала? Вы думаете, хотя бы одну книжку в год он прочитывает?..

— Не читает, — сказала Лика и рассмеялась. — Тут я пас! Я молчу.

— Вот видите! — бросил я раздраженно. — Чудаку, который не хочет думать и мозги свои переместил в ноги, всюду будет скучно.

— А скажите, Василь, почему вы меня пощадили в «Чарльстониаде»? Я все ждала, что увижу себя в этом паноптикуме пошляков.

— Мы хотели... мы думали... — пробубнил я, не зная, как мне отвертеться от прямого ответа, и наконец бухнул: — Мы хотели в первую очередь повлиять на заводских.

— Скажите проще — что меня уже нечего «воспитывать». Верно? — И Лика посмотрела на меня в упор так пристально, что я смутился.

— Я этого не сказал, — буркнул я и подумал про

себя: «Опять она переводит разговор на личные темы».

— Вы хороший, славный парень, Василь, и чего там греха таить — симпатичный, но иногда вам не хватает шлифовки и широкого кругозора. По-вашему, весь мир должен складываться только из рабочих и никому иному больше места под солнцем нет. Но так же жизнь станет серой и неинтересной. А что, если часть людей будет музыкантами, артистами, художниками, теми, кого вы так презрительно зовете «интеллигенты»? Что в этом плохого? Должен кто-нибудь украшать жизнь?

Меня взбесил этот поучительный тон Анжелики и ее взгляд на меня свысока. Понимая, что надо сопротивляться и во что бы то ни стало отстоять свои позиции, я отрезал:

— Прежде всего надо новую жизнь построить, а уж потом ее украшать!

— Но одно другому не мешает, Василь, — мягко сказала Лика, — и я не понимаю, почему вы снова ершитесь?..

...Мы шли пустынной улицей к морю, и я досадливо думал, что намеревался провести вечер совсем иначе. И хотя рядом со мною шагала девушка, которую по всем правилам приличия следовало развлекать, я упрямо молчал.

Думалось совсем о другом. Еще не остыл азарт тех дней, когда мы сообща, веселой молодежной артелью, с помощью заводских стариков мастерили жатки для Никиты Коломейца и очистили часть цеха, где была обнаружена мина.

А сколько еще труда впереди! Флегонтов рассказывал, как участвует в борьбе за повышение производительности труда комсомолия Ленинграда. Хотелось и у себя применить ее опыт. Заведем для всего цеха щит «Потерянные минуты» и будем отмечать на нем каждую минуту вынужденного простоя, а Коля Закаблук станет подсчитывать, во что обходятся эти потери... Деревья между цехами посадим, клумбы разобьем... Много дел ждет нас!

Словно угадывая мои мысли, Анжелика сказала тихо:

— Я вам надоела?

— Нет, зачем... — очнулся я.

— Скажите, почему вы меня сторонитесь?

— Мы с вами разно смотрим на жизнь, — сказал я прямо.

— Я охотно это признаю, но признайте и вы, что нельзя рассматривать человека только в одном измерении.

— Как так?

— А вот так, как вы смотрите хотя бы на меня Думаете небось: пустая, взбалмошная девчонка, которой очень хорошо живется под крылышком у своего папы! — в словах Анжелики послышалась горечь.

— А как же думать иначе, послушайте, Лика? Раз вы сами...

Но она не дала мне договорить.

— Видите, Василь, — сказала она горячо, — вы любите все осуждать бесповоротно и не хотите войти в положение человека, у которого, может быть, кошки скребут на душе. А так нельзя! Тогда, на лодке, стоило мне сказать: «Жду счастливого случая», — как вы сразу напали на меня. Вы поленились даже поинтересоваться, как надо понимать эти слова. Я прекрасно знаю: вы меня зачислили в разряд безвольных барышень, которые все будущее свое видят в замужестве. Но поймите и поверьте, что такая жизнь меня не устраивает! Я не хочу быть только отражением чьей-то активной жизни. Я не хочу, с другой стороны, быть похожей на этих тучнеющих смолоду торговок, которые все удовольствие в жизни видят в том, чтобы покушать посытнее, нарядиться в свои тряпки и выйти в воскресенье с мужем под руку на проспект — себя показать.

Признаться, эти откровенные слова ошарашили меня. Сбитый с толку, я спросил:

— А что же вас устраивает?

Она встряхнула волосами и, думая о своем, сказала:

— Если бы вы только знали, как я ненавижу этот удушающий запах провинции!

— Вы опять говорите не то, Лика! — возразил я. — Вольно вам с обывателями дружить. Но есть же и хорошие люди в нашем городе. А вы их всех в одну кучу сваливаете. Возьмите, к примеру, завод. Сколько там доброго, интересного, умного люда есть. При чем здесь «провинция»?

Мы уселись на парапет набережной, вблизи того самого места, где я увидел Анжелику впервые.

Вдали, на рейде, поблескивал освещенными иллюминаторами грузовой пароход «Балтимора». К нему подвозили на больших барках-шаландах зерно; команда парохода сама перегружала его в трюмы с помощью лебедок. Вот и сейчас их треск доносился к нам издали, смешиваясь со звуками чужой, иностранной речи и топотом ног матросов, то и дело пробегающих освещенной палубой.

— Я знаю, Василь, что в нашем городе есть немало интересных людей, у которых при желании можно научиться и твердости воли, и умению найти в жизни главную цель, — нарушая молчание, сказала Лика. — Но в данную минуту я говорю с вами о своем собственном окружении. Можно говорить с вами откровенно? — Голос у нее дрогнул.

— Рискните. Я больше всего в жизни люблю откровенных людей!

— И не будете шуметь по поводу моих слов? — Она посмотрела на меня как-то особенно, и я понял, что она хочет доверить мне какую-то тайну.

— Зачем же мне шуметь?

— Я вам верю. Слушайте, Василь... Папа и мама думают, что все это ненадолго... Ну, Советская власть и все такое прочее.

— Ох, вы меня и удивили, Лика! Разве не мог я догадаться об этом и без ваших признаний, один лишь раз поговорив с вашим папашей?

— Догадались? Ну, видите! С вами он был очень откровенен. Во всяком случае, больше, чем с другими... Так вот, мои родители уверены, что это ненадолго, что это все надо переждать, как мелкий дождик. И люди, с которыми они общаются, думают так же. К маме приходят всякие кумушки и говорят: «Скоро, скоро... Еще немного терпеть осталось». То на Врангеля у них была надежда, то на Кутепова. Одно время прошел слух, что Махно соединился с Петлюрой и якобы сели они на корабли и прямиком едут из Варны сюда, в Таврию, спасать Россию от большевиков. Мама даже купоны царских государственных займов подсчитывать стала...

Я не выдержал и сказал хмуро:

— Не дождутся они этого! Облысеют совсем, как ваш Зюзя Тритузный в той живой картине. Вся их жизнь пройдет никчемно, а Советская власть как стояла, так и будет стоять!

— Прежде всего, Василь, давайте договоримся: Зюзя такой же «мой», как и «ваш». — В голосе ее послышалась обида. — Дайте же мне досказать... — И она взглянула на меня пристально.

— Конечно, говорите! — буркнул я.

— Так вот, судачат эти кумушки целыми днями в нашем доме, вспоминают, какие тут свадьбы играли, как некто Эдвардс на Рогалихе женился, сколько у них хрусталя разбили пьяные гости, и вся жизнь их заключена в этих воспоминаниях. Слушаю я ежедневно одно и то же и думаю все чаще: «А мне-то до этого какое дело? Ведь у них нет ничего, кроме воспоминаний, а я-то жить хочу! И у меня может быть настоящее будущее».

Искренность последних слов Лики тронула меня, и я спросил мягко:

— Почему же вы мне возражали тогда?

— Ах, по глупости! Просто из чувства противоречия.

— С этим чувством далеко не уйдешь!

— А я, думаете, не знаю? — сказала она так же душевно. — Знаю! И оттого, раскаявшись, записку писала и сейчас подошла к вам. Этого раньше со мной никогда не бывало, чтобы я, упрямое создание, призналась в своей неправоте...

— Я, Лика, считал и считаю так: лучше сказать в глаза человеку всю правду, все, что про него думаешь, чем сюсюкать с ним, потакать его прихотям.

— Это верно. Скажите лучше, вы действительно уверены в моей безнадежности?

Хитро и ловко подвела она меня к этому вопросу. Сказала с усмешкой, будто между прочим, а теперь глядела на меня своими внимательными и глубокими глазами.

— Никто этого не думает, но мне кажется...

— Да нечего мямлить! Говорите прямо, что вам кажется! — подзадорила меня Анжелика.

Я и отрезал:

— А вам не жаль будет оставить уют родительского

дома, ваши ковры и фей? Мне кажется, что вы привыкли к ним очень!

Она сказала уверенно:

— Поверьте, если увижу проблеск впереди, нащупаю выход, то расстанусь со всем этим бесповоротно.

— Вы это твердо решили? — спросил я напористо и серьезно.

— Твердо! Ах, как мне все это надоело, если бы вы знали! Остепенилась, из сорванца барышней стала, а мать все еще отца Пимена нет-нет да и пригласит домой, чтобы закону божию учил меня. Какой тут может быть закон божий, если миллионы людей давно по новым законам живут!

Трудно мне было скрыть свою радость, и я сказал облегченно:

— Значит, вы в божественное не верите?

Она звонко рассмеялась и весело похлопала меня по руке:

— Смешной, Василь, вы иной раз бываете. И наивный. Да неужели вы меня считаете такой безнадежной дурехой? Ну конечно, не верю!

— Отчего же у вас над диваном лампадка горит?

Продолжая улыбаться, она ответила просто:

— Пока я живу в родительском доме, я не могу каждый день скандалы устраивать.

— А вы плюньте на них! Бросьте ко всем чертям эти лампадки, кумушек, фей и поступайте учиться. И лучше в другом городе. Вот послушайте, что я вам расскажу. Была у нас в фабзавуче одна девушка, Галя Кушнир. Училась с нами два года, ни в чем не отставала, хотя ей подчас и трудненько было зажимать болванки на токарном станке. Закончили мы фабзавуч, получили путевки, и она вместе с нами получила. А ведь у нее тоже, как и у всех, имелись отец и мать, никто бы не стал попрекать ее, если бы она при них осталась. Но Галя решила правильно. «Чем я хуже хлопцев?» — сказала она. Наша Галя гордая и смелая девушка! Она тоже уехала, в Одессу. Я вот письмо от нее получил. Устроилась. Рада. Сама себе хлеб зарабатывает и ни от кого не зависит...

Лика взглянула на меня вопросительно:

— Бросить, вы думаете? А не страшно?..

— Чего же страшиться? Ведь были же у нас в фаб-

завуче хлопцы — полные сироты: родителей у них петлюровцы поубивали. И что вы думаете — погибли хлопцы? Выучились! Мастерами стали! Конечно, жить на восемнадцать рублей стипендии трудно было, слов нет. На чечевице да на мамалыге неделями сидели. Выдержали все и в люди вышли. А разве вы не сможете жить самостоятельно, без папы с мамой? Я вам от души советую: бросайте всю эту музыку, идите учиться.

Она сидела молча, постукивая каблучками о стенку парапета. Взгляд ее был устремлен к маяку, который поглаживал море вокруг себя серебристым лучом света. Задумчивое ее лицо казалось особенно милым в эти решительные минуты.

— Да, Василь, решено! — сказала она, резко поворачиваясь ко мне. — Помяните мое слово. Но как раз музыку я бросать не собираюсь. Я хочу учиться в консерватории. Может, поеду в Ленинград, у меня там в Свечном переулке тетка живет. Приезжала однажды — звала к себе. Вот я и поеду к ней.

— Прекрасно! — сказал я, тронутый этими словами. — Да вы, оказывается, хорошая!

— Может быть, не знаю... — ответила она просто.

Я помог ей спрыгнуть с парапета, и мы быстро зашагали к клубу, откуда чуть слышно сюда, на море, доносилась музыка.

— Признайтесь, — сказала Лика, попадая в такт моим шагам, — на отца сильно вы обиделись за его иронический тон?

— Я больше обиделся на него за другое.

— Вы разве с ним еще встречались?

— Даже не раз. Мы с ним схватились однажды. И он мое изобретение забраковать хотел...

— Папа? — спросила Лика так, будто ее папаша был святым.

— Он самый! Я придумал одну штуку. Ну, по поводу общего подогрева формовочных машинок... Провели мое предложение на цеховом производственном совещании: и партийная ячейка поддержала, и старые рабочие. Послали предложение вашему папе как главному инженеру. Без него же все эти дела не решаются. А он знаете что на предложении написал?

— Он меня в свои дела мало посвящает, — сказала Лика.

— Написал бы просто «нет» — и весь разговор. Я бы постучал в другие двери. А он ехидную такую резолюцию наложил: «Проект юного фантазера, который сам по себе горяч и без подогрева». Как вам это нравится?

— Узнаю папин стиль, — сказала Лика и утешила меня: — А вы не огорчайтесь. Он весь в чудачествах. Даже яблоки и те с червями ест и приговаривает: «Пока я имею возможность, я этого червяка съем, а то позже он меня слопает!»

— Но эта резолюция не чудачество, а издевательство!

— Я вам могу откровенно сказать: папа себялюб и большой эгоист. Очень часто ему даже приятно видеть чужие неудачи. Он приговаривает в таких случаях: «Чем хуже, тем лучше!» Хотите, я попытаюсь уговорить его, чтобы пересмотрел свое решение? — охотно предложила Лика, и я увидел сочувствие в ее глазах.

— Нет уж, не надо! Без заступников обойдемся.

...Громкие звуки духового оркестра встретили нас, едва мы, жмурясь от яркого света, вошли в вестибюль клуба металлистов. Я узнал старинный вальс «Лесная сказка».

Первое, что бросилось в глаза, как только мы приблизились к танцующим, были старички, кружащиеся в плавном вальсе. Они не ушли домой и не завернули в «Родимую сторонку», как обычно, а, придя в гости к заводской молодежи, вспомнили свою собственную юность. Даже стриженый Гладышев чинно, но не очень, правда, ловко вальсировал со своей женой. О молодежи и говорить нечего. Было ее здесь куда больше, чем в самый доходный вечер у Рогаль-Пионтковской. Смотрел я на мелькавшие предо мною знакомые лица молодых рабочих и понимал, что все они чувствуют себя тут куда привольнее, чем на Генуэзской.

Вот пролетел в танце перед нами, прижимая к себе смуглянку Катерину с янтарным монистом на шее, Лука Турунда в голубоватой, простеганной белыми нитками морской робе. Он подмигнул мне на ходу и сразу же вслед за этим сделал большие глаза, увидев, что я стою с дочерью главного инженера. Турунда знал о той

обидной резолюции, какую нацарапал на моем заявлении Андрыхевич, обзывал его «старорежимным чертом» и сейчас не мог понять, почему я так мирно беседую с Анжеликой.

Музыканты заиграли польку. Я уже собрался пригласить Лику на танец, как неожиданно вздрогнул, будто меня укололи. На противоположной стороне, неподалеку от Маремухи, стоял, скрестив на груди руки, Головацкий и внимательно наблюдал за нами. Не забыл еще, видимо, Толя, как предупреждал он шутливо меня, чтобы я «не занозил сердце у соседей». Теперь, видя нас вдвоем мирно беседующих, он терялся в догадках.

«Э, ладно! — подумал я. — После, Толенька, растолкую тебе все». И, схватив Лику под локотки, пустился в пляс.

Не успел дотанцевать польку, как увидел в дверях Гришу Канюка. Лицо его, в струйках пота, хранило следы только что законченной работы в литейной. И странным показалось, что Гриша Канюк не забежал домой переодеться, а пришел в клуб, на танцы, в грязной робе. Отыскав меня глазами, он делал нетерпеливые знаки, вызывая из зала.

— Меня зовут, Лика, простите, — сказал я, и, подведя ее к свободному стулу, пошел напрямик к Грише.

— Головацкого, тебя и всех активистов комсомола срочно требуют на завод! — тяжело дыша, шепнул Канюк.

Было видно, что он не шел, а бежал сюда. Ничего не понимая, я протянул:

— Там же никого уже нет...

Пробегая мимо, видимо тоже вызванный кем-то, Лука Турунда тронул меня за локоть и сказал:

— Быстрее, Манджура! На совещание к Руденко!

Пока мы добежали, кабинет директора уже заполнили коммунисты завода и секретари многих комсомольских ячеек. Горели две лампы под зелеными абажурами, и при их свете я успел заметить секретаря горкома партии Казуркина, нашего Флегонтова и начальника городского отдела ГПУ, уже виденного мною в тот день, когда под основанием мартена мы обнаружили иностранную мину.

Когда все расселись, Руденко, обведя глазами собравшихся, заговорил:

— Больше ждать не будем. Итак, товарищи, сегодня ночью, используя канун выходного дня, враг хотел подорвать основные жизненные узлы завода. Вражеский план минирования у нас в руках! Вот он. — Руденко показал пальцем на мятый чертеж, лежащий перед ним. — Считаю долгом поблагодарить за своевременную находку этого документа наших товарищей чекистов!

С этими словами Иван Федорович повернулся к начальнику городского отдела ГПУ и крепко пожал ему руку. А тот затряс головой, как бы говоря, что ни он, ни его работники не заслуживают благодарности.

Новость, объявленная директором, ошеломила нас. И в напряженной тишине еще строже и внушительнее прозвучал голос Руденко:

— Первый тревожный сигнал о вражеских «подарках» мы, как известно, получили во время комсомольского воскресника. Подлый наймит буржуазии, кому было поручено подорвать мину, в самую последнюю минуту растерялся и не сумел произвести диверсию. А потом молодежь перечеркнула его планы своим воскресником. К счастью, он изолирован и на первом же следствии оказался очень разговорчивым. Такие же мины, заложенные здесь диверсантами еще в тысяча девятьсот девятнадцатом году, изъяты в кочегарке и возле вагранок.

— Кто этот наймит, Иван Федорович? — послышались голоса.

— Пропойца и бракодел Ентута, обманным путем затесавшийся в ряды рабочего класса, — в настороженной тишине сказал директор.

«Так вот кто, наверно, пытался запугать нас своим подметным письмом, когда мы стали выводить его на чистую воду!» — пронеслось у меня в голове.

Директор, помолчав, продолжал:

— А об остальном вам доложит Кузьма Никанорович! — И снова он посмотрел на низенького, очень добродушного человека в сером коверкотовом костюме, предлагая ему жестом руки занять председательское место.

Всю ночь, до рассвета, участники этого внезапного совещания дежурили в цехах, охраняя завод до той

минуты, пока действия врага не были полностью обезврежены.

То, что лодырь и пьянчужка Кашкет оказался наемником врагов, довольно быстро потеряло остроту новизны.

«Разве не ясно было и раньше, что именно среди таких разложившихся типов иностранная буржуазия вербует своих агентов! — раздумывал я, шагая около остывающих вагранок. — В погоне за длинным рублем, за лишней четвертью водки они, не знавшие никогда, что такое родина, могут пойти на любое кровавое дело...»

Мадам Рогаль-Пионтковская, о которой сдержанно, но очень веско в тот вечер сказал нам Кузьма Никанорович, располагала сведениями о прошлом Кашкета уже давно, еще с той поры, как дала согласие быть резиденткой английской разведки в нашем приморском городе, прикрывая свою тайную подрывную работу против Советского государства вывеской мирного танцкласса.

Первый же связной, прибывший из Лондона на грузовом пароходе «Балтимора», вручил ей при тайном свидании не только письмо от муженька-сахарозаводчика, бежавшего из-под Умани за кордон, но и некий «деловой документ». Это был список «верных еще людей», составленный по заданию иностранных разведок, видимо, самим Нестором Махно, который в те годы жил в Париже и даже, по слухам, преподавал там в академии генерального штаба свое бандитское ремесло. Он мечтал с помощью войск Антанты вернуться на своих тачанках к берегам Азовского моря.

Был занесен в этот список и анархист Ентута, по прозвищу Кашкет. Его-то и прибрала к своим холеным рукам, украшенным бриллиантовыми перстнями, мадам Рогаль-Пионтковская еще в те дни, когда ей принадлежал ресторанчик «Родимая сторонка». Кашкет приходил к «мамаше» выпить в долг, часто без отдачи, пользуясь ее «добрым сердцем». И когда уже в собственном танцклассе на Генуэзской мадам потребовала от него первую расписку в получении ста рублей за работу для разведывательной службы Интеллидженс сервис, Кашкет не колебался.

Потом целый год после их свидания Рогаль-Пионт-

ковская и ее агенты были предоставлены самим себе. Связь с Лондоном порвалась. Пароходы под британским флагом долгое время не заходили за грузом в советские порты.

Хозяева Рогаль-Пионтковской решили связаться с мадам из танцкласса иным путем.

Попович из Ровно, Козырь-Зирка, должен был после взрыва штаба ЧОНа в нашем подольском городе посетить Донбасс и Приазовье и вручить новые инструкции из Лондона резидентам, замаскировавшимся, подобно Рогаль-Пионтковской, на советской земле. Это и была та вторая задача, поставленная поповичу из Ровно, которую так долго и упорно разгадывал Вукович.

Многие на первый взгляд мелочи помогли Вуковичу в этом деле. Среди них важно было и случайное предположение, высказанное в письме к Никите, — насчет того, что нет ли родственной связи между содержательницей танцкласса в городе у моря и старой графиней, виденной нами еще в далеком детстве в Заречье.

Вукович установил связь между появлением в городе у моря Печерицы и тем, что оставшийся в живых муженек «вдовы инженера из Умани» благополучно пребывает за границей и даже благодаря своему графскому титулу занесен в справочную книгу, где значатся именитые люди Европы, под странным названием «Кто есть кто?».

Когда Полевой ранил Козыря-Зирку на чердаке штаба ЧОНа, попович из Ровно вынужден был остаться до выздоровления в квартире Зенона Печерицы и передал ему свое второе задание.

Вполне возможно, не разузнай Вукович своевременно, где скрывается Козырь-Зирка, Печерица спокойно под видом очередной служебной командировки уехал бы в Харьков, а там завернул бы и к Азовскому морю. Но случилось иначе. Печерице пришлось одновременно и бежать, и выполнять задание, порученное ему ровенским поповичем.

Имея в руках Печерицу и Козыря-Зирку, Вукович уже мог связать все нити.

Предупреждение, которое сделал мне Коломеец около железнодорожного кипятильника, было не случай-

ным: лишняя болтовня о Рогаль-Пионтковской могла помешать поимке врагов.

А нервы мадам в последнее время сдали. Как только ей стало известно, что Кашкет арестован, она поспешно собрала фамильные бриллианты и, дождавшись сумерек, решила «покататься на лодке».

В то время как Петро Маремуха изображал ее на сцене, мадам Рогаль-Пионтковская огибала на легком тузике волнорез, стараясь незаметно, со стороны открытого моря, подобраться к пароходу «Балтимора», который догружался на рейде зерном.

Кузьма Никанорович не сказал нам в тот вечер, что по соседству с Рогаль-Пионтковской оказалась другая лодка и в ней были наши, советские люди. Они-то и помешали Глафире Павловне ухватить штормтрап, спущенный заблаговременно с борта ржавого грузового парохода... Он лишь объяснил нам, какая опасность угрожала заводу, и обронил фразу: «Мадам задержана своевременно».

Признаюсь, многим из нас не все было ясно в ту ночь, когда мы несли охрану завода. Я пишу теперь обо всем столь подробно потому, что последующие дни, наполненные разговорами и пересудами об этом таинственном деле, помогли понять происшедшее.

ПЛЕЩУТ АЗОВСКИЕ ВОЛНЫ...

Шторм к вечеру разгулялся такой, что даже в порту желтые волны с грохотом били в гранитную стенку мола. Атакуя бешено порт, они то поднимали кверху, то лениво опускали вниз приземистый колесный пароход, готовый к отплытию.

Над ободком колеса виднелась полукруглая надпись:

«Феликс Дзержинский».

В прошлый рейс этот пароход, идя в Керчь, завернул к нам и первый принес горестную весть о смерти человека, именем которого был назван.

Он вошел тогда в порт со стороны косы и еще с внешнего рейда загудел тревожно и печально. Окаймленный траурным крепом флаг его был приспущен.

Комсомольцы порта узнали от радиста подробности

правительственного сообщения еще до получения из Мариуполя номера газеты «Приазовский пролетарий». Они рассказали нам, что Феликс Эдмундович умер в Москве от разрыва сердца после своего выступления на Пленуме ЦК, где он, как всегда горячо и гневно, разоблачал презренных врагов народа — троцкистов. Весть о смерти товарища Дзержинского ошеломила всех нас... Еще совсем недавно, перед отъездом сюда, я слышал, как поздней ночью звонил Феликс Эдмундович начальнику погранотряда Иосифу Киборту. Вспомнилось, с каким волнением сказал мне тогда Никита Коломеец: «Ты знаешь, кто это звонил? Первый чекист революции!»

На следующий день, в перерыве, по поручению Флегонтова я читал рабочим литейной, собравшимся на плацу возле больших машинок, обращение Центрального Комитета ВКП(б) по поводу смерти Дзержинского.

— «Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев...

Его больное, вконец перегруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на передовом посту...»

Прочел это и остановился. Почувствовал, как рыдания подступают к горлу. С трудом сдержал себя, чтобы не разрыдаться перед всем цехом, перед грустными и суровыми лицами моих товарищей по работе. А потом, когда тихим, приглушенным голосом дочитал обращение до конца и, свернув газету, направился к рабочему месту, меня догнал Флегонтов. Он по-отечески положил мне на плечо свою тяжелую, припорошенную графитом рабочую руку и сказал вполголоса:

— Трудно было читать, Василь? Я тебя хорошо понимаю. Такая потеря! Ты понимаешь, дорогой, как все мы — старики и молодежь, коммунисты и беспартийные — должны сплотиться вокруг партии, чтобы восполнить и эту потерю и смело идти вперед, несмотря на все происки буржуазии?..

И, глядя сейчас в порту на близкую и родную

надпись «Феликс Дзержинский», я все никак не мог свыкнуться с мыслью, что этого человека уже нет в живых.

«Феликс Дзержинский» возвращался в Ростов-на-Дону со стороны Крыма, и мы должны были уйти с ним в рейс до Мариуполя, на окружную конференцию комсомола.

Нам, непривычным к шторму, было страшновато уходить в ночь в это шумящее беспокойное море.

На самой верхней палубе появился высокий моряк и крикнул:

— Эй, Селезень! Завинти повсюду на шлюпках донные пробки! Выйдем в море, там разведет волну еще больше.

Голос моряка показался знакомым, но со свету я не мог разглядеть его лицо.

Толя Головацкий, стоявший рядом, сказал:

— Дело будет, братки! Барометр падает.

— А мне казалось, ветер тише...

— Пусть тебе не кажется, Манджура. Глянь-ка лучше на метеовышку. Сколько там было черных мячиков днем? Восемь! А сейчас уже появился и девятый.

— Да уж коли капитан отдал приказ подготовить шлюпки, значит на море настоящая качка, — согласился с Головацким секретарь комсомольской ячейки таможни Колотилов.

По скрипучему трапу мы поднялись к вахтенному. Он проверил наши билеты, и тогда Головацкий предложил забраться всем повыше.

— В каютах жара. Разморит, — сказал Толя, поглядывая на побледневшего Колотилова.

Мы сложили наши вещички возле кормовой шлюпки и, подойдя к борту, поглядывали на далекие сигнальные огоньки, повешенные где-то на уровне Кобазовой горы.

Вскоре убрали сходни. Грузчики, оставшиеся на берегу, отдали носовой канат. Засвистал пар, машина заработала, и пароход стал медленно отходить от гранитной стенки мола.

Вот и кормовой канат, ослабев, упал с причальной тумбы. Его перебросили на палубу. Уже ничем не сдерживаемый пароход, маневрируя, быстрее залопотал ко-

лесами. Заскрежетала, заерзала на верхней палубе рулевая цепь.

Полукруглые портовые пакгаузы алюминиевого цвета отходили от нас все дальше.

Силясь перекричать ветер, Головацкий спросил:

— Споем, ребята?

И, видимо понимая, что возражений не последует, он запел низким приятным голосом:

Вперед, краснофлотцы, вперед, комсомольцы,
На вахту встающих веков!..

Звонкими голосами, мигом уносимыми ветром, мы подхватили припев, с нежностью провожая взглядом знакомый узенький порт.

Испещренный желтыми огоньками, постепенно проплывал перед нами город на песчаном приазовском берегу.

Подтягивая любимую песню, я силился отыскать в нитке прибрежных огней освещенное окошечко нашего домика.

Бобырь с Маремухой вызвались было проводить меня, но я отказался. Неизвестно было, отойдет ли пароход по расписанию, а ведь завтра надо работать.

И еще под звуки бодрой песни хотелось разглядеть с палубы обвитое плющом соседнее окошечко в комнате Лики.

Теперь-то я мог с уверенностью сказать, что она выполнит свое слово. Еще сегодня за обедом Агния Трофимовна подкрепила мою уверенность брошенными мимоходом словами:

— А у соседей плач стоит. Барыня рыдает, инженер хмурый, как ночь. Дочка ихняя в Ленинград собирается, а они ее отговаривают. Инженерша ей золотые горы сулит. «Не надо тебе, — говорит, — этой... как ее, консистории... На дому тебя учить будем. Двух учителей найму, да и регент из Лисовской церкви захаживать будет. Ты от чахотки умрешь в том Ленинграде». А дочь на своем стоит, не поддается на уговоры, и все тут! Барышня настойчивая.

Слушал я Агнию Трофимовну — надежную разведчицу по соседнему дому — и радовался и жалел, что Лика уедет без меня, не попрощавшись. Хотел пого-

ворить с нею обо всем откровенно, проститься и пожелать ей удачи в новой, самостоятельной жизни.

Мы, дети заводов и моря, упорны,
Мы волею нашей — кремни.
Не страшны нам, юным, ни буря, ни штормы,
Ни серые страдные дни... —

пели ребята. А пароход все больше и больше раскачивало. Он то спускался вниз с высоты гребней ухабистого моря, обдаваемый брызгами, — и тогда сердце замирало и ноги чувствовали упругую пустоту, то взметался на гору, выталкиваемый сердитой стихией, — и лопасти колес его задевали тогда длинные ломающиеся гребни гороподобных волн. В ушах свистел все сильнее крепкий штормовой ветер, и шум его сливался с кромешной темнотой открытого моря, изредка рассекаемой лучиком маяка, пляшущим у выхода из бухты.

Один за другим пропадали береговые огоньки, и ослепительно белый глаз маяка то вспыхивал совсем близко, то, отворачиваясь в сторону, показывал нам выход из бухты. А мы пели назло шторму «Краснофлотский марш» Александра Безыменского.

...Пусть сердится буря, пусть ветер неистов,
Растет наш рабочий прибой,
Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты,
Вперед, краснофлотцы, на бой!..

— Поете-то вы славно, а вещички попрошу от шлюпок убрать. Не ровен час, придется шлюпки вываливать, — послышался рядом знакомый голос.

Я обернулся. В то же мгновение луч маяка ярко осветил лицо молодого штурмана, и я узнал его — моего побратима!

— Куница, здоров!

Я крикнул так, что все делегаты обернулись.

Моряк отшатнулся, и быстрые, веселые глаза его сделались удивительно большими. Видно, давно уже никто не называл его именем детства. Ошеломленный, он потер лоб, что-то припоминая, и, лишь когда луч маяка снова пересек уходящую вниз палубу, бросился мне на шею:

— Манджура!.. Откуда?

У Юзика сперло дыхание. Он оглядывался, словно

ища поддержки, и, наконец, справившись со своим волнением, заговорил тише:

— Вот встреча! Ну, ты смотри! Васька! Бывает же такое!..

Не верилось и мне, что именно здесь, при выходе из вспененной волнами приазовской гавани, на палубе парохода, я встречу друга своего детства Юзика Стародомского, по прозвищу Куница.

И все-таки это был он, мой старый товарищ еще по начальному училищу, гроза всех садов Подзамче, лучший пловец в нашем Смотриче! Ведь это с ним вместе мы лупцевали петлюровских скаутов и давали торжественную клятву над могилой убитого гайдамаками большевика Тимофея Сергушина.

Спустя полчаса «Феликс Дзержинский», обогнув косу, вышел в открытое море, взяв курс на Мариуполь. К этому времени Юзик Стародомский уже сменился с вахты и позвал меня в кают-компанию. Спустились вместе с нами туда Головацкий и еще несколько делегатов.

С большим трудом, цепляясь за поручни трапов, стукаясь локтями в стенки надпалубных надстроек, мы сошли в кают-компанию.

— Дружка нашел, Николай Иванович! — радостно сказал Стародомский пожилому буфетчику в белом фартуке. — Сколько лет не виделись, и вдруг!.. Сколько лет мы не виделись, а, Василь?

— Шестой год пошел.

Куница обнял меня за плечи и с укоризной сказал:

— Даже написать не мог! Эх ты, побратим!

— Да мы писали тебе — и я и Маремуха! А ты ответил один раз и замолк. Мы даже обозлились, думали, загордился в своей мореходке.

— Я загордился? — Юзик засмеялся. — Я писал, писал, а письма все назад возвращались.

— Куда же ты писал, интересно знать?

— На Заречье, дом тридцать семь.

— То-то и оно! — сказал я облегченно. — А мы оттуда перебрались на казенную квартиру, в совпартшколу.

— Теперь понятно, — как-то успокоенно сказал Куница, и снова его лицо засветилось радостью.

Пароход покачивался то вправо, то влево. Казалось, вот-вот штормовая волна выбьет стекло иллюминатора и зальет нас зелеными струями.

— Постарше стал, — сказал Куница, разглядывая меня в упор. — Не тот уже Васька, что птичьи гнезда разорял. А помнишь, как мы в скале около кладбища нашли гнездо ястреба?

— Ну как же! — улыбнулся я, согретый теплом воспоминаний. — Яйцо там было — кремовое, с красными пятнышками...

— Редкое яйцо было! Только батька его вытряхнул со всей коллекцией. — В голосе Куницы прозвучало подлинное сожаление.

— Это когда ты две иконы из киотов вынул и под их стеклами на ватках яйца расположил?

— Верно, верно! — радостно воскликнул он. — Смотри, у тебя память какая!

— А мы тебе все завидовали сперва, что у тебя такие ящики с золотыми гранями. Ни у кого ведь таких не было на целую трудшколу.

— Ни у кого не было, — согласился Куница, и лицо его расплылось в улыбке.

Балансируя, как фокусник на канате, и вытирая на ходу тарелку, к нам подошел буфетчик.

— Свидание друзей, и за пустым столом! — сказал он, улыбнувшись. — Чем потчевать прикажете?

Головацкий подмигнул мне, потом важно откашлялся и спросил:

— Омары есть?

— Что вы, сударь! — Буфетчик посмотрел на Головацкого так, словно тот свалился с луны.

Больших трудов стоило нам не расхохотаться.

Куница тоже глядел на Толю недоуменно. Где ему было знать, что наш секретарь нередко, желая потешить хлопцев, демонстрировал перед нами знание великосветской жизни, почерпнутое им из старинных романов.

— Что же есть в наличии в этом неприглядном буфете? — спросил Головацкий, намеренно картавя, как сущий аристократ.

Буфетчик заметно оживился и выпалил:

— Маслины, если пожелаете! Икорка зернистая и паюсная! Со свежими огурчиками в самый раз! Маслице. Кефаль копченая. Скумбрия. Ну, балычок. Селедочка в горчичном соусе. Телятина холодная с хреном...

— Вот что, отец, — неожиданно меняя тон, мягко сказал Толя, — давай-ка нам маслин побольше, ну и хлеба белого этак с четверть пудика, учитывая наш возраст и злодейский аппетит. Хлеб-то у тебя свежий?

— В Керчи выпекали, — сказал буфетчик.

— Отлично! — Головацкий обрадовался. — Корочка хрустит?

— Хрустит-с.

— Ну, пойдем дальше. Масла. Огурцов. Скумбрии или кефали, если жирная, и, разумеется, чайку с лимоном...

— Выпить ничего не пожелаете?

— Как «ничего»? — изумился Толя. — А чай?

— Горячительного-с? — И буфетчик с особым смыслом посмотрел на нашего бригадира.

— Не употребляем! — отрезал Головацкий. — А вот минеральной водицы — пожалуйста.

— Всю выпили днем пассажиры! — И буфетчик, качаясь, развел руками.

— Минуточку, ребята! — и с этими словами Стародомский сорвался с места и легко, словно не было качки, выбежал к трапу.

Был он ловок и в детстве, зареченский наш хлопец, в жилах которого текла польская кровь. Он в каждую щелку Старой крепости мог залезть, оттого и прозвали мы его Куницей. Но здесь, на море, движения Юзика стали удивительно гибкими и очень уверенными. Он грациозно раскачивался в такт разбушевавшемуся морю. «Вот бы кто мог матросский танец на вечере сплясать!» — подумал я, следя за Куницей, и обратился к Толе:

— Какой парень, а?

— Видно сразу, хваткий моряк, — согласился Толя.

Гулко застучали под ногами Куницы ступеньки трапа, покрытые ребристыми медными планками. Сбегая по ним вниз, Стародомский держал две бутылки боржома. Горлышко третьей бутылки выглядывало у него из кармана.

— Из собственных подвалов! — сказал, переводя дыхание, Куница. — Николай Иванович, принеси, пожалуйста, посуду. Проше бардзо!

— Один момент, Иосиф Викентьевич! Летим-с!

Впервые при мне назвали моего старого друга по имени-отчеству. А я и не знал, что Куница «Викентьевич»!

Вот и кончилось наше детство, промелькнули и остались в прошлом славные, беззаботные денечки, когда мы наперегонки бегали по зеленому лугу под Смотричем и все мечтали найти в прибрежном иле золотые турецкие цехины!

— Ты кем здесь плаваешь, Юзик? — спросил я.

— Я хожу на этом пароходе четвертым штурманом, — ответил Куница. — А до Азовского моря на разных судах борты жал: и на «Труженике моря», и на «Феодосии», и на «Пестеле». Полную же практику на «Трансбалте» проходил. И за границу на нем шел.

— Как ты успел, удивительно! — позавидовал я Кунице. — А мы лишь в этом году фабзавуч окончили.

— Я же старше тебя, — сказал Куница солидно. — Вы с Маремухой еще в трудшколе учились, а я уже паруса укатывал под Батумом. Штурман Елизбар Гогитидзе обучал меня этому.

Резкий удар встряхнул наш пароход. В буфете звякнули и посыпались чайные ложечки. Несколько маслин, сорвавшись с крайнего блюда, упали со стола и побежали по углам.

— Ого! — сказал Юзик и прислушался. — Торчковая пошла. Ветерок меняется. Переходит на чистый ост.

— Послушай, Юзик: ост — это хуже или лучше прежнего ветра? — спросил я осторожно, но, по-видимому, так, что в голосе моем прозвучало опасение.

Стародомский глянул на меня испытующе:

— Потонуть боишься, да, Василь? Не бойся. Этот пароход любой шторм выдержит. Ветры меняются, а он знай себе идет вперед.

Приятно было сидеть в кругу новых друзей, напротив своего старого друга и под усиливающийся свист встречного ветра слушать его рассказы о путешествиях по морям, вспоминать своих прежних друзей и войну с нашими недругами, буржуйскими сынками — скаутами...

...Потом Юзик Databases Стародомский поводил меня по пароходу, показал кочегарку, штурманскую рубку, помещения для экипажа, а затем мы забрались в его каюту. Он постелил себе на диванчике, а мне, как гостю, предложил узенькую койку с высоким бортиком, предохраняющим от падения.

Над маленьким столиком в уютной, обжитой каюте висела полка с книгами по навигации и штурманскому делу. Я перелистал один учебник и увидел повсюду на его страницах пометки, сделанные рукой Юзика. Все еще не верилось, что мой старый друг успел выучиться такой сложной и непонятной для меня науке, как вождение кораблей.

На стене возле диванчика висел свинцовый барельеф. Присмотревшись, я узнал очертания родного нашего города, сделанные с плана XVI века.

Обняв меня, Стародомский сказал:

— В Одессе купил эту штуку. Смотрю — что-то знакомое. Пригляделся — батюшки, да ведь это наш город!

— Тут и Старая крепость выведена! Гляди-ка! — воскликнул я, разглядывая замыкающую въезд в город крепость со всеми ее валами и бастионами.

— Ажурная работа! Все здесь изображено, до последней башенки, — согласился Куница. — И речка Смотрич. Видишь, как она петлей обхватывает город и соединяется у крепости?

— Гляди, а вот и крепостной мост! Обрывистые какие берега тут! Помнишь, Юзик, как мы вечером несли по этому мосту цветы на могилу Сергушина и Маремуха все боялся, как бы нас петлюровцы не задержали?

— Еще бы не помнить! — сказал Куница, и я понял, что вечер над могилой убитого большевика также запал и в его душу. — Послушай, а где же вы с Маремухой и Бобырем живете?

— На Приморской. Два шага от порта.

— Ай-ай-ай!.. Вот жалость! — протянул Стародомский. — Если бы знал, всегда бы во время остановки прибегал к вам!..

Все уже было переговорено в каюте четвертого штурмана, и как будто не бывало позади разлуки. Мы поняли, что не только сами выросли и из мальчи-

шек стали взрослыми, но и выросла за это время и окрепла наша молодая страна.

Я узнал, что еще в Черноморском пароходстве Юзик был принят в ряды Коммунистической партии. Самый старший из нашей троицы побратимов, он первым из нас, в ленинский призыв, стал коммунистом.

Лежа на плюшевом диванчике и упираясь ногами в переборку соседней каюты, Юзик спросил:

— А изобретение твое значительное, Василь?

Пришлось рассказать и об этом.

...Нашлись люди, которые дали ход моему предложению. Резолюция Андрыхевича, в которой я был назван «молодым фантазером», отпугнула мастера Федорко, но не повлияла на красного директора завода. Ведь и самого Ивана Федоровича кое-кто пытался в Укрсельмаштресте назвать «рискованным человеком» за то, что он задумал, не останавливая производства, поднимать крышу над литейной и достроить мартеновскую печь для выплавки стали.

Директор вызвал меня к себе и сказал: «Молодец, Манджура! Действуй и дальше так напористо. Работай, работай, норму выполняй, а мозгами шевели получше, живи с размахом!.. Не будешь возражать, если мы приставим к тебе инженера-конструктора на недельку? Не для соавторства, конечно, а для технического оформления проекта?»

Я, конечно, охотно согласился.

Вскоре около проходной появился плакат: «Молодежь завода, равняйся на молодых литейщиков! Рационализаторское предложение Василия Манджуры сберегает заводу ежедневно 660 рабочих часов. Его предложение об уничтожении камельков и переход на центральный подогрев охраняет рабочих от простуды и других заболеваний!»

Плакат этот, как выяснилось позже, сделали по совету Головацкого те же самые художники из юнсекции клуба металлистов, которые рисовали карикатуры на посетителей салона Рогаль-Пионтковской.

Приказом по заводу директор Руденко объявил мне благодарность и выдал премию — пятьсот рублей.

Уже «тропическая мебель» не угрожала больше мне и хлопцам. В ту ночь, когда, беседуя с Юзиком, я

ехал на пароходе, лежа на его узенькой койке, мои приятели отсыпались дома на вполне удобных кроватях с пружинными матрацами. И моя кровать стояла там, в мезонине, застланная пушистым зеленым одеялом.

На эти неожиданные деньги мы выписали «Рабочий университет на дому», журналы «Огонек», «Прожектор», «Красная панорама» и «Смена» с приложениями, а также газету «Комсомольская правда».

С помощью Головацкого я выбрал себе в Церабкоопе отличную «тройку» из коричневого шевиота и ботинки «Скороход».

И все-таки у меня осталось девяносто пять рублей, которые я отнес в сберегательную кассу. Правда, ни хлопцам дома, ни тем более Юзику я не сказал, для чего нужны мне были сбережения. Тут скрывалась тайна: я решил сохранить эти деньги на тот случай, если они понадобятся Анжелике в Ленинграде. Независимо от того, захотела бы она прибегнуть к моей помощи или нет, я считал себя обязанным поддержать ее в самом начале ее самостоятельной жизни.

— Ну, сейчас я понимаю, почему тебя избрали делегатом конференции! — сказал Юзик, выслушав меня. — А какие твои планы на будущее?

— Уже решено, Юзик! — ответил я с гордостью. — Вместе с хлопцами в рабочем университете буду учиться. Днем на заводе, вечером за партами. Не оглянешься, как и зима пройдет. А ты где зимой будешь, как море замерзнет?

— На Черное море подамся. Одесса — Сухуми. А может быть, на ледокол устроюсь. Рыбаков в путину выручать на Азовском море.

— Маленький, наверно, ледоколик?

— Да уж невелик. Моряки смеются: «Пять котлов — шесть узлов. Волна бьет — два дает». А мне что? Пока молод — штурманское дело можно и в каботаже изучать, была бы охота. А потом, глядишь, и океанские пароходы сюда подбросят. Далеко ходить станем. Возможно, и в Арктику отсюда заползем. Я, видишь, вон на досуге лоции Баренцева да Карского морей изучаю! — И Стародомский кивнул головой в сторону этажерки.

— Значит, ты тоже доволен, Юзик?

— Я? Вопрос! Когда я вижу перед собою картуш-

ку компаса, у меня душа ликует. Море плещется за бортом, посапывает внизу машина, а я не сплю и знаю, что мне одному поручена судьба пассажиров. Они все спокойно отдыхают в каютах, веря мне целиком, и я обязан провести судно верными фарватерами!.. А морей на мой век хватит. И звезд, по которым можно без сложных приборов определяться... Ну, а теперь давай поспим, Василь! Мне с четырех на вахту заступать. — И Стародомский потушил свет.

Волны то подбрасывали пароход на своих крутых гребнях, то опускали его с размаху в морскую ухабистую пучину. Поскрипывая, пароход переваливался через их быстрые гребни и лопотал колесами, укрощая новые водяные валы, бегущие ему навстречу. Далеко внизу равномерно стучала машина, как объяснил мне Юзик, такой силы, что способна была бы дать свет не только одному нашему городу, но еще и соседним приазовским селам.

Пароход шел по заданному курсу, я прислушивался к мерным вздохам его машины и думал о том, как славно, что и мы с хлопцами не ошиблись в выборе нашего пути. Хорошо написал мне об этом из Черкасс отец в своем последнем письме. Он рассказывал, как пришлось ему некогда отговаривать тетушку Марью Афанасьевну от вздорного помысла взять меня с собой в Черкассы. «А я считал, Василь, — с опозданием признавался отец, — что правильнее будет оставить тебя в фабзавуче. У тебя сейчас крепкое ремесло в руках, и хотя пришел ты к нему через трудности, но это лучше, чем за тетушкину юбку держаться. Верю, что, став на правильную самостоятельную дорогу, ты уже не сойдешь с нее. Также одобряю твое решение идти учиться в вечерний рабочий университет. Молодец, сынок! Советская власть дает сейчас молодежи все, о чем мы, люди старшего поколения, и мечтать не смели. И грешно было бы вам не воспользоваться этими завоеваниями революции. Учись, дорогой, не растрачивай молодости по пустякам, помни, что коммунистическое общество могут построить только грамотные люди с твердым характером, ясно понимающие, к чему они стремятся».

Все-таки как мудро поступил отец, что не послушался Марии Афанасьевны и пустил меня одного в

такое дальнее плавание! А что бы получилось из меня, если бы я и по сию пору за папину штанину держался? Пустоцвет, папенькин сынок, паразит отъявленный.

То ли дело сейчас: твердо стою на ногах, и никакой мне черт не страшен. Остановят, допустим, на капитальный ремонт литейный. А я возьму да и махну на то время морем в Одессу. Наймусь куда-нибудь, хоть на судостроительный. Спросят — что делать можешь? Скажу — машинную формовку знаю и на плацу могу работать А вакансии не будет, что же, на первах и ковши можно потаскать, заливщиком. Тоже кусок хлеба! Определюсь на заводе, сниму комнатку и тогда с визитом к Гале заявлюсь нежданно. Но только после устройства, иначе стыдно будет.

«Что ты здесь делаешь, Василь?» — ахнет Галя.

«Да ничего. Работаем», — скажу обычным голосом.

Ну, а вдруг она забыла наши поцелуи на валах Старой крепости? И обзавелась ухажером в этой своей Одессе? Одесситы — народ ловкий, на ходу подметки рвут. Что стоит какому-нибудь одесскому Зюзе охмурить наивную, доверчивую и такую откровенную Галю? Пустит пыль в глаза, вздохи-охи, пообещает жениться, с завода снимет, а потом даст драла куда-нибудь в Батум, а Галя будет одна тосковать с разбитым сердцем в чужом городе.

Горько и неприятно сделалось уже при одной такой нелепой мысли, и какое-то смутное чувство ревности появилось в душе, как тогда, когда я увидел Анжелику на велосипеде, который гнал Зюзя Тритузный.

...Нет, Галя не такая! Галя не даст так просто себя облапошить.

Постепенно мысли снова перебросились с Гали на Анжелику. Не слишком ли все-таки я грубо с ней поступаю? Разве она заслужила это чем-нибудь? Правда, слов нет, туману у нее в голове пропасть, всяких лейтенантов Гланов да лампадок. Но, с другой стороны — барышня начитанная, образованная и — миленькая. А плавает как! Если моря не боится — значит характер есть. А что, если по приезде с конференции иным курсом пойти? Вызвать ее, скажем, записочкой на свидание на волнорез и так, с места в карьер, бухнуть:

— Простите, Анжелика, обдумал я все и понял, что в вас ошибался. Вы на самом деле хорошая.

А потом, как это делают артисты в заграничной картине «Женщина, которая изобрела любовь», взять да и поцеловать ее с налета. Прямо в губы! Крепко так, чтобы у нее дыхание перехватило!

При одной такой мысли мне даже жарко стало на узенькой, огороженной высоким бортиком пароходной койке.

А она, может, тоже прижмется ко мне, воскликнет «ах», а потом и шепнет:

— Я твоя!

А что значит «я твоя»? Капут это значит для меня! Отработать задний ход после поцелуя уже никак не удастся. Придется идти к главному инженеру просить руки Анжелики, а тот — штучка сложная. Возьмет да и заартачится: куда, мол, чумазый, со свиным рылом да в калашный ряд. Мы — интеллигенция, а ты кто?

Нет, такие фокусы откалывать нечего. Я парень пролетарский, каким был твердым и стойким, таким и останусь. И вообще с девушками надо быть загадочным и недоступным, в противном случае раскиснешь — и пропал ни за понюх табаку. Все эти нежные лобзанья до добра не доведут.

Мариуполь открылся на заре, весь белый и удивительно чистый в лучах утреннего солнца.

Едва уловил я сонными глазами розовый отблеск зари в иллюминаторе, мигом вскочил на ноги. Диванчик Юзика был пуст, постель убрана. Стародомский ушел на вахту неслышно, так и не разбудив меня.

На палубе шуршали швабры и шипела вода, вырываясь из шлангов. Босоногие мускулистые матросы в подвернутых штанах скатывали полубак.

Я быстро ополоснул лицо водой из умывальника и, посвежевший, выскочил из каюты.

Палуба под моими ногами блестела от воды. Чистые ее доски пахли свежестью. Развевался на мачте проворный вымпел.

Солнце, встающее по ветру, румянило белые барашки, бегущие с оста. Куда им было до вчерашних гороподобных волн с длинными ломающимися гребнями! Вышло так, как и предсказывал Куница: ветер, задувший от Ростова, не только укротил штормовую вол-

ну, но и нагнал в море немало пресной донской воды. Море пожелтело еще больше и кое-где сливалось по цвету с песчаными берегами Таврии.

Мариуполь, идущий на нас, открывался все больше. За ним дымили трубы большого завода. Огненные клубки пламени вырывались из черных пузатых доменных печей. «Значит, там Сартана!» — сразу догадался я.

За городом, у железнодорожной станции Сартана, раскинулись заводы имени Ильича. До революции они принадлежали компании «Провиданс». Больше всего, наверно, будет делегатов на конференции с этих заводов. Ведь это самые крупные предприятия на всем азовском побережье! В одном цехе у них комсомольцев больше, чем у нас в целом ОЗК.

И как только я подумал о предстоящей комсомольской конференции, сразу забеспокоился: «А что я скажу на конференции?»

Накануне отъезда, передавая мне мандат, Головацкий посоветовал: «Ты, Манджура, обязательно выступи! Поделись своим опытом. Только не волнуйся! По дороге обдумай свое выступление».

Вот и обдумал!..

— Василь! Проснулся? Сюда иди! — позвал меня Стародомский.

Он стоял на капитанском мостике, в куртке с узенькими золотыми шевронами на рукавах, в форменной фуражке, с биноклем, болтавшимся на ремешке.

— Ну, как спалось? Добре? — спросил Юзик.

— Мне-то добре, а вот тебе маловато.

— Нам не привыкать. Служба такая: один глаз спит, а другой смотрит.

— Погодка-то славная, — сказал я, — ты верно предсказывал.

— Но, видишь, на востоке уже заволакивает! — сказал Куница, кивая на облачко, появившееся справа над горизонтом. — К вечеру опять заштормит. Но мы к тому времени уже в гирле Дона будем... Каков курс, Ваня?

— Норд-ост-тень-норд! — крикнул рулевой.

Все было ново для меня в этом продолговатом коридорчике, облицованном под мореный дуб: рычаги машинного телеграфа со стрелками и надписями на бе-

лом циферблате «Полный вперед», «Стоп», «Самый полный»; надраенные до блеска переговорные рупоры, уходящие вниз, в машину; картушка чуткого компаса, плавающая, как огромное глазное яблоко, в спирту под стеклом.

Стародомский показывал мне свое хозяйство, то и дело подходя к рулевому.

Он сверял курс на компасе с линией на карте и поглядывал в стороны, где нет-нет да и возникали на гребнях желтых волн качающиеся вешки. Вешки показывали линию морского канала и, кланяясь нам, словно желая «доброго утра», исчезали за кормой.

Слушал я друга, видел сквозь прозрачные, чистые стекла мостика город, возникающий над морем, и думал:

«А что, если начать свое выступление на конференции с рассказа о судьбе трех побратимов, которые приехали сюда, к Азовскому морю, из далекой Подолии и сделались активистами приазовского комсомола?

Расскажу, как мы с детских лет ненавидели петлюровцев и прочую нечисть, мешающую расти и развиваться Советской Украине... Расскажу о Петрусе Маремухе, о Кунице, о клятве, которую мы дали под зеленым бастионом Старой крепости... Может, припомнить, как мы учились, как выучились, рассказать, к чему мы стремились в жизни?.. Ведь наши три маленькие жизни очень показательны: что испытали мы, то же самое пришлось пережить всей трудовой украинской молодежи. Поклясться и впредь быть верным заветам Ильича. Сказать, что всем, что имеем и что достигли, мы обязаны партии и комсомолу. Я дам делегатам торжественное обещание, что мы — побратимы — и впредь будем драться у себя в коллективе за каждого молодого хлопца, отвоевывая его у старого мира и воспитывая для служения народу, для тех высоких, благородных целей, которые указывает нам Коммунистическая партия!»

...Над морем все выше поднималось ослепительное солнце. Оно ярко золотило гребни волн, и белый город, овеваемый крепким и соленым восточным ветром, раскрывался в легкой дымке июльского утра.

ПОЕЗДКА НА ГРАНИЦУ

Не со мной одним, вероятно, бывало в юности так: вышел впервые на сцену, увидел ярко освещенный зал, заполненный пытливыми молодыми лицами, и — растерялся.

Все то, что так хорошо обдумал там, на палубе парохода, везущего по морскому каналу в порт Мариуполя делегатов окружной комсомольской конференции, мгновенно рассеялось. Мысли посыпались вниз, в помещение оркестра, где сидели ленивые музыканты. Мысли посыпались туда, как сухой песок в литейной с наканифоленной лопаты, которую внезапно подбил сзади какой-то шутник.

Конечно, можно было заранее написать свое выступление на шпаргалку, как это уже тогда любили делать комсомольцы-чистюли, да еще начинить его всякими чужими мыслями, мудреными словечками и читать-читать, как дьячок в церкви, не отрывая глаз от листка, но я придерживался другого мнения: говори прямо в зал все, что у тебя на душе, а в бумажку не заглядывай и не бойся!

Если у тебя на душе чисто, раз ты за Советскую власть и выстрадал свою любовь к ней, то всегда найдешь сразу нужные и прямые слова, способные зажечь слушающих. Скажешь их искренне, от сердца, без канцелярских шпаргалок...

Так произошло в тот день. После минутной заминки, отгоняя волнение, сказал я сидящим в зале делегатам окружной комсомольской конференции о самом дорогом и выстраданном, что осталось у меня позади, на тревожном пограничье, где кончали мы фабзавуч. Напомнил, в какое опасное время мы живем и как нельзя нам, молодым ребятам с мозолистыми руками, предаваться беспечности. Я рассказал о тех молодых воинах, что охраняют нашу страну в пограничных отрядах, в подшефном комсомолу червонном казачестве, стоят на очень трудных постах, преграждая дорогу шпионам и контрабандистам, лезущим темными ночами с Запада на подольскую землю. Говорил я и о взрывчатке, заложенной иностранными агентами под сводами недостроенного мартена на приморском заводе, и о том, что

даже здесь, на тихом, казалось бы, азовском побережье, следует быть начеку.

...Должно быть, выступление понравилось делегатам, потому что они проводили меня аплодисментами, а когда пришло время выбирать делегацию для поездки в подшефный полк червонного казачества, поднялся широкоплечий паренек с завода Ильича и сказал:

— Манджуру туда послать предлагаю! Он верные слова говорил здесь о делах на границе и передаст наш комсомольский привет червонцам с огоньком.

Предложение приняли, и лишь только после этого я узнал, что подшефный полк, куда нам следовало ехать, располагается теперь в моем родном городе на Подолии, в казармах за станцией, где некогда стояли царские, стародубовские драгуны. То был тот самый полк, что пришел на границу после роспуска частей особого назначения.

Сразу же после голосования я разыскал в перерыве нашего секретаря общезаводского коллектива комсомола Толю Головацкого (его тоже выбрали в делегацию) и сказал:

— Слушай. Получилось неудобно. Ведь я родом с Подолии, на заводе после фабзавуча без году неделя работаю. Приеду, а знакомые скажут: вот карьерист какой, не успел понюхать дым большой литейной, как уже отлынивает от работы под видом общественной нагрузки

— Интеллигентские штучки! — отрезал Головацкий. — Сомнения твои всякие... Все в полном порядке. Тебе мариупольская комсомолия доверие оказала? Оказала! А ты должен его оправдать. Если же кто-нибудь из твоих подолян бузить начнет, то я же там буду и развею все возможные слухи.

...Уезжали мы из Мариуполя на Волноваху поздно вечером, нагруженные подарками приазовской комсомолии.

Были среди подарков баяны, мандолины, балалайки, блокноты, зеркальца, бритвы, набитые душистым табаком и махоркой и расшитые гарусом кисеты и даже сапожные щетки с ваксой и гуталином «Эрдаль» в зеленых коробочках с намалеванной жабкой.

Больше чем за год, оказывается, до моего приезда на завод собирала приазовская комсомолия средства,

чтобы закупить на них подарки для подшефных червонных казаков. Засыпали пшеницей итальянские пароходы во время субботников, грузили марганцовистую руду и донецкий уголь, устраивали платные концерты «Синей блузы», поставили усилиями доморощенных артистов в Мариупольском театре «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, подняли со дна Кальмиуса затопленную белыми шаланду, помогали рыбакам ловить камсу и шемаю во время путины, ходили по домам в дни рождества и пели антирелигиозные колядки про архангелов, херувимов, попов да монахов. И все это для того, чтобы собрать деньжат для наших защитников — червонных казаков, стоящих на Подолии, и маленькими своими подарками, приготовленными для них, дать почувствовать всю силу молодой нашей любви к славной Красной Армии и ее пограничной коннице.

Сдавать подарки в багаж нам не хотелось. Мы распределили подарки среди четырех членов делегации поровну с тем, чтобы каждый индивидуально заботился о своем тюке. Получились довольно увесистые тюки, обтянутые рогожей. Проводник сперва не хотел нас пускать в вагон, думал — кишмиш везем для спекуляции. Пришлось прорываться с боем, показывать путевки окружкома.

Мы забросили тюки на верхнюю полку, и в купе сразу запахло рогожей. Хотя у меня был билет на нижнее место, я охотно уступил его Натке Зубровой, голубоглазой комсомолке в юнгшгурмовке защитного цвета, а сам расположился над нею повыше.

Кто-кто, а Натка Зуброва ехала впервые на границу, ехала с особыми чувствами.

Ее дядя, один из старых коммунистов Украины, Никодим Зубров, был первым председателем ревкома в моем родном городе. Он был большим другом и наставником председателя революционного трибунала — бывшего донецкого шахтера Тимофея Сергушина, расстрелянного на глазах у меня и моих приятелей петлюровцами во дворе Старой крепости. Правда, впоследствии и Никодима Зуброва зверски зарубили под Уманью махновцы, убегавшие в Румынию, но память о Зуброве сохранилась в пограничном городе и поныне. Теперь Натка хотела побывать на квартире, где жил в

годы революции ее дядя, повидать людей, знавших его лично.

Денег у нас было в обрез.

Если бы знать, что придется ехать, не заглядывая в Бердянск, я, да и Головацкий тоже могли, отправляясь на конференцию, «настрелять» денег у товарищей.

Сейчас же можно было рассчитывать только на «куцые» командировочные.

Потому даже постели мы себе не заказали.

Ната расстелила на полке тоненький плащик. Сережа Шерудилло, рабочий доменного цеха завода Ильича, невысокого роста хлопец со слегка раскосыми, монгольскими глазами и пышной шевелюрой, приспособил было вместо матраца пиджачок, но Головацкий сказал:

— Зачем эта роскошь? До Екатеринослава не доедем, а пиджак будет, как у пса из горла. А может, нам в президиуме сидеть придется?

— Как же спать иначе? — спросил Шерудилло. — Твердо очень. Пока приедем на границу, мозоли на боках образуются!

— Ничего, по-суворовски! — весело сказал Толя. — Полководец Суворов всегда на досках спал, и это ему не мешало мозгами шевелить и победы завоевывать.

— Нашел кому подражать — царскому полководцу! — с возмущением сказал Шерудилло, следя за тем, как Головацкий, аккуратно вывернув изнанкой наружу свой пиджак, повесил его в головах на крюк, а сам протянулся на жесткой полке в брюках и рубашке-апаш с расстегнутым воротом. Длинные остроносые туфли Толи, не иначе — сорок шестого размера, оказались на весу, загораживая проход, и я подумал, что не раз и не два, когда Толя заснет, его станут будить заспанные пассажиры, цепляясь за эти длинные ноги.

— Питаться разве не будем? — спросила осторожно Натка.

— На сон грядущий обжираться вредно, — сказал Толя. — Наешься, а потом всякие кошмары в голову полезут.

— У меня курица есть вареная, — сказала Ната. — Мама ее из супа вынула и велела есть как можно скорее.

— Побереги курицу до Фастова, — сказал я, поддерживая Толю. — Там у нас пересадка большая.

...Но уже за Днепром, после Екатеринослава, мы взяли в работу не только Наткину курицу, но и пирожки с мясом, что купил я в дорогу на Соборной площади Мариуполя. Мы запивали их пустым кипятком с сахарином.

— Как же это угораздило нас проспать Екатеринослав? — поедая прямо с костями куриное крыло, буркнул Шерудилло. — Хоть бы одним глазком посмотреть на его заводы... Там на одном, имени Петровского, я слышал, больше тридцати тысяч работает.

— Ничего странного нет, что проспали, — сказал Толя. — Умаялись на конференции, а потом возились с подарками: то приемка, то упаковка. Лично я спал как убитый. А если бы нам еще матрацы дать, то и Белую Церковь проспали бы.

— У меня полная голова пыли! — сказала Ната, безуспешно пытаясь расчесать густой гребенкой светлые, чуть курчавые, но редкие волосы, стриженные под мальчика.

— Ничего, Наташенька, в Фастове сходим на речку, и ты промоешь там свой пух, — сказал Головацкий.

— И совсем не пух, — обиделась Ната, — это у меня после голода волосы редкие стали. Буду питаться хорошо — отрастут.

— Питание само собой, а вот формалином по утрам надо натирать, — солидным тоном, как заправский лекарь, посоветовал Головацкий, — и углекислым снегом.

— Ну вот еще чего — целый день больницей пахнуть! — отвергла предложение Толи Наташа и, обращаясь ко мне, спросила: — А в Фастове речка есть?

— Есть, но маленькая. Недалеко от станции.

— Любопытно, сколько же нам придется ждать поезда из Киева? — спросил Шерудилло, пытаясь открыть перочинным ножом жестяную банку с абрикосовым компотом.

— Выкупаться успеем, — сказал я, — поезд к границе пойдет не раньше как через два часа после нашего приезда.

Но я жестоко ошибся.

Как только мы вытащили в Фастове из вагона тюки с подарками для червонных казаков, оказалось, что нужный нам поезд Киев — Каменецк-Подольск ушел, не дождавшись нас, по направлению Жмеринки каких-нибудь сорок минут. Мы не поспели к нему потому, что возле Белой Церкви было крушение и нас задержали там на добрых два часа. Предстояло сейчас торчать в Фастове почти целые сутки.

Сперва я даже подумал: а не махнуть ли мне тем временем на товарняке в Черкассы к отцу? Вот бы обрадовался старик!

Но Головацкий отговорил меня:

— Не отрывайся от компании, Василь. Как-никак, а у нас — багаж. Мало ли какая полундра может приключиться, а тебя нет. Хочешь батьку повидать — давай сообразим это на обратном пути. Порожняком такие вещи делать сподручнее...

Солнце еще не взошло.

Аукались в туманной дымке паровозы-«овечки» на путях. Под стеной вокзала дремали в ожидании очередных поездов сонные пассажиры с корзинами, фанерными чемоданами и узлами. Будочки с продуктами и вокзальный ресторан еще были закрыты.

Усатый носильщик, позевывая, принял от нас вещи в камеру хранения, отдав взамен четыре длинненькие квитанции, пахнущие типографской краской.

Позевывая, вышли мы на перрон, еще влажный от росы. Натка сказала Головацкому, показывая на пустую консервную банку, что была у нее в руке:

— Зачем я буду носиться с нею, Толя? Выброшу, и все!

— Пригодится, — сказал Толя, наморщив лоб. — Это наша единственная посуда, и без нее нам будет труба... Я предлагаю вам, хлопцы, вот что: дорогу в ресторан (он кивнул в сторону занавешенных окон станционного ресторана) по причине финансовых затруднений забудем. Одни административные расходы сожрут там половину наших и без того скудных капиталов. С другой стороны, от курочки Наташиной да и от этого компота в сознании остались сладкие воспоминания. А пополнять желудки до завтрашнего дня чем-либо придется. Это железная необходимость. Как же поступить в таком случае? Думаю — надо обследовать

местный базар и там забункероваться продуктами. И дешево будет и сердито. Кто «за»?

...Мы подняли руки, и усатый носильщик, что принял на хранение наш багаж, с удивлением, проходя по перрону мимо, посмотрел на это утреннее голосование.

— Папаша, послушайте! — крикнул ему вдогонку Головацкий. — Когда ваш фастовский базар начинает свою сознательную жизнь?

— Да уже сейчас тетки туда товары понесли, — сказал носильщик. — А солнышко взойдет — зашумит базар на полную мощь.

— Вот и чудесно! — обрадовался Головацкий. — Погребли, ребята, за калориями.

В эту минуту у меня за спиной послышалось:

— Здравствуй, Манджура, ты что здесь делаешь?

Я оглянулся и чуть не вскрикнул от изумления. Передо мной стоял в сером штатском костюме Вукович.

Улыбаясь, Вукович протягивал мне руку. Уполномоченный окружного отдела ГПУ и пограничного отряда из моего родного города, гроза всех шпионов и контрабандистов. Какие новые дела привели его теперь на станцию Фастов?..

— Ну, здоров, Василь. Ты что загордился, рабочим стал, так теперь уже нас, бюрократов, и признавать не хочешь?

Протянул я ему руку, пожал крепко его широкую ладонь и познакомил с остальными делегатами. Когда Вукович узнал, что мы едем на границу от мариупольской комсомолии, он оживился еще больше.

— Да у меня батька на доменных печах мастером работал на заводе возле Сартаны.

— Как фамилия вашего батьки была? — деловито осведомился Шерудилло.

— Петр Маркович Вукович! В революцию от бандитской руки погиб. Ты-то, молодой, его вряд ли помнишь, а старики батьку должны хорошо знать.

— Я сам в доменном цеху работаю, — немного обиделся Шерудилло. — Старые доменщики часто вашего батьку вспоминают добрым словом. Не одного из них он ремеслу обучил.

— Ну видишь, как приятно! — сказал Вукович. — А вы куда собрались, ребята?

— За шамовкой на базар, — сказал Головацкий. — Присоединяйтесь к нам, если нет дел на станции.

— Дела я закончил, а от поезда отбился, — признался Вукович, как-то загадочно улыбаясь.

Что могла означать его загадочная улыбка — я тогда еще не знал, а спросить Вуковича подробнее о «законченных делах» казалось не очень удобно.

Мягкие, проселочные улочки Фастова, окаймленные плетнями, подсолнухами и мальвами, привели всех нас на базар. Чего только не было здесь в ту утреннюю пору: и синенькие баклажаны, и огромные белые грибы с тугими палевыми шляпками, и желтые пузатые тыквы, и оранжевая морковь с пышной ботвой, и налитые соком тугие пунцовые помидоры. Рядом соседствовали корзины груш, сочных слив ренклод, вязки репчатого лука, ожерелья серо-белого чеснока, пирамиды огурцов, розовые стебли ревеня, пучки пахучего укропа.

Торговки зазывали нас на все лады, видимо желая использовать нашу молодость и неопытность для того, чтобы содрать с нас побольше. Невольно мне вспомнилось другое, правда зимнее, утро на «Благбазе» Харькова, где такая же торговка-зазывала накормила меня наперченными, очень вкусными флячками. Года еще не прошло с той поры, как мы, бывшие фабзайцы, уже твердо стояли на ногах, и сколько повидать довелось нам с того туманного и сырого утра в столице Украины!

Тут все было проще, домашнее, да и зелень, выплеснутая в многоцветном обилии на узкие стойки фастовского базара, была удивительно свежей, казалась вот только что сорванной на щедрой украинской земле.

— Ты на вегетарианские предметы не заглядывайся, Манджура, — потянул меня за рукав Головацкий. — Ты не Лев Николаевич Толстой, а литейщик пятого разряда. Сюда мы еще вернемся, а прежде всего покушаем чего-нибудь более солидного, такого, чем косточки наши молодые можно укрепить для будущей жизни. А ну, туда подались! — И он кивнул в сторону мясных рундуков.

...Заодно с лучами утреннего солнца, быстро встающего над поселком, нас встретил там удивительно заманчивый запах домашних колбас, обильно нашпигованных чесноком.

Тушки коричневых, отдающих дымом полендвиц ле-

жали рядом со свернутыми кольцами колбасы, пластами ржавого, сильно посоленного запорожского сала и овальными сальтисонами, называемыми иначе зельцем. А чуть поодаль выстроились торговки молочными продуктами. Лежало перед ними на блестящих листьях от хрена свежее-свежее, с каплями росы, с узорами, насеченными деревянной ложкой, настоящее, домашнее масло. Белели лепешки творога, сохраняя на своей поверхности отпечатки марли, в которой их отжимали. стояли кувшины с ряженкой, с кислым молоком, с густой сметаной, возвышались целые бутыли ряженого молока, покрытого коричневой тугой коркой.

От всего этого изобилия у меня слюнки потекли.

Можно было бы, конечно, заправиться и здесь. Стать у стойки, напиться сметаны или ряженки, поесть сыра или творога, а колбасу взять в поезд, но Головацкий настойчиво тащил нас к мясным лоткам. Подойдя к ним совсем близко, он пробежал глазами по сизой печенке, наваленной на столах, по легким, сердцам и другой требухе, что лежала под свисающими на крючках ломтями говядины и свинины, а потом вдруг резко рванулся к ларьку, где виднелись освежеванные туши баранов.

— Почем фунт баранины, тетя? — спросил Толя у хозяйки ларька.

— На кой шут тебе баранина, Толя, — тронула его за локоть Наташа. — Где мы ее готовить будем? Ты с ума сошел!

— Мы будем делать шаш-лык! — решительно заявил Головацкий. — Настоящий комсомольский шашлык с помидорчиками и луком, как в Армении или в Батуми...

— Кто его тебе сделает, интересно? — усомнилась Наташа. — Лично на меня не рассчитывайте. Борщ сварить еще могу, ну, котлеты сделать, а как шашлык жарить — понятия не имею.

— А я имею! — сказал Головацкий. — У меня дружок один был комсомолец, Чарен Матевосян. Сейчас возле Севастополя на летчика учится. Вот шашлыки готовил — держись! И меня подучил... Так что пусть тебя не волнует, Наточка, забота о готовке. Коль скоро ты единственная среди нас представительница недавно еще угнетаемого женского пола, то мы вчетвером освободим тебя от всяческих кухонных забот. Ты будешь есть шаш-

лык, хвалить меня и украшать наше общество своим прекрасным пухом.

— Оставь, пожалуйста, в покое мои волосы! — вспыхнула Наташа и, косясь на Вуковича, натянула пониже на лоб красную косынку.

— А сколько визьмете? — почти наполовину высунувшись из рундука, спросила торговка. — Якщо визьмете больше двух фунтов, то уступлю по двадцать копеек.

— По двадцать копеек? — переспросил Толя, что-то прикидывая в уме. — Вот что, титко. Возьмем у вас ту целую ножку, только отруби ее с курдюком. Там будет фунтов семь-восемь. Но уговор — по пятнадцать копеек.

— По пятнадцать? Та бойся бога! — запричитала торговка. — Це ж дуже дешево. Такий славный був баранчик, молодый...

— Если он был такой славный, то зачем же вы его зарезали? — вмешался Шерудилло. — Берите по пятнадцать. Добре даемо!

— Та ни, не можно, нияк не можно, — удивительно плаксивым голосом запричитала торговка. — За таку цину вы нигде, мои сыночки, баранины не найдете...

— Пошли, хлопцы, — приказал Головацкий, — не будет баранины — возьмем свинину. Даже лучше!

Не успели мы сделать и двух шагов, как торговка закричала:

— Та не видходьте, прошу я вас, та вже берить на почин, по пятнадцать. Уступаю вам, бо ви вси таки гарненьки и молоденьки, а панночка така ладна, як вишенька...

— Я совсем не панночка, — оскорбилась Наташа, но Толя тронул ее за рукав и шепнул:

— Ты что — не понимаешь, это же частный сектор. Примирись с «панночкой», лишь бы по пятнадцать отпустила.

...Торговка лихо, без мужской помощи орудуя секирой, как заправский мясник, отрубила заднюю баранью ногу от туловища да еще кусок курдюка отхватила. Крякнув, бросила она ногу на весы и стала насыпать на другую тарелку разнокалиберные гири и разновесы.

Потянуло на десять с половиной фунтов.

— Куда столько? — испугалась Наташа. — Мы же

не буржуи, чтобы так обжираться. И заболеть можно, а кто потом выступать будет?

— Не печалься, Наташа, — сказал я. — До вечера далеко, а нас пятеро. Перемелем и две таких ноги! Лишь бы только пожарить как следует. Я баранину жареную, да еще с чесночком, ужас как люблю.

Тем временем Толя рассчитался с торговкой и, когда мы отошли от ее рундука, торжественно сказал:

— Ну так вот, синьоры, ножка эта стоит чуть побольше полутора рублей. А для того, чтобы пообедать в ресторане, вдвое или втрое дороже обойдется.

— Но ты сырую ногу грызть не будешь? — сказал Шерудилло. — Еще ведь что-то к ней нужно?

— Теперь уже пустяки остались, — сказал Головацкий, — беги, Василь, купи крынку молока, но побольше.

— С посудой? — переспросил я.

— Ну да! И с пенкой молоко должно быть. А мы тем временем запасемся разными специями.

...Когда я настиг ребят, у выхода из рынка, Наташа была уже в ожерелье из чеснока, Шерудилло нес в руках корзинку с помидорами, луком, красным перцем и пакетом соли. Сверху помидоров был положен кулечек, из которого выглядывали лавровые листочки.

Головацкий внимательно заглянул в крынку с молоком.

— Надо полагать, свежее! — веско сказал он. — А если нет, то ты, Манджура, будешь нести персональную ответственность за состояние наших желудков, а в том числе и за состояние здоровья панночки Наташи!

— Вот что, ребята! — сказал Вукович. — Сегодня у меня на редкость удачный день. И поэтому в виде исключения, а также потому, что под шашлык молоко никак не идет, я, будучи принят в вашу компанию, позволю себе раздобыть натурального виноградного вина. Я понимаю, что его пить комсомольцам не очень рекомендуется, но ради такого дня и веселого общества можно и согрешить.

— Я санкционирую, — сказал Толя, — а ты, Наташа?

— Только немного, — сказала она смущенно.

Сказали «немного», а Вукович притащил целую четверть, да еще такого темно-красного, что даже не проглядывалось насквозь.

— Куда столько! — возмутилась Наташа. — Да вы перепьетесь!

— Ничего не будет, — ответил Вукович, — это слабое молдаванское крестьянское вино из-под Ямполя. Когда мы там за бандой Козака охотились и по ночам в засадах лежали, то приходилось бочонками такое вино пить. Вместо воды. На природе оно никакой опасности не представляет.

...Нагруженные бараниной, молоком, пышными свежими булками, вином и прочей снедью, направились мы на поиски речушки.

Ею оказалась небольшая Унава, протекающая вдоль Фастова, за его костелом, который очень пристально и долго разглядывал Вукович.

Когда мы уже приближались к берегам Унавы, оставив далеко позади себя окраинные хатки Фастова и разноголосицу паровозных гудков на железнодорожном узле, Вукович как бы невзначай промолвил:

— Ну и контрик в этом костеле служит! Ксендз Комарницкий! Такая каналья, что поискать нужно. Скользкий, как вьюн. Никак к нему не подберешься. Генералы Пилсудского здесь, в его плебании, гостили, когда легионы на Киев шли. А теперь всюду нос сует. Людей своих на узле порасставлял на самых ответственных участках. Три путевых обходчика — его прихожане, заядлые контрики, на поворотном круге органист из костела работает, так сказать, по совместительству, а вы представляете, что такое поворотный круг на таком важном узле, каким является Фастов? Боюсь, не к нему ли этот тип на связь ехал...

— Какой тип? — спросила Наташа, но Вукович, как бы не расслышав ее вопроса, сказал:

— А здесь и бор сосновый есть поблизости от речки. Вот хорошо! Настоящий пикник устроить можно. Не успеем оглянуться, как время пройдет.

«Ну и хитрюга же Вукович! — подумал я про себя. — Как он ловко уклонился от ответа на вопрос Наташи о каком-то типе! О боре сосновом разговор повел. Почему? Потому что работа у него такая, как и у всех чекистов: тайная, загадочная. Все они знают, а виду подчас не подают. Недаром же в песенке поется: «Я иду себе домой, ГПУ идет за мной...»

Левее дороги, почти вплотную прилегая к берегам

Унавы, раскинулась довольно густая сосновая рощица. Мы свернули к ней и вскоре расположились со всеми манатками возле самой воды на густой траве.

От дороги нас закрывали густые заросли лозняка и бузины. Солнце уже поднялось и припекало все сильнее. Прежде всего мы разделись и остались в одних трусах. Вукович тоже.

У него были очень сильные, загорелые руки с крепкими бицепсами под смуглой кожей. Мускулы заиграли и на спине, когда Вукович, делая гимнастику, прошелся по лужайке на своих крепких волосатых ногах, слегка изогнутых от верховой езды. Посмотрел я на него, раздетого, и подумал: «Сразу видно, что не интеллигент какой-нибудь, а рабочая косточка. Такой любому шпиону голыми руками шею скрутит».

Погодя из-за кустов шиповника вышла к нам в голубеньком купальнике, отороченном белой каемочкой, и Наташа. Раздевалась она отдельно и сейчас положила рядом с нашей одеждой свой юнгштурмовский костюм. Чем-то неуловимым напоминала мне Наташа мою первую любовь — нашу фабзавучницу Галю Кушнир, и сердце заныло оттого, что я был свиньей и давно не писал Гале в Одессу, где она работала на заводе.

И странное дело: поймал себя на мысли, что Наташа мне тоже далеко не безразлична. Кто знает, если бы она не вела себя ровно, одинаково со всеми делегатами, то, быть может, и завязался бы у нас с нею еще в дороге сердцещипательный роман. Были у нее в глазах какие-то особые огоньки, и влекла она меня к себе здорово. Как-никак — комсомолка, свой человек, происхождения пролетарского, все понимает с полуслова, и не нужно ее перевоспитывать, как Анжелику — явного выходца из мелкобуржуазной среды. Но, поймав себя на том, что такие рассуждения опасны и что я слишком уж пристально разглядываю Наташу, я покраснел и даже закашлялся.

— Нужно освободить эту посудину, — сказал Головацкий, подымая тяжелую крынку с молоком. — Я предлагаю вот что: в ожидании шашлыка сейчас молочка перехватить малость, а уж потом заняться стряпней.

— Да разве можно? — испугался я. — Сперва мы выпьем молоко, потом вино, и тогда такое получится, что никто и шашлыка не захочет!

Головацкий иронически глянул в мою сторону, прищурил глаз и сказал:

— Ты слабо разбираешься в медицине, Василий Миронович Манджура! Еще древние римляне говорили: «Пост винум лак — тестаментум фак. Пост лак винум — медицинум!»

— Что это за чертовщина такая? — спросил Шерудилло.

— Не чертовщина, а латынь! — сказал солидно Головацкий. — «После вина молоко — пиши завещание. После молока вино — медицина!» Разве страшно?

И хотя я попал впросак со своими преждевременными опасениями, мне стало приятно, что у нас такой секретарь ОЗК. Даже латынь знает. И я порадовался тому, как он «умыл» немного задающегося Шерудилло...

Толя стал по очереди поить нас густым, пахнущим печью молоком.

Хорошо было пить его здесь, на траве у реки, быстро несущей свою чистую, прозрачную воду в камышах. Одно плохо — надо спешить было, потому что посуда предназначалась для пятерых.

— Кто напился — собирайте дрова для костра! — распорядился Толя.

Вместе с Вуковичем мы удалились в глубь рощицы, подальше от реки и стали подбирать хворост, разные коряги, а то и обламывать с деревьев сухие ветви.

— Почему удачный день у вас сегодня, товарищ Вукович?

— Тебе рассказать можно, Манджура. Ты — пограничный парень, нам помогал здорово и болтать не будешь. Был я, понимаешь, в Харькове. В командировке, по одному заданию. Да и кокаин отвозил туда заграничный, что мы у контрабандистов забрали. Целый месячный урожай кокаина. Лучшей фирмы «Мерцка», в желтых таких флакончиках...

— Чтобы зубы рвать не больно?

Вукович рассмеялся.

— Нюхать, а не зубы рвать! Есть такая порода больных людей, наркоманов. Вот как пьяница без водки не может, так они без кокаина. Ну, контрабандисты этой слабостью людской пользуются. Покупают в Польше кокаин по сто двадцать злотых пять граммов, а продают у нас по тысяче двести рублей. А разведчики их

тоже на «коке» играют: как узнали, что кто-либо без кокаина жить не может, подсыпаются к нему и давай играть на этом. За каких-нибудь десять граммов пытаются военные тайны выведать. А кокаинисты, как ослепленные, идут на вражескую удочку, они ведь люди без воли, тряпки занюханные, вот кто...

...Снова, как в ту ночь, когда сидели мы с Никитой после посещения начальника управления ГПУ на ступеньках близ кафедрального костела, приоткрыл мне теперь уж сам Вукович окно в опасный, неведомый мир тайной борьбы с нашими врагами, сказал такое, о чем я раньше и представления не имел.

— А зачем вы кокаин в Харьков отвозили? Разве нельзя было его там, на границе, уничтожить?

— Уничтожать его нет смысла. Это не только наркотик, но и лекарство, причем очень и очень дорогое; оно большую ценность для государства представляет. Остальную контрабанду мы в городе с аукциона продаем после ее оприходования, а кокаин нужно в центральное управление сдавать.

— Ну, а тип, про которого вы намекали, при чем?

— Так вот слушай! Еще в Киеве, дожидаясь во время пересадки поезда, заметил я одного пассажира, который показался мне подозрительным. Кепка у него не наша, заграничная кепка, особого покроя. И глаза странные, настороженные, холодные глаза чужого разведчика. Смотрит на тебя, и ты чувствуешь за этими глазами не только иную, хитро спрятанную жизнь, но и какие-то тайные, хорошо замаскированные цели. Тебе, положим, этого не понять, тут нутром чуять надо...

— Так надо было его там хватать сразу, на вокзале, если вы были уверены.

— Хватать и спугнуть? А если у него документы в порядке? За одно подозрительное выражение глаз да за фасонистую кепку задерживать человека мы не имеем права. Я поступил иначе. Подождал, пока подали поезд, и сел с ним в один вагон, благо что плацкарты он не взял, а протискался в общий. Лег с ним рядом на верхней полке в одном купе и сразу захрапел. Повертелся он тоже, глянул на меня, сонного, и задремал. А надо тебе сказать, что для агентов вражеских, особенно когда у них явки горят, поезд часто заменяет гостиницу, даже при езде на короткие расстояния. Спит морским

сном: одно ухо отдыхает, а другое слышит. Убедился я, что он задремал, слез тихонько с полки, вынул парабеллум, толкнул его сразу под бок и крикнул: «Эй ты, илесь дал за чапке?» А он спросонья по-своему: «Пьенць злотых!» Осветил я его фонариком, приказал руки вверх поднять, а в Фастове с ним вместе сошел. Сдал его линейному уполномоченному ОДТОГПУ. Обыскали его, молодчика, и что ты думаешь? Документы верные. Чисто сделаны. А у самого в кармане — две немецкие гранаты, наган да «стейер» с пятью набитыми обоймами. Но эти «пять злотых» — самая веская улика: какой же советский человек, даже спросонья, даже в бреду, скажет, что он покупал свою одежду за злотые, марки или фунты стерлингов? Повезли его, молодчика, сразу на дрезине в Киев.

— Здорово вы его поймали, — протянул я с восхищением. — А куда он ехал?

— Кто знает? Пусть его, голубчика, теперь наши хлопцы в Киеве размотают.

— А много таких агентов пробирается к нам? — спросил я осторожно.

— На наш век хватит. Сказал же Феликс Эдмундович, что если ГПУ и умрет, то только через пять минут после гибели капитализма, но ни одной минутой раньше... Ну, давай возвращаться. Тут на добрый костер хватит, а ребята еще поднесут! — И, затянув узеньким ремешком охапку хвороста, Вукович легко взвалил ее на плечи. Отмахиваясь от комаров, уже начинавших жалить нас в тени, он пошел к реке.

...Пока мы собирали валежник, Головацкий и Наташа, сидя на траве, обрезали с бараньей ноги мясо. Головацкий срезывал его ломтями, а потом делил на кубики примерно одного размера и швырял в крынку. Тем временем Сережа Шерудилло чистил поодаль чеснок, отшелушивая с зубчиков белую кожуру. Наташа старалась подражать Толе, но у нее не было той уверенности, что у нашего шашлычного мастера.

— А нам что прикажете делать? — спросил Вукович.

— Чистить лук и резать круглыми дольками, — бросил Головацкий.

Оказалось — это самая паскудная работа. Уже после второй головки я увидел солнце сквозь пелену слез, как в затмение.

О чем, дева, плачешь?
О чем слезы льешь? —

запел Головацкий, наблюдая мои страдания.

— Тебе хорошо смеяться, а у меня от этого проклятого лука скоро глаза повылезают.

— Ничего не повылезают. Чище будут. Лечебное же средство, — отозвался Шерудилло.

Заплакал и Вукович, твердый, ловкий и умный человек, поймавший так неожиданно опасного шпиона.

«Вот если бы я был таким хитрым, как он! Ведь сколько еще врагов шатается вокруг нас? А как их всех опознать, не имея опыта?»

...Думая так, я отворачивался от груды кружочков нарезанного лука. Тут Головацкий поднялся и стал по очереди накладывать в глиняную кринку, где раньше было молоко, то куски баранины, то кружочки лука, то дольки чеснока, то лавровый лист, пересыпая этот «винегрет» попеременно то черным перцем, то солью. Когда горшок наполнился, Толя вынул из кармана бутылочку с уксусом, откупорил ее острием ножа и вылил в мясо все содержимое.

— Полный порядок! — сказал он облегченно. — Конец первой серии. Королева лесов — Руфь Ролланд до окончания антракта остается висеть над пропастью. Пока мы будем купаться, все мясо основательно попреет, уксусом пропитается, и шашлык получится что надо!

— Ну, а кости куда? — спросила Наташа. — Видишь, сколько еще осталось на них мяса, говорила — надо меньше брать.

— Все пойдет в один трюм, Наташенька, — сказал Головацкий. — Командую парадом я! Ты возьми заверни их пока в газетку, положи в корзинку и подвесь вот на ту сосну, а то не ровен час собакевич какой бродячий ими полакомится.

Мы обломали низкие ветки на соседней сосне и подцепили на них горшок с шашлыком и корзину с костями.

Шерудилло первым полез в воду узкой речушки с крутыми, обрывистыми берегами. Достаточно было несколько раз взмахнуть руками, и уже был на другой стороне, там, где виднелся блокпост 67-го километра железнодорожного пути, ведущего в сторону Житомира. Сере-

жа поплыл узким водным коридором вниз по течению, и вскоре к нему присоединились мы.

Поплавав немного, мы, удаляясь по очереди от места купания, стали отмывать дорожную пыль квадратным куском обычного стирального мыла. Наташа оказалась права. Волосы вобрали в себя столько паровозной гари и пыли, что вода вокруг сразу потемнела. Но зато как приятно было после расчесывать их — чистые, чуть скрипящие под ладонями, мягкие и шелковистые, и подставлять лучам солнца, выскочив на берег, прохладное тело, хорошо прошурованное мылом и прибрежной травой.

Не успел запылать костер на берегу, как Головацкий стал заготовлять шампуры из прямых и довольно крупных прутьев лозняка. Он сразу сдирал с шампуров кору, и оттого они становились гладкими и скользкими. Куски мокрого мяса хорошо насаживались на белые ровные прутья вперемежку с дольками лука и маленькими помидоринами. Трудно передать простыми словами, какой запах стал расползаться над рекой, когда угли прогорели и Головацкий расположил над ними на колышках пять тяжелых, нанизанных багровыми кусочками баранины самодельных шампуров. Как только мясо стало бледнеть, лук подрумяниваться, а на уголья упали первые капли бараньего жира, запахло очень вкусно.

Время от времени, размахивая Наташиной косынкой, Толя раздувал угасающие угли. Шашлыки из бледных стали розовыми, как бы загорая на глазах у всех. Жир, свертываясь каплями, с шипением стекал на уголья, а бока помидоров почернели и местами лопались, поливая томатным соком огненный под костра. Аромат жареного мяса и нарастающее шипение вызывали в наших молодых организмах, отощавших за годы гражданской войны, дьявольский аппетит.

— Помой баночку, Наташа, — распорядился Головацкий, переворачивая над огнем прутья с шашлыком.

Пока Наташа стоя полусогнувшись над крутым берегом Унавы, мыла осокой единственную нашу посудину, Вукович притащил поближе к костру бутыль с вином. Все это время, пока мы купались, бутыль охлаждалась под кустами, в маленьком заливчике, и сейчас на ее стекле выступили капельки росы. Шерудилло расстелил на лужайке два номера «Приазовского пролетария»

и стал нарезать на них ломтями свежий белый хлеб. Тут же он разложил не пошедшие в дело помидоры.

— Прошу к столу, дорогие гости! — отходя от костра и в то же самое время торжественно показывая рукой на темно-коричневый шипящий шашлык, пригласил Головацкий. — Кельнеров у нас нет. Действуйте самостоятельно.

Мы сняли с рогаток шашлыки и, усевшись кружком на траве возле газетной скатерти, стали прямо зубами срывать с полуобгорелых, подрумянившихся прутьев сочные, пахнущие дымом и чесноком мягкие куски баранины.

Первые минуты челюсти наши работали в согласованном молчании.

Мы играли на шашлычных флейтах с таким азартом, как будто приехали из голодного края.

Я сразу понял, что никогда в жизни не ел более вкусного блюда!

Вукович налил полную консервную банку вином цвета выжатой спелой бузины и протянул ее Головацкому.

— В знак уважения и благодарности за превосходное кулинарное искусство! — сказал Вукович.

Толя хотел было передать вино Наташе, но она торопливо сказала:

— Без церемоний, Толенька! Ты заслужил первую чару. Это же прелесть, а не шашлык! Пальчики оближешь!

Осторожно, чтобы не наколоть губы об острые края консервной банки, Толя выпил мелкими глотками все вино, передал посуду Вуковичу и медленно сказал:

— Не знаю, друзья, кто что любит, но даже если бы меня послали вместо товарища Чичерина куда-нибудь за границу, то никакой званый обед у господина Штреземана я бы не променял на один такой шашлык. Вы представляете себе, какое мучение пришлось бы испытывать там, за столом, покрытым белоснежной скатертью? Лакеи важные-преважные дежурят у тебя за спиной, десятки всяких вилок, щипцов и прочих хватательных инструментов лежат перед тобою, и надо обязательно знать, как ими пользоваться. А ты сидишь во фраке, как обалдуй гороховый, и боишься прикоснуться к этим предметам западной цивилизации, чтобы не уронить

своего достоинства. А то ли дело здесь? Без всяких жилетов и манишек на травке, у костра, свободно, привольно, одна жестяная банка, да и та ходит по кругу, а главное — вкусно-то как! Поглядите вот на Наташу, единственная леди наша сидит на травке, поджав под себя ноги по-турецки, и в ус не дует. Захотел руки помыть — речка рядом, и никого ты не эксплуатируешь, и дешево. Чего еще надо?

— Да, я Чичерину не завидую! — согласился с Толей, выпивая свою порцию вина, Шерудилло. — Очутись он здесь, сразу одежку бы снял и к нашему этому шашлыку тоже приобщился. И чувствовал бы себя свободно, зная, что порядочные люди его окружают, а не всякая там капиталистическая сволочь.

За сосновым лесом, мимо блокпоста 67, прогрохотал пассажирский поезд.

Вукович поглядел в сторону мелькающих над насыпью вагонов и сказал:

— Житомирский. С границы.

— А вдруг снова какой-нибудь шпион среди пассажиров честных затесался?

— Не исключено, — обычным тоном согласился с моими предположениями Вукович. — На этом направлении, да и у нас, в Жванце, они прорываются чаще всего. Заведует этим направлением прорыва Ровенская экспозитура панской разведки.

— А нельзя разве на конечной станции при выдаче билетов проверять документы каждого пассажира, что едет с границы? — спросил Головацкий.

— Можно, конечно, и проверяют, — согласился Вукович, — но и они тоже не дураки, агенты вражеские. Зачем им там у кордона садиться? Днем они в лесах отсыпаются, а ночью пограничную полосу пешком проходят, этак верст тридцать-сорок, и только тогда на каком-нибудь полустанке заскакивают в поезд, где контроль уже ослаблен.

— Небось белогвардейцы всякие да петлюровцы? — спросила Наташа.

— Если бы они — тогда все понятно, — сказал Вукович, — тем сам бог велел нас ненавидеть. Но случается и молодых ребят ловить.

— Молодых? — протянул Шерудилло. — Ну, понятно, сынков аристократов всяких?

— Не только. Зачем аристократам собственной шкурой рисковать? У них и без того для себя да для отпрысков своих денег хватает. Зачастую они больше руководят, а исполнители — другие. После войны в пограничных с нами городках да местечках оккупированной Волыни осело немало демобилизованной и безработной молодежи. Ходит такой бывший вояка, без дела бродит, а жрать-то надо. Тут к нему и подкатывается какой-нибудь офицер из второго отдела польского генерального штаба да и давай его обрабатывать, горы золотые сулить.

— Так чего же он его слушает, офицера? — возмутилась Наташа. — Перебежал бы к нам, работу получил.

— Есть, конечно, такие, что и перебегают. И немало. Те, кто нашу правду узнал. А есть и такие, у кого туман в голове. И еще какой! Мы часто забываем, откуда туман этот взялся, на каких дрожжах фанатики растут. Ведь царизм-то русский угнетал поляков? Угнетал! Это факт. Помните, еще Пушкин в стихах, посвященных Адаму Мицкевичу, писал: «Он между нами жил, средь племени ему чужого...» Думаете, случайно были сказаны эти слова — «чужое племя»? За ними многое таится: и подавление польских восстаний царскими войсками, и погромы Варшавы, и ссылка в Сибирь целых поколений поляков. А паны польские теперь на всех этих фактах играют, хотят убедить свой народ, что Россия царская и Советская по отношению к полякам — одно и то же. Они дурманят народ своими газетами, книгами, всякими лживыми баснями про нас, а тем временем своих, польских, коммунистов и комсомольцев, тех, кто мог бы рассказать всю правду народу, в тюрьмах гноят, расстреливают. Вот и получается, что в их паутину лжи и обмана попадаются разные нестойкие люди, кто не умеет мыслить самостоятельно. Мне иной раз доводится беседовать с пойманными агентами на следствиях, так просто диву даешься, какой чепухой у них мозги набиты. Я по-польски говорю довольно прилично. Войдешь в камеру, скажешь ему, такому оболваненному, «дзень добры», и видишь, как от одного слова человек меняется. Он ждал, что ты его резать и солить будешь, а тут по-польски с ним советский чекист заговорил.

— И раскаивается? — спросила Наташа.

— Всякое бывает! — бросил Вукович. — Но что самое обидное, понимаешь, что все это игрушки в чужих

руках, обидно, что Польшу натравливают на нас капиталисты других стран. А ведь мы и поляки — близкие друг другу народы. Славяне же, черт возьми! И я твердо верю, что придет такое время, когда мы договоримся с польским народом, а паны их полетят вверх тормашками. Поляки в основной своей массе — это честный, талантливый народ, с ними можно жить в большой дружбе. Возьмите Феликса Эдмундовича, Мархлевского, Менжинского, Феликса Кона. Какие это замечательные люди! Подумаешь об этом, и горько становится, что многие из обманутых панами молодых ребят, которых натравливают на нас всякие экспозитуры, уже не дождутся тех дней, когда между нашими странами будет самая спокойная граница, и я поеду тогда к Василию на приморский завод в науку, чугун разливать после демобилизации.

— Ну, когда то будет! — сказал Шерудилло. — Еще придется вам не один десяток пограничных фуражек сменить!

— Когда-нибудь да будет! При нашей еще жизни! — уверенно сказал Вукович и, подымаясь, отбросил далеко в кусты полуобгоревший прутик.

— А с тем мясом что будем делать, Толя? — спросил я, кивая в сторону сосны, где висели в корзинке бараньи кости.

— Ты все еще голоден, Манджура? — рассмеялся Головацкий. — Ну и аппетитец у тебя, будь здоров. Про таких говорят: легче похоронить, чем прокормить.

— Я совсем не голоден, но зачем же пропадать мясу, коли за него заплачено? — сказал я несколько обидчиво.

— Не пропадет, не бойся, до вечера еще далеко. Оно нам на ужин пригодится. Поджарим его, поедим, а потом и в киношку сходим на станции, — сказал Толя. — «Слесарь и канцлер» идет у них сегодня. Знаменитые артисты там играют: Панов, Максимов, Гардин, Фрелих. Это получше, чем заграничную дешевку смотреть...

...Из Жмеринки мы дали в подшефный полк телеграмму о своем приезде, но, по правде признаться, я не был уверен, достигнет ли она своего назначения до нашего приезда, так как адрес был очень приблизительный. Чтобы не разглашать военную тайну, я адресовал теле-

грамму так: «Город Н., бывшие Стародубовские казармы, командиру».

Только мы вынесли наши тюки с подарками на привокзальную площадь, как целая ватага волосатых извозчиков-балагул с длинными бичами окружили нас, предлагая свои услуги для того, чтобы довезти нас в город.

Запах глянцевых, отполированных кожаных сидений фаэтонов смешивался с вонью дегтя, которым смазывали балагулы буксы рассохшихся колес.

— Панычики мои, за восемьдесят копеек я вас до самой «Венеции» доставлю! — усердствовал больше всех долговязый балагула с фиолетовым фонарем под глазом, хватая попеременно, и довольно нахально, то меня, то Шерудилло за рукава.

— Иди ты к чертовой матери со своей Венецией! — цыкнул на него Шерудилло.

— «Венеция», Сережа, это ресторан такой, и гостиницы там рядом: «Лондон», «Одесса», «Киевские номера», «Бристоль», но все равно восемьдесят копеек — шибко дорого. Быть может, Вукович вызовет сейчас по телефону коней из управления? — сказал я.

— А сколько дадите? А сколько дадите? — размахивая кнутовищем, засуетился балагула, с тоской оглядываясь на расходящихся пассажиров.

— Товарищи! Вы не делегация? — послышалось рядом.

Возле нас появился чернявый военный в форме червонного казачества. На синих петлицах его хорошо заправленной гимнастерки алело по три «кубаря» и были привернуты кавалерийские значки-подковки с перекрещенными саблями. Маленькая ладная фуражка с малиновым верхом и синим околышем как бы подчеркивалась изогнутым лакированным козырьком.

— Да, мы из Мариуполя! — сказал Шерудилло.

— Политрук третьего эскадрона кавалерийского полка имени Германской компартии Канунников! — отрекомендовался военный. — За вами прислана тачанка.

Сперва мы погрузили на дно тачанки тюки с подарками, а потом подсадили сюда Зуброву. Прижимая одной рукой юбку и краснея от смущения, Натка кое-как взобралась наверх, а за нею, подобно лихим кава-

леристам, стараясь дать понять, что нам не впервой ездить на тачанках, заскочили и мы туда. Политрук Канунников сел на облучок, рядом с ездовым, и сытые каурые кони понесли тачанку к переезду, оставляя позади озадаченного балагулу с подбитым глазом.

— А где же крепость твоя хваленая, Василь? — спросила Натка. — Самый обыкновенный город, и никаких древностей не видно.

— Древности располагаются в Старом городе, — сказал политрук, — а мы стоим на окраине, за линией железной дороги. По городу мы вас еще провезем!

— Видите вот тот бугорок, возле тюрьмы? — показывал я хлопцам. — Когда сичевики полковника Коновальца захватили город в девятнадцатом, они привели туда девять подольских комсомольцев-подпольщиков. Приказали им стать в круг и взяться за руки крепко-крепко. Те взялись, ничего не подозревая. А сам Коновалец и его подручные сразу стали стрелять комсомольцам по очереди в затылок. Так и повалились все лицом на землю в средину круга.

— А как они киевских комсомольцев в Триполье убивали? Пальцы им, живым, перед смертью отсекали, мучили как! — сказал Шерудилло.

— Так то Зеленый, атаман бандитов, — сказала Наташа.

— Не все ли равно — Зеленый или Коновалец? — бросил Толя. — Одного поля ягоды, предатели Украины, наймиты буржуазные. Зеленого уже убили, как собаку бешеную, сейчас его последних бандитов вылавливают, а тот, Коновалец, еще болтается по заграницам, шпионов своих к нам подсылает.

— Ничего, и до него когда-нибудь доберутся, — сказал политрук.

Уже потянулись вдоль проселочной дороги маленькие хатки предместья Цыганковка, потом они стали сменяться домами покрупнее, и наконец за красным двухэтажным зданием железнодорожной школы мы въехали на замощенную синеватым булыжником мостовую. И тут я сказал торжественно, трогая за локоть нашу спутницу:

— Натка, смотри!

На стене кирпичного дома была приверчена голу-

бая эмалированная табличка с надписью: «Улица Никодима Зуброва». Как зачарованная, глядела не отрываясь Наташа на табличку и погодя с гордостью сказала:

— Это улица имени моего дяди!..

...Только мы заехали в открытые ворота военного городка, как увидели построенный поэскадронно на широком плацу подшефный полк.

Под звуки фанфар к нам подскакал на сером, в яблоках, резвом жеребце командир со «шпалами» в синих петлицах. Пронзительным, тонким голосом, слегка заикаясь, осаживая шпорами коня, он закричал на весь двор:

— Товарищи шефы! Полк червонного казачества имени Германской коммунистической партии построен к вашему приезду. Командир полка Николай Веселовский!

Поблескивая никелированными трубами, хор трубачей сыграл встречный марш.

— Будешь говорить, Василь, — шепнул мне на ухо Головацкий.

— Ты что, Толя? Я еще не приготовился, — испуганно прошипел я, совершенно растерянный этой церемонией.

Никто же из нас не ждал такой парадной встречи!

Головацкий нервно махнул рукой так, словно хотел сказать мне, чтобы я укатывался. Мы заметили, как упрямые желваки заходили у него на впалых щеках под гладкой розовой кожей. Последние звуки встречного марша сменились звонким выкриком «вольно», командир полка не глядя воткнул клинок в ножны, и тут раздался громкий, уверенный голос Толи Головацкого:

— Дорогие товарищи! Друзья! Славные наши защитники! Рабочая молодежь Приазовья и одного из самых крупнейших заводов юга нашей страны поручила нам передать вам согретый жаром наших сердец пламенный шефский комсомольский привет...

Так начал свое приветственное слово Головацкий.

Он стоял на военной тачанке, высокий и красивый, с непокрытой головой.

Сперва Толя немного сбивался, останавливался, по-

дыскивал нужные выражения, но потом разошелся, и голос его звучал все увереннее. Говорил он о неразрывной дружбе, связывающей червонное казачество и комсомол Украины, вспоминал о том, сколько молодых ребят по призыву партии добровольно сели на коней, чтобы пополнить ряды червоннoказачьих дивизий, напоминал о революционном долге и о высокой романтике революции. Он говорил о том, что мы привезли сюда, на границу с капиталистическим миром, не только скромные подарки защитникам нашей страны, но и решимость в минуту опасности стать из людей мирного труда надежным пополнением красной конницы. Передавал наказ мариупольской комсомолии держать клинки наготове, чтобы в любой момент проучить наших врагов так, как шесть лет назад учили их конники Котовского.

...После приветственного слова и принятия подарков командир полка провел нас по казармам, показал ленинские уголки, полковой клуб и чистые, светлые конюшни, где остро пахло кожаными седлами, лошадиным потом и сухим сеном.

В полковой столовой, не подозревая того, как мы пировали над Унавой, повар нас до отвала накормил густым борщом, рассыпчатой гречневой кашей со шкварками, а на третье выдали по алюминиевой чашке узвара из сушеных фруктов. К обеду подавали также особый хлебный квас — гордость полка, как объяснил нам Веселовский. Квас хранился глубоко в подвалах и не в бочках, а в бутылках. В каждую бутылку, до того как забить ее пробкой, повар заталкивал несколько изюмин. Оттого квас вырывал пробки сам, стоило отвернуть проволочку, пенился и перехватывал дыхание, когда мы его пили, холодный, темный, отлично утоляющий жажду.

Отдыхать мы наотрез отказались и решили до восьми, когда был назначен общеполковой вечер самодеятельности, побродить по городу... Наташа побежала в город первая, не дожидаясь нас, чтобы попасть в музей до его закрытия.

— А завтра, если хотите, можете съездить верхами к Днестру и Збручу. Есть там село такое — Устье, где три границы вместе сходятся. Петуха в том селе сразу на три страны слышно. Дам вам ладных коней, и по-

едете, — предложил Веселовский, похлопывая себя прутиком по хорошо начищенному тугому сапогу.

— Отчего же? — протянул Головацкий. — Можно и на конях. Глянем лично в сторону капиталистического мира.

— Но с нами Наташа, — заметил я. — Как она поедет в юбке? Будет неудобно.

— А Наташе мы отпустим брюки, — сказал, улыбаясь, командир полка. — И будет из нее настоящая амазонка. Жили же, по древнегреческим преданиям, на берегах Черного моря такие воинственные женщины-всадницы. Ездили верхом не хуже мужиков, свои границы защищали, а чем же наша комсомольская гостья хуже их?

...Живо представляя, как это будет выглядеть завтра наша Натка да еще в брюках с кожаными леями, мы двинулись в Старый город.

На правах старожила и знатока этих мест я объяснял хлопцам историю города.

Мы переходили медленно по дощатому настилу Нового моста. Новый мост повис на каменных быках над пропастью. Где-то внизу под мостом протекала мелкая речушка Смотрич. По обеим ее сторонам, под скалистыми обрывами чернели крытые гонтом крыши маленьких домиков. Слева, на скалах, зеленели огромные деревья Прорезной. Так назывался старый, заросший кустарниками и никем не оберегаемый бульвар, вернее, даже не бульвар, а просто лес, выросший много лет назад над обрывистыми берегами Смотрича.

А на другой стороне, расположенной на скалистом острове, виднелся весь Старый город. Длинные вечерние тени падали от его домов вниз, на скалы.

Домишкам было очень тесно в Старом городе. Улочки там узенькие и крутые, дома соединены друг с другом лестничками и галерейками.

...Уже Новый мост кончался, как мы заметили идущую быстро нам навстречу Наташу Зуброву. Когда мы поравнялись, Натка, тяжело дыша, сказала:

— Попала-таки в музей! Уже закрывали, но заведующий пустил. Милый такой старичок. А смотрите, какой подарок он мне сделал, узнав, что я племянница дяди Никодима! — С этими словами Наташа развернула папочку и извлекла из нее какое-то пожелтевшее

удостоверение. — Читай, Толя! — сказала она, передавая бумажку Головацкому.

Головацкий взял пожелтевшую бумажку.

— Вслух читай, Толя, — попросила Наташа. — Всем будет интересно.

Приблизив бумажку к глазам, глухим баском Головацкий прочел:

— «Акт Первого гражданского брака, состоявшегося в Городской Управе по распоряжению Советской власти 25 января 1918 года на общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов в восемь часов вечера. Мы, нижеподписавшиеся, гражданин 257-го пехотного Новобежецкого полка Никодим Александрович Зубров и гражданка деревни Мукша Китайгородская, Мария-Агнесса Войцеховна Савицкая, дали свою гражданскую клятву Совету Народных Комиссаров, что мы вступаем в настоящий гражданский брак не ради выгоды, не ради грязных эгоистичных стремлений, а ради удовлетворения порывов высших душевных чувств и идеалов святой любви. Мы клянемся, что, вступая в новую дорогу социализма, свято и строго будем исполнять товарищеские отношения и если жизнь потребует отдать молодость в жертву Революции, то без всяких ропотов принесем на алтарь свободы всю нашу юность, причем если жизнь станет нам в тягость, если взглядами на вещи мы не сойдемся или если политические убеждения будут разбивать наше семейное счастье, то без всяких контрибуций мы должны разойтись, оставаясь друзьями и хорошими знакомыми, в чем и подписываемся.

Никодим Александрович Зубров.
Мария-Агнесса Войцеховна Савицкая».

— Его жена полькой была, — проронила Наташа. — Оттого и два имени. Комсомолка. И ее махновцы клинками зарубили...

...Молча стояли мы над каменными перилами обрыва. Внизу ухали вальками прачки, выколачивая белье на берегу Смотрича. Музыкой первых месяцев революции звучало каждое слово пожелтевшей бумажки, прочитанной Толей.

— Да, документ очень интересный! — задумчиво согласился Головацкий, бережно пряча его в папочку

и отдавая Наташе. — Береги его, Натка, пуще всех драгоценностей на свете! Будешь и ты старушенцией когда-нибудь. Внуки твои станут комсомолятами, а комсомол наш Ленинский будет справлять какой-нибудь свой солидный юбилей. Ну, пятидесятилетие, скажем. И вот взойдешь ты тогда на трибуну, седенькая, старенькая, и расскажешь им все, что запомнила о своем дяде, верном солдате революции, который уже на третьем месяце после свершения Октября не постеснялся записать в свои личные отношения священное слово «социализм». Расскажешь все о нем, а заодно огласишь и этот документ, в котором уже тогда исчезли навсегда границы между людьми разных наций, если только они были бойцами одной цели. Подумай, как интересно будет послушать все это новым комсомолятам, не знающим лично, что такое революция и гражданская война!..

— Я сделаю это, Толя, если только доживу до тех лет, — сказала серьезно Наташа и пошла с нами обратно, к старому центру пограничного города, бережно неся под мышкой такую дорогую для нее папку...

ЭПИЛОГ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет прошло с того солнечного утра, как пароход «Феликс Дзержинский» огласил дрожащим гудком устье реки Кальмиус, входя по каналу в порт Мариуполя.

Засуетились матросы у брашпиля, готовясь к тому, чтобы опустить якорь, вышли из своих кают пассажиры, и мы, собравшись на верхней палубе, громко запели:

Низвергнута ночь. Подымается солнце...

Славная песня! Запечатлелась она навсегда в моей памяти!

Вот и сейчас, двадцать лет спустя, сижу я в небольшой комнате, листаю старые газеты, слушаю, как хлещет по стеклам дождь, а в ушах звенит знакомый мотив этой песни.

Сквозь окно видны намокшие каштаны. Они нахохлились и опустили вниз большие лапчатые листья. Частый дождь сбил с них последний цвет, оголил маленькие колючие шишечки.

Я приехал сюда ночью из Ленинграда. Укладываясь спать, я мечтал спозаранку побежать в город и посетить Старую крепость.

Хозяйка квартиры Елена Лукьяновна — врач-невропатолог. Она потеряла в Ленинграде в первую же блокадную зиму всех своих близких и после демобилизации приехала на работу в мои родные края. В вагоне мы разговорились. Уже одно то, что нам довелось примерно в одно время прожить больше десяти лет в Ленинграде, сразу же сблизило меня с этой задумчивой, рано поседевшей женщиной в зеленоватой гимнастерке со следами от погон на плечах. Ведь так же, как и ее родные, погиб у меня на руках от голода

в декабре 1941 года мой отец, который приехал незадолго перед войной ко мне в Ленинград и работал на Печатном дворе.

Думал старик последние годы своей жизни провести вместе со мной, радовался тому, что я инженером стал и тяжелые танки на заводе строю, да все война перепутала. Не довелось мне добрым отношением и сыновней заботой скрасить последние годы батьки, хоть немного отблагодарить его за то, что не побоялся пустить меня смолоду в большую, интересную жизненную дорогу.

Угас он тихо, без стонов и жалоб, почти неслышно, как угасали в ту страшную блокадную зиму многие ленинградские дистрофики...

— Боюсь, что жилья вам не достать, — сказала Елена Лукьяновна, когда поезд подходил к городу. — В Старом городе сплошные руины... Если хотите, можете остановиться у меня.

Никого из родственников в городе у меня уже не было, и я охотно воспользовался предложением попутчицы.

А ночью пошел дождь. Льет он и сейчас не переставая, хоть уж четвертый час дня и давно бы пора выбраться в город, которого я не видел больше двадцати лет.

Когда Елена Лукьяновна собиралась в больницу, я спросил, нет ли у нее чего-нибудь почитать.

— Все медицинское, — сказала Елена Лукьяновна. — Моя библиотека еще не прибыла... Хотя, впрочем, на чердаке сложены какие-то книги и журналы. Еще со времени оккупации. Посмотрите, что там такое, — может, сжечь это все надо?

И вот второй час я листаю размалеванные страницы «Ди вохе», «Сигнала» и других фашистских журналов. Отовсюду с их страниц глядит на меня исступленное лицо Гитлера: он встречает Муссолини, принимает испанского посла, любуется разрушенной немецкими бомбами Варшавой. И повсюду застывшие в оцепенении гитлеровцы, кладбищенская пустота площадей, полотнища знамен со свастикой над разрушенным городом...

Но что это?..

Я вытаскиваю со дна корзины тяжелую подшивку

газет. Ее название «Подолянин» поворачивает мысли вспять, уже к далекому детству. Так называлась русская газета, выходившая еще при царе в нашем губернском городе. Но почему она на украинском языке?

Смотрю дату: 1942 год. Я листаю страницы фашистского «Подолянина», и чудится мне, что передо мной шиворот-навыворот крутят военную хронику захватчиков. Я вижу гитлеровцев, въезжающих на пустынные улицы Киева, читаю крикливые заголовки о неизбежном падении Ленинграда и Москвы и другие фашистские сообщения. Они читаются теперь с усмешкой, как дурной сон.

И вдруг в глаза вонзается знакомая фамилия: «Григоренко». Поспешно читаю: «12-го сего месяца приказом окружного комиссара барона фон Райндля в городе создан Украинский комитет в составе: Евген Викул, Цер (переводчик), Юрий Ксежонок (председатель комитета), Кость Григоренко. Комитет проверяет налоговые дела, помогает немецким властям собирать контингенты. Комитет является органом окружного комиссара и действует по его указаниям».

Григоренко!

Петлюровский бойскаут, сын доктора, служившего Петлюре, вот, оказывается, когда он снова вынырнул на поверхность!

— Я вижу, вы нашли интересное занятие? — говорит, входя в комнату, Елена Лукьяновна.

— Я нашел следы старых знакомых, Елена Лукьяновна, и жалею о том, что в юности не смог передать кой-кого из них в руки правосудия.

— Сегодня я тоже встречала старых знакомых, — не вникая в смысл моей фразы, сказала Елена Лукьяновна. — Среди них есть мальчик из Сибири, Дима. Его ранили в бою при освобождении нашего города. Очень трудный больной. Второй год не может сказать ни одного слова.

— А что с ним?

— Надо решить — оперировать его или не оперировать, — словно думая вслух, говорила Елена Лукьяновна, снимая халат. — Сегодня я послала вызов во Львов с просьбой прислать консультанта. Там работает

тоже мой знакомый — профессор-невропатолог из Ленинграда...

— Для вас, Елена Лукьяновна, сейчас это звучит очень просто: «Послала вызов во Львов, профессору!» — сказал я. — Но если бы вы знали, как много значит эта фраза для меня, уроженца здешнего города! В ней скрыт огромный смысл изменений, которые произошли на Украине. Двадцать лет назад Львов был так же недоступен для нас, как Париж, Лондон или Мадрид, хотя вашему профессору из Львова лететь сюда не больше двух часов.

— Не больше, — согласилась Елена Лукьяновна.

Я второй день в родном городе. Открываю глаза. О радость! Синеет небо в окошечке, и сбрызнутые последними каплями ночного дождя каштаны подымают навстречу солнечным лучам свои темно-зеленые листья.

Быстро одеваюсь и бегу в город.

Буйная поросль пробивается отовсюду из каменных стен, желтые одуванчики, медуница, дикий виноград. Козы блаженствуют в этом обилии зелени, позванивая колокольчиками, сделанными из консервных банок. Все это с детства знакомое, виденное!

Непонятно лишь, почему мостовая, спускающаяся к Новому мосту, поросла подорожником. Неужели по этим булыжникам уже никто не ездит? А ведь тут была главная проезжая магистраль из новой части города через центр к Днестру!

Печальная картина открылась моему взору, едва я подошел к обрыву. От красавца Нового моста остались лишь высокие каменные быки над пропастью, на дне которой поблескивает Смотрич. Через них переброшена узенькая кладочка, доски которой скрипят и гнутся под ногами.

Никто не шел сейчас мне навстречу из Старого города, выросшего на высокой скале, огибаемой Смотричем. Почти все здания там превращены в руины.

С большим трудом, по обломкам стен, я догадываюсь, в какой части города нахожусь. Это, кажется, Почтовка? Вот развалины дома, где собиралась тайная

группа декабриста Раевского. А вот здесь родилась великая артистка Мария Савина.

А вот там, подальше, стоял исчезнувший сейчас ресторан «Венеция», в котором справил шумные поминки по умершей бабушке Монус Гузарчик...

Где-то он сейчас, наша «беспартийная прослойка», сборщик двигателей, шумный Моня? Последнее письмо от него я получил в 1940 году в Ленинграде. Гузарчик писал мне, что работает старшим мастером на Харьковском паровозостроительном заводе, и даже книжечку мне прислал о своем методе перехода на поточный способ производства...

Словно ураганом снесены маленькие домики возле огромной семиэтажной башни Стефана Батория с воротами, называемыми Ветряной брамой. Когда-то башню эту выстроили по приказу короля-венгра, чужака на польском престоле, стремившегося к завоеванию украинских земель Подолии. А совсем недавно, в 1943 году (это рассказала мне Елена Лукьяновна), около Ветряной брамы гитлеровцы расстреляли более семи тысяч выдающихся людей Венгрии, не желавших помогать фашистским оккупантам. Гестапо боялось уничтожить их в Будапеште и отправило на смерть в украинский городок.

Неподалеку я увидел развалины дома, в нижнем этаже которого за широкими бемскими витринами помещалась кондитерская.

Помню, в эту соблазнительную кондитерскую пригласил я Галю Кушнир. Сидим мы с Галей, важно разговариваем, попиваем за мраморным столиком кофе, словно взрослые, а отец, возвращаясь из типографии, взглянул в окно и увидел нас. То-то неприятностей после было!..

Где-то сейчас Галя Кушнир, с которой разлучила нас война? Весной 1941 года я получил от нее последнее письмо из Одессы. Писала, что успешно защитила диссертацию, получила звание кандидата исторических наук, продолжает и дальше изучать вопрос о черноморских проливах в свете международных отношений. Удалось ли ей уехать из Одессы?

И встречу ли я ее когда-нибудь еще, первую мою любовь, единственную девушку нашего фабзавуча, ставшую потом историком?

Как и встарь, у каменных перил при въезде на Крепостной мост женщины продавали цветы: розовые, белые и желтые пионы, букеты полевых васильков, ярко-красных маков с черными мохнатыми сердцевинками, кремовых, сиреневых и оранжевых ирисов — «петушков» и последних уже в эту пору тюльпанов с пунцовыми, розовыми и бледно-желтыми чашечками...

Цветы покупал стоявший ко мне спиной плотный, широкоплечий подполковник. Он забрал у женщины букеты в охапку и отнес их на сиденье открытого вездехода. По количеству канистр для бензина я догадался, что подполковник со своим водителем едет издалека и такой же залетный гость в этом городе, как и я.

«Куда же ему цветов столько?» — подумал я, но, привлеченный видом Старой крепости, сразу же забыл об этих проезжих военных.

Крепость возвышалась над скалами, как в годы моего детства, и, как и сотни лет назад, замыкала собою въезд в город с юга, запада и востока. Ее плотные каменные стены старинной кладки, такие же прочные и нерушимые, как и те выщербленные серые скалы, на которых ее построили, не раз спасали жителей города.

По-прежнему высились над зигзагообразными крепостными стенами первого пояса укреплений то четырехгранные, то круглые сторожевые башни с узкими амбразурами, увенчанные зелеными от мха остроконечными крышами. Вспыхивали зеленые кроны деревьев на крепостных валах. Над обрывами выросли большие кусты жимолости и розового вереска. Колючая дереза свисала над пропастью, пробравшись своими корнями глубоко в каменную кладку, от которой турецкие ядра отскакивали, как орешки.

У распахнутых настежь ворот алела, видно совсем еще недавно прибитая здесь, вывеска: «Исторический музей-заповедник».

С чувством глубокого волнения вошел я под арку крепостных ворот.

«Милая, славная наша старушка! — думал я, оглядывая крепость. — Не тронули тебя ни время, ни турки, ни гитлеровские бомбы. Как стояла ты столетия нерушимой твердыней на юго-западе Подольской земли, так и стоишь поныне на радость народу, на страх вра-

гам, навсегда изгнанным с исконной украинской земли!»

Стоило мне, однако, войти во двор, густо заросший муравой, как я понял, что и нашей старушке досталось порядком в недавних боях.

Сторожевые башни, обращенные амбразурами на все четыре стороны света, были исковерканы пробоинами от снарядов. Крыша над башней Ружанка исчезла вовсе. От Комендантской остались одни развалины. Но дом во дворе крепости, в котором теперь, по-видимому, размещался музей, был восстановлен.

Шум автомашины заставил меня обернуться. Показался все тот же вездеход, обвешанный канистрами с бензином. По-видимому, любитель цветов — подполковник захотел по пути осмотреть заповедник.

Скрипнули тормоза, машина остановилась подле кордегардии, а я узенькой тропкой пошел дальше, к зеленому бастиону, который подымался за Черной башней.

Четверть века назад под этим самым бастионом петлюровцы расстреляли большевика — донецкого шахтера Тимофея Сергушина.

Сергушин стоял вон там, внизу, полуодетый, желтый от болезни. Под дулами направленных на него винтовок он крикнул в лицо палачам-петлюровцам: «Да здравствует Советская Украина!»

Напрасно я искал серый мраморный обелиск с надписью:

Борцу за Советскую Украину,
первому председателю
Военно-революционного трибунала
ТИМОФЕЮ СЕРГУШИНУ,
погибшему
от рук петлюровских бандитов

Враги и предатели, охваченные ненавистью к Советской власти, постарались уничтожить память об этом славном человеке, первом коммунисте, пришедшем в нашу хатенку на Заречье четверть века назад.

Лишь под самой Черной башней я нашел в густой

траве кусок мрамора с последним словом надгробной надписи.

Основание обелиска сохранилось, могильная насыпь тоже. Зеленый барвинок густо рос на бугорке.

Остановился я над этим бугорком, и память вновь перенесла меня в то далекое время, когда только-только установилась на Подолии Советская власть.

Помню, вечером после расстрела Сергушина мы пришли сюда, прихватив с собой дружка Маремуху. Куница, по запорожскому обычаю, расстелил на могильном холмике красную китайку, а мы засыпали бугорок пахучим жасмином. Над могилой убитого клялись мы в тот вечер стоять один за другого, как побратимы, и отомстить врагам Советской Украины за смерть ее лучшего сына.

Задумавшись, стоял я теперь, склонив голову, над заросшим могильным холмиком, и живо вспоминал слова самой любимой песни Сергушина:

Я песню пою — от души она льется,
Хочу я в ней выплакать думы свои...
Как птица в неволе, во тьме она бьется
И тонет под сводом земли...

И скоро она, не допетая мною,
Умолкнет с закатом осеннего дня.
И новый товарищ, шагая к забою,
Ее допоет за меня...

Погруженный в свои мысли, я не услышал, как подошел другой человек, и обнаружил его присутствие лишь в ту минуту, когда пунцовые пионы посыпались в густую траву.

Плотный, широкоплечий подполковник посыпал могилу Сергушина цветами, не обращая на меня никакого внимания. Глянул я на него еще пристальней — и вдруг под щетиной, проступившей на его загорелых щеках, увидел знакомые черты Петра Маремухи...

— Послушайте, товарищ!.. — сказал я взволнованно.

Обернувшись на звук моего голоса, подполковник-танкист сперва посмотрел на меня очень строго, я бы даже сказал — недовольно, но потом, внезапно меняясь в лице, вскрикнул:

— Василь! Дружище!..

А спустя полчаса мы сидели на росистой еще тра-

ве под башней Кармелюка, забыв в нашей оживленной беседе обо всем на свете.

Водитель Маремухи, румяный ефрейтор-танкист, расстелил на траве брезентовую плащ-палатку и разложил на ней всякую снедь.

— Так погоди, Вася, — прервал меня Маремуха, — но почему же ты не ответил мне из Ленинграда? Я прямо штурмовал тебя письмами на завод! Даже в отдел кадров того авиационного завода писал: где, мол, у вас инженер Василь Манджура? А они мне ответили один раз, что «откомандирован», и замолкли. Куда ты исчез оттуда?

— На завод «Большевик» меня послали...

В эту минуту позади раздался старческий голос:

— Товарищи военные! Ну как вам не стыдно! Здесь же заповедник, а вы здесь мусорите!

Мы обернулись на этот голос так быстро, будто школьники, застигнутые здесь сторожем.

На соседнем бугорке стоял седенький старичок в полотняной старомодной толстовке, с черным галстуком «бабочкой», в золоченом пенсне. Он появился неслышно, как в сновидении из далекого детства, и одно его появление помолодило нас сразу лет на тридцать.

Не будь на переносице старичка такого знакомого пенсне, мы, возможно, и не признали бы в нем Валериана Дмитриевича Лазарева. Но это был он — наш любимый историк и первый директор трудовой школы имени Тараса Шевченко! Вскочив поспешно с земли, Петро приложил руку к козырьку:

— Приносим вам глубокое извинение, Валериан Дмитриевич!

— Позвольте! Но откуда вы знаете, как меня зовут? — опешил Лазарев, сходя с бугорка.

Где ему было узнать в седоватом офицере с орденами того самого коротышку, который, сверкая босыми пятками, бежал однажды вдогонку за другим хлопчиком с фонарем «летучая мышь», охваченный желанием поскорее спуститься в заманчивый подземный ход!

Тысячи подобных школяров промелькнули перед глазами Лазарева за многие годы педагогической деятельности — всех разве упомнишь!

— Откуда вы знаете мое имя? — повторил Лазарев, подходя к Маремухе вплотную.

Теперь уже вмешался я:

— Когда же мы с вами снова в подземный ход пойдем, товарищ Лазарев?

— Погодите!.. Что за наваждение? — Старичок снял пенсне и протер его стекла платочком. — Вы, товарищ, не из облнаробраза?

— Я, дорогой Валериан Дмитриевич, из трудовой школы имени Тараса Григорьевича Шевченко. И подполковник тоже. Мы оба — ваши ученики выпуска тысяча девятьсот двадцать третьего года.

С этими словами я крепко обнял нашего старого директора.

О многом уже было переговорено между нами...

— Вы хотите узнать обо всем, что случилось здесь? — спросил Лазарев, вставая с плащ-палатки. — Давайте тогда продолжим урок наглядной истории. Последний раз я рассказывал вам о повстанце Устине Кармелюке?

— Совершенно верно, Валериан Дмитриевич! — отчеканил Петро. — Мы еще с вами, помните, кандалы кого-то из друзей Кармелюка или Гонты нашли...

— Кандалы эти у меня в музее по сей день хранятся, — сказал Лазарев. — А сегодня я вам расскажу о других героях борьбы против угнетателей украинского народа... Но прежде всего скажите, подполковник, — Лазарев лукаво глянул из-под пенсне на Маремуху, — известна ли вам общая военная обстановка, которая сложилась здесь в первые месяцы прошлого года?

Маремуха ответил уклончиво:

— Примерно.

— В таком случае помогайте мне, коль я ошибусь.

И он начал рассказывать:

— После того как в марте тысяча девятьсот сорок четвертого года советские войска отбили Волочиск, фашисты потеряли прямую железную дорогу на запад. Тогда все их части, оставшиеся в подольском «мешке», бросились сюда. Таким образом, наступающие советские войска должны были закрыть гитлеровцам пути

бегства в Буковину и Западную Украину через наш город.

В начале марта советская артиллерия прорвала немецкую оборону под Шепетовкой.

В этот прорыв хлынули танковые войска Лелюшенко, Рыбалко и Катукова. Они повели наступление на юг, к Днестру... Отчего вы улыбаетесь, Маремуха? Я сказал не то?

— Я улыбаюсь потому, что и сам имел некоторое отношение к упомянутому наступлению, — тихо сказал Петро. — Я у Лелюшенко служил.

— Ах, лиходей вы эдакий! — засуетился Лазарев. — Да вы, наверное, сами здесь орудовали? Признавайтесь!

— Здесь — нет, там — да! — Маремуха показал на северо-запад. — Мы Скалат брали.

— Так вот, слушайте, — продолжал Лазарев, успокаиваясь. — После того как вы захватили Скалат, сюда была послана танковая бригада Уральского добровольческого корпуса...

— Гвардейского притом, — добавил Маремуха. — Танки этого корпуса и во Львов ворвались первыми, и Прагу спасали от уничтожения.

— Гвардейского, не спорю, — согласился Лазарев. — Бригада эта, после того как наши войска устремились к Тернополю, получила задачу пройтись по тылам противника, парализовать их и через Гусятин, Жердье, Орынин дойти до нашего города... И вот, мои хлопчики... — Тут голос Лазарева дрогнул, и он заговорил тише, переводя дыхание: — Двадцать пятого марта тысяча девятьсот сорок четвертого года жители Подзамче впервые после двух с половиной лет фашистской оккупации увидели советские танки! Подзамчане плакали от радости; они протирали себе глаза, думая, что все это им только снится... Плакал и я, мои хлопчики, словно маленький, когда один из танков остановился в том селе, где прятался я от гитлеровцев. Танкист соскочил с брони и попросил напиться. Он был весь в масле и бензине. Я целовал его, как родного сына, и плакал...

Лазарев закашлялся и повернул свое худощавое лицо в сторону крепостных ворот, но мы поняли: глядит

он туда нарочно, чтобы скрыть от нас слезы, проступившие на его усталых старческих глазах.

— ...Впереди передового отряда бригады, — продолжал Лазарев после минутной паузы, — мчался от Должка к Подзамче тяжелый танк «Суворов». У него на борту развевалось знамя. Танк этот вел младший лейтенант Копейкин, будущий Герой Советского Союза. А командовал передовым отрядом старший лейтенант Иван Стецюк, воспитанник одного из детских домов города Днепропетровска. Его отряду было поручено во что бы то ни стало овладеть районом Старой крепости и отрезать выход из города.

Захватив Подзамче, Стецюк и его люди через Крепостной мост начали штурм города.

Они появились так внезапно, что гитлеровцы выскакивали из квартир в нижнем белье. Позже фашисты опомнились и со всех сторон сразу повели наступление на город.

Стецюк получил задачу защищать подступы к городу со стороны Должка и Подзамче. У него к этому времени осталось всего четыре исправных танка и шестьдесят человек пехоты. Целый день со своими людьми он держал оборону развилки дорог возле консервного завода, а на него со всех направлений ползли фашистские «пантеры» и «тигры». Несмотря на исключительную храбрость советских танкистов, враги продолжали теснить их к мосту. Дело в том, что как раз в эти последние дни марта генерал Катуков с ходу форсировал Днестр в районе Залещик и стал на северных подступах к Черновицам. Когда гитлеровцы проведали об этом, они еще яростнее стали атаковать наш город, чтобы иметь возможность прорваться через него к Буковине.

Гитлеровцы запрудили все шляхи и катились к Днестру и Збручу прямо полем, но весенняя распутица задерживала их продвижение, вынуждала бросать раненых, технику. Более пятнадцати гитлеровских дивизий пыталось выбить нашу бригаду отсюда. Конечно, танкисты могли и отступить, выйти из боя, дать дорогу врагу, ибо что значит одна бригада против пятнадцати дивизий!.. Вы опять улыбаетесь, подполковник? Я что-нибудь сказал не так?..

— Да что вы, Валериан Дмитриевич! Все правиль-

но! — ласково сказал Маремуха нашему старому учителю.

— ...Танкисты решили обороняться здесь, потому что знали: если фашисты снова захватят город, тогда наступательные операции Советской Армии будут задержаны на несколько недель, — продолжал Лазарев. — А сейчас попрошу за мной!..

Выйдя из крепостных ворот, Лазарев остановился.

Мощенная большим круглым булыжником дорога круто спускалась к мосту.

Лазарев стукнул палкой и сказал торжественно:

— Тут Стецюк поставил свой уже единственный танк «Суворов» под командой младшего лейтенанта Копейкина. Видите эти вывороченные камни? Здесь танк «Суворов» повернулся грудью к мосту. «Делай, Копейкин, что хочешь, но ни одного гитлеровца к воротам не подпусти!» — сказал Стецюк своему помощнику...

Лазарев протянул палку по направлению к мосту.

Около въезда на шершавые доски моста, подобно крыше сельского погреба, возвышался козырек подземного хода. По преданию старожилов, ход этот вел в Бессарабию, к похожей на нашу Хотинской крепости.

— В подземелье, — сказал Валериан Дмитриевич, — Стецюк сложил про запас бутылки с зажигательной смесью. Расчет был прост: вражеские танки постараются прорваться к мосту; тогда советские бойцы, засевшие в подземелье, будут забрасывать их оттуда бутылками с зажигательной смесью... Капитан Шульга под огнем неприятеля заминировал мост и погиб при выполнении этого задания. Родом Шульга был из Краснодона.

...Немало музеев перевидал я на своем веку, многих экскурсоводов слушал, но ни один из них не волновал меня так, как Валериан Дмитриевич. Ведь любой камень Старой крепости был отлично знаком нам с детства, все стены ее, поросшие дерезой, исхожены нами, все башни обстуканы в поисках древних кладов. Теперь же со слов Валериана Дмитриевича вырисовывалась во всех подробностях новая история подольской твердыни. Это была история о том, как у древних стен

нашей крепости защищали родную землю советские люди. Слушая Лазарева, мы как бы увидели сами широкоплечего, коренастого коменданта крепости, уроженца Золотоноши, Ивана Стецюка.

...Вот он пробирается сюда под вечер с лицом, забрызганным грязью и маслом, в кожаном шлеме танкиста. Он прячет за спиной раненую руку. Из нее сочится кровь. Стецюк ни единым движением лица не выдает мучительной боли: гарнизон крепости не должен видеть, что командир ранен.

Перед ним, на влажной еще от вчерашнего бурана земле, выстроились в окружении сторожевых башен его люди: сибиряки, москвичи, одесситы. Последние люди того самого передового отряда, который, переполошив глубокие тылы гитлеровцев на линии Збруча, вырвался по темным приднестровским урочищам к скалистым берегам Смотрича.

Старший лейтенант Стецюк молча разглядывает своих солдат и офицеров. Усталые и похудевшие, они ждут, что скажет им командир, вместе с ними отрезанный от Большой земли древними крепостными стенами.

Стецюк говорит просто:

— В этой крепости мы будем воевать до последнего патрона. Понятно? Понадобится — погибнем за наше священное дело, но врага не пропустим!..

...Перед Стецюком стоял последний из свободных людей его гарнизона — Дима Безверхий.

Многие танкисты даже не знали фамилии смышленого голубоглазого парнишки, а запросто окликали его Димкой.

Димка прибился к танкистам еще при формировании бригады и прошел с боями до отрогов Карпат. Еще до войны он мечтал после окончания школы поступить в горный институт. «Хочу уголь под землей искать!» — не раз говаривал Стецюку Дима.

В мартовский этот вечер Дима переминался с ноги на ногу от холода и глядел на коменданта прозрачными глазами. Ему недавно исполнилось четырнадцать лет.

— Что с тобой делать, а, Димка? — сказал Стецюк. — Может, при мне будешь? — Но, увидев разочарование в глазах мальчика, ждавшего активных действий, сказал: — А знаешь-ка что? Видишь, башенка? Бери ручной пулемет и залезай в нее.

Круглая эта башенка приютилась позади музея.

Дима быстро подхватил ручной пулемет и помчался через раскисающий двор к башне.

Прошло несколько минут, и Стецюк заметил в самом верхнем окошечке башни веселое лицо Димы. Мальчик сорвал с головы каску и, силясь обратить на себя внимание коменданта крепости, помахал ею. Стецюк показал Диме направление боевого охранения: в сторону Орынина. Оттуда могли поползти к мосту вражеские танки. Дима сообразил, что хочет от него комендант, и перелез со своим пулеметом к противоположной боевой амбразуре... Так сибиряк-подросток сделался защитником Архиепископской башни.

...Глухо била артиллерия около вокзала. Над Шатавой багровело зарево пожара. Чем больше смеркалось, тем краснее становился небосклон там, за Старым городом. Но Старый город все так же упрямо возвышался на скалистом острове, окруженный неприступными обрывами и рекою Смотрич.

— ...А утром началось! — продолжал рассказывать Лазарев. — И не только «тигры» и «пантеры», ползущие сюда от развилки, вели огонь по крепости. Ее обстреливали осадные орудия противника с укрытых позиций, которых Стецюк не мог достать огнем. Прислуга вражеских батарей, особенно установленных на Выдровке, видела крепость как на ладони. Несколько раз танки гитлеровцев пытались прорваться к мосту, но всякий раз гарнизон преграждал им дорогу... Конечно, сидя в башнях, трудно вести маневренный бой. Стецюк несколько раз выводил своих людей на валы и бил противника оттуда, с этих земляных укреплений. На второй день осады гитлеровцы рискнули просочиться в город со стороны Карвасар, но бойцы их отбили...

— Контратакой? — спросил Маремуха.

— Вы угадали, — сказал Лазарев. — Часть гарнизона выскочила из крепости и сверху перебила гитлеровцев, пробиравшихся к этому мостику.

С этими словами Валериан Дмитриевич подвел нас к развалинам башни, примыкавшей к своду кордегардии, и сказал:

— Видите остатки этой башни? Не забыли еще ее названия?.. Это Комендантская. Тут на четвертый день осады прямым попаданием снаряда убило бойца Крас-

нюка... В тот день немецкие орудия били не умолкая. Положение гарнизона было очень тяжелым: сухари кончались, сахара уже не было, иссякла вода. И вдруг в этот напряженный момент подбегает Димка: «Товарищ старший лейтенант! Там на чердаке коза живая. Разрешите, я ее приволоку сюда!» Стецюк, конечно, обрадовался, дал Димке свою «финку» и сказал: «Иди...» Проходит несколько минут. Спускается по водосточной трубе перепуганный насмерть Дима и докладывает: «Там полно всяких зверей, но они не двигаются! Завороженные или что?..» А это я, когда город эвакуировали, свою зоологическую коллекцию там спрятал, чучела разные... Казалось, что бойцы измучены до предела. Но веселая история с козой мигом облетела все посты и подняла настроение. А тут и воду нашли...

— В Черной башне? — спросил я.

— В Черной башне, — сказал Лазарев. — Но, видите, нам-то с вами нетрудно было бы найти воду здесь. Мы люди здешние. А они — нет. Здоровые бойцы остаток сухарей и сахара отдали раненым. Но этого было мало. Собранные в одной из комнат музея раненые метались, изнывая от жажды. Сколько же было радости, когда обнаружили воду!

Фашисты полукольцом охватили крепость и не допускали к ней никого из населения.

Но вот на пятый день обороны по тыльной, почти отвесной стене Карвасар в крепость все-таки пробрался один местный житель. Он предложил Стецюку показать точное расположение вражеских батарей, разрушающих крепость. Стецюк послал с ним ефрейтора Мышляева и еще одного бойца из батальона мотопехоты, фамилию которого до сих пор мы не можем установить. Известно только, что звали этого второго бойца Сашко. Было ему девятнадцать лет, и, несмотря на молодой возраст, он уже был награжден орденом Ленина.

Смеркалось, когда они выбрались из крепости. По пути местный житель одолжил у Сашко автомат и снял вражеского часового. Так он добыл оружие и себе.

Втроем они пробрались задами к мельнице Орловского. Около мельницы стояла гитлеровская батарея.

Разведчики перебили ее прислугу, а замки от орудий бросили в реку. Это случилось через тридцать семь минут после их выхода из крепости. Затем они обезвредили восемь фашистских пушек, нацеленных на крепость. Сперва уберут фашистов, потом выбивают замки — и вперед!

В одной из схваток проводника ранили в руку. Тогда они все трое пробрались лесом в сторожку, где жил этот местный, сделали ему перевязку, взяли продуктов и двинулись дальше... Второго апреля всех троих нашли вблизи развилки мертвыми у разбитого немецкого пулемета...

— А вы узнали фамилию проводника, Валериан Дмитриевич? — спросил Маремуха. — Он в самом деле наш земляк?

— Не только земляк, но и мой воспитанник... Это был Иосиф Викентьевич Стародомский! Из наших поляков! — с гордостью сказал Лазарев. — Вы его навряд ли помните. Он долгое время был в отъезде.

— Кого не помним, Стародомского? Юзика Куницу? — воскликнул я.

— Но ведь Стародомский был моряк? — удивился Петро. — Каким же образом попал он в этот далекий от моря город, да еще в дни войны?

— Он был моряк, не спорю, — сказал Лазарев. — И пожалуй, больше, чем кто-либо другой в этом городе, именно я могу подтвердить эту его профессию. Попрошу вас заглянуть на несколько минут в музей...

...Он глядит с портрета, окаймленного траурной лентой, улыбающийся, милый Юзик Стародомский в нарядной морской фуражке-капитанке. Лицо его осталось почти таким же сухощавым, смуглым, упрямым, как и в тот июльский рассвет, что промелькнул, как встречная вешка, двадцать с лишним лет назад, когда стояли мы вместе с Юзиком на капитанском мостике при подходе к Мариуполю.

Под прозрачным стеклом хранится несколько экспонатов. Первое, на чем останавливается мой взгляд, когда мы подходим к витрине, это ржавый турецкий ятаган. Все та же, сделанная еще четверть века назад, выцветшая надпись виднеется под ятаганом: «Дар ученика высшего начального училища Иосифа Стародомского».

Возникает в памяти солнечный воскресный день.

Мы гуляем по Старой крепости. В поисках гнезда коноплянки, выпорхнувшей из кустов боярышника, Юзик долго шуршит ветками под башней Донна и, наконец, появляется оттуда сияющий, неся в руке это турецкое оружие — след времен кровавых и жестоких.

С какой гордостью, посапывая носом, следил он впоследствии за тем, как наш главный советчик по вопросам городской старины Валериан Дмитриевич Лазарев, чуть не прикасаясь стеклышками пенсне к поржавелым ножнам изогнутого ятагана, изучал его и, наконец, определил: «Это оружие второй половины семнадцатого века. Не исключена возможность, что его потерял кто-нибудь из турецких янычар, убегавших из Подолии от русских войск!..»

Около детского дара Стародомского лежала теперь продолговатая толстая тетрадь в твердом переплете. На белой наклейке я прочел сделанную тушью надпись: «Вахтенный журнал парохода «Слава Азова».

— Вы знаете, что такое вахтенный журнал? — спросил Лазарев, заметив, что мы с некоторым недоумением уставились на этот экспонат. — Это важный документ, который обязан вывезти на сушу всякий капитан в случае гибели судна. Это живая история корабля: его рейсы, запись всех происшествий на борту.

— Каким же образом журнал очутился здесь? — спросил Петро.

— В последние минуты боя Стародомский захватил журнал с собой, — сказал Лазарев. — Ну, а потом он привез журнал сюда.

— Разрешите взглянуть, что записано в журнале? — полюбопытствовал я.

— Отчего ж, — согласился Лазарев. — Вы близкие друзья Стародомского.

С этими словами директор заповедника открыл витрину и протянул мне пухлую тетрадь. Первые страницы заполняли незнакомые почерки.

Поспешность, с которой были сделаны записи в журнале в первые дни войны, дала возможность представить обстановку на южном морском театре военных действий во второй половине 1941 года.

«*15.02* — Сигнал: неприятельские самолеты. С нордоста.

Тем же курсом.

15.08 — Справа, на курсовом угле 80°, произведен налет немецкой авиации на соседей. Налетает 10—15 фашистских торпедоносцев и бомбардировщиков.

15.17 — Ранен стармех Воскобойников. Слепое ранение разрывной в позвоночник.

15.20 — Мощность атаки ослабла. Бомбят с больших высот. Огонь пулеметов и орудий продолжается. Приказ Костенко заменить тяжелораненого Воскобойникова в машине.

Воскобойников снесен в салон, где ему оказана первая помощь...»

Я перевернул несколько страниц вахтенного журнала и увидел запись, хотя и сделанную почерком Юзика, но очень крупными, неровными буквами:

«Светает. Я на краю косы. Неужели Белосарайская? Как сюда попал, решительно не знаю. Рядом вышвырнута на берег судовая шлюпка. Сплошной, неутихающий шум в ушах. По-видимому, результат контузии. Руки обварены паром. Взрыв котлов? С трудом записываю только то, что твердо помню.

Вчера, 7 октября 1941 года, в 10 часов утра еще торговал базар, и я направил туда Гришу Гусенко, выдав ему всю наличность из кассы. Соседние суда принимали на борт раненых и машинное оборудование. Мы стояли на рейде, ожидая своей очереди стать под погрузку. Приблизительно в 13.00 к самому порту неожиданно прорвались танковая колонна врага и автоматчики.

Видя, что остальные суда заканчивают погрузку, я всеми имеющимися в моем распоряжении огневыми средствами, крейсируя на малых оборотах машины, чтобы не сесть на мель, принял бой с гитлеровским авангардом. Принимая на себя его огонь, я хотел дать возможность уйти товарищам. Видел, как многие суда отчаливали и, выстраиваясь в кильватер, вышли по морскому каналу на внешний рейд. Получил восемь орудийных попаданий из танковых пушек противника. Два немецких танка поджег на причале. Видел падающих под моим пулеметным огнем фашистских автоматчиков. Уже стал отходить — прямое попадание в машину вы-

вело судно из строя. Продолжал вести бой с тонущего судна.

Прекратили огонь, лишь когда пушки ушли под воду и орудийный расчет поплыл. Дальше последовал взрыв, и больше я ничего не помню...»

— Контузия была тягчайшая, — заметил Лазарев. — Иосиф Викентьевич Стародомский еле слышал, даже когда добрался сюда. И лицо было ошпарено. Мне рассказывал об этом его дядя, лесничий. От лесничего я и получил этот вахтенный журнал. В самом конце есть еще одна примечательная запись.

На последних страницах вахтенного журнала, отделенных от служебного текста несколькими чистыми листами, мы прочли строки, написанные словно старческой рукой:

«Я проклинал себя за то, что тяжелая контузия помешала мне прорваться на восток. Очутившись в Ясиноватой, я устроился на эшелон с углем и решил до выздоровления искать приюта у родных, на Подолии.

Все дальше и дальше, к самой Москве передвигался фронт. Подлецы гитлеровские наймиты с желто-голубыми повязками шепчут вокруг, что наших побеждают. Неправда! Россию не победить! Не победить и Украину, не победить и Польшу, пока они с Россией! Восстанут камни с могил дедов, если не останется в живых советских людей.

Фашист, чей бы ты ни был, ты не победишь! Зальешься своей же кровью — раньше или позднее...»

— Эти строчки относятся к зиме тысяча девятьсот сорок первого — сорок второго года, — сказал Лазарев и посмотрел на портрет, с которого улыбался нам худощавый хлопец с золотыми шевронами капитана дальнего плавания на рукавах.

...Под стеклом в витрине лежали изуродованные сошки и ствол немецкого пулемета «машингевера». На его вороненой стали виднелись тусклые пятна. Возможно, то была кровь моего польского друга Юзика и его боевых друзей, найденных мертвыми у этого пулемета.

— Когда Стародомский понял, что к вокзалу ему не прорваться, — сказал Лазарев, — он и его товарищи залегли с этим пулеметом в кустах около развилки и втроем задерживали вражескую мотопехоту, не пропуская ее к крепости. Вы только подумайте: втроем на открытом почти месте они сдерживали под огнем лавины врагов! Подзамчане, жившие поблизости, рассказывают, что фашисты свели на эту огневую точку огонь двух батарей, накрыли ее огнем полковых минометов, и лишь после этого им удалось подавить ее...

Мы шли по заросшей жимолостью и сурепкой крепостной стене к тому самому месту, где пробирался сюда, к осажденному гарнизону, Юзик Куница.

Оглушая нас дробным треском мотора, вынырнул из-за Должецкого леса и медленно поплыл над нашими головами желтоватый «кукурузник». «Не профессор ли это летит из Львова по вызову Елены Лукьяновны?» — подумал я.

— А вы знаете, друзья, кто одним из первых описал наш город? — сказал Лазарев.

— Кто? — спросил Маремуха.

— Поэт Батюшков! Он ведь служил здесь!

— Настанет еще время, — мечтательно сказал Петро, — когда вы, Валериан Дмитриевич, отведете в своем музее почетный уголок еще одному нашему школьному товарищу.

— Кому именно? — оживился директор заповедника.

— Александру Бобырю!

— Я такого не помню.

— Где вам упомнить Сашу Бобыря, если и нас вы признали с трудом! — заметил Маремуха. — Александр Бобырь учился в нашей школе, потом перешел в фабзавуч. Затем попал к Азовскому морю. Стал увлекаться авиацией. Собирали они, собирали один неисправный учебный самолет вместе с приезжим летчиком, раздобыли к нему недостающие детали, а потом как взмыли над морем! Мы и смекнуть не успели, что и как, а уж Саша нам с неба рукой машет...

— Но этого еще мало для того, чтобы увековечить память вашего друга в музее, — осторожно сказал Лазарев. — Сейчас летают сотни и тысячи юношей.

— А мы и не думаем, что за один только этот

первый рискованный полет нужно увековечить память Бобыря, — ответил Петро. — Саша отличился другим. В тысяча девятьсот тридцать шестом он добровольно поехал помогать республиканской Испании. Он летал там на «курносых», сбил два самолета «савойя» и, кажется, три «юнкерса» и погиб в воздушном бою под Теруэлем. В газете «Мундо обреро» о нем некролог был. Уже после я познакомился с одним испанским летчиком. Фернандес некто. Его обучал полетам Саша Бобырь. Фернандес мне и фотографию его показывал. Стоит наш Сашенька в обнимку со смуглым испанцем на полевом аэродроме. Оба в комбинезонах. Смеются. А вдали — горы. Как я жалею, что не выпросил тогда у Фернандеса этот снимок! Сейчас бы передал его вам.

— Не журись, Петро, — сказал я, — каких только встреч не бывает в наше время! А вдруг твой Фернандес командует партизанским отрядом где-нибудь под самым носом у Франко? И карточка та все еще при нем? И может быть, настанет час, когда Фернандес и его партизаны свободно, не боясь испанских жандармов, покажут нам могилу Бобыря?

— А уж если доведется вам побывать там, — сказал Лазарев, замедляя шаг, — то я вас очень попрошу — возьмите земли немножко с той могилы! Я выставлю ее в музее и напишу: «Земля Испании, за свободу которой пролил свою кровь юноша из Подолии Александр Бобырь!»

— Валериан Дмитриевич, — сказал, помолчав, Маремуха, — свяжитесь с историками Львова. Пусть напишут нам, как вели себя защитники Старой крепости, освобождая от фашистов и Львов. Туда же первыми ворвались как раз танкисты-уральцы. Танкист с Урала Александр Марченко поднял над ратушей Львова Красное знамя. Все эти факты представляют несомненный интерес и для вашего музея. Сделайте особую витрину: боевой путь на запад танкистов, которые освобождали Подольскую землю!

— Хорошая мысль! — согласился Лазарев. — Но, собственно, защитников Старой крепости осталось мало.

Большинство бойцов, которыми командовал старший лейтенант Стецюк, погибли. Те же из них, что уцелели — до момента, когда соединились Первый и Второй

Украинские фронты, — так измотались, что на некоторое время их оставили во втором эшелоне. Стецюк, как узнал, что главные силы Советской Армии подошли к Подолии и фашисты заорали свое «капут», сказал товарищам: «Ну, пока все. Свою задачу мы выполнили». Повалился тут же, под башней Кармелюка, на мокрую землю и проспал без перерыва пятнадцать часов! Будили его, будили — ничего не вышло. Приехал командир бригады, глянул на спящего, махнул рукою и сказал: «Не троньте его. Пусть спит. И орлу нужен отдых».

— А что же с Димой, Валериан Дмитриевич? — спросил я.

— Плохо с Димой! — ответил Лазарев. — Уже в последний день обороны снаряд из «тигра» разбил Архиепископскую. Вместе с обломками башни тяжело контуженный Дима упал во двор. До сих пор он не может сказать ни слова...

— Позвольте! Так это к нему профессора из Львова вызвали? — воскликнул я. — Как же я раньше не догадался!

— Уже вызвали? Очень хорошо! — обрадовался Лазарев.

— Возможно, это он и пролетел сейчас на «кукурузнике», — сказал я.

— Сходим давай к Диме, а, Василь? — загорелся Маремуха.

— Сходим! — согласился я. — Раз ты сегодня остаешься в городе, у нас времени хватит. К тому же я знаю Елену Лукьяновну. Она его лечит и, думаю, пропустит нас.

Вездеход подполковника Маремухи примчал нас на базарчик. Мы купили Диме гостинцев: домашней, пахнущей чесноком и дымом свиной колбасы, яиц, краюху свежего пеклеванного хлеба с тмином, несколько колючих молоденьких огурчиков, масла, завернутого в мокрый тыквенный лист, и букет пахучего, в капельках утренней росы жасмина.

Увидела нас со всем этим Елена Лукьяновна и замялась.

— Как быть с вами, право, не знаю! — развела она руками. — Полчаса назад Диму начал осматривать профессор. Сейчас он отлучился на телефонную стан-

цию. Хочет вызвать Ленинград. Я могу пропустить вас к больному, но на одну минутку.

Мы ожидали найти на койке лихого забияку, не знающего в жизни слова «нет». Ведь таким представлялся нам по рассказу Лазарева Дима — хлопчик из далекой Сибири. А перед нами, чуть приподнявшись на подушках, лежал удивительно тихий, застенчиво улыбающийся, чуть-чуть скуластый паренек.

Комендант одной из сторожевых башен крепости и кавалер ордена Славы посмотрел на нас, облаченных в чистые накрахмаленные халаты, с удивлением и надеждой. Быть может, ему показалось, что это новые профессора успели так быстро примчаться сюда из Ленинграда на каком-нибудь особом, сверхскоростном самолете?

Чтобы рассеять недоумение мальчика, Петро принялся солидным баском выкладывать ему, кто мы такие и почему решили его навестить.

Скуластое лицо Димы все расплылось в улыбке, стоило ему только услыхать, что Петро — подполковник того же самого корпуса, с танками которого и он, Дима, дошел до Подольской земли. Он порывисто приподнялся на худеньких локотках и, усевшись, протянул сперва Маремухе, а потом уже мне неестественно бледную мальчишескую руку с синими жилками. Давая понять, что говорить не может, Дима помахал ладошкой перед ртом.

— Все уладится, Дима, не горюй! — утешал я сибирского мальчика. — Люди годами слепыми были, и то им сейчас наука зрение возвращает, а твою болезнь вылечат и подавно.

— Ну как, будешь в следующий раз чучело из музея за живую козу принимать? — спросил Маремуха, улыбаясь и, видимо, желая развеселить хлопчика.

Тот, напрягая память, наморщил гладкий лоб. Упрямая складка появилась у него над переносицей. И вдруг Дима, вспомнив случившуюся с ним смешную историю, рассмеялся.

В больничном коридоре послышались гулкие шаги. Походкой решительного человека, привыкшего чувствовать себя как дома в любой больничной обстановке, в палату быстро вошел высокий врач в белом халате. Воротник плотно облегал его крепкую, жилистую

шею. Это и был профессор из Львова. Мы отошли со своими стульями подальше от койки.

Профессор искоса глянул на нас и принялся рассматривать рентгеновский снимок. Пришедшая с ним Елена Лукьяновна застыла у изголовья мальчика в почтительном ожидании, держа наготове ватку и какие-то пробирки.

— Перейдем к исследованию чувствительности, — сказал профессор, и что-то знакомое послышалось в глуховатом его голосе. «Где я видел этого человека раньше?» — ломал я себе голову.

Профессор, не обращая больше внимания на нас с Маремухой, долго и внимательно исследовал больного.

Елена Лукьяновна прикрыла обе половинки окна, выходящего на Больничную площадь. Прозрачное стекло отдалило стук двигателя на ожившем после войны заводе «Мотор». Когда знакомый с детства стук четырехтактного двигателя умолк, мне вспомнилось вдруг, как некогда и я лежал в этой больнице, раненный бандитами, шедшими из-за Днестра на советскую сторону по приказу румынской сигуранцы.

Много дней я слушал в одиночестве этот же стук двигателя, отдыхая после перевязок.

Каким пустяковым казалось мне сейчас то ранение по сравнению с тем, что испытал этот хлопчик! Сколько надо было мужества, чтобы почти неделю лежать одному с трофейным пулеметом у амбразуры Архиепископской башни, следя за дорогой и стреляя до того мгновения, пока, ослепленный быстрой вспышкой тяжелого снаряда, он не был сброшен в грохоте и пыли к подножью разрушенной башни!

— Ну, милый, — сказал профессор, закончив осмотр, — будем оперироваться. На мозг давят мелкие осколки снаряда и обломочки кости. Они-то и лишили тебя речи. Я вызвал лучшего хирурга из Ленинграда. Сегодня первым самолетом он вылетает во Львов. Сейчас и тебя заберу туда, в свою клинику. Осколки вынем — песни запоешь! Согласен?

Мы не видели лица Димы. Но, по-видимому, заслоненный от нас фигурой профессора, он кивнул ему «да», потому что профессор сказал с облегчением:

— Вот и прекрасно! Я знал, что ты молодчага.

Когда мы зашли к Елене Лукьяновне в ординаторскую, там по навощенному паркету расхаживал профессор. Он уже снял халат, и я увидел на сером его костюме планки с ленточками боевых орденов.

Обрывая начатый до нас разговор, профессор резко махнул рукой, и этот его жест как бы осветил в памяти мои первые встречи с ним.

— Прошу познакомиться, профессор, — сказала Елена Лукьяновна. — Вот этот товарищ — инженер из Ленинграда... — Она показала рукой на меня.

— Да мы уже, по-моему, знакомы, — сказал я, улыбаясь. — Однажды портфель профессора принес мне большое счастье...

— Мы знакомы? — озадаченно переспросил профессор. — Позвольте... Какой вы портфель имеете в виду?

— Однажды, двадцать лет назад, в этом же самом городе фабзавучники выбрали своего делегата в Харьков. Он должен был поехать туда и спасти от закрытия здешний фабзавуч, который порывался ликвидировать украинский националист Зенон Печерица. Но вот беда: у делегата не было портфеля, куда сложить все бумаги. Тогда обратились с просьбой к заведующему оргинструкторским отделом окружкома комсомола Панченко, и он отдал фабзавучнику, едущему в столицу, свой портфель... Вы ведь Панченко?

— Панченко, — сказал профессор. — А вы... Постойте... Ты — Василий Манджура!

И хотя один мой друг советовал, чтобы быть здоровым, во всех случаях жизни подальше убегать от докторов, я с величайшей радостью бросился на широкую, слегка пахнущую лекарствами грудь профессора...

Давно уже «кукурузник» протрещал в небе и сразу же за Карвасарами повернул на Львов, увозя туда профессора и его нового пациента, а я все еще не мог опомниться от неожиданной встречи.

За то короткое время, что провели мы вместе в ординаторской, профессор успел рассказать мне свою судьбу. В конце двадцатых годов он оставил пост секретаря губкома комсомола одного из приволжских городов страны и с путевкой ЦК ВЛКСМ поехал учиться в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Ему

еще посчастливилось видеть живого академика Павлова. От него лично после одной из лекций он услышал знаменитые слова, записанные впоследствии великим физиологом в своем завещании — письме к молодежи: «Последовательность, последовательность и еще раз последовательность!»

...И еще вспоминался мне, когда мы шагали с Маремухой по Заречью, давний разговор с инженером Андрыхевичем.

Из далекой юности в этот солнечный послевоенный день, наполненный столькими встречами, выплыло злое, раздраженное лицо старого специалиста, связанного с Промпартией, думавшего переждать революцию, перехитрить Советскую власть. И снова, будто сегодня, услышал я его ехидный вопрос: «Откуда вы возьмете образованных людей? Сами научитесь? «Раз-два — взяли! Эх, зеленая, сама пойдет!» Да?.. Очень сомневаюсь!..»

Мы отправились с Петром к старой усадьбе, в которой он провел свое детство. Но и здесь нашли только развалины. Куча красноватого мусора возвышалась на месте домика, где жили до войны отец и мать Петруся. Густая лебеда да чертополох стерегли развалины. По-видимому, хатка эта была снесена артиллерийским огнем еще в первый год войны, когда гитлеровская армия, захватив Тернополь, двигалась через наш город к Проскурову.

Не было знакомых нам высоких ворот и подле домика Юзика Стародомского. Сколько раз вот где-то тут, под не существующими теперь воротами, мы выкрикивали на весь Крутой переулок: «Юзик! Юзю! Куница!»

Наконец он появлялся, важный и быстрый, наш друг, наш атаман, прихлопывая в такт движению длинным батогом, и мы отправлялись с ним в очередной набег на подзамческие сады либо на купанье к Райской брамке.

Не откликнется он больше никогда, дорогой наш Юзик...

Там, где стояла их хата, из глинистой котловины выглядывал серый, совсем недавно выстроенный здесь

вражеский дот. Железные усы арматуры торчали из серого бетона. Широкая, как окошечко мясного рундука, амбразура дота смотрела на восток. По-видимому, это было одно из укреплений, созданных противником на Волыно-Подольском плато.

Не помог фашистам ни этот дот, ни сотни других подобных укреплений!

Маремуха взобрался на макушку укрепления, глянул в его вентиляционную трубу, что торчала кверху, как пароходный гудок, плюнул в нее и, стуча каблуком в бетон, промолвил:

— Советские орудия и не такие штуки выковыривали с корнем. Видал, как пни корчуют в лесу? Вот так приблизительно и с дотами было!

Не сговариваясь, мы снова побрели до Старой крепости через предместье Татариски. Его охраняла приютившаяся на берегу Смотрича высокая сторожевая башня.

Окрашенная багровым отсветом заката, Старая крепость на вечернем небосклоне вырисовывалась особенно величественно.

Посредине моста мы остановились. Опершись руками о дубовые перила, Маремуха глядел на Заречье. Серый дот казался отсюда, с вышины, совсем маленьким, похожим на башню зарытого в землю танка.

— Послушай, Вася, — вдруг сказал Петро, — а помнишь, у нас соседка была, дочь главного инженера завода? Ты еще увлекался ею как будто... Она ведь в Ленинград уехала, верно? Ты не встречал ее?

— Как же не встречал, Петрусь! — ответил я. — Могу признаться тебе откровенно. Еще в ту пору, когда порвала она со своими родными и против их воли уехала в Ленинград, я помогал Анжелике. Ушел в армию — мы переписывались. В письмах она просила меня после армии приехать в Ленинград. Так я и сделал: отслужив, взял курс к берегам Невы. Поступил на завод, обосновался. Встретились мы друзьями; как сейчас помню, сходили с нею в Филармонию, слушали Шестую симфонию Чайковского. Анжелика в то время уже консерваторию кончила. Перед самой войной она вышла замуж.

— Отец ее жив? — спросил Маремуха.

— Ты же знаешь, от нас его перевели в Ростов,

на Сельмаш. Она рассказала, что его арестовали в Ростове за связи с Промпартией, но вскоре он был освобожден, трудом загладил свою вину перед Родиной. Война началась — он эвакуировался со своим заводом из Ростова на Урал. Всю войну в минометном цехе инженером работал. Глубокий теперь старик уже.

— Может быть, он под команду Полевого попал? — сказал Петро. — Ты же знаешь, что Нестор Варнаевич после окончания Промышленной академии на Урал уехал, теперь он директор крупнейшего комбината.

— Мне попадалась его фамилия не раз в газетах. Я даже написать ему собирался, но точного адреса не смог узнать.

— А Лика голодовку пережила, не знаешь? — спросил Маремуха.

— Как же! Знаешь, где я встретил ее той блокадной зимой? Страшно вспомнить! В больнице имени Видемана, на Васильевском острове! Я лечился там от истощения. Однажды в коридоре вдруг слышу — тихо кто-то говорит: «Вася!» Оглянулся — рядом Анжелика! Отощала. Круги черные-черные под глазами. Руки худенькие-худенькие, прозрачные... «Лика, милая, вы не уехали?» — закричал я. А она мне, понимаешь, отвечает, тихо так: «Куда же мне уезжать из своего родного города? Чем я хуже мужа? А он рядом, на Пулковских высотах». И рассказала потихоньку, как отказалась эвакуироваться с Филармонией... Помнится, разглядела она меня и прошептала: «Боже, Василь, как вы изменились! Дорогой, вам тоже очень трудно?» Совестно было мне, мужчине, ответить ей «да». Отшутился: «Сейчас вы не скажете, что у меня взгляд, как у лейтенанта Глана?» — «При чем здесь лейтенант Глан?» — удивилась она. «Ну как же, — говорю, — а помните, однажды на Азовском море вы меня сравнивали с каким-то Гланом? А я еще по малой литературной грамотности спросил тогда: не белогвардеец ли случайно этот лейтенант Глан? Как видите, я лишь чуточку ошибся. За это время если не сам Глан, но, во всяком случае, автор, который его выдумал, сделался пособником фашистов...» Поговорили мы с нею вдоволь. Вот там, Петька, понял я, что переродилась Анжелика за эти годы совершенно, новым человеком ста-

ла. А помнишь, было дело — мы ее пустоцветом считали?

— Да, время и среда меняют людей, — сказал Маремуха и, перегнувшись через перила, поглядел вниз.

Там шумел подведенный к турбинам электростанции крепостной водопад. Тише и спокойнее он стал, отдавая бóльшую часть своего стремительного бега машинам, которые были спрятаны от людских глаз в белом здании станции.

Смотрел я вниз и вспоминал детские годы, проведенные в родном городе. Сколько раз после половодья бродили мы по илистым берегам реки, мечтая найти если не корону какого-нибудь турецкого визиря, то хоть пару золотых цехинов!

Не нашли мы золота, да зато нашли большое счастье — имеем такую страну, такую Родину, которой завидуют все честные труженики мира.

— Да, время и среда меняют людей. Золотые твои слова, Петро! — повторил я после небольшого раздумья. — И я искренне радуюсь тому, что не только мы, воспитанные комсомолом и партией, но даже и люди, подобные Анжелике, которые в двадцатые годы еще колебались в выборе пути, прошли за это время отличную школу.

— А муж Анжелики жив? — спросил Петро.

— Убили под Гатчиной, когда блокаду Ленинграда рвали. Он как ушел в народное ополчение осенью, так с фронта и не возвратился. Погиб майором. Быть может, — но это пока по секрету — поженимся мы с нею, Петя... Кстати, ты иногда можешь послушать ее фортепианные концерты по радио из Ленинграда. Понравится — напиши ей отзыв. Напиши: «Я тот самый ваш сосед Петрусь, с которым Василь познакомил вас на берегу Азовского моря». Как она будет рада твоему письму! Она часто вспоминает ту встречу. Это же наша юность, Петро, славная, дорогая, светлая юность!..

...Западный ветер принес из днестровских урочищ громадную черно-серую и густую тучу. Медленно ползла она к зениту, подобно дыму далекого пожара, и гребень ее, озаренный отсветом заката, был багровым и тревожным.

— Как она появилась на небе? — удивился я. — Ведь так солнечно было с утра! Даже поразительно!

Знаешь, что мне напоминает эта туча? Дым от пожара Бадаевских складов в Ленинграде. То был первый массированный и, пожалуй, самый ощутимый для осажденного города воздушный налет. И валил из тех складов такой густой-прегустой дымище и так медленно полз он вверх, занимая добрую половину неба, что мы думали сперва — туча... А может, пойдем домой, Петро? Будет гроза.

— Не спеши, — сказал Петро, улыбаясь и поглядывая на запад. — Чего ж бояться — дождя? Не такие грозы переживали. Не страшно теперь. Ведь мы — взрослые...

Март 1935 г., Ленинград —
январь 1959 г., Львов

ДРУЗЬЯМ-ЧИТАТЕЛЯМ

Книга закончена. Поставлена последняя точка и дата написания книги под эпилогом. Казалось, есть ли надобность в дополнительном разговоре, когда многое уже и без того должно быть ясным?

Однако всякая новая встреча с читателями трилогии «Старая крепость», как правило, вызывает много вопросов, адресованных автору. Появление их вполне естественно. У книги вырастает новый читатель, по своему возрасту не знающий первых лет истории Ленинского комсомола и становления Советской власти в нашей стране. О многом, описанном и в этой трилогии, у него чисто умозрительное, книжное представление. Многое кажется ему странным, непонятным. Вот, собственно, почему мне и хочется поговорить с читателем сегодняшнего дня. С теми, кто возводит новые города Сибири, кто осваивает целину, кто никогда не слышал скороговорки «максима», воя фашистских бомб и кто не знает мелодии задорной песни первых комсомольских лет — «Карманьолы», перешедшей к нам на вооружение от свободолюбивого люда революционной Франции...

Незадолго перед гитлеровским нападением на Советский Союз, живя в Ленинграде, я получил письмо от директора краеведческого музея родной Подолии, глубоко взволновавшее меня. Влюбленный в свой край ученый писал о том, что его заинтересовали первые части трилогии, и хотя я нигде не называю полным именем город, в котором живут мои герои, «достаточно посмотреть на заглавный рисунок повести «Дом с привидениями», чтобы узнать Турецкий мост и каменец-подольскую Старую крепость, ныне заповедник. Чисто местные признаки, начиная с фамилии женщины-контролера в кино и кончая названиями «Почтовка», «Старый Город», «башня Стефана Батория» и т. д., говорят о том, что вы описываете Каменец-Подольск. Достаточно проследить путь вашего героя в Харьков, чтобы опять-таки убедиться в этом... Разрешите только задать вам один вопрос: где кончается историческая прав-

да и где начинается поэтический вымысел? Перефразируя старого Гёте: где кончается «Wahrheit» и начинается «Dichtung»?..»

Это большое и подробное письмо разбередило воспоминания детских и юношеских лет. Я ответил краеведу очень подробно на все его вопросы и твердо решил в конце июня выехать в родной город, встретиться с его молодежью, тем более что письмо директора музея заканчивалось приглашением сделать это обязательно.

К большому сожалению, в то самое июньское утро, когда я складывал в чемодан экземпляры первых повестей трилогии, чтобы отвезти их в подарок своим землякам, радио сообщило о гитлеровском вторжении. Жестокое слово «война» перечеркнуло личные планы миллионов людей. И когда мы, бойцы истребительного батальона Дзержинского района Ленинграда, через несколько дней учились на Марсовом поле и отрывали окопы полного профиля в Михайловском саду, гитлеровские танки уже врывались на древний Крепостной мост Каменец-Подольска и обстреливали прямой наводкой из орудий его кварталы над скалистыми обрывами мелководной речки Смотрич.

Переживаемые глубоко каждым из нас события тех напряженных военных лет заставили и меня на время расстаться с героями задуманной трилогии. Но даже в страшную, голодную блокадную зиму Ленинграда нет-нет да и возвращался мыслями к трилогии, хотя писать в то время приходилось другое: короткие газетные статьи, очерки, выступления по радио. Когда же ближе к весне 1942 года меня вместе с другими истощенными ленинградцами вывозили через ледовую магистраль по Ладожскому озеру на Большую землю, в вещевой мешок я положил наброски продолжения книги и письмо краеведа из родного города.

Думалось: я еще встречусь с ним и многими моими земляками после победы на валах Старой крепости, отвечу на их вопросы, пройдусь по знакомым с детства кривым и обрывистым улочкам Каменец-Подольска.

Когда же, наконец, состоялась эта встреча, я узнал, что автор письма — краевед — был уничтожен гитлеровскими оккупантами в одном из оврагов земли, которую он так любил и знал. Но письмо его лежит сегодня передо мною. Я отвечаю на его вопросы и на многое, что интересует других читателей.

Прежде всего, почему в книге точно не названы ни Каменец-Подольск, ни «город у моря» — маленький и веселый приазовский городок Бердянск, где начинал я трудовую жизнь, работая литейщиком в чугунолитейном цехе Первомайского машиностроительного завода?

Я не обозначил эти города сознательно, чтобы иметь большую свободу действий и в построении сюжета, и дополняя и частично изменяя биографии людей, послуживших прообразами героев книги. Кое-где я намеренно изменял названия улиц и фамилии действующих лиц, прибавлял к их доподлинным поступкам новые, придуманные мною. Но, делая это, я все время старался быть как можно ближе к исторической правде тех незабываемых романтических лет, свет которых должен и сегодня озарять жизнь каждого молодого советского человека, делать ее целеустремленной, воспитывать в нем преданность нашей партии и делу построения коммунизма, которому мы все служим.

Мог бы я написать эту книгу, если бы самому не довелось увидеть и пережить все то, что пережили мои герои?

Думается, нет! Даже дополняя повествование всем тем, что переживали и видели другие, я старался все время контролировать себя и спрашивать: могло ли так быть на самом деле? Если ответ на этот вопрос был положительный, только тогда я шел на домысел, на то, что написавший мне письмо краевед назвал точным немецким словом — «дихтунг».

Сейчас, после того как книга выдержала много изданий, переведена на иностранные языки, неоднократно «достраивалась», мне самому уже бывает подчас очень трудно провести разграничительные линии между вымыслом и действительностью. Чтобы читатель, заинтересованный в истории создания трилогии «Старая крепость», узнал, как она появилась на свет, я хочу подробно рассказать ему не только об этом, но и о своей жизни, ибо в ней также отражена эпоха, воспитавшая людей моего поколения.

Мои детство и юность прошли на Украине, в живописном и старинном городке Каменец-Подольске. Я родился в этом городе в семье мелкого служащего 21 марта 1909 года по старому стилю. Первые пять лет жизни были ничем не примечательны, но зато с первых же дней мировой войны 1914—1918 годов детское сознание запечатлело множество событий, из которых большинство сохранилось в памяти и поныне.

Помню, как наша семья эвакуировалась от наступавших австро-венгерских войск сперва в Херсон, а затем в город Лубны — уездный центр тогдашней Полтавской губернии.

Прожили мы в Лубнах недолго — все труднее было доставать пропитание — и переселились в гостиницу соседнего с городом Афанасиевского монастыря. Таким образом, еще ребенком в непосредственной близости я имел возможность наблюдать уродливую изнанку монастырской жизни и религии вообще.

Помню немецкое вторжение на Украину и последующее бегство оккупантов и их наемников — гетманцев.

Вскоре мы вернулись в Каменец-Подольск.

Город стоял на отшибе огромной страны, захлестнутой половодьем революции. Вслед за немецкими ландштурмистами на земли Подолии и всей Украины ринулись наемники Антанты — петлюровские банды. Они убивали коммунистов и советских работников, председателей комитетов незаможных селян и организаторов первых комсомольских ячеек. Город неоднократно переходил из рук в руки.

В те годы мы учились в первой украинской гимназии имени Степана Руданского, где свили себе гнездо украинские националисты. Преданные атаману Петлюре педагоги искали себе сообщников среди господских сынков, учившихся в гимназии. Из гимназистов старших классов Петлюра надеялся получить пополнение для своих офицерских школ. Но даже и в стенах этой гимназии шло сперва глухое, а затем все более ощутимое классовое расслоение. Те ученики, кому не удалось привить националистическую заразу, радостно встречали красные войска.

Советская власть, утвердившаяся после разгрома петлюровской директории, принесла и реформу образования. Гимназия стала называться первой трудшколой, были созданы ученические комитеты, отменено преподавание закона божьего. Однако часть учителей саботировала эти меры.

Вот тогда-то, в начале 1923 года, возмущенный старыми порядками в новой трудовой школе, я написал свою первую заметку «Пансион для благородных учителей». Я отправил эту заметку в губернскую «Рабоче-крестьянскую газету» и, откровенно говоря, не думал, что она дойдет до редактора.

Прошла неделя, и вдруг я обнаружил на четвертой полосе нового номера газеты свою заметку. Редакция ее немного подчистила и, видимо, для того, чтобы уберечь меня от преследований, поместила заметку без подписи.

Первая разоблачительная корреспонденция о старорежимных порядках в нашей школе произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Достаточно сказать, что учительница французского языка, по-видимому опасаясь дальнейших разоблачений, через несколько дней бежала к своему мужу-белогвардейцу в Париж.

А я стал писать.

Еще учась в трудшколе, во время летних каникул я работал в совхозе над Днестром вместе с курсантами совпартшколы. Эти первые трудовые дни я и описал в книге «Дом с привидениями».

Весной 1924 года поступил в школу фабрично-заводского уче-

ничества имени Балабанова. Стал учиться литейному делу. Вступил в комсомол.

Через два года я окончил фабзавуч, получил профессию литейщика пятого разряда и уехал работать в город Бердянск на Азовском море, на Первомайский машиностроительный завод.

Обстановка тех комсомольских лет, быта и работы молодежи в фабзавуче, треволнения, связанные с первыми днями самостоятельной работы на большом заводе, вдали от родного города, — все это образует исторический фон третьей книги задуманной мною трилогии, повести «Город у моря».

С большой благодарностью вспоминаю командиров части Красной Армии, где я служил как курсант-одногодичник.

Служба в армии подходила к концу, и я стал задумываться: какой же путь избрать дальше?

По путевке командования части после демобилизации поехал в Ленинград для работы на одном из его оборонных заводов.

Я получил новую профессию слесаря-сборщика, а затем стал работать на станке «Бутлер». Вместе с коллективом мастерской участвовал в создании новых опытных типов боевых танков для Красной Армии и там же, на заводе, в 1931 году был принят в члены ВКП(б).

Одновременно с этим я продолжал писать. Мой рассказ «Ровесники» получил 2-ю премию на Всесоюзном конкурсе рабочих авторов. Я показал его известному советскому поэту и удивительно доброжелательному редактору Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Маршак прочел рассказ, начал было его править, а потом сказал:

— А знаете что, продолжайте-ка судьбу этих ребят. Может получиться детская повесть...

И я стал писать первую повесть — «Старая крепость». В основу ее легли воспоминания детских и юношеских лет, проведенных мною в Каменец-Подольске.

Писал я эту книгу в Ленинграде.

Но все время перед глазами стоял город моего детства, город, волею исторических судеб очутившийся на одном из важных перекрестков гражданской войны на Украине.

Среди писателей Москвы, тепло встретивших «Старую крепость», был Евгений Петров. Он-то и надоумил меня продолжить дальше литературную судьбу героев «Старой крепости».

Вскоре я закончил вторую повесть — «Дом с привидениями». В ней описан тот же город, его совпартшкола, поездка героя

в совхоз над Днестром, его первый подвиг и поступление с друзьями в фабзавуч.

Книга «Дом с привидениями» вышла из печати в январе 1941 года, весною журнал «Литературный современник» опубликовал первые главы заключительной книги трилогии, а в конце июня началась Отечественная война.

Трудно оставаться спокойным, когда пишешь о городе своего детства. Еще сложнее сохранять хладнокровие, когда город в самом деле прекрасен, а его прошлое переплетается с удивительными, романтическими легендами.

В 1620 году орды янычаров, пришедшие на Украину с берегов Босфора, окружили каменец-подольский замок. Осажденный гарнизон приготовился к неравному бою. Вот-вот должен был прогреметь первый выстрел, начинающий кровопролитную битву. К стенам крепости, стоящей на обрывистом, скалистом мысу, подъехал на кауром коне турецкий султан Осман II. Поглядывая на амбразуры сторожевых башен, он спросил хмуро:

— Кто построил этот замок?

— Сам бог построил его, выбрав такое место! — почтительно ответил кто-то из свиты.

— Так пусть же сам бог и добывает его! — сказал султан, осаживая коня, и трубы по его сигналу сыграли приказ отступления...

Когда я начинал писать «Старую крепость», бытовало предание, что Каменец-Подольск основан в XVI веке литовскими князьями Кориатовичами. Эта версия основания города князьями-католиками была выгодна тем, кто хотел бы зачеркнуть былые связи города с Киевской Русью и с Галицко-Волынским княжеством.

Сравнительно недавно армянские ученые обнаружили старинную грамоту. В ней упоминается, что уже в 1062 году существовал Каменец-Подольск. Один из киевских князей пригласил в 1062 году армян на Русь для борьбы с половцами. Домой армянские воины не вернулись и, как утверждает грамота, навсегда поселились в Киеве, а также на богатой Подольской земле. Очень полезно вспомнить при этом, что места армянских поселений сохранились и западнее: во Львове, в Кутах, в Снятыне, а в самом Каменец-Подольске и поныне есть Армянская улица и остатки древнего армянского храма.

Многое повидал Каменец-Подольск, в течение девяти веков отбивая каменной грудью наскоки врагов. Какие только завоеватели не пытались овладеть его неприступными укреплениями! Про-

стреленная пулями многих войн, высится и поныне на верхушке древнего турецкого минарета трехсотпудовая бронзовая статуя мадонны, отлитая в Данциге. Мадонна попирает полумесяц, символизируя победу католицизма над исламом. Эту статую поставили польские магнаты после Карловицкого договора 1699 года, когда турки навсегда покинули город, а в апреле 1793 года польский комендант Злотницкий передал ключи от города царскому генералу Дерфельдену, и Каменец-Подольск стал городом Российской империи.

Но не этими датами гордятся старики и молодежь. Прежде всего они расскажут, что Советская власть была провозглашена здесь на второй день после свершения Великой Октябрьской революции в Петрограде.

Ленинская газета «Искра» большими партиями проникала в Россию и через Каменец-Подольск. «Оставшись после раскола на стороне большевиков, я поехала в Женеву к тт. В. Ленину и Н. Крупской, по поручению которых организовала в Каменец-Подольске переправочный пункт», — вспоминала известная революционерка Дора Двойрес. Старожилы помнят, как в 1902 году здесь был арестован видный агент «Искры» М. Кудрин. При обыске у него нашли около пяти пудов революционной литературы, главным образом ленинской «Искры». Ему помогал хранить и распространять эту литературу каменчанин Николай Козицкий, впоследствии председатель Подольского губисполкома, зверски убитый петлюровцами в 1920 году.

Вместе с гетманцами и другими предателями наемники Антанты — петлюровцы — пытались задушить Советскую власть. Было время, они даже сделали старинный город центром своей директории, и народ ответил на эту националистическую буффонаду злой песенкой:

— «Высокая» директория,
Где же твоя территория?
— В вагоне директория,
Под вагоном территория...

После изгнания петлюровцев и пилсудчиков в старинном городе появились новые люди. В совпартшколу съехались демобилизованные конники из полков червонного казачества, из эскадронов Котовского, воины 24-й железной Самарской стрелковой дивизии, освобождавшей Подолию. За парты сели необычные ученики — в кожанках, в широченных галифе с малиновыми леями, в гимнастерках с «разговорами» на груди. Они изучали политэкономию и природоведение. Они готовились разъехаться по селам и, подавляя

бандитизм, стать первыми председателями сельсоветов, комнезамов, секретарями партийных и комсомольских ячеек. А из сел в город повалила бедняцкая молодежь. Вчерашние батраки с торбами за плечами, зачастую босиком, штурмовали двери приемных комиссий рабфаков, открытых Советской властью. Они спорили до хрипоты о том, что появилось раньше — мысль или слово, и, чтобы не умереть с голоду, чтобы заработать «копийчину» на буханку хлеба, разгружали в свободное время по путевкам Пролетстуда вагоны на станции.

Из молодежи, заполнившей в двадцатые годы город, вышли инженеры и агрономы, писатели и композиторы, профессора медицины и строители больших заводов.

В те двадцатые годы все существование города зависело от близости границы и от колебаний международной обстановки.

Для того чтобы молодой читатель, в руки которого попадет в наши дни эта книга, отчетливо представил себе обстановку международного окружения и места действия, где жили герои «Старой крепости», ему надо представить то тревожное время. От Каменец-Подольска с его крепостью, стоящей на скалах, до капиталистического мира было всего каких-нибудь шестнадцать верст. Мы зачастую пешком ходили к границе с Румынией и Польшей. Мы своими собственными глазами видели тамошних буржуев, разъезжавших в фаэтонах по берегам Днестра и Збруча, наблюдали, как они презрительно рассматривают в бинокли нас, босоногих комсомолят, задумавших под руководством своих отцов перестроить мир.

Видели мы и другое — перебежчиков с той стороны, бывших узников польских и румынских тюрем. Они рассказывали нам о чудовищном бесправии, царящем по ту сторону пограничной черты. Их рассказы наполняли наши сердца юношеским гневом. Когда поблизости польской станции Столпцы полицейский Юзеф Мурашко застрелил двух польских офицеров-коммунистов Багинского и Вечоркевича, ехавших в порядке обмена в Советский Союз, выстрелы эти отозвались и в наших сердцах. Вскоре после этого молодой рабочий Нафтали Ботвин, выполняя поручение Коммунистической партии, убил во Львове провокатора Цеховского. Это событие взволновало всю нашу комсомольскую организацию. Когда после суда Ботвин был расстрелян во дворе львовской тюрьмы «Бригидки», мы пошли со знаменами к границе протестовать по поводу этого нового злодеяния польской буржуазии.

Так было! Граница жила тогда тревожной жизнью. Люди, которые ее охраняли с нашей стороны, были нашими героями.

Даже такой враг Советской страны, как Уинстон Черчилль, уже после разгрома гитлеровской Германии в своих мемуарах признался:

«Все те годы Польша была авангардом антибольшевизма. Левой рукой она поддерживала антисоветские прибалтийские государства. Однако правой рукой она помогла ограбить Чехословакию в Мюнхене».

Таким было в те годы сопредельное с нами Польское государство, и ощущение именно такого соседства во имя исторической правды я не мог не отразить на страницах этой трилогии, несмотря на то, что уже сегодня наши отношения с освобожденным польским народом и социалистическим польским государством сложились прекрасно.

По другую сторону нашей границы, на польской земле, выпускались в те годы книжки, в которых прославлялись «подвиги» забрасываемых на советскую сторону диверсантов вроде описанного здесь сына садовника Збигнева Корыбко. В предисловии к одной из таких книг бывшего шпиона Сергиуша Пясецкого «Любовник Большой Медведицы» литератор, с которым мне довелось позже познакомиться, писал не менее откровенно, чем Черчилль:

«Наша граница с Советами, несмотря на то, что ее ограждает колючая проволока, дрожит непокоем. Так, словно мы бы находились у подножья вулкана. Цветы растут под ним, и козы пасутся. Но застывшие груды лавы напоминают о том, что было. И слышится под землей неуловимое дрожание».

Это же дрожание слышали постоянно и мы, комсомолия тревожного пограничья, готовая в любую минуту по сигналу из штаба частей особого назначения схватить винтовку и занять место в боевом строю. Образ воина в зеленой фуражке — советского пограничника — вошел в наше сознание как символ мужества и доблести, как образ самых отважных, отборных людей страны, по которым мы все равнялись. Вот почему в книге этой немало места уделено и боевой работе пограничников тех незабываемых лет.

Бывая в Польше, Румынии, Чехословакии и других братских странах, на освобожденной от гнета земле сопредельных с нами социалистических государств, встречаясь с молодежью, с офицерами и солдатами армии Варшавского Договора, я всякий раз ощущаю, какие огромные изменения произошли за эти годы в политическом климате мира и прежде всего соседних с нами государств. Уже после войны в Варшаве мне довелось быть в гостях у старого польского писателя, чьи строки его предисловия я привел здесь.

Мы сидели в его кабинете, вспоминали годы борьбы с фашиз-

мом и наши личные потери, и когда хозяин сказал о своем большом желании посетить Москву, я ответил:

— Приезжайте обязательно! Я покажу вам новую Москву и ее людей... Ну, а по дороге вы уже не увидите колючей проволоки, не услышите неуловимого дрожания под ногами...

Писатель насторожился и вопросительно посмотрел на меня. Тогда я признался, что цитирую его же, позабытое им теперь предисловие к «Любовнику Большой Медведицы».

Польский писатель заметно смутился и назвал написанное чепухой.

— Чепуха это или нет, а может, примета истории, — сказал я, — во всяком случае, хорошо то, что мы через все это уже переступили, кровью скрепили нашу дружбу. Приедете в Москву — сами отлично почувствуете это.

Пограничье в те годы обостряло наши чувства, воспитывало в отрядах ЧОНа и в ударных комсомольских группах по борьбе с контрабандой верность Советской власти. Однако оно мешало нормально развиваться городу. Из-за близости враждебной границы нельзя было развивать промышленность.

Заезжий киевский скептик-литератор осмотрел как-то в те годы город и потом в своем очерке поставил Каменец-Подольску смертельный диагноз:

«...Высохли экономические корни, что некогда живили город, и он умирает в тоске, город умирает, опускаясь в провинциальную глушь».

Мне припомнилось это зловещее пророчество, когда мы побывали в Каменец-Подольске накануне его девятисотлетия. Сколько разительных перемен можно здесь обнаружить сейчас на каждом буквально шагу!

Помню, 5 апреля 1925 года мне посчастливилось опубликовать в губернской газете «Червоный край» одну из первых юнкоровских заметок. В ней рассказывалось, что в Каменец-Подольске, на заводе «Мотор», пущена первая вагранка и он будет выдавать в год... 600 пудов литья!

С каким волнением мы наблюдали первый выпуск чугуна!

На заводе «Мотор», где пустили вагранку, работало тогда около шестидесяти рабочих. Они шли первыми на демонстрациях в праздничных колоннах, гордо неся вышитое золотом знамя профсоюза металлистов, и все, особенно мы, фабзавучники, во всем старались подражать им, настоящим рабочим! Ведь при царизме в городе на ватной фабрике работали всего двое рабо-

чих, а на бетонном заводе — пятеро. Вот почему пуск первой в городе вагранки казался тогда большим событием общегосударственного значения, а то, что ее зажгли коммунисты ленинского призыва, — символом.

Теперь мы ходим по цехам того же самого станкостроительного завода и узнаем, что основная его продукция — деревообрабатывающие станки — идет отсюда не только в Целиноград и Хабаровск, но также в Индию, Пакистан, Ирак, Гвинею, на предприятия революционной Кубы...

Отлично оборудованный сахарный завод-автомат перерабатывает до 30 тысяч центнеров свеклы в сутки. Возле него появился новый жилой городок. В городе работает большой цементный завод. Сорок семь предприятий города дают теперь продукции на сумму свыше шестидесяти миллионов рублей в год.

Цифры эти впечатляют, особенно если вспомнишь, как выглядел Каменец-Подольск до революции. На весь город было тогда два уличных фонаря, причем один из них висел на губернаторском доме.

Воду брали нередко прямо из речки Смотрич, а о городском театре поэт К. Батюшков сказал: «Когда идет дождь, зрители вынимают зонтики, ветер свищет во всех углах».

Одной из достопримечательностей города в дореволюционные годы был шумный водопад под Крепостным мостом. На дне его покоились кости сына гетмана Богдана — последнего «князя Сарматии» — Юрка Хмельницкого.

Позже, уже после революции, положив на перила доску, прыгнул туда с огромной высоты приезжий моряк-балтиец. Прыгнул, остался жив и выплыл далеко у противоположного берега, где начинается предместье Русские фольварки. С тех пор недосягаемым верхом мальчишеской доблести считалось повторить этот «подвиг».

Молодая Советская власть поступила с водопадом более практично. Она заключила в трубу его быструю воду и заставила ее обслуживать турбины гидростанции, приютившейся под мостом, в предместье Карвасары, где раньше останавливались караваны приезжих купцов. Сейчас в городе возле сахарного завода работает теплоэлектроцентраль, для обслуживания городской промышленности идет ток из Добротворской ГРЭС, что под Львовом. По вечерам в городе зажигается двадцать тысяч ламп.

Через некогда тупиковую станцию Каменец-Подольск идут поезда из Станислава и Буковины, товарные поезда везут в центр страны молдавские табаки, овощи, фрукты, и, кто знает, быть может, в скором будущем на табличках вагонов, останавливающихся

у приземистого вокзала, появятся названия европейских столиц: Софии, Бухареста и Будапешта...

Маленькая, но очень оперативная газета «Прапор Жовтня» накануне девятисотлетия рассказала своим читателям, особенно молодежи, много поучительного.

Газета печатала биографии знатных земляков. Были опубликованы материалы о памятных местах, связанных с Тарасом Шевченко. Газета напоминала, что в городе жил писатель-народник Г. Мачтет, автор любимой В. И. Лениным песни «Замучен тяжелой неволей», и здесь же воспитывался известный советский математик Н. Г. Чеботарев.

Студенты педагогического института рассказывали нам, что в здании, где они сейчас занимаются, некогда преподавал в гимназии С. Сергеев-Ценский, а в одном из домиков на Русских фольварках проводил лето гость из Ленинграда Юрий Тынянов. Может, он искал следы переписки Александра Пушкина с Владимиром Раевским?.. Студенты вспоминали, что в городе в 1831 году служил военным врачом писатель и этнограф, составитель знаменитого «Толкового словаря великорусского языка» Владимир Даль. Здесь хорошо помнят, что в тяжкое время разрухи сюда приезжали видные руководители нашей страны — Михаил Иванович Калинин и Григорий Петровский. Они призывали трудящихся Подолии помочь голодающему населению Поволжья, а Михаил Иванович Калинин написал для газеты «Червона правда» статью «Мысли по национальному вопросу».

В годы моей юности самой главной целью у молодежи было стремление как можно скорее занять свое трудовое место в жизни, не держаться за маменькин подол и не сидеть на шее у отца. Хотелось стать рабочими. Именно рабочими, производителями материальных ценностей, а не служащими, которых не раз в те времена за глаза называли «бумагомарателями». Слов нет — было страшновато покидать порог родительского дома, отправляться в дальние странствия в поисках работы, становиться в очередь на бирже труда, где и без тебя хватало безработных, но какой незабываемой радостью отзывались в сердце первая получка, новый разряд, твоя первая расчетная книжка. Ты входил в жизнь самостоятельно.

Чувствуя постоянно внутреннюю духовную связь со страной, с ее интересами, ты уже с первых дней работы начинал понимать, что, если будешь трудиться честно, не филонить и не отлынивать от порученной тебе работы, все дороги перед тобой раскроются и высшее образование никогда от тебя не уйдет. Но когда ты уже сядешь на вузовскую скамью, обогащенный опытом работы на за-

воде, зная лично, как плавят чугун или как обтачивают болванки на токарном станке, все эти теории сопротивления материалов и прочие премудрости лягут тебе в душу накрепко.

И в то время были свои стиляги в узких брюках-дудочках, проигрывающие попусту молодость, самое драгоценное время человека в жизни. Они тоже иной раз толпились на углах главных улиц, отпускали себе немыслимые прически, были завсегдатаями ресторанов. Эти равнодушные ко всему, кроме собственного «я», двадцатилетние старички вызывали у трудовой молодежи презрение.

В комсомоле тогда не было равнодушных. Если же такие и встречались, они немедленно попадали «под обстрел» комсомольских ячеек.

В главах, посвященных первым дням работы Василия Манджуры на заводе, его участию в разоблачении танцевального салона Рогаль-Пионтковской, мне и хотелось без всяких преувеличений отразить нравы нашей эпохи с ее непримиримостью к лодырям, с ее борьбой против равнодушных, с ее борьбой за душу каждого молодого хлопца или девушки.

Среди эпизодических персонажей повести «Город у моря» читатель найдет подобного любителя легкой жизни и ее прожигателя Зюзю Тритузного. Его я писал с натуры. Был такой хлыщеватый модник на нашем Первомайском заводе в Бердянске. Как только начинался курортный сезон, он брал до осени отпуск за свой счет и почти все свободное время проводил на пляже или на проспекте. Его сверстники за это время, работая, успевали окончить вечерние техникумы, поступить в институты, стать инженерами, врачами, агрономами, а он как был фланером-пустоцветом, так им и остался. Перед войной я встретил его на Невском проспекте в Ленинграде. Поздоровались, и я, естественно, спросил его, что он делает.

— Да вот «втыкаю» табельщиком на Ижорском заводе, — сказал он, небрежно играя папироской, зажатой в зубах. — Работка не пыльная. Плохо только, что сюда на поезде приходится ездить.

Увидел я в его глазах ту же самую душевную пустоту.

К большому нашему счастью, в жизни таких тритузных оказалось значительно меньше, чем положительных героев.

Когда мы встречаемся с директором четвертого железобетонного завода Москвы Павлом Маремухой и он рассказывает о том, как внедрял железобетон в Бирме, и о том, как улучшал качество цемента на заводах Румынии, я знаю — этот теперь уже седой человек, в какой-то степени послуживший прообразом толстячка Маремухи, нашел свою главную цель в жизни.

Мне радостно было узнать, что Головацкий — бывший секретарь нашего ОЗК — строил большие заводы в Душанбе.

Очередная почта приносит заказную бандероль из Киева. Раскрыв ее, вижу книгу профессора Дмитрия Ивановича Панченко — «Лечение больных гипертонической болезнью в биотроне».

Книга прислана мне, как это следует из дарственной надписи, «на добрую память о нашей незабываемой юности, определившей наше настоящее и будущее». Это очень точные, искренние слова!

Они напоминают мне тот день, когда получал я из рук высокого паренька в синей рубашке, заворгинста нашего окружкома комсомола Панченко драгоценную книжечку с силуэтом В. И. Ленина на желтом переплете. Помню слова доброго напутствия, которые сказал мне тогда, вручая комсомольский билет, своим глуховатым баском Дмитрий Панченко.

Потом комсомол послал его на учебу, он слушал лекции академика Павлова в Военно-медицинской академии Ленинграда и запомнил его слова, обращенные к молодежи: «Последовательность, последовательность и еще раз последовательность!» Должно быть, и это жизненное напутствие, услышанное из уст великого ученого, помноженное на преданность Родине, помогло бывшему комсомольцу, тому самому, который, смущаясь, входил в класс нашей преобразованной из бывшей гимназии трудшколы, и самому со временем стать ученым.

Одним из самых популярных поэтов и песенников Советской Украины стал за эти годы бывший рабфаковец Терень Масенко, написавший специально для нас, каменец-подольских фабзайцев, приведенную в этой книге песенку, что начинается словами:

Мы верим в нашу индустрию,
В наш вдохновенный труд...

Мне особенно приятно упоминать об этом в послесловии потому, что именно Терень Масенко, работавший в редакции газеты «Червоный кордон», напечатал в ней мой первый очерк — отклик на смерть Владимира Ильича Ленина.

Наша соученица по первой трудовой школе Елена Ивановна Юхимович, которую в те годы мы звали запросто Леной, стала сейчас одним из самых уважаемых педагогов старинного города.

В какой-то степени она послужила прообразом Гали Кушнир.

Друг моего детства, бывший курсант Каменец-Подольской совпартшколы Петро Довгалюк, многие черты характера которого отразились в образах Никиты Коломейца и Марущака, живет сейчас в Киеве.

Петро Довгалюк стал научным сотрудником Института украинской литературы Академии наук УССР. Опубликованы многие его работы. Они посвящены разоблачению деятельности Ватикана, пропагандируют творчество писателей-атеистов Ярослава Галана и Степана Тудора.

Тем более радостно вспоминать теперь, как в те далекие годы вместе с Петром Довгалюком учились мы любить книги, самостоятельно работать с ними, как не раз, забравшись на печку в совпартшкольском флигеле, часами читали Джека Лондона и других любимых писателей.

«Ну, а Котька Григоренко, верный слуга петлюровцев, — был ли такой на самом деле? — может возникнуть у читателей вопрос. — Не слишком ли сгустил краски автор, изображая его отпетым врагом советского строя и личным недругом многих героев трилогии?»

Да, был! И писал я Котьку Григоренко с определенного человека — нашего сверстника. Я помнил его злобное отношение ко всему новому, что принесла в школу Советская власть, знал, как он вел себя в дни, когда в городе бушевала петлюровщина. Но, зная и помня все это, я вывел его под другой фамилией. Мне казалось, что прототип Котьки Григоренко под влиянием событий мог оказаться среди той группы наших сверстников, которые с большим запозданием, уже в тридцатые годы, «признали» Советскую власть. Одни сделали это из карьеристских побуждений, чтобы получше устроиться в жизни, другие — осознав ошибки юности и понимая, что нельзя замахиваться палкой на солнце, что нельзя одиночкам идти против воли миллионов.

Короче говоря, мне хотелось пощадить действительного Котьку Григоренко в том случае, если бы он остался по нашу сторону баррикад.

Как показала жизнь, для такого моего «гуманизма» не было оснований. Подлинный Котька Григоренко бежал за границу и прижился в старинном польском городке Перемышль. Он женился там, бойко торговал и тайно сотрудничал с полицией, выдавая ей революционно настроенных жителей древнего городка. Он выслуживался, как мог, перед своими новыми хозяевами, а те, в свою очередь, использовали как хотели таких изменников Родины. Уже после разгрома гитлеровской Германии мне удалось добыть карточку прототипа Котьки Григоренко: он снят в брачной паре, рядом с ним миловидная невеста в подвенечной фате, должно быть и не подозревавшая, какому грязному человеку отдает она свою душу и сердце.

Когда осенью 1939 года Красная Армия стала приближаться к Перемышлю, заставляя гитлеровцев убраться за линию Западного Буга и реки Сан, Котька Григоренко, опасаясь близкого соседства с советскими войсками, переметнулся в Краков. Там он завербовался в диверсионный батальон Степана Бандеры «Нахтигаль», набранный националистами из таких же предателей, как и докторский сынок. Вместе с батальоном «Нахтигаль» прототип Котьки Григоренко ворвался на территорию Советского государства утром 22 июня 1941 года, принимал участие в погромах и убийствах, усердно прислуживал оккупантам.

Он был участником многих полицейских карательных операций на Украине. Ведь он знал ее с детства.

Под Харьковом его ранило партизанской пулей. Уже после разгрома гитлеровцев на берегах Волги Котька Григоренко понял, что Гитлер войну проиграл. И тогда Котька не стал задерживаться ни в Перемышле, ни в Кракове, а «переместился» подальше, на Запад. Сейчас он живет в Гамбурге, в Федеративной Республике Германии, имеет небольшой магазинчик с галантереей и попутно обслуживает секретную службу одной из крупных заокеанских держав. Я знаю его подлинную фамилию и адрес, у меня хранится его свадебная карточка. Возможно, если книга с этим послесловием достигнет Гамбурга и попадет в руки прототипа Котьки Григоренко, особой радости она ему не доставит.

Талантливый актер Николай Рыбников в фильме «Тревожная молодость», снятом по мотивам трилогии режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым, сыграл Котьку таким, каким тот оказался на самом деле, сыграл правдиво и жестоко, раскрывая подлинную природу предательства. И без этой жестокости обойтись было нельзя. Политика — борьба миллионов. В этой борьбе проигрывают одиночки и изменники своей Родины. Писать и о них нужно, их нужно показывать, чтобы не остывало в нас чувство ненависти к врагам народа.

...Уже после войны во Львове я совершенно неожиданно встретил одного из самых любимых наших педагогов в гимназии, а потом в трудшколе — Евгения Яковлевича Козинца.

— Наш дідусь здесь, во Львове, он жив, заслуженный учитель Украинской Советской Республики и на днях справляет золотую свадьбу, — сказал мне один из земляков.

Я пришел на эту свадьбу со скромным подарком — принес нашему «дідусю» «Старую крепость» с благодарственной надписью — ведь очень многим я обязан в жизни ему — славно-

му и доброму учителю, который пробудил в нас жажду знаний, любовь к книгам.

Через несколько дней, когда мы сидели вдвоем в кабинете Евгения Яковлевича, он, седой, согбенный старик, глядя на меня зоркими, молодыми глазами, спросил:

— Скажите, а кого вы имели в виду, создавая образ учителя истории Валериана Дмитриевича Лазарева?

Я встал, подошел к креслу, в котором сидел «наш дідусь», и, обнимая его, признался:

— Ну, конечно же, вас, дорогой Евгений Яковлевич!

В моем признании не было и грани фальши: наш «дідусь» воспитал целую плеяду инженеров, врачей, педагогов, музыкантов, писателей. Воспитал тем, что со школьной скамьи учил их принципиальности, честности, жизненной стойкости, учил жить так, чтобы ни один день не пропадал даром, а обогащал бы его учеников новыми знаниями.

Когда в 1962 году заслуженный педагог республики, послуживший прообразом историка Лазарева, скончался, хоронить своего «дідуся» приехали во Львов с разных концов страны многие его ученики. И поныне они вспоминают его, выражаясь словами Шевченко, «не злім, тихим словом», преисполненным благодарности к этому большому человеку.

Вот одно из писем Евгения Яковлевича Козинца, которое я бережно храню.

«Сегодня получил Ваше приветствие, — писал мне Евгений Яковлевич в мае 1959 года, — и спешу ответить на него таким же искренним поздравлением в надежде, что оно застанет Вас еще в Москве. Да! В Москве я провел не только свои студенческие годы, а и 15 лет преподавательской деятельности в реальном училище. За 19 лет жизни в Москве (1899—1918 гг.) мне пришлось многое видеть, много пережить тяжелого и хорошего: студенческие сходки в предреволюционный период (1900—1904 гг.), отдачу студентов в солдаты, что только помогло студенчеству «разложить» армию, восстание рабочих в 1905 году, в котором и я, подобно Павлу Заломову, со старшими своими учениками принимал на Пресне самое активное участие в деле подготовки рабочих Прохоровской, Даниловской мануфактур и рабочих мебельной фабрики Шмидта. Значительно позже, в феврале и июле 1918 года, имел счастье лично беседовать с В. И. Лениным на общественные темы и по его же совету уехал на Украину «шире открывать двери школы для народа» и открыл их в Каменец-Подольске...»

Это письмо было и остается для меня большой радостью и

откровением. Оно подкрепляет написанное задолго до этого выступление, с которым в трилогии обращается к ученикам изгнанный петлюровцами из гимназии историк Лазарев:

— И никогда они мне не простят, что я рассказал вам правду о Ленине...

За то время, что писалась и издавалась эта книга, на скалистых обрывах Каменец-Подольска выросли уже новые поколения молодежи, которую можно было бы назвать «вторым и третьим всходами революции». Они полностью оправдали надежды отцов и в те грозные дни, когда город со Старой крепостью временно оккупировали гитлеровцы.

Недавно я получил письмо из Донбасса от своего земляка, представителя уже этой новой когорты более молодого поколения, горняка Владимира Сорокина.

Прочитав трилогию, он сетует на то, что в ней слабо отражены события Великой Отечественной войны, и в своем письме приводит очень интересные факты о том, как вела себя молодежь Каменец-Подольска в те годы, когда город был занят фашистскими войсками.

Я ответил Владимиру Сорокину, что основное действие трилогии заканчивается где-то у рубежа тридцатых годов. Если бы я захотел подробно написать о последнем отрезке истории моего города, мне бы надо было создать еще одну книгу.

В письме Владимира Сорокина я нахожу свидетельства прямой передачи боевых традиций нашей молодежи двадцатых-тридцатых годов тому поколению, которое, к несчастью, увидело на улицах родного города танки с фашистской свастикой. Поэтому я позволю себе здесь привести отдельные отрывки из письма молодого донецкого шахтера.

«Я родился в 1928 году, — пишет Сорокин, — на Подзамче, возле Старой крепости, и вся моя юность тоже связана с этой «старушкой». Во время оккупации неподалеку от меня жил Григорий Петрович Топольский. Он прикидывался глухим и немым, хотя все коренные подзамчане его прекрасно знали. До войны он жил где-то в Центральной России. Я нередко ходил с матерью в лес по дрова и часто встречал там Топольского и стал замечать, что Жора, как многие его звали запросто, старается быть поближе к немецким гарнизонам и укреплениям.

Мне стало ясно, что Топольский связан с партизанами.

Как-то вечером, уже в 1943 году, он встретил меня на улице и неожиданно заговорил.

— Слушай, Володька, — сказал он мне тихо и оглядываясь, как бы нас кто не подслушал. — Я знаю всю вашу семью, знаю,

что твой батька завоевывал Советскую власть на Екатеринославщине. Прошу тебя — помоги мне...

Он отвел меня в садик крепости, мы сели под цветущей яблоней, и Жора поручил мне сходить на предместье Цыгановку, поближе к немецким складам, и проверить, что завозят туда гитлеровские машины.

И хотя мне было страшно, я боялся фашистов, но доверие Топольского взяло верх. На следующий день я пробрался на территорию складов. Никто из фашистов не обратил на меня, пацана, внимания. Я увидел, что с машин выгружают ящики со снарядами, и пересчитал их количество.

Когда я возвращался с этой первой в моей жизни разведки, Жора уже ждал меня у Нового моста. Я рассказал ему все, что видел.

— Теперь — быстро домой и никому ни слова! — шепнул мне Жора.

А в марте 1944 года, когда немцы уже драпали полным ходом, Топольский послал меня в Старый город разузнать, что там делается.

Пробираясь в Старый город, я заметил, что немцы минируют подход к Турецкому мосту со стороны крепости. Постарался запомнить расположение мин. Узнал, что на костеле гитлеровцы установили пулеметы. Все это я доложил Жоре. Когда же 24 марта танковый десант ворвался на Подзамче, Топольский пришел к нам домой с тремя солдатами и сказал:

— Володя, проведи ребят в город и укажи, где заложены мины!

...И вот советские саперы сделали проход для наших танков. Топольский в это время помог уничтожить огневую точку на костеле. Погиб он при освобождении Подзамче от немцев. Когда бой закончился, вместе с моим другом В. Шлапаком мы пошли по улице Папанина и увидели нашего Жору. Он лежал, прижимая к себе карабин. Мы узнали его сразу по черной бороде. Наверное, о нем многое могли бы рассказать бывшие партизаны...»

Меня очень тронуло это бесхитростное шахтерское письмо. Владимир Сорокин писал также, что он охотно поделится со мной и другими воспоминаниями о жизни города в годы оккупации. Завязалась переписка. Я узнал, что Сорокин работает в бригаде коммунистического труда на шахте 3-бис треста «Красноармейскуголь», у него двое детей, старшая дочь ходит во второй класс, младшей дочурке четыре года.

«В августе месяце 1941 года, — вспоминал Сорокин, — в го-

роде уже было полным-полно немецких войск и мадьяр-салашистов. Дни стали чернее ночи. На каждом углу тебя поджидала смерть. Уже начались еврейские погромы. В них особенно усердствовали изменники — украинские националисты, напялившие на себя форму немецких полицаев. Они загнали в Старый город, расположенный, как вы знаете, на скалистом острове, все еврейское население и обрекли его на голодную смерть, отрезав от внешнего мира. В это время к нам на Подзамче пробрался мальчик лет четырнадцати, худой, истощенный, и со слезами на глазах стал нас просить, чтобы мы помогли умирающим от голода в Старом городе. А в то время уже поспело много яблок и картошки. Мы, подзамецкие ребята, мой средний брат Борис, двенадцати лет, Миша Ильницкий, я и Витя Шлапак нагрузились мешками с картошкой и яблоками и по крутым обрывистым тропкам, где и козе пробраться трудно, проникли в Старый город.

Страшное зрелище открылось нам! Опухшие от голода дети — самое дорогое, что есть на свете, плачущие матери, мертвые на улицах. Как благодарили нас плачущие матери, увидев наши гостинцы! Но разве могли мы накормить всех?

...Обратно мы пробирались, минуя кордоны полиции, но все равно на Турецком мосту я получил несколько шомполов от одного гада-полицая за то, что не хотел признаться, куда ходил.

Потом стало еще страшнее. Мы узнали, что оставшихся в живых несчастных из Старого города перегоняют на предместье Белановку и там расстреливают в воронках от снарядов и бомб. Кто падал в яму, сраженный пулей, кто умирал от разрыва сердца, а потом гнали следующих и, когда яма наполнялась убитыми, заставляли живых засыпать мертвых землей. Мы, ребята, плакали от того, что видели издали. Плакали и от сознания бессилия, что не можем уже ничем помочь несчастным.

А позже в наш город пригнали на смерть евреев из Венгрии — стариков и детей. Запомнилось мне, как однажды к нам во двор украдкой забежал один паренек, венгр, лет восемнадцати, и знаками попросил поесть. Мы его накормили, и, когда он поел, я спросил, как его зовут.

Он сказал: «Миклош», — и сразу же заплакал. Я понял, что он тоже переполнен ненавистью к фашистам за свою загубленную молодость.

А вскоре я услышал, что немцы ищут по всему городу подпольную комсомольскую организацию. Я тогда еще слабо знал, что к чему, но с каждым днем приходили слухи, что в городе убивают немецких солдат и офицеров. По ночам режут телефонный

кабель. Однажды поутру прибежал ко мне Витя Шлапак и говорит:

— Немцы забрали нашего Ику!..

Так звали его старшего брата. Несколько позже на Подзамче забрали молодого паренька Витю Белоусова.

Их расстреляли холодной зимней ночью...»

Это второе письмо из Донбасса дополнило то, что я знал уже раньше. Да, в городе, и поныне охраняемом Старой крепостью, работала сильная подпольная комсомольская организация. Придет время, и подвиги комсомольцев-подпольщиков будут описаны подробно в новых книгах. Мне же хочется сейчас вкратце поведать читателю еще и о тех отважных юношах и девушках, «вторых всходах революции», которые были верны чувству революционного долга и боевой комсомольской романтики в черные дни оккупации.

У комсомольцев-подпольщиков Каменец-Подольска были два радиоприемника. Один из них хранил у себя в подвале вожак организации Вилен Поворин, другой аппарат был спрятан в подземелье Старой крепости. Комсомольцы принимали там сводки Советского Информбюро, переписывали их и расклеивали по городу.

Кроме сводок, ребята сочиняли листовки, рисовали карикатуры на гитлеровцев и их фюрера.

В листовках комсомольцы призывали население не давать немцам теплой одежды, не выполнять их распоряжений, так как «наши войска все равно победят фашистов».

Ребят кто-то выдал. 5 июня 1942 года они были арестованы. После страшных пыток пятьдесят два комсомольца-подпольщика были расстреляны за старой тюрьмой.

Руководитель комсомольской организации Вилен Поворин оказался удивительно стойким и мужественным. Никакие пытки на допросах не смогли заставить его выдать своих товарищей. На допросах он называл только вымышленные фамилии участников подполья. Однажды после такого допроса гестаповцы привели закованного в цепи Вилена Поворина в торговую школу, где он учился. В зал были созваны все ученики школы. Переводчик стал выкликать фамилии «соучастников» Поворина. Никто не отзывался. Тогда рассвирепевший гестаповский офицер подбежал к Поворину и, размахивая нагайкой, закричал:

— Где они, твои люди? Почему они молчат?

Поворин, улыбаясь, ответил:

— Здесь их нет! Я просто хотел прогуляться по моему горо-

ду, встретиться со своими соучениками. А те фамилии, которые в протоколе, все до единой вымышлены...

...Так вели себя в дни войны молодые ребята древнего города, продолжавшие славные традиции комсомольцев первых послереволюционных лет.

Эти традиции учили их мужеству, жизненной стойкости, честности. Комсомольская честность — как закаляла она наше сознание в те далекие годы!

Старый комсомолец Иван Козырев, который некогда учился в советский-партийной школе нашего города, описанной в этой книге, сейчас стал научным работником и готовит новых педагогов в институте Черновиц. Он напомнил мне как-то при встрече позабытый случай тех далеких времен.

Комсомольцы вышли в воскресный день на улицы города с кружками — собирать пожертвования на беспризорных детей. В те далекие годы у нас еще свирепствовала безработица, и немало беспризорных, растеряв родителей в годы гражданской войны, колесили «зайцами» из города в город, занимались попрошайничеством, а нередко и мелким воровством.

Под мартеновскими печами донбасских заводов, у железных котлов, в которых плавился асфальт на площадях Харькова, у кипятильников железнодорожных станций — словом, везде, где было потеплее, особенно в ночное время, вы могли обнаружить чумазых, грязных, оборванных ребятишек с лицами, посиневшими от стужи и голода.

Для них-то, для того чтобы создать им новые детские дома и колонии, комсомолия старинного города и вышла собирать деньги в одно из жарких летних воскресений. Мы подходили к прохожим, решительно останавливали их и говорили: «Пожертвуйте на беспризорных детей!» Если человек откликался на эту просьбу и опускал в кружку какую-нибудь мелочь, мы торжественно прикалывали ему на грудь жетон. Если же он проходил мимо, кричали вдогонку: «Стыдно, гражданин!»

А вечером, когда в окружкоме комсомола в присутствии специальной комиссии распечатывали и опорожняли все кружки, стало известно, что один из сборщиков еще днем захотел пить и вытряс из кружки одну копейку.

Он выпил на эту одну копейку стакан воды с сиропом «Свежее сено» в ларьке у частной торговки около Нового моста.

Была взята на личные нужды одна общественная копейка! Но как задело это хищение наши молодые сердца! Кража копейки потрясла нас, как самое тягчайшее преступление. Ведь копейку, пожертвованную каким-то тружеником, наш товарищ отнял у го-

лодных, обездоленных детей и передал ее в жадные, загребущие руки частной торговки, только и мечтавшей, чтобы Советская власть распалась и возвратился бы старый режим.

Этот случай обсуждали во многих комсомольских ячейках города, и виновника преступления, как он ни каялся, исключили на год из комсомола.

И быть может, именно отсвет этих чистых, благородных, романтических нравов вызвал желание в душе четырех пареньков с Подзамче пробраться в Старый город по обрывистым тропинкам, чтобы хоть как-нибудь помочь обреченным на смерть, умирающим узникам фашизма?..

...По-прежнему сторожат подступы к Старому городу серые и замшелые островерхие башни древнего замка: Черная, Лядска, Ружанка, Донна и другие. На одной из них, где трижды томился Кармелюк, в стене чугунный барельеф, а надпись поодаль сообщает, что именно тут Тропинин рисовал с натуры портрет подольского Пугачева.

...Дымы весеннего пала, соединяясь с дымами новых заводов, расплываются над городом, и его древние строения по вечерам затягиваются сиреневой дымкой. Украинские националисты хотели сохранить незыблемой патриархальную Украину с ее соломенными стрехами и тихими вишневыми садами, злобно противились индустриализации. Нет, ничего у них не получилось!

...Как встарь, толпы мальчишек, стоя над обрывом, любуются видом города, подернутого сиреневой дымкой.

...Так каждый новый день истории нашего народа и моего родного города дописывает новые страницы этой книги...

Декабрь 1963 г., Москва

ОБ АВТОРЕ

Владимир Павлович Беляев родился 21 марта 1909 года в городе Каменец-Подольске, на Украине. После окончания трудовой школы и школы фабрично-заводского ученичества уезжает по разнарядке ВСНХ Украины работать литейщиком в Приазовье, в город Бердянск, на Первомайский машиностроительный завод. Впоследствии как рабкор-выдвиженец заведует отделами редакции газеты «Червоный кордон», публикует свои первые очерки и рассказы.

Первая заметка, «Пансион для благородных учителей», была напечатана осенью 1923 года в губернской «Рабоче-Крестьянской газете» (Винница). Первый очерк о смерти В. И. Ленина — «Тяжелая утрата» — был опубликован в 1924 году в окружной газете «Червоный кордон». Тогда же Владимир Беляев вступил в ряды Ленинского комсомола.

После окончания действительной службы в Красной Армии, как демобилизованный командир взвода запаса, Владимир Беляев командируется в оборонную промышленность Ленинграда, работает в опытной мастерской АВО-5 завода «Большевик» слесарем-сборщиком, долбежником, уполномоченным по особым заданиям и вместе с коллективом рабочих-опытников принимает участие в создании первых советских тяжелых опытных танков.

Весной 1934 года начинает работать заведующим отделом журнала «Литературный современник» в Ленинграде, участвует в работе литературных организаций ЛАПП и ЛОКАФ и постепенно полностью переходит на литературную работу. В мае 1938 года, после опубликования сборника рассказов «Ровесники» и первой книги «Старая крепость», писать которую начал, еще будучи рабочим завода «Большевик», Владимир Беляев принимается в члены Союза советских писателей.

В годы Великой Отечественной войны Беляев принимает участие в обороне Ленинграда и Советского Заполярья, является корреспондентом газет «Патриот Родины», «Северная вахта», Советского Информбюро, журналов «Смена», «Огонек», «Война и рабочий класс» на Севере. По сценариям Владимира Беляева, написанным в первый месяц войны совместно с драматургом Михаилом Розенбергом, поставлены фильмы «Час расплаты» и «У старой няни», вошедшие в «Боевой киносборник № 2». Пьесу «У старой няни» поставил в дни блокады Ленинградский театр миниатюр. Выпустил книги «Ленинградские ночи» и «Варвары с моноклями».

Летом 1944 года Владимир Беляев как специальный корреспондент Всесоюзного радио и Советского Информбюро был командирован в только что освобожденный Львов и принимал участие в Комиссии по расследованию гитлеровских зверств, совершенных фашистами в Западной Украине.

Владимир Беляев — автор книг «Голос Тараса», «Украинские ночи», «Свет во мраке», «Залив в тумане», «Опора земли», «Львовские встречи», «Растлители сознания», «Граница в огне», «Под чужими знаменами» (в соавторстве с М. Рудницким), «Эхо Черного леса» (в соавторстве с И. Подоляниным), сборника памфлетов «Ночные птицы», книги очерков «Помните эти взрывы», книг «Формула яда», «Ярослав Галан» (в соавторстве с А. Елкиным), «Пылающие рубежи» и других.

По сценариям Беляева поставлены кинофильмы «Голос Тараса», «Тревожная молодость», «Иванна».

За трилогию «Старая крепость» Беляеву присуждена первая премия на конкурсе Министерства просвещения РСФСР и Государственная премия СССР. За киноповесть «Иванна» — первая премия на Всесоюзном кинофестивале в Минске за лучший киносценарий. Книги и рассказы Беляева переводились и выходили на французском, английском, немецком, испанском, итальянском, китайском, румынском, чешском, словацком, польском, болгарском, уйгурском, финском и других языках мира, а также на языках народов СССР.

Владимир Беляев награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За отличие в охране государственных границ СССР», «За победу над Германией», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», медалью «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», польским орденом «Кавалерский крест возрождения Польши» и другими.

Послевоенные годы, до 1960 года, Владимир Беляев жил и работал в западных областях Украины, где долгие годы орудовали украинские националисты, клерикалы, поддерживаемые немецкими фашистами, и эта особенность местожительства литератора вызвала необходимость много времени уделять публицистике, памфлетам, чтобы помочь бороться с остаточными явлениями национализма.

Владимир Беляев член КПСС с 1931 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга третья. ГОРОД У МОРЯ

Беляев Владимир Павлович

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ. Трилогия. Книга третья — Город у моря. М., «Молодая гвардия», 1971.
464 с., с илл.

Бел.

Редактор *Е. Максакова*

Оформление художника *Д. Шимилиса*

Рисунки *Р. Адамян*

Художественный редактор *В. Плешко*

Технический редактор *Н. Туркина*

Корректор *А. Стрепихеева*

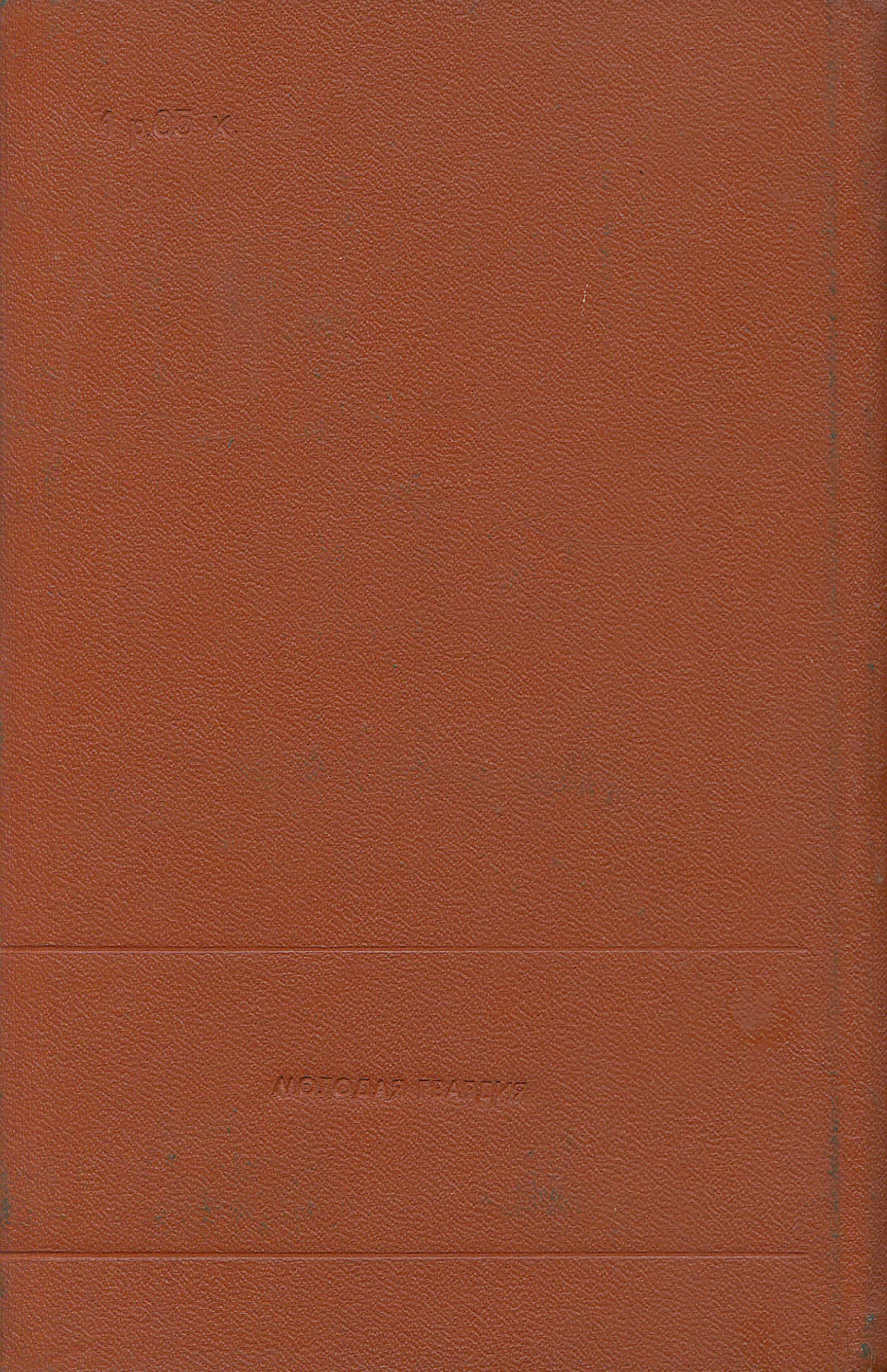
Сдано в набор 28/IV 1971 г. Подписано к печати 8/IX 1971 г. Формат 84 × 108$^1/_{32}$. Бумага № 2. Печ. л. 14,5 (усл. 24,36) + 8 вкл. Уч.-изд. л. 25,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 05 к. Т. П. 1971 г., № 177. Заказ 979.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Сущевская, 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.



1 р. 85 к.